



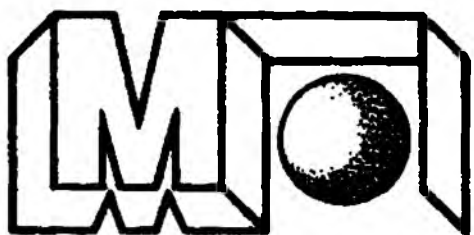
Мир приключений

Эдгар ПО

Убийство
на улице Морг



Scan Kreyder - 09.06.2014
STERLITAMAK



Мир приключений

Эдгар ПО

Убийство на улице Морг
Рассказы

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО « ПРАВДА »

1987

84. 7

П 41

Перевод с английского

Иллюстрации

С. А. Соколова

П $\frac{4703000000 - 1390}{080(02) - 87}$ 1390 — 87 84.7

Текст печатается по: Эдгар Аллан По.
Полное собрание рассказов. М. Наука, 1970.
Эдгар По. Рассказы. М., Художественная ли-
тература, 1980.

© Издательство «Правда», 1987. Иллюстрации.

Рассказы

МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН

Pestis eram vivus — moriens
tua mors ego.

*Martin Luter*¹

Ужас и рок шествовали по свету во все века. Стоит ли тогда говорить, к какому времени относится повесть, которую вы сейчас услышите? Довольно сказать, что в ту пору во внутренних областях Венгрии тайно, но упорно верили в переселение душ. О самом этом учении — то есть о ложности его или, напротив, вероятности — я говорить не стану. Однако же я утверждаю, что недоверчивость наша по большей части (а несчастливость, по словам Лабрюйера, всегда) «vient de ne pouvoir être seul»².

Но суеверие венгров кое в чем граничило с нелепостью. Они — венгры — весьма существенно отличались от своих восточных учителей. Например, душа, говорили первые (я привожу слова одного проницательного и умного парижанина), «ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»³.

Веками враждовали между собою род Берлифитцингов и род Метценгерштейнов. Никогда еще жизнь двух столь славных семейств не была отягощена враждою столь ужасной. Источник этой розни кроется, пожалуй, в словах древнего пророчества: «Высоко рожденный падет низко, когда, точно всадник над конем,

¹ При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью (*лат.*). *Мартин Лютер*.

² Проистекает от того, что мы не умеем быть одни (*фр.*).

³ Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика (*фр.*).

тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берлифитцингов».

Разумеется, слова эти сами по себе мало что значили. Но причины более обыденные в самом недавнем времени привели к событиям столь же непоправимым. Кроме того, земли этих семейств соприкасались, что уже само по себе с давних пор рождало соперничество. К тому же близкие соседи редко состоят в дружбе, а обитатели замка Берлифитцинг со своих высоких стен могли заглядывать в самые окна дворца Метценгерштейн. И едва ли не королевское величие, которое таким образом открывалось их взорам, менее всего способно было успокоить ревнивые чувства семейства не столь древнего и не столь богатого. Можно ли тогда удивляться, что, каким бы нелепым ни было то прорицание, оно вызвало и поддерживало распрю двух родов, которые, подстрекаемые соперничеством, переходящим из поколения в поколение, и без того непременно должны были бы враждовать. Пророчество, казалось, лишь предрекло — если оно вообще предрекало что бы то ни было — окончательное торжество дома, и без того более могущественного, а домом слабейшим и менее влиятельным вспоминалось, конечно же, с горькою злобой.

Высокородный Вильгельм, граф Берлифитцинг, в ту пору, о которой идет рассказ, был дряхлым, впадшим в детство стариком и отличался единственно неумеренной и закоренелой неприязнью к семье своего соперника и столь страстной любовью к лошадям и охоте, что ни дряхлость тела, ни преклонный возраст, ни ослабевший ум не мешали ему всякий божий день подвергать себя опасностям полеванья.

Фредерик, барон Метценгерштейн, напротив того, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер молодым. Мать, баронесса Мария, ненадолго пережила своего супруга. Фредерику в ту пору шел девятнадцатый год. В городе восемнадцать лет — срок не долгий, на приволье же, да еще столь великолепном, каким было старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла.

Благодаря некоторым особым обстоятельствам юный барон стал полновластным хозяином громадных

богатств сразу же после смерти своего отца. Мало у кого из венгерских вельмож были такие имения. Замкам его не было числа. Но самым большим и самым великолепным был дворец Метценгерштейн. Пределы его владений никогда не были в точности обозначены, но граница главного парка протянулась на пятьдесят миль.

В том, как поведет себя новый владелец, такой юный, с характером так хорошо известным, получив столь беспримерное богатство, мало у кого были сомнения. И разумеется, в первые же три дня наследник дал себе полную волю и превзошел самые смелые ожидания самых горячих своих поклонников. Бесстыдный разгул, вопиющее вероломство, неслыханные жестокости быстро показали его трепещущим вассалам, что ни рабская их покорность, ни голос совести не послужат им отныне защитой от безжалостных когтей маленького Калигулы¹. В ночь на четвертый день загорелись конюшни замка Берлифитцинг; и вся округа единодушно присовокупила этот поджог к, и без того чудовищному списку, беззаконий и злодеяний барона.

Но во время суматохи, вызванной этим происшествием, сам юный вельможа сидел, погруженный в глубокое раздумье, в огромной и мрачной зале в верхнем этаже родового дворца Метценгерштейнов. На пышных, хотя и выцветших гобеленах, что висели по стенам, смутно проступали величественные фигуры множества прославленных предков. Здесь облаченные в горностаи епископы и кардиналы, как равные, сидя рядом с властителем монархов, накладывают вето на желания какого-нибудь земного владыки либо именем верховной власти самого папы обуздывают дерзновенного врага рода человеческого. Там статные сумрачные князья Метценгерштейны — их могучие боевые кони топчут поверженных врагов, а решительное выражение их лиц способно испугать человека даже с весьма крепкими нервами; а вот исполненные неги и гибкие, как лебеди, дамы давних времен уплывают в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.

Но пока барон прислушивался или делал вид, что прислушивается к нараставшему в конюшнях Берли-

¹ К а л и г у л а , Г а й (12—41) — римский император (37—41), сумасбродный и развратный деспот.

фитцинга шуму, а быть может, замышлял новое, еще более дерзкое злодейство, взгляд его, скользивший по гобеленам, упал на огромного, необычайной масти коня, который принадлежал какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь изображен был на переднем плане, и был он недвижим, точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метценгерштейна.

Когда Фредерик понял, на чем случайно задержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка. Однако же он не отвел глаз. Напротив, он никак не мог понять, что за неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу, с трудом осознал он, что, несмотря на смутные бессвязные свои ощущения, он не спит, а бодрствует. Чем дольше смотрел он, тем больше поддавался чарам, и, казалось, никогда уже ему не оторвать замороженного взгляда от гобелена. Но шум и крики за окном вдруг сделались громче, и он с усилием заставил себя взглянуть на алые отблески, что отбрасывало на окна пламя, охватившее конюшни.

Однако уже в следующий миг взгляд его вновь невольно обратился на тот же гобелен. К величайшему его ужасу и удивлению, голова гигантского коня тем временем изменила положение. Шея его, прежде склоненная словно бы сочувственно над распростертым телом господина, теперь вытянулась в сторону барона. Глаза, прежде невидные, сейчас смотрели осмысленно, совсем по-человечески, и в них странно мерцал яростный багровый огонь; а губы расвирепевшего коня растянулись, обнажая отвратительный мертвый оскал.

Пораженный ужасом, молодой барон, шатаясь, устремился к двери. Распахнул ее, и тотчас в комнату ворвался красный свет и отбросил тень барона на затрепетавший гобелен; на мгновение замешкавшись на пороге, он со страхом увидел, что она в точности совпала с очертаниями безжалостного и торжествующего убийцы, вонзившего кинжал в сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеять странный испуг, барон поспешно вышел на воздух. У главных ворот дворца он столкнулся с тремя конюшими. С великим трудом и с опасно-

стью для жизни они сдерживали судорожно рвущегося из рук гигантского огненно-рыжего коня.

— Чей конь? Откуда он у вас? — хрипло, запальчиво спросил юноша, ибо он вдруг увидел, что это взбешенное животное — двойник загадочного коня на гобелене.

— Конь ваш, ваша светлость, — отвечал один из конюших, — по крайней мере никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он вынесся из горящих конюшен Берлифитцинга, бока у него курились, на губах пена. Мы подумали, он графский, из конюшни чужеземных коней, и отвели его назад. Но там конюхи его не признали. Странно это, ведь сразу видно, что он вырвался прямо из огня.

— И на лбу у него клеймо, очень четкое, УФБ, — вмешался второй конюший. — Вероятно, Уильям фон Берлифитцинг, но в замке все, как один, уверяют, будто никогда этого коня и в глаза не видали.

— Очень странно! — в недоумении сказал молодой барон, явно не задумываясь над смыслом своих слов. — Ведь и вправду удивительный, редкостный конь! Хотя, как вы весьма справедливо заметили, нрав у него подозрительный и непослушный. Что ж, пускай будет мой, — прибавил он, помолчав. — Быть может, Фредерик Метценгерштейн сумеет обуздать самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

— Вы ошиблись, ваша светлость. Мы уже говорили: лошадь эта не из конюшен графа. Будь она оттуда, мы бы не посмели привести ее пред глаза вашей светлости.

— В самом деле, — сухо заметил барон, и в этот миг из замка выбежал паж.

Он шепнул на ухо господину, что в верхней зале внезапно исчезла часть гобелена; сообщил также и подробности, но поведал он их едва слышным шепотом, так что ни одна не достигла ушей конюших, чье любопытство было сильно возбуждено.

Фредерик слушал, и его, казалось, обуревали самые разные чувства. Однако же скоро к нему вновь вернулось самообладание, и, когда он властно приказал немедленно запереть залу, о которой шла речь, и ключ от-

дать ему в собственные руки, лицо его выражало злую решимость.

— Вы слышали о неожиданной смерти старого Берлифитцинга? — спросил барона один из его вассалов, когда, после ухода пажа, могучий конь, которого этот вельможа согласился счесть своею собственностью, стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллее, ведущей от дворца к конюшням Метценгерштейна.

— Нет! — отвечал барон, резко оборотясь к говорящему. — Умер, вы говорите?

— Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Метценгерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие.

На губах барона промелькнула улыбка.

— Какою смертью он умер?

— Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода и сам погиб в пламени.

— Вот так! — промолвил барон, словно бы не вдруг освоясь с мыслью, сильно его взволновавшей.

— Вот так, — подтвердил вассал.

— Ужасно! — хладнокровно сказал юноша и спокойно вошел в свой дворец.

С этих пор в поведении беспутного молодого барона Фредерика фон Метценгерштейна произошла разительная перемена. Он, право же, обманул ожидания всех и вся и, на взгляд бесчисленных маменек, повел себя престранно; привычками своими и манерами он еще меньше, нежели прежде, походил теперь на своих аристократических соседей. Никто отныне никогда не встречал его за пределами его владений, и, несмотря на широкое знакомство, он все свое время проводил в полном одиночестве, разве только странный, неподатливый огненно-рыжий конь, с которого он теперь почти не слезал, по какому-то загадочному праву мог называться его другом.

Однако же он еще долгое время получал множество приглашений от соседей: «Не почтит ли барон наш праздник своим присутствием?», «Не соблаговолит ли барон принять участие в охоте на вепря?».

«Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не приедет», — надменно и коротко отвечал он.

Гордая знать не желала мириться со столь оскорбительной заносчивостью. Приглашения становились все менее радушными, приходили все реже, а со временем и вовсе прекратились. Говорят, вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразила надежду, что барону придется сидеть дома и тогда, когда ему совсем этого не захочется, ибо он презрел общество ровни, и придется скакать верхом, когда у него не будет к тому охоты, ибо он предпочел общество коня. Это, разумеется, была лишь весьма неумная вспышка наследственной розни; и она лишь доказывает, сколь бессмысленны бывают наши речи, когда мы желаем придать им особую силу.

Люди добросердечные объясняли, однако, перемену в поведении молодого вельможи вполне естественным горем сына, потрясенного безвременной смертью родителей, — они забывали при этом, как бессердечно и безрассудно вел он себя первое время после тяжелой этой утраты. Кое-кто полагал даже, что барон чересчур возомнил о своей особе и положении. Другие же (среди них можно назвать домашнего врача) уверенно говорили о склонности барона к болезненной меланхолии и о наследственной слабости здоровья; но большинство обменивалось зловещими намеками.

Упрямую привязанность барона к недавно приобретенному скакуну, привязанность, которая, кажется, становилась сильнее с каждым новым проявлением свирепой, демонической натуры этого животного, люди здравомыслящие в конце концов, конечно же, сочли чудовищной и зловещей страстью. Среди бела дня или в глухой час ночи, здоров ли он был или болен, в ясную погоду или в бурю молодой Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу гигантского коня, чья неукротимая дерзость так отвечала его собственному нраву.

Существовали еще к тому же обстоятельства, которые вместе с недавними событиями придавали сверхъестественный и опасный смысл одержимости наездника и свойствам коня. Было тщательно измерено расстояние, которое конь преодолевал одним прыжком, и оказалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым

воображением. Кроме того, барон не назвал этого скакуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его также находилась в отдалении от остальных; а кормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стойло не отваживался никто, кроме самого владельца.

Надо еще заметить, что, хотя трое конюших, которые поймали жеребца, когда он спасался из объятых пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его с помощью уздечки и аркана, однако же ни один не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной схватки или когда-либо после он коснулся самого коня. Проявления редкостного ума в повадках благородного и резвого животного не должны были бы возбудить особых толков, но некоторые обстоятельства взбудоражили даже самых недоверчивых и равнодушных, и, говорят, иной раз целая толпа, собравшаяся поглазеть на диковинного коня, шарахалась в ужасе, словно чувствовала, что неспроста он так свирепо бьет копытом, и даже молодой Метценгерштейн, случалось, бледнел и съеживался под его пронзительным, испытующим, совсем человеческим взглядом.

Среди многочисленной свиты барона никто, однако, не сомневался в пылкости той необыкновенной любви, которую молодой вельможа питал к буйному, норовистому коню; никто, кроме ничтожного и уродливого маленького пажа, чье уродство всем бросалось в глаза и чьи слова никто ни во что не ставил. У него хватало дерзости утверждать (если мнение его вообще заслуживает быть упомянутым), что всякий раз, как господин его вспрыгивал в седло, по его телу проходила непонятная, едва заметная дрожь; и всякий раз, как он возвращался с обычной своей долгой прогулки, лицо его было искажено злобным торжеством.

Однажды бурной ночью, очнувшись от тяжелой дремоты, Метценгерштейн точно безумный выбежал из своей спальни и, поспешно вскочив в седло, ускакал в лесную чащу. Так бывало не раз, и потому никто не беспокоился, а вот возвращения его домочадцы на сей раз ожидали в большой тревоге, ибо через несколько часов после его отъезда могучие и величественные стены дворца Метценгерштейна треснули до самого осно-

вания и зашатались, охваченные синевато-багровым неукротимым пламенем.

Когда огонь впервые заметили, дворец уже весь полыхал, и любые усилия спасти хоть какую-то его часть были, несомненно, обречены на неудачу, так что ошеломленные соседи празднично стояли вокруг и молча, хотя и сокрушенно, дивились происходящему. Но в скором времени новое и страшное зрелище приковало внимание собравшихся и доказало, что человеческие муки потрясают чувства толпы куда глубже, нежели самая страшная гибель предметов неодушевленных.

На аллею, обсаженную могучими дубами, что вела из лесу прямо к дворцу Метценгерштейна, стремительно, точно сам мятежный дух бури, вылетел конь, неся смятенного всадника.

Бесспорно, не всадник направлял эту неистовую скачку. Лицо его выражало муку, тело напряглось в сверхчеловеческом усилии, в кровь искусаны были губы, но лишь однажды вырвался у него короткий, пронзительный крик ужаса. Мгновение — и в реве огня и вое ветра отчетливо и резко простучали копыта, еще мгновение — и, одним прыжком перенесаясь через ворота и ров, конь вскочил на готовую рухнуть лестницу дворца и вместе с всадником исчез в бушующих вихрях пламени.

И сразу же буря утихла, и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя все еще, точно саваном, окутывало дворец и, устремившись в безмятежную высь, озарило все окрест каким-то сверхъестественным светом, а над зубчатыми крепостными стенами тяжело нависло облако дыма, в очертаниях которого явственно угадывался гигантский конь.

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ

Тому, кому осталось жить
не более мгновенья,
Уж больше нечего терять.

Ф и л и п п К и н о. Атис

Об отечестве моем и семействе сказать мне почти нечего. Несправедливость изгнала меня на чужбину, а долгие годы разлуки отдалили от родных. Богатое наследство позволило мне получить изрядное для тогдашнего времени образование, а врожденная пытливость ума дала возможность привести в систему сведения, накопленные упорным трудом в ранней юности. Превыше всего любил я читать сочинения немецких философов-моралистов — не потому, что красноречивое безумие последних внушало мне неразумный восторг, а лишь за ту легкость, с какою привычка к логическому мышлению помогала обнаруживать ложность их построений. Меня часто упрекали в сухой рассудочности, недостаток фантазии вменялся мне в вину как некое преступление, и я всегда слыл последователем Пиррона¹. Боюсь, что чрезмерная приверженность к натурфилософии и вправду сделала меня жертвою весьма распространенного заблуждения нашего века — я имею в виду привычку объяснять все явления, даже те, которые меньше всего поддаются подобному объяснению, принципами этой науки. Вообще говоря, казалось почти невероятным, чтобы *ignes fatui*² суеве-рия могли увлечь за суровые пределы истины человека моего склада. Я счел уместным предварить свой рассказ этим небольшим вступлением, дабы необыкновен-

¹ П и р р о н (ок. 365—275 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель античного скептицизма.

² Блуждающие огоньки (*лат.*).

ные происшествия, которые я намереваюсь изложить, не были сочтены скорее плодом безумного воображения, нежели действительным опытом человеческого разума, совершенно исключившего игру фантазии как пустой звук и мертвую букву.

Проведши много лет в заграничных путешествиях, я не имел причин ехать куда бы то ни было, однако же, снедаемый каким-то нервным беспокойством, — словно сам дьявол в меня вселился, — я в 18... году выехал из порта Батавия¹, что на богатом и густонаселенном острове Ява, в качестве пассажира корабля, совершавшего плавание вдоль островов Зондского архипелага. Корабль наш, великолепный парусник водоизмещением около четырехсот тонн, построенный в Бомбее из малабарского тикового дерева и обшитый медью, имел на борту хлопок и хлопковое масло с Лаккадивских островов, а также копру, пальмовый сахар, топленое масло из молока буйволиц, кокосовые орехи и несколько ящиков опиума. Погрузка была сделана кое-как, что сильно уменьшало остойчивость судна.

Мы покинули порт при еле заметном ветерке и в течение долгих дней шли вдоль восточного берега Явы. Однообразие нашего плавания лишь изредка нарушалось встречаей с небольшими каботажными судами с тех островов, куда мы держали свой путь.

Однажды вечером я стоял, прислонившись к поручням на юте, и вдруг заметил на северо-западе какое-то странное одинокое облако. Оно поразило меня как своим цветом, так и тем, что было первым, какое мы увидели со дня отплытия из Батавии. Я пристально наблюдал за ним до самого заката, когда оно внезапно распространилось на восток и на запад, опоясав весь горизонт узкой лентой тумана, напоминавшей длинную полосу низкого морского берега. Вскоре после этого мое внимание привлек темно-красный цвет луны и необычайный вид моря. Последнее менялось прямо на глазах, причем вода казалась гораздо прозрачнее обыкновенного. Хотя можно было совершенно ясно разли-

¹ Б а т а в и я — голландское название города Джакарта в Индонезии.

читать дно, я бросил лот и убедился, что под килем ровно пятнадцать фадомов¹. Воздух стал невыносимо горячим и был насыщен испарениями, которые клубились, словно жар, поднимающийся от раскаленного железа. С приближением ночи замерло последнее дыхание ветерка, и воцарился совершенно невообразимый штиль. Ничто не колебало пламени свечи, горевшей на юте, а длинный волос, который я держал указательным и большим пальцем, не обнаруживал ни малейшей вибрации. Однако капитан объявил, что не видит никаких признаков опасности, а так как наш корабль сносило лагом к берегу, он приказал убрать паруса и отдать якорь. На вахту никого не поставили, и матросы, большей частью малайцы, лениво растянулись на палубе. Я спустился вниз — признаться, не без дурных предчувствий. И в самом деле, все свидетельствовало о приближении тайфуна. Я поделился своими опасениями с капитаном, но он не обратил никакого внимания на мои слова и ушел, не удостоив меня ответом. Тревога, однако, не давала мне спать, и ближе к полуночи я снова поднялся на палубу. Поставив ногу на верхнюю ступеньку трапа, я вздрогнул от громкого гула, напоминавшего звук, производимый быстрым вращением мельничного колеса, но прежде чем смог определить, откуда он исходит, почувствовал, что судно задрожало всем своим корпусом. Секунду спустя огромная масса вспененной воды положила нас на бок и, прокатившись по всей палубе от носа до кормы, унесла в море все, что там находилось.

Между тем этот неистовый порыв урагана оказался спасительным для нашего корабля. Ветер сломал и сбросил за борт мачты, вследствие чего судно медленно выпрямилось, некоторое время продолжало шататься под страшным натиском шквала, но в конце концов стало на ровный киль.

Каким чудом избежал я гибели — объяснить невозможно. Оглушенный ударом волны, я постепенно пришел в себя и обнаружил, что меня зажало между румпелем и фальшбортом. С большим трудом поднявшись на ноги и растерянно оглядевшись, я сначала решил,

¹ Ф а д о м — английская мера длины, равная 1 м 83 см.

что нас бросило на рифы, ибо даже самая буйная фантазия не могла бы представить себе эти огромные вспененные буруны, словно стены, вздымавшиеся ввысь. Вдруг до меня донесся голос старого шведа, который сел на корабль перед самым отплытием из порта. Я что было силы закричал ему в ответ, и он, шатаясь, пробрался ко мне на корму. Вскоре оказалось, что в живых остались только мы двое. Всех, кто находился на палубе, кроме нас со шведом, смыло за борт, что же касается капитана и его помощников, то они, по-видимому, погибли во сне, ибо их каюты были доверху залиты водой. Лишенные всякой помощи, мы вдвоем едва ли могли предпринять что-либо для безопасности судна, тем более что вначале, пораженные ужасом, с минуты на минуту ожидали конца. При первом же порыве урагана наш якорный канат, разумеется, лопнул, как тонкая бечевка, и лишь благодаря этому нас тут же не перевернуло вверх дном. Мы с невероятной скоростью неслись вперед, и палубу то и дело захлестывало водой. Кормовые шпангоуты были основательно расшатаны, и все судно было сильно повреждено, однако, к великой нашей радости, мы убедились, что помпы работают исправно и что балласт почти не сместился. Буря уже начала стихать, и мы не усматривали большой опасности в силе ветра, а, напротив, со страхом ожидали той минуты, когда он прекратится совсем, в полной уверенности, что мертвая зыбь, которая за ним последует, непременно погубит наш потрепанный корабль. Но это вполне обоснованное опасение как будто ничем не подтверждалось. Пять суток подряд, — в течение коих единственное наше пропитание составляло небольшое количество пальмового сахара, который мы с великим трудом добывали на баке, — наше разбитое судно, подгоняемое шквальным ветром, который хотя и уступал по силе первым порывам тайфуна, был тем не менее гораздо страшнее любой пережитой мною прежде бури, мчалось вперед со скоростью, не поддающейся измерению. Первые четыре дня нас несло с незначительными отклонениями на юго-юго-восток, и мы, по-видимому, находились уже недалеко от берегов Новой Голландии ¹. На пятый день холод стал невыноси-

¹ Новая Голландия — прежнее название Австралии.

мым, хотя ветер изменил направление на один румб к северу. Взошло тусклое желтое солнце; поднявшись всего лишь на несколько градусов над горизонтом, оно почти не излучало света. Небо было безоблачно, но ветер свежел и налетал яростными порывами. Приблизительно в полдень — насколько мы могли судить — наше внимание опять привлек странный вид солнца. От него исходил не свет, а какое-то мутное, мрачное свечение, которое совершенно не отражалось в воде, как будто все его лучи были поляризованы. Перед тем как погрузиться в бушующее море, свет в середине диска внезапно погас, словно стертый какой-то неведомою силой, и в бездонный океан канул один лишь тусклый серебристый ободок.

Напрасно ожидали мы наступления шестого дня — для меня он и посейчас еще не наступил, а для старого шведа не наступит никогда. С этой поры мы были объаты такой непроглядною тьмой, что в двадцати шагах от корабля невозможно было ничего разобрать. Все плотнее окутывала нас вечная ночь, не нарушаемая даже фосфорическим свечением моря, к которому мы привыкли в тропиках. Мы также заметили, что, хотя буря продолжала свирепствовать с неудержимою силой, вокруг больше не было обычных вспененных бурунов, которые сопровождали нас прежде. Везде царили только ужас, непроницаемый мрак и вихрящаяся черная пустота. Суеверный страх постепенно овладел душою старого шведа, да и мой дух тоже был объят немым смятением. Мы перестали следить за кораблем, считая это занятие более чем бесполезным, и, как можно крепче привязав друг друга к основанию сломанной бизань-мачты, с тоскою взирали на бесконечный океан. У нас не было никаких средств для отсчета времени и никакой возможности определить свое местоположение. Правда, мы ясно видели, что продвинулись на юг дальше, чем кто-либо из прежних мореплавателей, и были чрезвычайно удивлены тем, что до сих пор не натолкнулись на обычные для этих широт льды. Между тем каждая минута могла стать для нас последней, ибо каждый огромный вал грозил опрокинуть наше судно. Высота их превосходила вся-

кое воображение, и я считал за чудо, что мы до сих пор еще не покоимся на дне пучины. Мой спутник упомянул о легкости нашего груза и обратил мое внимание на превосходные качества нашего корабля, но я невольно ощущал всю безнадежность надежды и мрачно приготовился к смерти, которую, как я полагал, ничто на свете не могло оттянуть более чем на час, ибо с каждою милей мертвая зыбь усиливалась, и гигантские черные валы становились все страшнее и страшнее. Порой у нас захватывало дух при подъеме на высоту, недоступную даже альбатросу, порою темнело в глазах при спуске в настоящую водяную преисподнюю, где воздух был зловонен и сперт и ни единый звук не нарушал дремоту морских чудовищ.

Мы как раз погрузились в одну из таких пропастей, когда в ночи раздался пронзительный вопль моего товарища. «Смотрите, смотрите! — кричал он мне прямо в ухо. — О, всемогущий боже! Смотрите!» При этих словах я заметил, что стены водяного ущелья, на дне которого мы находились, озарило тусклое багровое сияние; его мерцающий отблеск ложился на палубу нашего судна. Подняв свой взор кверху, я увидел зрелище, от которого кровь заледенела у меня в жилах. На огромной высоте прямо над нами, на самом краю крутого водяного обрыва, вздыбился гигантский корабль водоизмещением не меньше четырех тысяч тонн. Хотя он висел на гребне волны, во сто раз превышавшей его собственную высоту, истинные размеры его все равно превосходили размеры любого существующего на свете линейного корабля или судна Ост-Индской компании. Его колоссальный тускло-черный корпус не оживляли обычные для всех кораблей резные украшения. Из открытых портов торчали в один ряд медные пушки, полированные поверхности которых отражали огни бесчисленных боевых фонарей, качавшихся на снастях. Но особый ужас и изумление внушило нам то, что, презрев бушевавшее с неукротимой яростью море, корабль этот неся на всех парусах навстречу совершенно сверхъестественному ураганному ветру. Сначала мы увидели только нос корабля, медленно поднимавшегося из жуткого темного провала позади него. На

одно полное невыразимого ужаса мгновение он застыл на головокружительной высоте, как бы упиваясь своим величием, затем вздрогнул, затрепетал — и обрушился вниз.

В этот миг в душу мою снизошел непонятный покой. С трудом пробравшись как можно ближе к корме, я без всякого страха ожидал неминуемой смерти. Наш корабль не мог уже больше противостоять стихии и зарылся носом в надвигавшийся вал. Поэтому удар падавшей вниз массы пришелся как раз в ту часть его корпуса, которая была уже почти под водой, и как неизбежное следствие этого меня со страшною силой швырнуло на ванты незнакомого судна.

Когда я упал, это судно сделало поворот оверштаг, и, очевидно, благодаря последовавшей затем суматохе никто из команды не обратил на меня внимания. Никем не замеченный, я без труда отыскал грот-люк, который был слегка приоткрыт, и вскоре получил возможность спрятаться в трюме. Почему я так поступил, я, право, не могу сказать. Быть может, причиной моего стремления укрыться был беспредельный трепет, охвативший меня при виде матросов этого корабля. Я не желал вверять свою судьбу существам, которые при первом же взгляде поразили меня своим зловещим и странным обликом. Поэтому я счел за лучшее соорудить себе тайник в трюме и отодвинул часть временной переборки, чтобы в случае необходимости спрятаться между огромными шпангоутами.

Едва успел я подготовить свое убежище, как звук шагов в трюме заставил меня им воспользоваться. Мимо моего укрытия тихой, нетвердой поступью прошел какой-то человек. Лица его я разглядеть не мог, но имел возможность составить себе общее представление об его внешности, которая свидетельствовала о весьма преклонном возрасте и крайней немоции. Колени его сгибались под тяжестью лет, и все его тело дрожало под этим непосильным бременем. Слабым, прерывистым голосом бормоча что-то на неизвестном мне языке, он шарил в углу, где были свалены в кучу какие-то диковинные инструменты и полуистлевшие морские карты. Вся его манера являла собою смесь ка-

призной суетливости впавшего в детство старика и величавого достоинства бога. В конце концов он возвратился на палубу, и больше я его не видел.

Душой моей владеет новое чувство, имени которого я не знаю, ощущение, не поддающееся анализу, ибо для него нет объяснений в уроках былого, и даже само грядущее, боюсь, не подберет мне к нему ключа. Для человека моего склада последнее соображение убийственно. Никогда — я это знаю твердо — никогда не смогу я точно истолковать происшедшее. Однако нет ничего удивительного в том, что мое истолкование будет неопределенным — ведь оно обращено на предметы, столь абсолютно неизведанные. Дух мой обогатился каким-то новым знанием, проник в некую новую субстанцию.

Прошло уже немало времени с тех пор, как я вступил на палубу этого ужасного корабля, и мне кажется, что лучи моей судьбы уже начинают собираться в фокус. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, смысл которых я не могу разгадать, они, не замечая меня, проходят мимо. Прятаться от них в высшей степени бессмысленно, ибо они упорно не желают видеть. Не далее как сию минуту я прошел прямо перед глазами у первого помощника; незадолго перед тем я осмелился проникнуть в каюту самого капитана и вынес оттуда письменные принадлежности, которыми пишу и писал до сих пор. Время от времени я буду продолжать эти записки. Правда, мне может и не представиться okazия передать их людям, но я все же попытаюсь это сделать. В последнюю минуту я вложу рукопись в бутылку и брошу ее в море.

Произошло нечто, давшее мне новую пищу для размышлений. Не следует ли считать подобные явления нечаянной игрою случая? Я вышел на палубу и, не замечаемый никем, улегся на куче старых парусов и канатов, сваленных на дне шлюпки. Раздумывая о превратностях своей судьбы, я машинально водил кистью для дегтя по краю аккуратно сложенного лиселя, лежавше-

го возле меня на бочонке. Сейчас этот лисель поднят, и мои бездумные мазки сложились в слово ОТКРЫТИЕ.

В последнее время я сделал много наблюдений по части устройства этого судна. Несмотря на изрядное вооружение, оно, по-моему, никак не может быть военным кораблем. Его архитектура, оснастка и вообще все оборудование опровергают предположение подобного рода. Чем оно не может быть, я хорошо понимаю, а вот чем оно может быть, боюсь, сказать невозможно. Сам не знаю почему, но, когда я внимательно изучаю его необычные обводы и своеобразный рангоут, его огромные размеры и избыток парусов, строгую простоту его носа и старинную форму кормы, в уме моем то и дело проносятся какие-то знакомые образы и вместе с этой смутной тенью воспоминаний в памяти безотчетно всплывают древние иноземные хроники и века давно минувшие.

Я досконально изучил тимберсы корабля. Он построен из неизвестного мне материала. Это дерево обладает особым свойством, которое, как мне кажется, делает его совершенно непригодным для той цели, которой оно должно служить. Я имею в виду его необыкновенную пористость, даже независимо от того, что он весь источен червями (естественное следствие плаванья в этих морях), не говоря уже о трухлявости, неизменно сопровождающей старость. Пожалуй, мое замечание может показаться слишком курьезным, но это дерево имело бы все свойства испанского дуба, если бы испанский дуб можно было каким-либо сверхъестественным способом растянуть.

При чтении последней фразы мне приходит на память афоризм одного старого, выдавшего виды голландского морехода. Когда кто-нибудь высказывал сомнение в правдивости его слов, он, бывало, говаривал: «Это так же верно, как то, что есть на свете море, где даже судно растет подобно живому телу моряка».

Час назад, набравшись храбрости, я решился подойти к группе матросов. Они не обращали на меня ни малейшего внимания и, хотя я затесался в самую их гущу,

казалось, совершенно не замечали моего присутствия. Подобно тому, кого я в первый раз увидел в трюме, все они были отмечены печатью глубокой старости. Колени их дрожали от немоги, дряхлые спины сгорбились, высохшая кожа шуршала на ветру, надтреснутые голоса звучали глухо и прерывисто, глаза были затянуты мутной старческой пеленою, а седые волосы бешено трепала буря. Вся палуба вокруг них была завалена математическими инструментами необычайно замысловатой, устаревшей конструкции.

.
Недавно я упомянул о том, что подняли лисель. С этого времени корабль шел в полный бакштаг, продолжая свой зловеший путь прямо на юг под всеми парусами и поминутно окуная ноки своих брамрей в непостижимую для человеческого ума чудовищную бездну вод. Я только что ушел с палубы, где совершенно не мог устоять на ногах, между тем как команда, казалось, не испытывала никаких неудобств. Чудом из чудес представляется мне то обстоятельство, что огромный корпус нашего судна раз и навсегда не поглотила пучина. Очевидно, мы обречены постоянно пребывать на краю вечности, но так никогда и не рухнуть в бездну. С гребня валов, фантастические размеры которых в тысячу раз превосходят все, что мне когда-либо доводилось видеть, мы с легкой стремительностью чайки соскальзываем вниз, и колоссальные волны возносят над нами свои головы, словно демоны адских глубин, однако демоны, коим дозволены одни лишь угрозы, но не дано уничтожать. То, что мы все время чудом уходим от гибели, я склонен приписать единственной натуральной причине, которая может вызвать подобное следствие. Очевидно, корабль находится под воздействием какого-то сильного течения или бурного глубинного потока.

.
Я столкнулся лицом к лицу с капитаном, и притом в его же собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Пожалуй, ни одна черта его наружности не могла бы навести случайного наблюдателя на мысль, что он не принадлежит к числу смертных, и все же я взирал на него с чувством

благоговейного трепета, смешанного с изумлением. Он приблизительно одного со мною роста, то есть пяти футов восьми дюймов, и крепко, но пропорционально сложен. Однако необыкновенное выражение, застывшее на его лице — напряженное, невиданное, вызывающее нервную дрожь свидетельство старости столь бесконечной, столь несказанно глубокой, — вселяет мне в душу ощущение неизъяснимое. Чело его, на котором почти не видно морщин, отмечено, однако, печатью неисчислимого множества лет. Его седые бесцветные волосы — свидетели прошлого, а выцветшие серые глаза — пророчицы грядущего. На полу каюты валялось множество диковинных фолиантов с медными застежками, позеленевших научных инструментов и древних, давно забытых морских карт. Склонившись головою на руки, он вперил свой горячий, беспокойный взор в какую-то бумагу, которую я принял за капитанский патент и которая, во всяком случае, была скреплена подписью монарха. Он сердито бормотал про себя — в точности как первый моряк, которого я увидел в трюме, — слова какого-то чужеземного наречия, и, хотя я стоял почти рядом, его глухой голос, казалось, доносился до меня с расстояния в добрую милю.

Корабль и все находящееся на нем проникнуто духом Старины. Моряки скользят взад-вперед, словно призраки погребенных столетий, глаза их сверкают каким-то лихорадочным, тревожным огнем, и, когда в грозном мерцании боевых фонарей руки их нечаянно преграждают мне путь, я испытываю чувства, доселе не испытанные, хотя всю свою жизнь занимался торговлею древностями и так долго дышал тенями рухнувших колоннад Баальбека¹, Тадмора² и Персеполя³, что душа моя и сама превратилась в руину.

¹ Б а а л ь б е к — развалины древнего города в Сирии, где находился храм бога Солнца.

² Т а д м о р — населенный пункт в центральной части Сирии, где находятся развалины Пальмиры, столицы одноименного государства, взятой и разрушенной римлянами в 273 г.

³ П е р с е п о л ь — столица древней Персии. В 330 г. до н. э. Александр Македонский сжег значительную часть города, разграбив его сокровища.

Оглядываясь вокруг, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от шквала, сопровождавшего нас до сих пор, то разве не должна поразить меня ужасом схватка океана и ветра, для описания коей слова «смерч» и «тайфун», пожалуй, слишком мелки и ничтожны? В непосредственной близости от корабля царит непроглядный мрак вечной ночи и хаос беспенных волн, но примерно в одной лиге по обе стороны от нас виднеются там и сям смутные силуэты огромных ледяных глыб, которые, словно бастионы мироздания, возносятся в пустое безотрадное небо свои необозримые вершины.

Как я и думал, корабль попал в течение, если это наименование может дать хоть какое-то понятие о бешеном грозном потоке, который, с неистовым ревом прорываясь сквозь белое ледяное ущелье, стремительно катится к югу.

Постигнуть весь ужас моих ощущений, пожалуй, совершенно невозможно; однако страстное желание проникнуть в тайны этого чудовищного края превосходит даже мое отчаяние и способно примирить меня с самым ужасным концом. Мы, без сомнения, быстро приближаемся к какому-то ошеломляющему открытию, к разгадке некоей тайны, которой ни с кем не сможем поделиться, ибо заплатим за нее своею жизнью. Быть может, это течение ведет нас прямо к Южному полюсу. Следует признать, что многое свидетельствует в пользу этого предположения, на первый взгляд, по-видимому, столь невероятного.

Матросы беспокойным, неверным шагом с тревогою бродят по палубе, но на лицах их написана скорее трепетная надежда, нежели безразличие отчаяния.

Между тем ветер все еще дует нам в корму, а так как мы несем слишком много парусов, корабль по временам прямо-таки взмывает в воздух! Внезапно — о беспредельный чудовищный ужас! — справа и слева от нас льды расступаются, и мы с головокружительной скоростью начинаем описывать концентрические круги

вдоль краев колоссального амфитеатра, гребни стен которого теряются в непроглядной дали. Однако для размышлений об ожидающей меня участи остается теперь слишком мало времени! Круги быстро сокращаются — мы стремглав ныряем в самую пасть водоворота, и среди неистового рева, грохота и воя океана и бури наш корабль вздрагивает и — о боже! — низвергается в бездну!

Примечание. «Рукопись, найденная в бутылке» была впервые опубликована в 1831 году, и лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых океан представлен в виде четырех потоков, устремляющихся в (северный) Полярный залив, где его должны поглотить недра земли, тогда как самый полюс представлен в виде черной скалы, вздымающейся на огромную высоту.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕКОЕГО ГАНСА ПФААЛЯ

Мечтам безумным сердца
Я властелин отныне,
С горящим копьем и воздушным конем
Скитаюсь я в пустыне.

Песня Тома из Бедлама

Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени — я в этом не сомневаюсь — будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор.

Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца (я не могу сообщить точной даты¹) огромная толпа почему-то собралась на Биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый — совсем не по времени года, — без малейшего ветерка; и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось оттого, что иногда ее спрыскивал мгновенный легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небосводу. Тем не менее около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство: десять тысяч языков забормотали разом; спустя мгновение десять тысяч трубок, словно по приказу, вылетели из десяти тысяч ртов, и продолжительный, громкий, дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама.

¹ Из всего дальнейшего описания следует, что По имеет в виду 1 апреля — день обманов.

Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто — даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук — не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул — затем снова переступил с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма.

Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затяжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был... нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слышал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии — никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся или, точнее сказать, над носом колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по сообщению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз. Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, — ряд маленьких инстру-

ментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная касторовая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее, в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по-видимому человеческих, вперемешку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию.

Воздушный шар (так как это был, несомненно, воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувырнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человечка совершенно не соответствовала росту и придавала всей его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно. Руки отличались громадными размерами. Седые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный, крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо на голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем

был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодцевато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь.

Когда оставалось, как уже сказано, каких-нибудь сто футов до земли, старичок внезапно засуетился, по-видимому не желая приближаться еще более к terra firma¹. С большим усилием подняв полотняный мешок, он отсыпал из него немного песку, и шар на мгновение остановился в воздухе. Затем старичок торопливо вытащил из бокового кармана большую записную книжку в сафьяновом переплете и подозрительно взвесил в руке, глядя на нее с величайшим изумлением, очевидно пораженный ее тяжестью. Потом открыл книжку и, достав из нее пакет, запечатанный сургучом и тщательно перевязанный красною тесемкой, бросил его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука. Его превосходительство нагнулся, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-прежнему в сильнейшем волнении и, очевидно, считая свои дела в Роттердаме поконченными, начал в ту самую минуту готовиться к отлету. Для этого потребовалось облегчить гондолу, и вот с полдюжины мешков, которые он выбросил, не потрудившись предварительно опорожнить их, один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника столько же раз перекувырнуться на глазах у всего города. Не следует думать, однако, что великий Ундердук оставил безнаказанной наглую выходку старикашки. Напротив, рассказывают, будто он, падая, каждый раз выпускал не менее полдюжины огромных и яростных клубов из своей трубки, которую все время крепко держал в зубах и намерен был держать (с божьей помощью) до последнего своего вздоха.

Тем временем воздушный шар взвился, точно жаворонок, на громадную высоту и вскоре, исчезнув за облаком, в точности похожим на то, из-за которого он так неожиданно выплыл, скрылся навеки от изумленных взоров добрых роттердамцев. Внимание всех устремилось теперь на письмо, падение которого и последовавшие затем происшествия оказались столь оскорбитель-

¹ твердой земле (лат.).

ными для персоны и персонального достоинства его превосходительства ван Ундердука. Тем не менее этот сановник во время своих коловращений не упускал из вида письмо, которое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, попало в надлежащие руки, будучи адресовано ему и профессору Рубадубу как президенту и вице-президенту Роттердамского астрономического общества. Итак, названные сановники распечатали письмо тут же на месте и нашли в нем следующее необычное и весьма важное сообщение:

«Их превосходительствам господину ван Ундердуку и господину Рубадубу, президенту и вице-президенту Астрономического общества в городе Роттердаме.

Быть может, ваши превосходительства сообразоволят припомнить Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой мехов для раздувания огня, — который вместе с тремя другими обывателями исчез из города Роттердама около пяти лет тому назад при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных. Как бы то ни было, с позволения ваших превосходительств, я, автор настоящего сообщения, и есть тот самый Ганс Пфааль. Большинству моих сограждан известно, что в течение сорока лет я занимал небольшой кирпичный дом в конце переулка, именуемого переулком Кислой Капусты, где проживал вплоть до дня моего исчезновения. Предки мои с незапамятных времен обитали там же, подвизаясь на том же почетном и весьма прибыльном поприще починки мехов для раздувания огня. Ибо, говоря откровенно, до последних лет, когда весь народ прямо помешался на политике, ни один честный роттердамский гражданин не мог бы пожелать или заслужить право на лучшую профессию. Я пользовался широким кредитом, в работе никогда не было недостатка — словом, и денег и заказов было вдоволь. Но, как я уже сказал, мы скоро почувствовали, к чему ведет пресловутая свобода, бесконечные речи, радикализм и тому подобные штуки. Людям, которые раньше являлись нашими лучшими клиентами, теперь некогда было и подумать о нас, грешных. Они только и знали, что читать о революциях, следить за успехами человеческой мысли и приспосабливаться к духу времени. Если требовалось растопить очаг, огонь раздува-

ли газетой; я не сомневаюсь, что, по мере того как правительство становилось слабее, железо и кожа выигрывали в прочности, так как в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось и пары мехов, которые требовали бы помощи иглы или молотка. Словом, положение сделалось невыносимым. Вскоре я уже был беден как мышь, а надо было кормить жену и детей. В конце концов мне стало просто невтерпёж, и я проводил целые часы, обдумывая, каким бы способом лишиться себя жизни; но кредиторы не оставляли мне времени для размышлений. Мой дом буквально подвергался осаде с утра и до вечера. Трое заимодавцев особенно допекали меня, часами подстерегая у дверей и грозя судом. Я поклялся жестоко отомстить им, если только когда-нибудь они попадутся мне в лапы, и думаю, что лишь предвкушение этой мести помешало мне немедленно привести в исполнение мой план покончить с жизнью и раздробить себе череп выстрелом из мушкетона. Как бы то ни было, я счел за лучшее затаить свою злобу и умасливать их ласковыми словами и обещаниями, пока благоприятный оборот судьбы не доставит мне случая для мести.

Однажды, ускользнув от них и чувствуя себя более чем когда-либо в угнетенном настроении, я бесцельно бродил по самым глухим улицам, пока не завернул случайно в лавочку букиниста. Увидев стул, приготовленный для посетителей, я угрюмо опустился на него и машинально раскрыл первую попавшуюся книгу. Это оказался небольшой полемический трактат по теоретической астрономии, сочинение не то берлинского профессора Энке, не то француза с такой же фамилией. Я немножко маракую в астрономии и вскоре совершенно углубился в чтение; я прочел книгу дважды, прежде чем сообразил, где я и что я. Тем временем стемнело, и пора было идти домой. Но книжка (в связи с новым открытием по части пневматики, тайну которого сообщил мне недавно один мой родственник из Нанта) произвела на меня неизгладимое впечатление, и, блуждая по темным улицам, я размышлял о странных и не всегда понятных рассуждениях автора. Некоторые места особенно поразили мое воображение. Чем больше я раздумывал над ними, тем сильнее они занимали

меня. Недостаточность моего образования и, в частности, отсутствие знаний по естественным наукам отнюдь не внушали мне недоверия к моей способности понять прочтенное или к тем смутным сведениям, которые явились результатом чтения, — все это только пуще разжигало мое воображение. Я был настолько безрассуден или настолько рассудителен, что спрашивал себя: точно ли нелепы фантастические идеи, возникающие в причудливых умах, и не обладают ли они в ряде случаев силой, реальностью и другими свойствами, присущими инстинкту или вдохновению?

Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком взбудоражена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой с приобретенными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые считал достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался умяснить трех кредиторов, столь жестоко донимавших меня. В конце концов я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проектец, в осуществлении которого они (люди совершенно невежественные) согласились мне помочь.

Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предлогами и (со стыдом должен сознаться) не имея притом никаких надежд возратить эти долги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я поменьку накупил: очень тонкого кембрикового муслина, кусками по двенадцати ярдов каждый, веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного

шара огромных размеров. Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу как можно скорее; сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, вместимостью в пятьдесят галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, запас *особого металлического вещества, или полуметалла*, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей *самой обыкновенной кислоты*. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал — или по крайней мере он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза *меньше плотности водорода*. Он не имеет вкуса, но обладает запахом; очищенный — горит зеленоватым пламенем и безусловно смертелен для всякого живого существа. Я мог бы описать его во всех подробностях, но, как уже намекнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нантскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что в конце концов кембриковый муслин, покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упоминая об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нантский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью нового газа и материала, о котором я говорил выше, — и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.

На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в двадцать пять футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался по-

ставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из пяти маленьких ям ящик с порохом, по пятидесяти фунтов в каждом, а в большую — бочонок со ста пятьюдесятью фунтами пушечного пороха. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящиков фитиль в четыре фута длиною, я прикрыл его бочкой, так что конец фитиля высывался из-под нее только на дюйм; потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.

Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат господина Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных изменений. Но путем упорного труда и неустойчивой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более сорока тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, мои запасы и сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, так же прочен, но гораздо дешевле.

Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку; затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распрощался с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена, что называется, ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем, дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой в качестве адъютантов трех кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил к делу.

Было первое апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма

скверно. Но पुще всего меня беспокоил шар, который, хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу, и как можно ретивее: толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоедали мне вопросами — к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве? Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом; а до моей души им, конечно, не было никакого дела, — лишь бы я уплатил долг да прибавил малую толику за услуги.

Через четыре с половиной часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж: зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колокольчик, рупор и прочее и прочее; кроме того, тщательно закупоренный пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашеной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов, главным образом пеммикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку.

Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уронив, словно нечаянно, сигару, я воспользовался этим предлогом и, поднимая ее, зажег кончик фитиля, высовывавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно не замеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал ве-

ревку, прикреплявшую шар к земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собою сто семьдесят пять фунтов балласта (а мог бы унести вдвое больше). В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр — 19°.

Но едва я поднялся на высоту пятидесяти ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, расплавленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал и что главные последствия толчка еще впереди. И точно, не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам и тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду. Казалось, рушится самый небосвод. Впоследствии, размышляя над этим приключением, я понял, что причиной столь непомерной силы взрыва было положение моего шара как раз на линии сильнейшего действия этого взрыва. Но в ту минуту я думал только о спасении жизни. Сначала шар съезжился, потом завертелся с ужасающей быстротой и, наконец, крутясь и шатаясь, точно пьяный, выбросил меня из корзины, так что я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой бечевке фута в три длиною, случайно проскользнувшей в отверстие близ дна корзины и каким-то чудом обмотавшейся вокруг моей левой ноги. Невозможно, решительно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, дрожь, точно при лихорадке, сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу, — и, наконец, я лишился чувств.

Долго ли я провисел в таком положении, решительно не знаю. Должно быть, немало времени, ибо, когда я начал приходить в сознание, утро уже наступило, шар неся на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и ни признака земли не было видно по всему широкому кругу горизонта. Я, однако, вовсе не испытывал такого отчаяния, как можно было ожидать. В самом деле, было что-то безумное в том спокойствии, с каким я принялся обсуждать свое положение. Я под-

нес к глазам одну руку, потом другую и удивился, отчего это вены на них налились кровью и ногти так страшно посинели. Затем тщательно исследовал голову, несколько раз потрянул ею, ощупал очень подробно и наконец убедился, к своему удовольствию, что она отнюдь не больше воздушного шара, как мне сначала представилось. Потом я ощупал карманы брюк и, не найдя в них записной книжки и футлярчика с зубочистками, долго старался объяснить себе, куда они девались, но, не успев в этом, почувствовал невыразимое огорчение. Тут я ощутил крайнюю неловкость в левой лодыжке, и у меня явилось смутное сознание моего положения. Но странное дело — я не был удивлен и не ужаснулся. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, что так ловко выпутаюсь из стоявшей передо мной дилеммы, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался глубокому раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я поджимал губы, приставлял палец к носу и делал другие жесты и гримасы, как это в обычае у людей, когда они, спокойно сидя в своем кресле, размышляют над запутанными или сугубо важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я очень спокойно и осторожно засунул руки за спину и снял с ремня, стягивавшего мои панталоны, большую железную пряжку. На ней было три зубца, несколько заржавевшие и потому с трудом повертывавшиеся вокруг своей оси. Тем не менее мне удалось поставить их под прямым углом к пряжке, и я с удовольствием убедился, что они держатся в этом положении очень прочно. Затем, взяв в зубы пряжку, я постарался развязать галстук, что мне удалось не сразу, но в конце концов удалось. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг запястья. Затем со страшным усилием мускулов качнулся вперед и забросил ее в корзину, где, как я и ожидал, она застряла в петлях плетения.

Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не значит, что оно только на сорок пять градусов отклонялось от вертикальной линии. Напротив, я лежал почти горизонтально, так как, переменив положение, заста-

вил корзину сильно накрениться, и мне по-прежнему угрожала большая опасность. Но если бы, вылетев из корзины, я повис лицом к шару, а не наружу, если бы веревка, за которую я зацепился, перекинулась через край корзины, а не выскользнула в отверстие на дне, мне не удалось бы даже то небольшое, что удалось теперь, и мои открытия были бы утрачены для потомства. Итак, я имел все основания благодарить судьбу. Впрочем, в эту минуту я все еще был слишком ошеломлен, чтобы испытывать какие-либо чувства, и с добрые четверть часа провисел совершенно спокойно, в бессмысленно-радостном настроении. Вскоре, однако, это настроение сменилось ужасом и отчаянием. Я понял всю меру своей беспомощности и близости к гибели. Дело в том, что кровь, застоявшаяся так долго в сосудах головы и гортани и доведшая мой мозг почти до бреда, мало-помалу отхлынула, и прояснившееся сознание, раскрыв передо мною весь ужас положения, в котором я очутился, только лишило меня самообладания и мужества. К счастью, этот припадок слабости не был продолжителен. На помощь мне явилось отчаяние: с яростным криком, судорожно извиваясь и раскачиваясь, я стал метаться, как безумный, пока наконец, уцепившись, точно клещами, за край корзины, не перекинулся через него и, весь дрожа, не свалился на дно.

Лишь спустя некоторое время я опомнился настолько, что мог приняться за осмотр воздушного шара. К моей великой радости, он оказался неповрежденным. Все мои запасы уцелели; я не потерял ни провизии, ни балласта. Впрочем, я уложил их так тщательно, что это и не могло случиться. Часы показывали шесть. Я все еще быстро поднимался; высотомер показывал высоту в три и три четверти мили. Как раз подо мною, на океане, виднелся маленький черный предмет — продолговатый, величиной с косточку домино, да и всем видом напоминавший ее. Направив на него зрительную трубку, я убедился, что это девяносточетырехпушечный, тяжело нагруженный английский корабль, — он медленно шел в направлении вест-зюйд-вест. Кроме него, я видел только море, небо и солнце, которое давно уже вошло.

Но пора мне объяснить вашим превосходительством цель моего путешествия. Ваши превосходительства соблаговолят припомнить, что расстроенные обстоятельства в конце концов заставили меня прийти к мысли о самоубийстве. Это не значит, однако, что жизнь сама по себе мне опротивела, — нет, мне стало только невтерпёж мое бедственное положение. В этом-то состоянии, желая жить и в то же время измученный жизнью, я случайно прочел книжку, которая, в связи с открытием моего нантского родственника, доставила обильную пищу моему воображению. И тут я наконец нашел выход. Я решил исчезнуть с лица земли, оставшись тем не менее в живых; покинуть этот мир, продолжая существовать, — одним словом, я решил во что бы то ни стало добраться до *Луны*. Чтобы не показаться совсем сумасшедшим, я теперь постараюсь изложить, как умею, соображения, в силу которых считал это предприятие — бесспорно трудное и опасное — все же не совсем безнадежным для человека отважного.

Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии луны от земли. Известно, что среднее расстояние между *центрами* этих двух небесных тел равно 59,9643 экваториальных *радиусов* земного шара, что составляет всего 237 000 миль. Я говорю о среднем расстоянии; но так как орбита луны представляет собой эллипс, эксцентриситет которого достигает в длину не менее 0,05484 большой полуоси самого эллипса, а земля расположена в фокусе последнего, — то, если бы мне удалось встретить луну в перигелии, вышеуказанное расстояние сократилось бы весьма значительно. Но, даже оставив в стороне эту возможность, достаточно вычесть из этого расстояния радиус земли, то есть 4000, и радиус луны, то есть 1080, а всего 5080 миль, и окажется, что средняя длина пути при обыкновенных условиях составит 231 920 миль. Расстояние это не представляет собой ничего чрезвычайного. Путешествия на земле сплошь и рядом совершаются со средней скоростью 60 миль в час, и, без сомнения, есть полная возможность увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, то, чтобы достичь луны, потребуется не более 161 дня. Однако различные соображения заставляли меня ду-

мать, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет шестьдесят миль в час, и так как эти соображения оказали глубокое воздействие на мой ум, то я изложу их подробнее.

Прежде всего останавлиюсь на следующем весьма важном пункте. Показания приборов при полетах говорят нам, что на высоте 1000 футов над поверхностью земли мы оставляем под собой около одной тридцатой части всей массы атмосферного воздуха, на высоте 1060 футов — около трети, а на высоте 18 000 футов, то есть почти на высоте Котопакси, под нами остается половина, — по крайней мере половина весомой массы воздуха, облегающего нашу планету. Вычислено также, что на высоте, не превосходящей одну сотую земного диаметра, то есть не более восьмидесяти миль, атмосфера разрежена до такой степени, что самые чувствительные приборы не могут обнаружить ее присутствия, и жизнь животного организма становится невозможной. Но я знал, что все эти расчеты основаны на опытном изучении свойств воздуха и законов его расширения и сжатия в непосредственном соседстве с землей, причем считается доказанным, что свойства животного организма не могут меняться ни на каком расстоянии от земной поверхности. Между тем выводы, основанные на таких данных, без сомнения, проблематичны. Наибольшая высота, на которую когда-либо поднимался человек, достигнута аэронавтами гг. Гей-Люссаком¹ и Био², поднявшимися на 25 000 футов. Высота очень незначительная, даже в сравнении с упомянутыми восьмьюдесятью милями. Стало быть, рассуждал я, тут останется мне немало места для сомнений и полный простор для догадок.

Кроме того, количество весомой атмосферы, которую шар оставляет за собою при подъеме, отнюдь не находится в прямой пропорции к высоте, а (как видно из вышеприведенных данных) в постоянно убывающем *ratio*³. Отсюда ясно, что, на какую бы высоту мы ни

¹ Гей-Люссак, Жозеф Луи (1778—1850) — французский химик и физик. 2 августа и 16 сентября 1804 г. осуществил полеты на воздушном шаре с научной целью.

² Био, Жан Батист (1775—1862) — французский физик и астроном. В 1804 г. вместе с Гей-Люссаком совершил полет на аэростате с целью изучения свойств воздуха на различных высотах.

³ Здесь: порядке (*лат.*).

поднялись, мы никогда не достигнем такой границы, выше которой вовсе не существует атмосферы. Она должна существовать, рассуждал я, хотя, быть может, в состоянии бесконечного разрежения.

С другой стороны, мне было известно, что есть достаточно оснований допускать существование реальной определенной границы атмосферы, выше которой воздуха безусловно нет. Но одно обстоятельство, упущенное из виду защитниками этой точки зрения, заставляло меня сомневаться в ее справедливости и, во всяком случае, считать необходимой серьезную проверку. Если сравнить интервалы между регулярными появлениями кометы Энке в ее перигелии, принимая в расчет возмущающее действие притяжения планет, то окажется, что эти интервалы постепенно уменьшаются, то есть главная ось орбиты становится все короче. Так и должно быть, если допустить существование чрезвычайно разреженной эфирной среды, сквозь которую проходит орбита кометы. Ибо сопротивление подобной среды, замедляя движение кометы, очевидно, должно увеличивать ее центростремительную силу, уменьшая центробежную. Иными словами, действие солнечного притяжения постоянно усиливается, и комета с каждым периодом приближается к солнцу. Другого объяснения этому изменению орбиты не придумаешь. Кроме того, замечено, что поперечник кометы быстро уменьшается с приближением к солнцу и столь же быстро принимает прежнюю величину при возвращении кометы в афелий. И разве это кажущееся уменьшение объема кометы нельзя объяснить, вместе с господином Вальцом, ступением вышеупомянутой эфирной среды, плотность которой увеличивается по мере приближения к солнцу? Явление, известное под именем зодиакального света, также заслуживает внимания. Чаще всего оно наблюдается под тропиками и не имеет ничего общего со светом, излучаемым метеорами. Это светлые полосы, тянущиеся от горизонта наискось и вверх, по направлению солнечного экватора. Они, несомненно, имеют связь не только с разреженной атмосферой, простирающейся от солнца по меньшей мере до орбиты Венеры, а по моему мнению, и гораздо дальше¹. В самом

¹ Этот зодиакальный свет, по всей вероятности, то же самое, что древние называли «огненными столбами». См.: *Плиний, II, 26. (Прим. авт.)*

деле, я не могу допустить, чтобы эта среда ограничивалась орбитой кометы или пространством, непосредственно примыкающим к солнцу. Напротив, гораздо легче предположить, что она наполняет всю нашу планетную систему, сгущаясь поблизости от планет и образуя то, что мы называем атмосферными оболочками, которые, быть может, также изменялись под влиянием геологических факторов, то есть смешивались с испарениями, выделявшимися той или другой планетой. Остановившись на этой точке зрения, я больше не стал колебаться. Предполагая, что всюду на своем пути найду атмосферу, в основных чертах сходную с земной, я надеялся, что мне удастся с помощью остроумного аппарата господина Гримма сгустить ее в достаточной степени, чтобы дышать. Таким образом, главное препятствие для полета на луну устранялось. Я затратил немало труда и изрядную сумму денег на покупку и усовершенствование аппарата и не сомневался, что он успешно выполнит свое назначение, лишь бы путешествие не затянулось. Это соображение заставляет меня вернуться к вопросу о возможной скорости такого путешествия.

Известно, что воздушные шары в первые минуты взлета поднимаются сравнительно медленно. Быстрота подъема всецело зависит от разницы между плотностью атмосферного воздуха и газа, наполняющего шар. Если принять в расчет это обстоятельство, то покажется совершенно невероятным, чтобы скорость восхождения могла увеличиться в верхних слоях атмосферы, плотность которых быстро уменьшается. С другой стороны, я не знаю ни одного отчета о воздушном путешествии, в котором бы сообщалось об уменьшении скорости по мере подъема; а между тем она, несомненно, должна бы была уменьшаться — хотя бы вследствие просачивания газа сквозь оболочку шара, покрытую обыкновенным лаком, — не говоря о других причинах. Одна эта потеря газа должна бы тормозить ускорение, возникающее в результате удаления шара от центра земли. Имея в виду все эти обстоятельства, я полагал, что если только найду на моем пути среду, о которой упоминал выше, и если эта среда в основных своих свойствах будет представлять собой то самое, что мы

называем атмосферным воздухом, то степень ее разрежения не окажет особого влияния — то есть не отразится на быстроте моего взлета, — так как по мере разрежения среды станет соответственно разрежаться и газ внутри шара (для предотвращения разрыва оболочки я могу выпускать его по мере надобности с помощью клапана); в то же время, оставаясь тем, что он есть, газ всегда окажется относительно легче, чем какая бы то ни была смесь азота с кислородом. Таким образом, я имел основание надеяться — даже, собственно говоря, быть почти уверенным, — что ни в какой момент моего взлета мне не придется достигнуть пункта, в котором вес моего огромного шара, заключенного в нем газа, корзины и ее содержимого превзойдет вес вытесняемого ими воздуха. А только это последнее обстоятельство могло бы остановить мое восхождение. Но если даже я и достигну такого пункта, то могу выбросить около трехсот фунтов балласта и других материалов. Тем временем сила тяготения будет непрерывно уменьшаться пропорционально квадратам расстояний, а скорость полета увеличиваться в чудовищной прогрессии, так что в конце концов я попаду в сферу, где земное притяжение уступит место притяжению луны.

Еще одно обстоятельство несколько смущало меня. Замечено, что при подъеме воздушного шара на значительную высоту воздухоплаватель испытывает, помимо затрудненного дыхания, ряд болезненных ощущений, сопровождающихся кровотечением из носа и другими тревожными признаками, которые усиливаются по мере подъема¹. Это обстоятельство наводило на размышления весьма неприятного свойства. Что, если эти болезненные явления будут все усиливаться и окончатся смертью? Однако я решил, что этого вряд ли следует опасаться. Ведь их причина заключается в постепенном уменьшении обычного атмосферного давления на поверхность тела и в соответственном расширении по-

¹ После опубликования отчета Ганса Пфааля я узнал, что известный аэронавт мистер Грин и другие позднейшие воздухоплаватели опровергают мнение Гумбольдта об этом предмете и говорят об уменьшении болезненных явлений, — вполне согласно с изложенной здесь теорией. (Прим. авт.)

верхностных кровяных сосудов, а не в расстройстве органической системы, как при затрудненном дыхании, вызванном тем, что разреженный воздух по своему химическому составу недостаточен для обновления крови в желудочках сердца. Оставив в стороне это недостаточное обновление крови, я не вижу, почему бы жизнь не могла продолжаться даже в вакууме, так как расширение и сжатие груди, называемое обычно дыханием, есть чисто мышечное явление и вовсе не следствие, а причина дыхания. Словом, я рассудил, что, когда тело привыкнет к недостаточному атмосферному давлению, болезненные ощущения постепенно уменьшатся, а я пока что уж как-нибудь перетерплю, здоровье у меня железное.

Таким образом, я, с позволения ваших превосходительств, подробно изложил некоторые — хотя далеко не все — соображения, которые легли в основу моего плана путешествия на луну. А теперь возвращусь к описанию результатов моей попытки — с виду столь безрассудной и, во всяком случае, единственной в летописях человечества.

Достигнув уже упомянутой высоты в три и три четверти мили, я выбросил из корзины горсть перьев и убедился, что шар мой продолжает подниматься с достаточной быстротой и, следовательно, пока нет надобности выбрасывать балласт. Я был очень доволен этим обстоятельством, так как хотел сохранить как можно больше тяжести, не зная наверняка, какова степень притяжения луны и плотность лунной атмосферы. Пока я не испытывал никаких болезненных ощущений, дышал вполне свободно и не чувствовал ни малейшей головной боли. Кошка расположилась на моем пальто, которое я снял, и с напускным равнодушием поглядывала на голубей. Голуби, которых я привязал за ноги, чтобы они не улетели, деловито клевали зерна риса, насыпанные на дно корзины. В двадцать минут седьмого высотомер показал высоту в 26 400 футов, то есть пять с лишним миль. Простор, открывавшийся подо мною, казался безграничным. На самом деле, с помощью сферической тригонометрии нетрудно вычислить, какую часть земной поверхности я мог охватить взглядом. Ведь выпуклая поверхность сегмента шара отно-

сится ко всей его поверхности, как обращенный синус сегмента к диаметру шара. В данном случае обращенный синус — то есть, иными словами, толщина сегмента, находившегося подо мною, почти равнялась расстоянию, на котором я находился от Земли, или высоте пункта наблюдения; следовательно, часть земной поверхности, доступная моему взору, выражалась отношением пяти миль к восьми тысячам. Иными словами, я видел одну тысячесотую часть всей земной поверхности. Море казалось гладким, как зеркало, хотя в зрительную трубу я мог убедиться, что волнение на нем очень сильное. Корабль давно исчез в восточном направлении. Теперь я по временам испытывал жестокую головную боль, в особенности за ушами, хотя дышал довольно свободно. Кошка и голуби чувствовали себя, по-видимому, как нельзя лучше.

Без двадцати минут семь мой шар попал в слой густых облаков, которые причинили мне немало неприятностей, повредив сгущающий аппарат и промочив меня до костей. Это была, без сомнения, весьма странная встреча: я никак не ожидал, что подобные облака могут быть на такой огромной высоте. Все же я счел за лучшее выбросить два пятифунтовых мешка с балластом, оставив про запас сто шестьдесят пять фунтов. После этого я быстро выбрался из облаков и убедился, что скорость подъема значительно возросла. Спустя несколько секунд после того, как я оставил под собой облако, молния прорезала его с одного конца до другого, и все оно вспыхнуло, точно груды раскаленного угля. Напомню, что это происходило при ясном дневном свете. Никакая фантазия не в силах представить себе великолепие подобного явления; случись оно ночью, оно было бы точной картиной ада. Даже теперь волосы поднялись дыбом на моей голове, когда я смотрел в глубь этих зияющих бездн и мое воображение блуждало среди огненных зал с причудливыми сводами, развалин и пропастей, озаренных багровым, нездешним светом. Я едва избежал опасности. Если бы шар помедлил еще немного внутри облака — иными словами, если бы сырость не заставила меня выбросить два мешка с балластом — последствием могла быть — и была бы, по всей вероятности, — моя гибель. Такие случайности для

воздушного шара, может быть, опаснее всего, хотя их обычно не принимают в расчет. Тем временем я оказался уже на достаточной высоте, чтобы считать себя застрахованным от дальнейших приключений в том же роде.

Я продолжал быстро подниматься, и к семи часам высотомер показал высоту не менее девяти с половиной миль. Мне уже становилось трудно дышать, голова мучительно болела, с некоторых пор я чувствовал какую-то влагу на щеках и вскоре убедился, что из ушей у меня течет кровь. Глаза тоже болели; когда я провел по ним рукой, мне показалось, что они вылезли из орбит; все предметы в корзине и самый шар приняли уродливые очертания. Эти болезненные симптомы оказались сильнее, чем я ожидал, и не на шутку встревожили меня. Расстроенный, хорошенько не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я совершил нечто в высшей степени неблагоразумное: выбросил из корзины три пятифунтовых мешка с балластом. Шар рванулся и перенес меня сразу в столь разреженный слой атмосферы, что результат едва не оказался роковым для меня и моего предприятия. Я внезапно почувствовал припадок удушья, продолжавшийся не менее пяти минут; даже когда он прекратился, я не мог вздохнуть как следует. Кровь струилась у меня из носа, из ушей и даже из глаз. Голуби отчаянно бились, стараясь вырваться на волю; кошка жалобно мяукала и, высунув язык, металась туда и сюда, точно проглотила отраву. Слишком поздно поняв свою ошибку, я пришел в отчаяние. Я ожидал неминуемой и близкой смерти. Физические страдания почти лишили меня способности предпринять что-либо для спасения своей жизни, мозг почти отказывался работать, а головная боль усиливалась с каждой минутой. Чувствуя близость обморока, я хотел было дернуть веревку, соединенную с клапаном, чтобы спуститься на землю, — как вдруг вспомнил о том, что я проделал с кредиторами, и о вероятных последствиях, ожидающих меня в случае возвращения на землю. Это воспоминание остановило меня. Я лег на дно корзины и постарался собраться с мыслями. Это удалось мне настолько, что я решил пустить себе кровь. За неимением ланцета я произвел эту операцию, открыв вену на

левой руке с помощью перочинного ножа. Как только потекла кровь, я почувствовал большое облегчение, а когда вышло с полчашки, худшие из болезненных симптомов совершенно исчезли. Все ж я не решился встать и, кое-как забинтовав руку, пролежал еще с четверть часа. Наконец я поднялся; оказалось, что все болезненные ощущения, преследовавшие меня в течение последнего часа, исчезли. Только дыхание было по-прежнему затруднено, и я понял, что вскоре придется прибегнуть к конденсатору. Случайно взглянув на кошку, которая снова улеглась на пальто, я увидел, к своему крайнему изумлению, что во время моего припадка она разрешилась тремя котятами. Этого прибавления пассажиров я отнюдь не ожидал, но был им очень доволен: оно давало мне возможность проверить гипотезу, которая более, чем что-либо другое, повлияла на мое решение. Я объяснял болезненные явления, испытываемые воздухоплавателем на известной высоте, привычкой к определенному давлению атмосферы около земной поверхности. Если котята будут страдать в такой же степени, как мать, то моя теория, видимо, ошибочна, если же нет — она вполне подтвердится.

К восьми часам я достиг семнадцати миль над поверхностью земли. Очевидно, скорость подъема возрастала, и если бы даже я не выбросил балласта, то заметил бы это ускорение, хотя, конечно, оно не совершилось бы так быстро. Жестокая боль в голове и ушах по временам возвращалась; иногда текла из носа кровь; но, в общем, страдания мои были гораздо незначительнее, чем я ожидал. Только дышать становилось все труднее, и каждый вздох сопровождался мучительными спазмами в груди. Я распаковал аппарат для конденсации воздуха и принялся налаживать его.

С этой высоты на землю открывался великолепный вид. К западу, к северу и к югу, насколько мог охватить глаз, расстилалась бесконечная гладь океана, приобретающая с каждой минутой все более яркий голубой оттенок. Вдали, на востоке, вырисовывалась Великобритания, все атлантическое побережье Франции и Испании и часть северной окраины Африканского материка. Подробностей, разумеется, не было видно, и самые пышные города точно исчезли с лица земли.

Больше всего удивила меня кажущаяся вогнутость земной поверхности. Я, напротив, ожидал, что по мере подъема она будет представлять мне все более выпуклой; но, подумав немного, сообразил, что этого не могло быть. Перпендикуляр, опущенный из пункта моего наблюдения к земной поверхности, представлял бы собой один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого простиралось до горизонта, а гипотенуза — от горизонта к моему шару. Но высота, на которой я находился, была ничтожна сравнительно с пространством, которое я мог обозреть. Иными словами, основание и гипотенуза упомянутого треугольника были бы так велики сравнительно с высотой, что могли бы считаться почти параллельными линиями. Поэтому горизонт для аэронавта остается всегда на одном уровне с корзиной. Но точка, находящаяся под ним внизу, кажется отстоящей и действительно отстоит на огромное расстояние — следовательно, ниже горизонта. Отсюда — впечатление вогнутости, которое и останется до тех пор, пока высота не достигнет такого отношения к диаметру видимого пространства, при котором кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет.

Так как голуби все время жестоко страдали, я решил выпустить их. Сначала я отвязал одного — серого крапчатого красавца — и посадил на обруч сетки. Он очень беспокоился, жалобно поглядывал кругом, хлопал крыльями, ворковал, но не решался вылететь из корзины. Тогда я взял его и отбросил ярдов на пять-шесть от шара. Однако он не полетел вниз, как я ожидал, а изо всех сил устремился обратно к шару, издавая резкие, пронзительные крики. Наконец ему удалось вернуться на старое место, но, едва усевшись на обруч, он уронил головку на грудь и упал мертвым в корзину. Другой был счастливее. Чтобы предупредить его возвращение, я изо всех сил швырнул его вниз и с радостью увидел, что он продолжает спускаться, быстро, легко и свободно взмахивая крыльями. Вскоре он исчез из виду и, не сомневаюсь, благополучно добрался до земли. Кошка, по-видимому, оправившаяся от своего припадка, с аппетитом съела мертвого голубя и

улеглась спать. Котята были живы и не обнаруживали пока ни малейших признаков заболевания.

В четверть девятого, испытывая почти невыносимые страдания при каждом затрудненном вздохе, я стал прилаживать к корзине аппарат, составлявший часть конденсатора. Он требует, однако, более подробного описания. Ваши превосходительства благоволят заметить, что целью моею было защитить себя и корзину как бы барьером от разреженного воздуха, который теперь окружал меня, с тем чтобы ввести внутрь корзины нужный для дыхания конденсированный воздух. С этой целью я заготовил плотную, совершенно непроницаемую, но достаточно эластичную каучуковую камеру в виде мешка. В этот мешок поместилась вся моя корзина, то есть он охватывал ее дно и края до верхнего обруча, к которому была прикреплена сетка. Оставалось только стянуть края наверху, над обручем, то есть просунуть эти края между обручем и сеткой. Но если отделить сетку от обруча, чтобы пропустить края мешка, — на чем будет держаться корзина? Я разрешил это затруднение следующим образом: сетка не была наглухо соединена с обручем, а прикреплена посредством петель. Я снял несколько петель, предоставив корзине держаться на остальных, просунул край мешка над обручем и снова пристегнул петли, — не к обручу, разумеется, оттого что он находился под мешком, а к пуговицам на мешке, соответствовавшим петлям и пришитым фута на три ниже края; затем отстегнул еще несколько петель, просунул еще часть мешка и снова пристегнул петли к пуговицам. Таким образом, мне мало-помалу удалось пропустить весь верхний край мешка между обручем и сеткой. Понятно, что обруч опустился в корзину, которая со всем содержимым держалась теперь только на пуговицах. На первый взгляд это грозило опасностью — но лишь на первый взгляд: пуговицы были не только очень прочны сами по себе, но и посажены так тесно, что на каждую приходилась лишь незначительная часть всей тяжести. Если бы корзина с ее содержимым была даже втрое тяжелее, меня это ничуть бы не беспокоило. Я снова приподнял обруч и прикрепил его почти на прежней высоте с помощью

трех заранее приготовленных перекладин. Это я сделал для того, чтобы мешок оставался наверху растянутым и нижняя часть сетки не изменила своего положения. Теперь оставалось только закрыть мешок, что я и сделал без труда, собрав складками его верхний край и стянув их туго-натуго при помощи устойчивого вертлюга.

В боковых стенках мешка были сделаны три круглые окошка с толстыми, но прозрачными стеклами, сквозь которые я мог смотреть во все стороны по горизонтали. Такое же окошко находилось внизу и соответствовало небольшому отверстию в дне корзины: сквозь него я мог смотреть вниз. Но вверху нельзя было устроить такое окно, ибо верхний, стянутый, край мешка был собран складками. Впрочем, в этом окне и надобности не было, так как шар все заслонил бы собою.

Под одним из боковых окошек, примерно на расстоянии фута, имелось отверстие дюйма в три диаметром; а в отверстие было вставлено медное кольцо с винтовыми нарезками на внутренней поверхности. В это кольцо ввинчивалась трубка конденсатора, помещавшегося, само собою разумеется, внутри каучуковой камеры. Через эту трубку разреженный воздух втягивался с помощью вакуума, образовавшегося в аппарате, сгущался и проходил в камеру. Повторив эту операцию несколько раз, можно было наполнить камеру воздухом, вполне пригодным для дыхания. Но в столь тесном помещении воздух, разумеется, должен был быстро портиться вследствие частого соприкосновения с легкими и становиться не пригодным для дыхания. Тогда его можно было выбрасывать посредством небольшого клапана на дне мешка; будучи более тяжелым, этот воздух быстро опускался вниз, рассеиваясь в более легкой наружной атмосфере. Из опасения создать полный вакуум в камере при выпуске воздуха, очистка последнего никогда не производилась сразу, а лишь постепенно. Клапан открывался секунды на две — на три, потом замыкался, и так — несколько раз, пока конденсатор не заменял вытесненный воздух запасом нового. Ради опыта я положил кошку и котят в корзиночку, которую подвесил снаружи к пуговице, находящейся

подле клапана; открывая клапан, я мог кормить кошек по мере надобности. Я сделал это раньше, чем затянул камеру, с помощью одного из упомянутых выше шестов, поддерживавших обруч. Как только камера наполнилась сконденсированным воздухом, шесты и обруч оказались излишними, ибо, расширяясь, внутренняя атмосфера и без них растягивала каучуковый мешок.

Когда я приладил все эти приборы и наполнил камеру, было всего без десяти минут девять. Все это время я жестоко страдал от недостатка воздуха и горько упрекал себя за небрежность или, скорее, за безрассудную смелость, побудившую меня отложить до последней минуты столь важное дело. Но, когда наконец все было готово, я тотчас почувствовал благотворные последствия своего изобретения. Я снова дышал легко и свободно, — да и почему бы мне не дышать? К моему удовольствию и удивлению, жестокие страдания, терзавшие меня до сих пор, почти совершенно исчезли. Осталось только ощущение какой-то раздутости или растяжения в запястьях, лодыжках и гортани. Очевидно, мучительные ощущения, вызванные недостаточным атмосферным давлением, давно прекратились, а болезненное состояние, которое я испытывал в течение последних двух часов, происходило только вследствие затрудненного дыхания.

В сорок минут девятого, то есть незадолго до того, как я затянул отверстие мешка, ртуть опустилась до нижнего уровня в высотомере. Я находился на высоте 132 000 футов, то есть двадцати пяти миль, и, следовательно, мог обозревать не менее одной триста двадцатой всей земной поверхности. В девять часов я снова потерял из виду землю на востоке, заметив при этом, что шар быстро несется в направлении норд-норд-вест. Расстилавшийся подо мною океан все еще казался вогнутым; впрочем, облака часто скрывали его от меня.

В половине десятого я снова выбросил из корзины горсть перьев. Они не полетели, как я ожидал, но упали, как пуля, — всей кучей, с невероятною быстротою, — и в несколько секунд исчезли из виду. Сначала я не мог объяснить себе это странное явление; мне каза-

лось невероятным, чтобы быстрота подъема так страшно возросла. Но вскоре я сообразил, что разреженная атмосфера уже не могла поддерживать перья, — они действительно упали с огромной быстротой; и поразившее меня явление обусловлено было сочетанием скорости падения перьев со скоростью подъема моего шара.

Часам к десяти мне уже нечего было особенно наблюдать. Все шло исправно; быстрота подъема, как мне казалось, постоянно возрастала, хотя я не мог определить степень этого возрастания. Я не испытывал никаких болезненных ощущений, а настроение духа было бодрее, чем когда-либо после моего вылета из Роттердама! Я коротал время, осматривая инструменты и обновляя воздух в камере. Я решил повторять это через каждые сорок минут — скорее для того, чтобы предохранить свой организм от возможных нарушений его деятельности, чем по действительной необходимости. В то же время я невольно уносился мыслями вперед. Воображение мое блуждало в диких, сказочных областях луны, необузданная фантазия рисовала мне обманчивые чудеса этого призрачного и неустойчивого мира. То мне мерещились дремучие вековые леса, крутые утесы, шумные водопады, низвергавшиеся в бездонные пропасти. То я переносился в пустынные просторы, залитые лучами полуденного солнца, куда ветерок не залетал от века, где воздух точно окаменел и всюду, куда хватает глаз, расстилаются луговины, поросшие маком и стройными лилиями, безмолвными, словно оцепеневшими. То вдруг являлось передо мною озеро, темное, неясное, сливавшееся вдали с грядami облаков. Но не только эти картины рисовались моему воображению. Мне рисовались ужасы, один другого грознее и причудливее, и даже мысль об их возможности потрясала меня до глубины души. Впрочем, я старался не думать о них, справедливо полагая, что действительные и осязаемые опасности моего предприятия должны поглотить все мое внимание.

В пять часов пополудни, обновляя воздух в камере, я заглянул в корзину с кошками. Мать, по-видимому, жестоко страдала, несомненно, вследствие затруднен-

ного дыхания; но котята изумили меня. Я ожидал, что они тоже будут страдать, хотя и в меньшей степени, чем кошка, что подтвердило бы мою теорию насчет нашей привычки к известному атмосферному давлению. Оказалось, однако, — чего я вовсе не ожидал, — что они совершенно здоровы, дышат легко и свободно и не обнаруживают ни малейших признаков какого-либо органического расстройства. Я могу объяснить это явление, только расширив мою теорию и предположив, что крайне разреженная атмосфера не представляет (как я вначале думал) со стороны ее химического состава никакого препятствия для жизни и существо, родившееся в такой среде, будет дышать в ней без всякого труда, а попавши в более плотные слои по соседству с землей, испытает те же мучения, которым я подвергался так недавно. Очень сожалею, что вследствие несчастной случайности я потерял эту кошачью семейку и не мог продолжать свои опыты. Просунув чашку с водой для старой кошки в отверстие мешка, я зацепил рукавом за шнурок, на котором висела корзинка, и сдернул его с пуговицы. Если бы корзинка с кошками каким-нибудь чудом испарилась в воздухе — она не могла бы исчезнуть с моих глаз быстрее, чем сейчас. Не прошло положительно и десятой доли секунды, как она уже скрылась со всеми своими пассажирами. Я пожелал им счастливого пути, но, разумеется, не питал никакой надежды, что кошка или котята останутся в живых, дабы рассказать о своих бедствиях.

В шесть часов значительная часть земли на востоке покрылась густою тенью, которая быстро надвигалась, так что в семь без пяти минут вся видимая поверхность земли погрузилась в ночную тьму. Но долго еще после этого лучи заходящего солнца освещали мой шар; и это обстоятельство, которое, конечно, можно было предвидеть заранее, доставляло мне большую радость. Значит, я и утром увижу восходящее светило гораздо раньше, чем добрые граждане Роттердама, несмотря на более восточное положение этого города, и, таким образом, буду пользоваться все более и более продолжительным днем соответственно с высотой, которой буду достигать. Я решил вести дневник моего путешествия,

отмечая дни через каждые двадцать четыре часа и не принимая в расчет ночей.

В десять часов меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься, но меня остановило одно обстоятельство, о котором я совершенно забыл, хотя должен был предвидеть его заранее. Если я засну, кто же будет накачивать воздух в камеру? Дышать в ней можно было самое большее час; если продлить этот срок даже на четверть часа, последствия могли быть самые губительные. Затруднение это очень смутило меня, и хотя мне едва ли поверят, но, несмотря на преодоление стольких опасностей, я готов был отчаяться перед новым, потерял всякую надежду на исполнение моего плана и уже подумывал о спуске. Впрочем, то было лишь минутное колебание. Я рассудил, что человек — верный раб привычек, и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему существенно важными, а на самом деле они сделались такими единственно в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мешало мне приучить себя просыпаться через каждый час в течение всей ночи? Для полного обновления воздуха достаточно было пяти минут. Меня затруднял только способ, каким я буду будить себя в надлежащее время. Правду сказать, я долго ломал себе голову над разрешением этого вопроса. Я слышал, что студенты прибегают к такому приему: взяв в руку медную пулю, держат ее над медным тазиком; и, если студенту случится задремать над книгой, пуля падает, и ее звон о тазик будит его. Но для меня подобный способ вовсе не годился, так как я не намерен был бодрствовать все время, а хотел лишь просыпаться через определенные промежутки времени. Наконец я придумал приспособление, которое при всей своей простоте показалось мне в первую минуту открытием не менее блестящим, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания.

Необходимо заметить, что на той высоте, которой я достиг в настоящее время, шар продолжал подниматься без толчков и отклонений, совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни малейшей тряски. Это обстоятельство явилось как нельзя более кстати

для моего изобретения. Мой запас воды помещался в бочонках, по пяти галлонов каждый, они были выстроены вдоль стенки корзины. Я отвязал один бочонок и, достав две веревки, натянул их поперек корзины вверху, на расстоянии фута одну от другой, так что они образовали нечто вроде полки. На эту полку я взгромоздил бочонок, положив его горизонтально. Под бочонком, на расстоянии восьми дюймов от веревок и четырех футов от дна корзины, прикрепил другую полку, употребив для этого тонкую дощечку, единственную, имевшуюся у меня в запасе. На дощечку поставил небольшой глиняный кувшинчик. Затем провертел дырку в стенке бочонка над кувшином и заткнул ее втулкой из мягкого дерева. Вдвигая и выдвигая втулку, я наконец установил ее так, чтобы вода, просачиваясь сквозь отверстие, наполняла кувшинчик до краев за шестьдесят минут. Рассчитать это было нетрудно, проследив, какая часть кувшина наполняется в известный промежуток времени. Остальное понятно само собою. Я устроил себе постель на дне корзины так, чтобы голова приходилась под носиком кувшина. Ясно, что по истечении часа вода, наполнив кувшин, должна была выливаться из носика, находившегося несколько ниже его краев. Ясно также, что, орошая лицо мое с высоты четырех футов, вода должна была разбудить меня, хотя бы я заснул мертвым сном.

Было уже одиннадцать часов, когда я покончил с устройством этого будильника. Затем я немедленно улегся спать, вполне положившись на мое изобретение. И мне не пришлось разочароваться в нем. Точно через каждые шестьдесят минут я вставал, разбуженный моим верным хронометром, выливал из кувшина воду обратно в бочонок и, обновив воздух с помощью конденсатора, снова укладывался спать. Эти регулярные перерывы в сне беспокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я встал утром, было уже семь часов, и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта.

3 апреля. — Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте, так как выпуклость земли была теперь ясно видна. Подо мной, в океане, можно было

различить скопление каких-то темных пятен — без сомнения, острова. Небо над головой казалось агатово-черным, звезды блистали; они стали видны с первого же дня моего полета. Далеко по направлению к северу я заметил тонкую белую, ярко блестевшую линию, или полосу, на краю неба, в которой не колеблясь признал южную окраину полярных льдов. Мое любопытство было сильно возбуждено, так как я рассчитывал, что буду лететь гораздо дальше к северу и, может быть, окажусь над самым полюсом. Я пожалел, что огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его как следует. Но все-таки я мог заметить многое.

В течение дня не случилось ничего особенного. Все мои приборы действовали исправно, и шар поднимался без всяких толчков. Сильный холод заставил меня плотнее закутаться в пальто. Когда земля оделась ночным мраком, я улегся спать, хотя еще много часов спустя вокруг моего шара стоял белый день. Водяные часы добросовестно исполняли свою обязанность, и я спокойно проспал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух.

4 апреля. — Встал здоровым и бодрым и был поражен тем, как странно изменился вид океана. Он утратил свою темно-голубую окраску и казался серовато-белым, притом он ослепительно блестел. Выпуклость океана была видна так четко, что громада воды, находившейся подо мною, точно низвергалась в пучину по краям неба, и я невольно прислушивался, стараясь слышать грохот этих мощных водопадов. Островов не было видно, потому ли, что они исчезли за горизонтом в юго-восточном направлении, или все растущая высота уже лишала меня возможности видеть их. Последнее предположение казалось мне, однако, более вероятным. Полоса льдов на севере выступала все яснее. Холод не усиливался. Ничего особенного не случилось, и я провел день за чтением книг, которые захватил с собою.

5 апреля. — Отмечаю любопытный феномен: солнце взошло, однако вся видимая поверхность земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она

осветилась, и снова показалась на севере полоса льдов. Теперь она выступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближался к ней, и очень быстро. Мне казалось, что я различаю землю на востоке и на западе, но я не был в этом уверен. Температура умеренная. В течение дня не случилось ничего особенного. Рано лег спать.

6 апреля. — Был удивлен, увидев полосу льда на очень близком расстоянии, а также бесконечное ледяное поле, простиравшееся к северу. Если шар сохранит то же направление, то я скоро окажусь над Ледовитым океаном и несомненно увижу полюс. В течение дня я неуклонно приближался ко льдам. К ночи пределы моего горизонта неожиданно и значительно расширились, без сомнения, потому, что земля имеет форму сплюснутого сфероида, и я находился теперь над плоскими областями вблизи Полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный тревогой, ибо опасался, что предмет моего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет от моих наблюдений.

7 апреля. — Встал рано и, к своей великой радости, действительно увидел Северный полюс. Не было никакого сомнения, что это именно полюс и он находится прямо подо мною. Но, увы! Я поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в подробностях. В самом деле, если составить прогрессию моего восхождения на основании чисел, указывавших высоту шара в различные моменты между шестью утра 2 апреля и девятью без двадцати минут утра того же дня (когда высотомер перестал действовать), то теперь, в четыре утра седьмого апреля, шар должен был находиться на высоте не менее 7254 миль над поверхностью океана. (С первого взгляда эта цифра может показаться грандиозной, но, по всей вероятности, она была гораздо ниже действительной.) Во всяком случае, я видел всю площадь, соответствовавшую большому диаметру земли; все северное полушарие лежало подо мною наподобие карты в ортографической проекции, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Итак, ваши превосходительства без труда поймут, что лежавшие подо мною неизведанные области в пределах По-

лярного круга находились на столь громадном расстоянии и в столь уменьшенном виде, что рассмотреть их подробно было невозможно. Все же мне удалось увидеть кое-что замечательное. К северу от упомянутой линии, которую можно считать крайней границей человеческих открытий в этих областях, расстилалось сплошное или почти сплошное поле. Поверхность его, будучи вначале плоской, мало-помалу понижалась, принимая заметно вогнутую форму, и завершалась у самого полюса круглой, резко очерченной впадиной. Последняя казалась гораздо темнее остального полушария и была местами совершенно черного цвета. Диаметр впадины соответствовал углу зрения в шестьдесят пять секунд. Больше ничего нельзя было рассмотреть. К двенадцати часам впадина значительно уменьшилась, а в семь пополудни я потерял ее из вида: шар миновал западную окраину льдов и несся по направлению к экватору.

8 апреля. — Видимый диаметр земли заметно уменьшился, окраска совершенно изменилась. Вся доступная наблюдению площадь казалась бледно-желтого цвета различных оттенков, местами блестела так, что больно было смотреть. Кроме того, мне сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера; я лишь изредка видел самую землю в просветах между облаками. В течение последних сорока восьми часов эта помеха давала себя чувствовать в более или менее сильной степени; а при той высоте, которой теперь достиг шар, груды облаков сблизилась в поле зрения еще теснее, и наблюдать землю становилось все затруднительнее. Тем не менее я убедился, что шар летит над областью Великих озер в Северной Америке, стремясь к югу, и я скоро достигну тропиков. Это обстоятельство весьма обрадовало меня, так как сулило успех моему предприятию. В самом деле, направление, в котором я несся до сих пор, крайне тревожило меня, так как, продолжая двигаться в том же направлении, я бы вовсе не попал на луну, орбита которой наклонена к эклиптике под небольшим углом в $5^{\circ}8'48''$. Странно, что я так поздно уразумел свою ошибку: мне следовало

подняться из какого-нибудь пункта в плоскости лунного эллипса.

9 апреля. — Сегодня диаметр земли значительно уменьшился, окраска ее приняла более яркий желтый оттенок. Мой шар держал курс на юг, и в девять утра он достиг северной окраины Мексиканского залива.

10 апреля. — Около пяти часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я решительно не мог себе объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною доселе звуков. Нечего и говорить, что я страшно перепугался: в первую минуту мне почудилось, что шар лопнул. Я осмотрел свои приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях об этом странном треске, но не мог никак его объяснить. Лег спать крайне обеспокоенный и взволнованный.

11 апреля. — Диаметр земли поразительно уменьшился, и я в первый раз заметил значительное увеличение диаметра луны. Теперь приходилось затрачивать немалое груза и времени, чтобы сгустить достаточно воздуха, нужного для дыхания.

12 апреля. — Странно изменилось направление шара; и хотя я предвидел это заранее, но все-таки обрадовался несказанно. Достигнув двадцатой параллели южного полушария, шар внезапно повернул под острым углом на восток и весь день летел в этом направлении, оставаясь в плоскости лунного эллипса. Достоин замечания, что следствием этой перемены было довольно заметное колебание корзины, ощущавшееся в течение нескольких часов.

13 апреля. — Снова был крайне встревожен громким треском, который так меня напугал десятого. Долго думал об этом явлении, но ничего не мог придумать. Значительное уменьшение диаметра земли: теперь его угловая величина лишь чуть побольше двадцати пяти градусов. Луна находится почти у меня над головой, так что я не могу ее видеть. Шар по-прежнему летит в ее плоскости, переместившись несколько на восток.

14 апреля. — Стремительное уменьшение диаметра земли. Шар, по-видимому, поднялся над линией абсид

по направлению к перигелию — то есть, иными словами, стремится прямо к луне, в части ее орбиты, наиболее близкой к земному шару. Сама луна находится над моей головой, то есть недоступна наблюдению. Обновление воздуха в камере потребовало усиленного и продолжительного труда.

15 апреля. — На земле нельзя рассмотреть даже самых общих очертаний материков и морей. Около полудня я в третий раз услышал загадочный треск, столь поразивший меня раньше. Теперь он продолжался несколько секунд, постепенно усиливаясь. Оцепенев от ужаса, я ожидал какой-нибудь страшной катастрофы, когда корзину вдруг сильно встряхнуло и мимо моего шара с ревом, свистом и грохотом пронеслась огромная огненная масса. Оправившись от ужаса и изумления, я сообразил, что это должен быть вулканический обломок, выброшенный с небесного тела, к которому я так быстро приближался, и, по всей вероятности, принадлежащий к разряду тех странных камней, которые попадают иногда на нашу землю и называются метеорами.

16 апреля. — Сегодня, заглянув в боковые окна камеры, я, к своему великому удовольствию, увидел, что край лунного диска выступает над шаром со всех сторон. Я был очень взволнован, чувствуя, что скоро наступит конец моему опасному путешествию. Действительно, конденсация воздуха требовала таких усилий, что она отнимала у меня все время. Спать почти не приходилось. Я чувствовал мучительную усталость и совсем обессилел. Человеческая природа не способна долго выдерживать такие страдания. Во время короткой ночи мимо меня опять пронесся метеор. Они появлялись все чаще, и это не на шутку стало пугать меня.

17 апреля. — Сегодня — достопамятный день моего путешествия. Если припомните, тринадцатого апреля угловая величина земли достигала всего двадцати пяти градусов. Четырнадцатого она очень уменьшилась, пятнадцатого — еще значительно, а шестнадцатого, ложась спать, я отметил угол в $7^{\circ}15'$. Каково же было мое удивление, когда, пробудившись после непродолжительного и тревожного сна утром семнадцатого

апреля, я увидел, что поверхность, находившаяся подо мною, вопреки всяким ожиданиям увеличилась и достигла не менее тридцати девяти градусов в угловом диаметре! Меня точно обухом по голове ударили. Безграничный ужас и изумление, которых не передашь никакими словами, поразили, ошеломили, раздавили меня. Колени мои дрожали, зубы выбивали дробь, волосы поднялись дыбом. «Значит, шар лопнул! — мелькнуло в моем уме. — Шар лопнул! Я падаю! Падаю с невероятной, неслыханной быстротой! Судя по тому громадному расстоянию, которое я уже пролетел, не пройдет и десяти минут, как я ударюсь о землю и разобьюсь вдребезги». Наконец ко мне вернулась способность мыслить; я опомнился, подумал, стал сомневаться. Нет, это невероятно. Я не мог так быстро спуститься. К тому же, хотя я, очевидно, приближался к растилавшейся подо мною поверхности, но вовсе не так быстро, как мне показалось в первую минуту. Эти размышления несколько успокоили меня, и я наконец понял, в чем дело. Если бы испуг и удивление не отбили у меня всякую способность соображать, я бы с первого взгляда заметил, что поверхность, находившаяся подо мною, ничуть не похожа на поверхность моей матери-земли. Последняя находилась теперь наверху, над моей головой, а внизу, под моими ногами, была луна во всем ее великолепии.

Мои растерянность и изумление при таком необычайном повороте дела непонятны мне самому. Этот *boileversement*¹ не только был совершенно естествен и необходим, но я заранее знал, что он неизбежно свершится, когда шар достигнет того пункта, где земное притяжение уступит место притяжению луны, — или, точнее, тяготение шара к земле будет слабее его тяготения к луне. Правда, я только что проснулся и не успел еще прийти в себя, когда заметил нечто поразительное; и хотя я мог это предвидеть, но в настоящую минуту вовсе не ожидал. Поворот шара, очевидно, произошел спокойно и постепенно, и если бы я даже проснулся вовремя, то вряд ли мог бы заметить его по какому-нибудь изменению внутри камеры.

¹ Переворот (*фр.*).

Нужно ли говорить, что, опомнившись после первого изумления и ужаса и ясно сообразив, в чем дело, я с жадностью принялся рассматривать поверхность луны. Она расстилалась подо мною, точно карта, и, хотя находилась еще очень далеко, все ее очертания выступали вполне ясно. Полное отсутствие океанов, морей, даже озер и рек — словом, каких бы то ни было водных бассейнов — сразу бросилось мне в глаза, как самая поразительная черта лунной орографии. При всем том, как это ни странно, я мог различить обширные равнины, очевидно, наносного характера, хотя большая часть поверхности была усеяна бесчисленными вулканами конической формы, которые казались скорее насыпными, чем естественными возвышениями. Самый большой не превосходил трех — трех с четвертью миль. Впрочем, карта вулканической области Флегрейских полей даст вашим превосходительствам лучшее представление об этом ландшафте, чем какое-либо описание. Большая часть вулканов действовала, и я мог судить о бешеной силе извержений по обилию принятых мной за метеоры камней, все чаще пролетавших с громом мимо шара.

18 апреля. — Объем луны очень увеличился, и быстрота моего спуска стала сильно тревожить меня. Я уже говорил, что мысль о существовании лунной атмосферы, плотность которой соответствует массе луны, играла немаловажную роль в моих соображениях о путешествии на луну, — несмотря на существование противоположных теорий и широко распространенное убеждение, что на нашем спутнике нет никакой атмосферы. Но, независимо от вышеупомянутых соображений относительно кометы Энке и зодиакального света, мое мнение в значительной мере опиралось на некоторые наблюдения г-на Шретера из Лилиенталя. Он наблюдал луну на третий день после новолуния, вскоре после заката солнца, когда темная часть диска была еще незрима, и продолжал следить за ней до тех пор, пока она не стала видима. Оба рога казались удлиненными, и их тонкие бледные кончики были слабо освещены лучами заходящего солнца. Вскоре по наступлении ночи темный диск осветился. Я объясняю это

удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы (которая может преломлять достаточное количество лучей, чтобы вызвать в темной части диска свечение вдвое более сильное, чем свет, отражаемый от земли, когда луна отстоит на 32° от точки новолуния) я принимал в 1356 парижских футов; следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча — в 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел в восемьдесят втором томе «Философских трудов», где говорится об оккультации спутников Юпитера, причем третий спутник стал неясным за одну или две секунды до исчезновения, а четвертый исчез на некотором расстоянии от диска¹.

От степени сопротивления или, вернее сказать, от поддержки, которую эта предполагаемая атмосфера могла оказать моему шару, зависел всецело и благополучный исход путешествия. Если же я ошибся, то мог ожидать только конца своим приключениям: мне предстояло разлететься на атомы, ударившись о скалистую поверхность луны. Судя по всему, я имел полное основание опасаться подобного конца. Расстояние до луны было сравнительно ничтожно, а обновление воздуха в камере требовало такой же работы, и я не замечал никаких признаков увеличения плотности атмосферы.

19 апреля. — Сегодня утром, около девяти часов, когда поверхность луны угрожающе приблизилась и мои опасения дошли до крайних пределов, насос конденсатора, к великой моей радости, показал, наконец, очевидные признаки изменения плотности атмосферы.

¹ Гевелий пишет, что, наблюдая луну на той же высоте, в том же расстоянии от земли и в тот же превосходный телескоп, при совершенно ясном небе, даже когда были видимы звезды шестой и седьмой величины, он, однако, не всегда находил ее одинаково ясной. Наблюдения показывают, что причину этого нельзя искать в нашей атмосфере, в свойствах телескопа или в глазу наблюдателя, а что она коренится в чем-то (в атмосфере?), присущем самой луне.

Кассини часто замечал, что при оккультации Сатурна, Юпитера, неподвижных звезд их круглая форма сменяется овальной в момент сближения с лунным диском, хотя при многих оккультациях этого изменения формы не замечается. Отсюда можно заключить, что по крайней мере иногда лучи планет и звезд встречаются лунную атмосферу и преломляются в ней. (Прим. авт.)

К десяти часам плотность эта значительно возросла. К одиннадцати аппарат требовал лишь ничтожных усилий, а в двенадцать я решился — после некоторого колебания — отвинтить вертлюг; и, убедившись, что ничего вредного для меня не последовало, я развязал гуттаперчевый мешок и отогнул его края. Как и следовало ожидать, непосредственным результатом этого слишком поспешного и рискованного опыта была жесточайшая головная боль и удушье. Но, так как они не угрожали моей жизни, я решился претерпеть их в надежде на облегчение при спуске в более плотные слои атмосферы. Спуск, однако, происходил с невероятной быстротою, и хотя мои расчеты на существование лунной атмосферы, плотность которой соответствовала бы массе спутника, по-видимому, оправдывались, но я, очевидно, ошибся, полагая, что она способна поддержать корзину со всем грузом. А между тем этого надо было ожидать, так как сила тяготения и, следовательно, вес предметов также соответствуют массе небесного тела. Но головокружительная быстрота моего спуска ясно доказывала, что этого на самом деле не было. Почему?.. Единственное объяснение я вижу в тех геологических возмущениях, на которые указывал выше. Во всяком случае, я находился теперь совсем близко от луны и стремился к ней со страшною быстротою. Итак, не теряя ни минуты, я выбросил за борт балласт, бочки с водой, конденсирующий прибор, каучукую камеру и, наконец, все, что только было в корзине. Ничто не помогало. Я по-прежнему падал с ужасающей быстротою и находился самое большее в полумиле от поверхности. Оставалось последнее средство: выбросив сюртук и сапоги, я отрезал даже корзину, повис на веревках и, успев только заметить, что вся площадь подо мной, насколько видит глаз, усеяна крошечными домиками, очутился в центре странного, фантастического города, среди толпы уродцев, которые, не говоря ни слова, не издавая ни звука, словно какое-то сборище идиотов, потешно скалили зубы и, подбоченившись, разглядывали меня и мой шар. Я с презрением отвернулся от них, посмотрел, подняв глаза, на землю, так недавно — и, может быть, навсегда, — покинутую мною,

и увидел ее в виде большого медного щита, около двух градусов в диаметре, тускло блестевшего высоко над моей головой, причем один край его, в форме серпа, горел ослепительным золотым блеском. Никаких признаков воды или суши не было видно, — я заметил только тусклые, изменчивые пятна да тропический и экваториальный пояс.

Так, с позволения ваших превосходительств, после жестоких страданий, неслыханных опасностей, невероятных приключений, на девятнадцатый день моего отбытия из Роттердама я благополучно завершил свое путешествие, — без сомнения, самое необычайное и самое замечательное из всех путешествий, когда-либо совершенных, предпринятых или задуманных жителями земли. Но рассказ о моих приключениях еще далеко не кончен. Ваши превосходительства сами понимают, что, проведя около пяти лет на спутнике земли, представляющем глубокий интерес не только в силу своих особенностей, но и вследствие своей тесной связи с миром, обитаемым людьми, я мог бы сообщить Астрономическому обществу немало сведений, гораздо более интересных, чем описание моего путешествия, как бы оно ни было удивительно само по себе. И я действительно могу открыть многое и сделал бы это с величайшим удовольствием. Я мог бы рассказать вам о климате луны и о странных колебаниях температуры — невыносимом тропическом зное, который сменяется почти полярным холодом, — о постоянном перемещении влаги вследствие испарения, точно в вакууме, из пунктов, находящихся ближе к солнцу, в пункты, наиболее удаленные от него; об изменчивом поясе текучих вод; о здешнем населении — его обычаях, нравах, политических учреждениях; об особой физической организации здешних обитателей, об их уродливости, отсутствии ушей — придатков, совершенно излишних в этой своеобразной атмосфере; об их способе общения, заменяющем здесь дар слова, которого лишены лунные жители; о таинственной связи между каждым обитателем луны и определенным обитателем земли (подобная же связь существует между орбитами планеты и спутника), благодаря чему жизнь и участь населения одного

мира теснейшим образом переплетаются с жизнью и участью населения другого; а главное — главное, ваши превосходительства, — об ужасных и отвратительных тайнах, существующих на той стороне луны, которая, вследствие удивительного совпадения периодов вращения спутника вокруг собственной оси и обращения его вокруг земли, недоступна и, к счастью, никогда не станет доступной для земных телескопов. Все это — и многое, многое еще — я охотно изложил бы в подобном сообщении. Но скажу прямо, я требую за это вознаграждения. Я жажду вернуться к родному очагу, к семье. И в награду за дальнейшие сообщения — принимая во внимание, какой свет я могу пролить на многие отрасли физического и метафизического знания, — я желал бы выхлопотать себе через посредство вашего почтенного общества прощение за убийство трех кредиторов при моем отбытии из Роттердама. Такова цель настоящего письма. Податель его — один из жителей луны, которому я растолковал все что нужно, — к услугам ваших превосходительств; он сообщит мне о прощении, буде его можно получить.

Примите и проч. Ваших превосходительств покорнейший слуга

Ганс Пфааль».

Окончив чтение этого необычайного послания, профессор Рубадуб, говорят, даже трубку выронил, так он был изумлен, а мингер Супербус ван Ундердук снял очки, протер их, положил в карман и от удивления настолько забыл о собственном достоинстве, что, стоя на одной ноге, завертелся волчком. Разумеется, прощение будет выхлопотано, — об этом и толковать нечего. Так по крайней мере поклялся в самых энергических выражениях профессор Рубадуб. То же подумал и блистательный ван Ундердук, когда, опомнившись наконец, взял под руку своего ученого собрата и направился домой, чтобы обсудить на досуге, как лучше взяться за дело. Однако, дойдя до двери бургомистрова дома, профессор решился заметить, что в прощении едва ли окажется нужда, так как посланец с луны исчез, без сомнения испугавшись суровой и дикой наружности

роттердамских граждан, — а кто, кроме обитателя луны, отважится на такое путешествие? Бургомистр признал справедливость этого замечания, чем дело и кончилось. Но не кончились толки и сплетни. Письмо было напечатано и вызвало немало обсуждений и споров. Нашлись умники, не побоявшиеся выставить самих себя в смешном виде, утверждая, будто все это происшествие сплошная выдумка. Но эти господа называют выдумкой все, что превосходит их понимание. Я, со своей стороны, решительно не вижу, на чем они основывают такое обвинение.

Вот их доказательства.

Во-первых: в городе Роттердаме есть такие-то шутники (имярек), которые имеют зуб против таких-то бургомистров и астрономов (имярек).

Во-вторых: некий уродливый карлик-фокусник с начисто отрезанными за какую-то проделку ушами недавно исчез из соседнего города Брюгге и не возвращался в течение нескольких дней.

В-третьих: газеты, которые всюду были наклеплены на шар, — это голландские газеты и, стало быть, выходили не на луне. Они были очень, очень грязные, и типограф Глюк готов поклясться, что не кто иной, как он сам, печатал их в Роттердаме.

В-четвертых: пьяницу Ганса Пфааля с тремя бездельниками, будто бы его кредиторами, видели два-три дня тому назад в кабаке, в предместье Роттердама: они были при деньгах и только что вернулись из поездки за море.

И наконец: согласно общепринятому (по крайней мере ему бы следовало быть общепринятым) мнению, Астрономическое общество в городе Роттердаме, подобно всем другим обществам во всех других частях света, оставляя в стороне общества и астрономов вообще, ничуть не лучше, не выше, не умнее, чем ему следует быть.

* * *

Примечание. Строго говоря, наш беглый очерк представляет очень мало общего с знаменитым «Рассказом о Луне» мистера Локка, но, так как оба рассказа

являются выдумкой (хотя один написан в шутливом, другой в сугубо серьезном тоне), оба трактуют об одном и том же предмете, мало того — в обоих правдоподобие достигается с помощью чисто научных подробностей, — то автор «Ганса Пфааля» считает необходимым заметить *в целях самозащиты*, что его *jeu d'esprit*¹ была напечатана в «Саутерн литерери мессенджер» за три недели до появления рассказа мистера Локка в «Нью-Йорк Сан». Тем не менее некоторые нью-йоркские газеты, усмотрев между обоими рассказами сходство, которого, быть может, на деле не существует, решили, что они принадлежат перу одного и того же автора.

Так как читателей, обманутых «Рассказом о Луне», гораздо больше, чем сознавшихся в своем легковерии, то мы считаем нелишним остановиться на этом рассказе, — то есть отметить те его особенности, которые должны бы были устранить возможность подобного легковерия, ибо выдают истинный характер этого произведения. В самом деле, несмотря на богатую фантазию и бесспорное остроумие автора, произведение его сильно хромает в смысле убедительности, ибо он недостаточно уделяет внимания фактам и аналогиям. Если публика могла хоть на минуту поверить ему, то это лишь доказывает ее глубокое невежество по части астрономии.

Расстояние луны от земли в круглых цифрах составляет 240 000 миль. Чтобы узнать, насколько сократится это расстояние благодаря телескопу, нужно разделить его на цифру, выражающую степень увеличительной силы последнего. Телескоп, фигурирующий в рассказе мистера Локка, увеличивает в 42 000 раз. Разделив на это число 240 000 (расстояние до луны), получаем пять и пять седьмых мили. На таком расстоянии невозможно рассмотреть каких-либо животных, а тем более всякие мелочи, о которых упоминается в рассказе. У мистера Локка сэр Джон Гершель видит на луне цветы (из семейства маковых и др.), даже различает форму и цвет глаз маленьких птичек. А незадолго перед тем сам автор говорит, что в его телескоп нельзя

¹ игра ума (*фр.*).

разглядеть предметы менее восемнадцати дюймов в диаметре. Но и это преувеличение: для таких предметов требуется гораздо более сильный объектив. Заметим мимоходом, что гигантский телескоп мистера Локка изготовлен в мастерской гг. Гартлей и Грант в Домбартоне; но гг. Гартлей и Грант прекратили свою деятельность за много лет до появления этой сказки.

На странице 13 отдельного издания, упоминая о «волосяной вуали» на глазах буйвола, автор говорит: «Проницательный ум доктора Гершеля усмотрел в этой вуали созданную самим провидением защиту глаз животного от резких перемен света и мрака, которым периодически подвергаются все обитатели луны, живущие на стороне, обращенной к нам». Однако подобное замечание отнюдь не свидетельствует о «проницательности» доктора. У обитателей, о которых идет речь, никогда не бывает темноты, следовательно, не подвергаются они и упомянутым резким световым переменам. В отсутствие солнца они получают свет от земли, равный по яркости свету четырнадцати лун.

Топография луны у мистера Локка, даже там, где он старается согласовать ее с картой луны Блента, расходится не только с нею и со всеми остальными картами, но и с собой. Относительно стран света у него царит жестокая путаница; автор, по-видимому, не знает, что на лунной карте они расположены иначе, чем на земле: восток приходится налево, и т. д.

Мистер Локк, быть может, сбитый с толку неясными названиями «Mare Nubium», «Mare Tranquillitatis», «Mare Fecunditatis»¹, которыми прежние астрономы окрестили темные лунные пятна, очень обстоятельно описывает океаны и другие обширные водные бассейны на луне; между тем отсутствие подобных бассейнов доказано. Граница между светом и тенью на убывающем или растущем серпе, пересекая темные пятна, образует ломаную зубчатую линию; будь эти пятна морями, она, очевидно, была бы ровною.

Описание крыльев человека — летучей мыши на с. 21 — буквально копия с описания крыльев летающих

¹ Облачное Море, Море Спокойствия, Море Изобилия (лат.).

островитян Питера Уилкинса. Уже одно это обстоятельство должно было бы возбудить сомнение.

На с. 23 читаем: «Какое чудовищное влияние должен был оказывать наш земной шар, в тринадцать раз превосходящий размеры своего спутника, на природу последнего, когда, зарождаясь в недрах времени, оба были игралищем химических сил!» Это отлично сказано, конечно; но ни один астроном не сделал бы подобного замечания, особенно в научном журнале, так как земля не в тринадцать, а в сорок девять раз больше луны. То же можно сказать и о заключительных страницах, где ученый корреспондент распространяется насчет некоторых недавних открытий, сделанных в связи с Сатурном, и дает подробное ученическое описание этой планеты — и это для «Эдинбургского научного журнала»!

Есть одно обстоятельство, которое особенно выдает автора. Допустим, что изобретен телескоп, с помощью которого можно увидеть животных на луне, — что прежде всего бросится в глаза наблюдателю, находящемуся на земле? Без сомнения, не форма, не рост, не другие особенности, а странное *положение* лунных жителей. Ему покажется, что они ходят вверх ногами, как мухи на потолке. Невымысленный наблюдатель едва ли удержался бы от восклицания при виде столь странного положения живых существ (хотя бы и предвидел его заранее), наблюдатель вымысленный не только не отметил этого обстоятельства, но говорит о форме всего тела, хотя мог видеть только форму головы!

Заметим в заключение, что величина и особенно сила человека — летучей мыши (например, способность летать в разреженной атмосфере, если, впрочем, на луне есть какая-нибудь атмосфера) противоречат всякой вероятности. Вряд ли нужно прибавлять, что все соображения, приписываемые Брюстеру и Гершелю в начале статьи — «передача искусственного света с помощью предмета, находящегося в фокусе поля зрения», и проч. и проч., — относятся к разряду высказываний, именуемых в просторечии чепухой.

Существует предел для оптического изучения звезд — предел, о котором достаточно упомянуть, чтобы понять его значение. Если бы все зависело от силы оптических стекол, человеческая изобретательность не-

сомненно справилась бы в конце концов с этой задачей, и у нас были бы чечевицы каких угодно размеров. К несчастью, по мере возрастания увеличительной силы стекол вследствие рассеяния лучей уменьшается сила света, испускаемого объектом. Этой беде мы не в силах помочь, так как видим объект только благодаря исходящему от него свету — его собственному или отраженному. «Искусственный» свет, о котором толкует мистер Л., мог бы иметь значение лишь в том случае, если бы был направлен не на «объект, находящийся в поле зрения», а на действительный изучаемый объект — то есть *на луну*. Нетрудно вычислить, что если свет, исходящий от небесного тела, достигнет такой степени рассеяния, при которой окажется не сильнее естественного света всей массы звезд в ясную, безлунную ночь, то это тело станет недоступным для изучения.

Телескоп лорда Росса, недавно построенный в Англии, имеет зеркало с отражающей поверхностью в 4071 квадратный дюйм; телескоп Гершеля — только в 1811 дюймов. Труба телескопа лорда Росса имеет 6 футов в диаметре, толщина ее на краях — $5\frac{1}{2}$, в центре — 5 дюймов. Фокусное расстояние — 50 футов. Вес — 3 тонны.

Недавно мне случилось прочесть любопытную и довольно остроумную книжку, на титуле которой значится:

«L'Homme dans la lune, ou le Voyage Chimérique fait au Monde de la Lune, nouvellement découvert par Dominique Gonzales, Advanturier Espagnol, autremét dit le Courier volant. Mis en notre langue par J. B. D. A. Paris, chez François Piot, près la Fontaine de Saint Benoist. Et chez J. Goignard au premier pilier de la grand'salle du Palais, proche les Consultations, MDCXLVIII», p. 176¹.

¹ «Человек на луне, или же Химерическое путешествие в Лунный мир, незадолго перед тем открытый Домиником Гонзалесом, испанским авантюристом, иначе именуемым Летучим Вестником. Переведено на наш язык Ж. Б. Д. А. Продается в Париже, у Франсуа Пио, возле фонтана Сен-Бенуа, и у Ж. Гуаньяра, возле первой колонны в большой дворцовой зале, близ Консультаций, MDCXLVIII», 176 с.

Автор говорит, что перевел книжку с английского подлинника некоего мистера Д'Ависсона (Дэвидсон?), хотя выражается крайне неопределенно.

«J'en ai eu,—говорит он,—l'original de Monsieur D'Avisson, médecin des mieux versez qui soient aujourd'hui dans la connoissance des Belles Lettes, et sur tout de la Philosophie Naturelle. Je lui ai cette obligation entre les autres, de m'avoir non seulement mis en main ce Livre en anglois, mais encore le Manuscript du Sieur Thomas D'Anan, gentilhomme Ecossois, recommandable pour sa vertu, sur la version duquel j'advoue j'ay tiré le plan de la mienne»¹.

После разнообразных приключений во вкусе Жиль Блаза, рассказ о которых занимает первые тридцать страниц, автор попадает на остров Святой Елены, где возмущившийся экипаж оставляет его вдвоем с служителем-негром. Ради успешнейшего добывания пищи они разошлись и поселились в разных концах острова. Потом им вздумалось общаться друг с другом с помощью птиц, дрессированных на манер почтовых голубей. Мало-помалу птицы выучились переносить тяжести, вес которых постепенно увеличивался. Наконец автору пришло в голову воспользоваться соединенными силами целой стаи птиц и подняться самому. Для этого он построил машину, которая подробно описана и изображена в книжке. На рисунке мы видим сеньора Гонзалеса, в кружевных брыжах и огромном парике, верхом на каком-то подобии метлы, уносимого стаей диких лебедей (ganzas), к хвостам которых привязана машина.

Главное приключение сеньора обусловлено очень важным фактом, о котором читатель узнает только в конце книги. Дело в том, что пернатые, которых он

¹ Оригинал я получил от господина Д'Ависсона, врача, одного из наиболее сведущих в области изящной словесности, особливо же в натурфилософии. Среди прочего я обязан ему тем, что он не только дал мне сию аглицкую книгу, но также и рукопись господина Томаса Д'Анана, шотландского дворянина, за свою доблесть достойного хвалы, из коей я, должен признаться, заимствовал и план собственного моего повествования.

приручил, оказываются уроженцами не острова Святой Елены, а луны. С незапамятных времен они ежегодно прилетают на землю; но в надлежащее время, конечно, возвращаются обратно. Таким образом, автор, рассчитывавший на непродолжительное путешествие, поднимается прямо в небо и в самое короткое время достигает луны. Тут он находит среди прочих курьезов — население, которое вполне счастливо. Обитатели луны не знают законов; умирают без страданий; ростом они от десяти до тридцати футов; живут пять тысяч лет. У них есть император, по имени Ирдонозур; они могут подпрыгивать на высоту шестидесяти футов и, выйдя, таким образом, из сферы притяжения, летать с помощью особых крыльев.

Не могу не привести здесь образчик философствования автора.

«Теперь я расскажу вам, — говорит сеньор Гонзалес, — о природе тех мест, где я находился. Облака скопились под моими ногами, то есть между мною и землей. Что касается звезд, то они все время казались одинаковыми, так как здесь вовсе не было ночи; они не блестели, а слабо мерцали, точно на рассвете. Немногие из них были видимы и казались вдесятеро больше (приблизительно), чем когда смотришь на них с земли. Луна, которой недоставало двух дней до полнолуния, казалась громадной величины.

Не следует забывать, что я видел звезды только с той стороны земли, которая обращена к луне, и что чем ближе они были к ней, тем казались больше. Замечу также, что и в тихую погоду, и в бурю я всегда находился *между землей и луной*. Это подтверждалось двумя обстоятельствами: во-первых, лебеди поднимались все время по прямой линии; во-вторых, всякий раз, когда они останавливались отдохнуть, мы все же двигались вокруг земного шара. Я разделяю мнение Коперника, согласно которому земля вращается с востока на запад не вокруг полюсов Равноденствия, называемых в просторечии полюсами мира, а вокруг полюсов Зодиака. Об этом вопросе я намерен поговорить более подробно впоследствии, когда освежу в памяти сведения из

астрологии, которую изучал в молодые годы, будучи в Саламанке, но с тех пор успел позабыть».

Несмотря на грубые ошибки, книжка заслуживает внимания как простодушный образчик наивных астрономических понятий того времени. Между прочим, автор полагает, что «притягательная сила» земли действует лишь на незначительное расстояние от ее поверхности, и вот почему он «все же двигался вокруг земного шара» и т. д.

Есть и другие «путешествия на луну», но их уровень не выше этой книжки. Книга Бержерака не заслуживает внимания. В третьем томе «Америкен куотерли ревью» помещен обстоятельный критический разбор одного из таких «путешествий», — разбор, свидетельствующий столько же о нелепости книжки, сколько и о глубоком невежестве критика. Я не помню заглавия, но способ путешествия еще глупее, чем полет нашего приятеля сеньора Гонзалеса. Путешественник случайно находит в земле неведомый металл, притяжение которого к луне сильнее, чем к земле, делает из него ящик и улетает на луну. «Бегство Томаса О'Рука» — не лишенный остроумия *jeu d'esprit*; книжка эта переведена на немецкий язык. Герой рассказа Томас — лесничий одного ирландского пэра, эксцентричные выходки которого послужили поводом для рассказа, — улетает на спине орла с Хангри-Хилл, высокой горы, расположенной в конце Бантри-Бей.

Все упомянутые брошюры преследуют сатирическую цель; тема — сравнение наших обычаев с обычаями жителей луны. Ни в одной из них не сделано попытки придать с помощью научных подробностей правдоподобный характер самому путешествию. Авторы делают вид, что они люди вполне осведомленные в области астрономии. Своеобразие «Ганса Пфааля» заключается в попытке достигнуть этого правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, в какой это допускает фантастический характер самой темы.

ЛИГЕЙЯ

И в этом — воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог — ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей.

Джозеф Гленвилл

И ради спасения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где впервые увидел я леди Лигейю. С тех пор прошло много долгих лет, а память моя ослабела от страданий. Но, быть может, я не могу ныне припомнить все это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкая ученость, необычная, но исполненная безмятежности красота и завораживающая и покоряющая выразительность ее негромкой музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И все же представляется мне, что я познакомился с ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшающем городе вблизи Рейна. Ее семья... о, конечно, она мне о ней говорила... И несомненно, что род ее восходит к глубокой древности. Лигейя! Лигейя! Предаваясь занятиям, которые более всего способны притуплять впечатления от внешнего мира, лишь этим сладостным словом — Лигейя! -- воскрешаю я перед своим внутренним взором образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно вспомнилось, что я никогда не знал родового имени той, что была моим другом и невестой, той, что стала участницей моих занятий и в конце концов — возлюбленной моею супругой. Почему я о нем не спрашивал? Был ли тому причиной шуточный запрет моей Лигейи? Или так испытывалась сила моей нежности? Или то был мой собственный каприз — иступленно романтическое жертвоприношение на алтарь самого страстного обожания? Даже сам этот факт припоминается мне лишь смутно, так удивительно ли,

если из моей памяти изгладились все обстоятельства, его породившие и ему сопутствовавшие? И поистине, если дух, именуемый Романтической Страстью, если бледная Аштофет идолопоклонников-египтян и правда, как гласят их предания, витает на туманных крыльях над роковыми свадьбами, то, бесспорно, она председательствовала и на моем брачном пиру.

Но одно дорогое сердцу воспоминание память моя хранит незыблемо. Это облик Лигейи. Она была высокой и тонкой, а в последние свои дни на земле — даже исхудалой. Тщетно старался бы я описать величие и спокойную непринужденность ее осанки или не постижимую легкость и грациозность ее походки. Она приходила и уходила подобно тени. Я замечал ее присутствие в моем уединенном кабинете, только услышав милую музыку ее тихого прелестного голоса, только ощутив на своем плече прикосновение ее беломраморной руки. Ни одна дева не могла сравниться с ней красотой лица. Это было сияние опиумных грез — эфирное, возвышающее дух видение, даже более фантасмагорически божественное, чем фантазии, которые реяли над дремлющими душами дочерей Делоса¹. И тем не менее в ее чертах не было той строгой правильности, которую нас ложно учат почитать в классических произведениях языческих ваятелей. «Всякая пленительная красота, — утверждает Бэкон, лорд Веруламский, говоря о формах и родах красоты, — всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность». И все же хотя я видел, что черты Лигейи лишены классической правильности, хотя я замечал, что ее прелесть поистине «пленительна», и чувствовал, что она исполнена «странности», тем не менее тщетны были мои усилия уловить, в чем заключалась эта неправильность, и понять, что порождает во мне ощущение «странного». Я разглядывал абрис высокого бледного лба — он был безупречен (о, как холодно это слово в применении к величю столь божественному!), разглядывал его кожу, соперничающую оттенком с драгоценнейшей слоновой

¹ Согласно греческой мифологии, на острове Делосе родилась и жила вместе с подругами богиня Артемида, покровительница женского целомудрия.

костью, его строгую и спокойную соразмерность, легкие выпуклости на висках и, наконец, вороново-черные, блестящие, пышные, завитые самой природой кудри, которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовые»! Я смотрел на тонко очерченный нос — такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежащая взгляд роскошная безупречность, тот же чуть заметный намек на орлиный изгиб, те же гармонично вырезанные ноздри, свидетельствующие о свободном духе. Я взирав на сладостный рот. Он поистине был торжествующим средоточием всего небесного — великолепный изгиб короткой верхней губы, тихая истома нижней, игра ямочек, выразительность красок и зубы, отражавшие с блеском почти пугающим каждый луч священного света, когда они открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самой ликующе-ослепительной из улыбок. Я изучал лепку ее подбородка и находил в нем мягкую ширину, нежность и величие, полноту и одухотворенность греков — те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клеомену, сыну афинянина. И тогда я обращал взор на огромные глаза Лигейи.

Для глаз мы не находим образцов в античной древности. И может быть, именно в глазах моей возлюбленной заключался секрет, о котором говорил лорд Веруламский. Они, мнится мне, несравненно превосходили величиной обычные человеческие глаза. Они были больше даже самых больших газельих глаз женщин племени, обитающего в долине Нурджахад. И все же только по временам, только в минуты глубочайшего душевного волнения эта особенность Лигейи переставала быть лишь чуть заметной. И в такие мгновенья ее красота (быть может, повинно в этом было одно мое разгоряченное воображение) представлялась красотой существа небесного или не землей рожденного — красотой сказочной гурии турков. Цвет ее очей был блистающе-черным, их осеняли эбеновые ресницы необычной длины. Брови, изогнутые чуть-чуть неправильно, были того же оттенка. Однако «странность», которую я замечал в этих глазах, заключалась не в их величине, и не в цвете, и не в блеске — ее следовало искать в их выражении. Ах, это слово, лишенное смысла! За

обширность его пустого звучания мы прячем свою неосведомленность во всем, что касается области духа. Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Целую ночь накануне Иванова дня я тщетно искал разгадки его смысла! Чем было то нечто, более глубокое, нежели колодец Демокрита¹, которое таилось в зрачках моей возлюбленной? Что там скрывалось? Меня томило страстное желание узнать это. О, глаза Лигейи! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они превратились для меня в звезды-близнецы, рожденные Ледой², и я стал преданнейшим из их астрологов.

Среди многих непонятных аномалий науки о человеческом разуме нет другой столь жгуче волнующей, чем факт, насколько мне известно, не привлечший внимания ни одной школы и заключающийся в том, что, пытаясь воскресить в памяти нечто давно забытое, мы часто словно бы уже готовы вот-вот вспомнить, но в конце концов так ничего и не вспоминаем. И точно так же, вглядываясь в глаза Лигейи, я постоянно чувствовал, что сейчас постигну смысл их выражения, чувствовал, что уже постигаю его, — и не мог постигнуть, и он вновь ускользал от меня. И (странная, о, самая странная из тайн!) в самых обычных предметах вселенной я обнаруживал круг подобий этому выражению. Этим я хочу сказать, что с той поры, как красота Лигейи проникла в мой дух и воцарилась там, словно в святилище, многие сущности материального мира начали будить во мне то же чувство, которое постоянно дарили мне и внутри и вокруг меня ее огромные сияющие очи. И все же мне не было дано определить это чувство, или проанализировать его, или хотя бы спокойно обозреть. Я распознавал его, повторяю, когда рассматривал быстро растущую лозу или созерцал ночную бабочку, мотылька, куколку, струи стремительного ручья. Я ощущал его в океане и в падении метеора.

¹ Демокритов колодец — имеется в виду приписываемое Демокриту (ок. 460—370 до н. э.) высказывание «истина обитает на дне колодца».

² Двойные звезды Леды — две яркие звезды в созвездии Близнецов, носящие имена Кастора и Поллукса — согласно греческой мифологии, двух братьев-близнецов, рожденных Ледой от Зевса.

Я ощущал его во взорах людей, достигших необычного возраста. И были две-три звезды (особенно одна — звезда шестой величины, двойная и переменная, та, что соседствует с самой большой звездой Лиры¹), которые, когда я глядел на них в телескоп, рождали во мне то же чувство. Его несли в себе некоторые звуки струнных инструментов и нередко — строки книг. Среди бесчисленных других примеров мне ясно вспоминается абзац в трактате Джозефа Гленвилла, неизменно (быть может, лишь своей причудливостью — как знать?) пробуждавший во мне это чувство: «И в этом — воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог — ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Долгие годы и запоздалые размышления помогли мне даже обнаружить отдаленную связь между этими строками в труде английского моралиста и некоторыми чертами характера Лигейи. Напряженность ее мысли, поступков и речи, возможно, была следствием или, во всяком случае, свидетельством той колоссальной силы воли, которая за весь долгий срок нашей близости не выдала себя никакими другими, более непосредственными признаками. Из всех женщин, известных мне в мире, она — внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигейя — с наибольшим исступлением отдавалась в жертву диким коршунам беспощадной страсти. И эту страсть у меня не было никаких средств измерить и постичь, кроме чудодейственного расширения ее глаз, которые и восхищали и пугали меня, кроме почти колдовской мелодичности, модулированности, четкости и безмятежности ее тихого голоса, кроме яростной силы (вдвойне поражающей из-за контраста с ее манерой говорить) тех неистовых слов, которые она так часто произносила.

Я упомянул про ученость Лигейи — поистине гигантскую, какой мне не доводилось встречать у других женщин. В древних языках она была на редкость осведомлена, и все наречия современной Европы — во всяком случае, известные мне самому — она тоже знала

¹ Имеется в виду звезда Вега в созвездии Лиры.

безупречно. Да и довелось ли мне хотя бы единый раз обнаружить, чтобы Лигейя чего-то не знала — пусть даже речь шла о самых прославленных (возможно, лишь из-за своей запутанности) темах, на которых покоится хваленая эрудиция Академии? И каким странным путем, с каким жгучим волнением только теперь я распознал эту черту характера моей жены! Я сказал, что такой учености я не встречал у других женщин, но где найдется мужчина, который бы успешно пересек все широчайшие пределы нравственных, физических и математических наук? Тогда я не постигал того, что столь ясно вижу теперь, — что знания Лигейи были колоссальны, необъятны, и все же я настолько сознавал ее бесконечное превосходство, что с детской доверчивостью подчинился ее руководству, погружаясь в хаотичский мир метафизики, исследованиям которого я предавался в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким ликующим восторгом, с какой высокой надеждой распознавал я, когда Лигейя склонялась надо мной во время моих занятий (без просьбы, почти незаметно), ту восхитительную перспективу, которая медленно разворачивалась передо мной, ту длинную, чудесную, нехоженую тропу, которая обещала привести меня к цели — к мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной.

Так сколь же мучительно было мое горе, когда несколько лет спустя я увидел, как мои окрыленные надежды безвозвратно улетели прочь! Без Лигейи я был лишь ребенком, ощупью бродящим во тьме. Ее присутствие, даже просто ее чтение вслух, озаряло ясным светом многие тайны трансцендентной¹ философии, в которую мы были погружены. Лишенные животворного блеска ее глаз, буквы, сияющие и золотые, становились более тусклыми, чем свинец Сатурна². А теперь эти глаза все реже и реже освещали страницы, которые я штудировал. Лигейя заболела. Непостижимые глаза ее сверкали слишком ослепительными

¹ Трансцендентализм — в Америке так называлось движение философского идеализма, возникшее в 1836 г.

² Сатурнов свинец — в алхимии и старой химии свинец назывался сатурном.

лучами; бледные пальцы обрели прозрачно-восковой оттенок могилы, а голубые жилки на высоком лбу властно вздувались и опадали от самого легкого волнения. Я видел, что она должна умереть, — и дух мой вел отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом¹. К моему изумлению, жена моя боролась с ним еще более страстно. Многие особенности ее сдержанной натуры внушили мне мысль, что для нее смерть будет лишена ужаса, — но это было не так. Слова бессильны передать, как яростно сопротивлялась она беспощадной Тени. Я стонал от муки, наблюдая это надрывающее душу зрелище. Я утешал бы, я убеждал бы, но перед силой ее неодолимого стремления к жизни, к жизни — только к жизни! — и утешения и уговоры были равно нелепы. И все же до самого последнего мгновения, среди самых яростных конвульсий ее неукротимого духа она не утрачивала внешнего безмятежного спокойствия. Ее голос стал еще нежнее, еще тише — и все же мне не хотелось бы касаться безумного смысла этих спокойно произносимых слов. Моя голова туманилась и шла кругом, пока я замороженно внимал мелодии, недоступной простым смертным, внимал предположениям и надеждам, которых смертный род прежде не знал никогда.

О, я не сомневался в том, что она меня любила, и мог бы без труда догадаться, что в подобной груди способна властвовать лишь любовь особенная. Однако только с приходом смерти постиг я всю силу ее страсти. Долгими часами, удерживая мою руку в своей, она исповедовала мне тайны сердца, чья более чем пылкая преданность достигала степени идолопоклонства. Чем заслужил я блаженство подобных признаний? Чем заслужил я мучение разлуки с моей возлюбленной в тот самый час, когда слышал их? Но об этом я не в силах говорить подробнее. Скажу лишь, что в этом более чем женском растворении в любви — в любви, увы, незаслуженной, отданной недостойному — я, наконец, распознал природу неутолимой жажды Лигейи, ее необузданного стремления к жизни, которая теперь столь стремительно отлетала от нее. И вот этой-то необузданной жажды, этого алчного стремления к жиз-

¹ А з р а и л — в мусульманской мифологии ангел смерти.

ни — только к жизни! — я не могу описать, ибо нет слов, в которые его можно было бы воплотить.

В ночь своей смерти, в глухую полночь, она властным мановением подозвала меня и потребовала, чтобы я прочел ей стихи, сложенные ею лишь несколько дней назад. Я повиновался. Вот эти стихи:

Спектакль-гала! Чу, срок настал,
Печалью лет повит.
Под пеленою покрывал
Сокрыв снега ланит,
Сияя белизной одежд,
Сонм ангелов следит
За пьесой страха и надежд,
И музыка сфер гремит.

По своему подобию бог
Актеров сотворил.
Игрушки страха и тревог
Напрасно тратят пыл:

Придут, исчезнут, вновь придут,
Покорствуя велению сил,
Что сеют горе и беду
Движеньем кондоровых крыл.

Пестра та драма и глупа,
Но ей забвенья нет:
По кругу мечется толпа
За призраком вослед,
И он назад приводит всех
Тропой скорбей и бед.
Безумие, и черный грех,
И ужас — ее сюжет.

Но вдруг актеров хоровод
Испуганно затих.
К ним тварь багряная ползет
И пожирает их.
Ползет, свою являя власть,
Жертв не щадя своих.
Кровавая зияет пасть —
Владыка судьб людских.

Всюду тьма, им всем гибель — удел.
Под бури пронзительный вой
На груды трепещущих тел
Пал занавес — мрак гробовой.
Покрывала откинувши, рек
Бледных ангелов плачущий строй,
Что трагедия шла — «Человек»
И был Червь Победитель — герой.

— О Бог! — пронзительно вскрикнула Лигейя, вскакивая и судорожно простирая руки к небесам, когда я прочел последние строки. — О Бог! О Божественный Отец! Должно ли всегда и неизменно быть так? Ужели этот победитель ни разу не будет побежден сам? Или мы не часть Тебя и не едины в Тебе? Кто... кто постигает тайны воли во всей мощи ее? Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей!

Затем, словно совсем изнемогшая от этого порыва, она уронила белые руки и скорбно вернулась на одр смерти. И когда она выпускала последний вздох, вместе с ним с ее губ срывался чуть слышный шепот. Я почти коснулся их ухом и вновь различил все те же слова Гленвилла: «Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Она умерла, и я, сокрушенный печалью во прах, уже не мог долее выносить унылого уединения моего жилища в туманном ветшающем городе на Рейне. Я не испытывал недостатка в том, что свет зовет богатством. Лигейя принесла мне в приданое больше — о, много, много больше, — чем обычно выпадает на долю смертных. И вот после нескольких месяцев тягостных и бесцельных странствий я купил и сделал пригодным для обитания старинное аббатство, которое не назову, в одной из наиболее глухих и безлюдных областей прекрасной Англии. Угрюмое величие здания, дикий вид окрестностей, множество связанных с ними грустных стародавних преданий весьма гармонировали с той безысходной тоской, которая загнала меня в этот отдаленный и никем не посещаемый уголок страны. Однако, хотя наружные стены аббатства, увитые, точно руины, вековым плющом, были сохранены в прежнем своем виде, внутренние его помещения я с ребяческой непоследовательностью, а может быть, и в безотчетной надежде утешить терзавшее меня горе отделал с более чем королевским великолепием. Ибо еще в детские годы я приобрел вкус к этим суетным пустякам, и теперь он вернулся ко мне, точно знамение второго детства, в которое ввергла меня скорбь. Увы, я понимаю, сколько зарождающегося безумия можно было бы об-



наружить в пышно прихотливых драпировках, в сумрачных изваяниях Египта, в невиданных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах парчовых ковров с золотой бахромой! Тогда уже я стал рабом опиума, покорно подчинившись его узам, а потому все мои труды и приказы расцветчивались оттенками дурманных грез. Но к чему останавливаться на этих глупостях! Я буду говорить лишь о том вовеки проклятом покое, куда в минуту помрачения рассудка я привел от алтаря как юную мою супругу, как преемницу незабытой Лигейи белокурую и синеглазую леди Ровену Тремейн из рода Тревейньон.

Каждая архитектурная особенность, каждое украшение этого брачного покоя — все они стоят сейчас перед моими глазами. Где были души надменных родителей и близких новобрачной, когда в жажде золота они допустили, чтобы невинная девушка переступила порог комнаты, вот так украшенной? Я сказал, что помню эту комнату во всех подробностях — я, который столь непростительно забывчив теперь, когда речь идет о предметах величайшей важности; а ведь в этой фантастической хаотичности не было никакой системы, никакого порядка, которые могли бы помочь памяти. Комната эта, расположенная в одной из высоких башен похожего на замок аббатства, была пятиугольной и очень обширной. Всю южную сторону пятиугольника занимало окно — гигантское цельное венецианское стекло свинцового оттенка, так что лучи и солнца и луны, проходя сквозь него, придавали предметам внутри мертвенный оттенок. Над этим колоссальным окном по решетке на массивной стене вились старые виноградные лозы. Необыкновенно высокий сводчатый потолок из темного дуба был покрыт искусной резьбой — самыми химерическими и гротескными образчиками полуготического, полудруидического¹ стиля. Из самого центра этого мрачного свода на единой золотой цепи с длинными звеньями свисала огромная курильница из того же металла сарацинской чеканки, с многочисленными отверстиями, столь хитро расположенными, что из них непрерывно ползли и ползли, словно наделенные змеиной жизнью, струи разноцветного огня.

¹ Д р у и д ы — жрецы у древних кельтов.

Там и сям стояли оттоманки и золотые восточные канделябры, а кроме них — ложе, брачное ложе индийской работы из резного черного дерева, низкое, с погребально-пышным балдахином. В каждом из пяти углов комнаты вертикально стояли черные гранитные саркофаги из царских гробниц Луксора¹, с их древних крышек смотрели изваяния незапамятной древности. Но наиболее фантазмагоричны были, увы, драпировки, которые, ниспадая тяжелыми волнами, сверху донизу закрывали необыкновенно — даже непропорционально — высокие стены комнаты. Это были массивные гобелены, сотканые из того же материала, что и ковер на полу, что и покрывала на оттоманках и кровати из черного дерева, что и ее балдахин, что и драгоценные свитки занавеса, частично затенявшего окно. Материалом этим была бесценная золотая парча. Через неравномерные промежутки в нее были вотканы угольно-черные арабески около фута в поперечнике. Однако арабески эти представлялись просто узорами только при взгляде из одной точки. При помощи способа, теперь широко применяемого и прослеживаемого до первых веков античности, им была придана способность изменяться. Тому, кто стоял на пороге, они представлялись просто диковинными уродствами; но стоило вступить в комнату, как арабески эти начинали складываться в фигуры, и посетитель с каждым новым шагом обнаруживал, что его окружает бесконечная процессия ужасных образов, измышленных суеверными норманнами или возникших в сонных видениях грешного монаха. Жуткое впечатление это еще усиливалось благодаря тому, что позади драпировок был искусственно создан непрерывный и сильный ток воздуха, который, заставляя фигуры шевелиться, наделял их отвратительным и пугающим подобием жизни.

Вот в каких апартаментах, вот в каком свадебном покое провел я с леди Тремейн не осененные благословением часы первого месяца нашего брака — и про-

¹ Л у к с о р — город в Египте на правом берегу Нила, на месте древних Фив, где находятся руины знаменитого храма бога Аммона (XV в. до н. э.).

вел их, не испытывая особой душевной тревоги. Я не мог не заметить, что моя жена страшится моего яростного угрюмого нрава, что она избегает меня и не питает ко мне любви. Но это скорее было мне приятно. Я ненавидел ее исполненной отвращения ненавистью, какая свойственна более демонам, нежели человеку. Память моя возвращалась (о, с каким мучительным сожалением!) к Лигейе — возлюбленной, царственной, прекрасной, погребенной. Я наслаждался воспоминаниями о ее чистоте, о ее мудрости, о ее высокой, ее эфирной натуре, о ее страстной, ее боготворящей любви. Теперь мой дух поистине и щедро пылал пламенем даже еще более неистовым, чем огонь, сжедавший ее. В возбуждении моих опиумных грез (ибо я постоянно пребывал в оковах этого дурмана) я громко звал ее по имени как в ночном безмолвии, так и в уединении лесных лужаек среди бела дня, словно необузданной тоской, глубочайшей страстью, всепожирающим жаром томления по усопшей я мог вернуть ее на пути, покинутые ею — ужели, ужели навеки? — здесь на земле.

В начале второго месяца нашего брака леди Ровену поразил внезапный недуг, и выздоровление ее было трудным и медленным. Терзавшая ее лихорадка лишала больную ночного покоя, и в тревожном полусне она говорила о звуках и движениях, которыми была наполнена комната в башне, но я полагал, что они порождались ее расстроенным воображением или, быть может, фантасмагорическим воздействием самой комнаты. В конце концов ей стало легче, а потом она и совсем выздоровела. Однако минул лишь краткий срок, и новый, еще более жестокий недуг опять бросил ее на ложе страданий; здоровье ее никогда не было крепким и теперь совсем расстроилось. С этого времени ее болезни приобретали все более грозный характер, и еще более грозным было их постоянное возобновление — все знания и все старания ее врачей оказывались тщетными. Усиление хронического недуга, который, по-видимому, укоренился так глубоко, что уже не поддавался излечению человеческими средствами, по моим почти невольным наблюдениям сочеталось с равным усилением нервного расстройства, сопровождавшегося, казалось бы, беспричинной пугливостью. Она все чаще

и все упорнее твердила о звуках — о чуть слышных звуках — и о странном движении среди драпировок, про которые упоминала прежде.

Как-то ночью на исходе сентября больная с большей, чем обычно, настойчивостью заговорила со мной об этом тягостном предмете. Она только что очнулась от беспокойной дремоты, и я с тревогой, к которой примешивался смутный ужас, следил за сменой выражений на ее исхудалом лице. Я сидел возле ее ложа черного дерева на одной из индийских оттоманок. Ровена приподнялась и тихим исступленным шепотом говорила о звуках, которые слышала в это мгновение — но которых я не слышал, о движении, которое она видела в это мгновение — но которого я не улавливал. За драпировками проносился сильный ветер, и я решил убедить Ровену (хотя, признаюсь, сам этому верил не вполне), что это почти беззвучное дыхание и эти чуть заметные изменения фигур на стенах были лишь естественными следствиями постоянного воздушного тока за драпировками. Однако смертельная бледность, разлившаяся по ее лицу, сказала мне, что мои усилия успокоить ее останутся тщетными. Казалось, она лишается чувств, а возле не было никого из слуг. Я вспомнил, где стоял графин с легким вином, которое предписал ей врач, и поспешно пошел за ним в дальний конец комнаты. Но когда я вступил в круг света, отбрасываемого курильницей, мое внимание было привлечено двумя поразительными обстоятельствами. Я ощутил, как мимо, коснувшись меня, скользнуло нечто невидимое, но материальное, и заметил на золотом ковре в самом центре яркого сияющего круга, отбрасываемого курильницей, некую тень — прозрачное, туманное ангельское подобие: тень, какую могло бы отбросить призрачное видение. Но я был вне себя от возбуждения, вызванного особенно большой дозой опиума, и, сочтя эти явления не стоящими внимания, ничего не сказал о них Ровене. Отыскав графин, я вернулся к ней, налил бокал вина и поднес его к ее губам. Однако она уже немного оправилась и взяла бокал сама, а я опустился на ближайшую оттоманку, не сводя глаз с больной. И вот тогда-то я совершенно ясно расслышал легкие шаги по ковру возле ее ложа, а мгновение

спустя, когда Ровена готовилась отпить вино, я увидел — или мне пригрезилось, что я увидел, — как в бокал, словно из невидимого сокрытого в воздухе источника, упали три-четыре большие блистающие капли рубинового цвета. Но их видел только я, а не Ровена. Она без колебаний выпила вино, я же ничего не сказал ей о случившемся, считая, что все это могло быть лишь игрой воображения, воспламененного страхами больной, опиумом и поздним часом.

И все же я не могу скрыть от себя, что сразу же после падения рубиновых капель состояние Ровены быстро ухудшилось, так что на третью ночь руки прислужниц уже приготовили ее для погребения, а на четвертую я сидел наедине с ее укутанным в саван телом в той же фантасмагорической комнате, куда она вступила моей молодою женой. Перед моими глазами мелькали безумные образы, порожденные опиумом. Я устремлял тревожный взор на саркофаги в углах, на меняющиеся фигуры драпировок, на извивающиеся многоцветные огни курильницы в вышине. Вспоминая подробности недавней ночи, я посмотрел на то освещенное курильницей место, где я увидел тогда неясные очертания тени. Но на этот раз ее там не было, и, вздохнув свободнее, я обратил взгляд на бледную и неподвижную фигуру на ложе. И вдруг на меня нахлынули тысячи воспоминаний о Лигейе — и с бешенством разлившейся реки в мое сердце вновь вернулась та невыразимая мука, с которой я глядел на Лигейю, когда такой же саван окутывал ее. Шли ночные часы, а я, исполненный горчайших дум о единственной и бесконечно любимой, все еще смотрел на тело Ровены.

В полночь — а может быть, позже или раньше, ибо я не замечал времени, — рыдающий вздох, тихий, но ясно различимый, заставил меня очнуться. Мне почудилось, что он донесся с ложа черного дерева, с ложа смерти. Охваченный суеверным ужасом, я прислушался, но звук не повторился. Напрягая зрение, я старался разглядеть, не шевельнулся ли труп, но он был неподвижен. И все же я не мог обмануться. Я бесспорно слышал этот звук, каким бы тихим он ни был, и душа моя пробудилась. С упорным вниманием я не спускал глаз с умершей. Прошло много минут, прежде чем

случилось еще что-то, пролившее свет на тайну. Но наконец стало очевидным, что очень слабая, еле заметная краска разлилась по щекам и по крохотным спавшимся сосудам век. Пораженный неизъяснимым ужасом и благоговением, для описания которого в языке смертных нет достаточно сильных слов, я ощутил, что сердце мое перестает биться, а члены каменеют. Однако чувство долга в конце концов заставило меня сбросить парализующее оцепенение. Нельзя было долее сомневаться, что мы излишне поторопились с приготовлениями к похоронам что Ровена еще жива. Нужно было немедленно принять необходимые меры, но башня находилась далеко в стороне от той части аббатства, где жили слуги и куда они все удалились на ночь, — чтобы позвать их на помощь, я должен был бы надолго покинуть комнату, а этого я сделать не решался. И в одиночестве я прилагал все усилия, чтобы удержать дух, еще не покинувший тело. Но вскоре стало ясно, что они оказались тщетными, — краска исчезла со щек и век, сменившись более чем мраморной белизной, губы еще больше запали и растянулись в жуткой гримасе смерти, отвратительный липкий холод быстро распространился по телу, и его тотчас сковало обычное окостенение. Я с дрожью упал на оттоманку, с которой был столь страшным образом поднят, и вновь предался страстным грезам о Лигейе.

Так прошел час, а затем (могло ли это быть?) я вторично услышал неясный звук, донесшийся со стороны ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук раздался снова — это был вздох. Кинувшись к трупу, я увидел, — да-да, увидел! — как затрепетали его губы. Мгновение спустя они полураскрылись, обнажив блестящую полоску жемчужных зубов. Изумление боролось теперь в моей груди со всепоглощающим страхом, который до этого властвовал в ней один. Я чувствовал, что зрение мое тускнеет, рассудок мутится, и только ценой отчаянного усилия я, наконец, смог принудить себя к исполнению того, чего требовал от меня долг. К этому времени ее лоб, щеки и горло слегка порозовели и все тело потеплело. Я ощутил даже слабое биение сердца. Она была жива! И с удвоенным жаром я начал приводить ее в чувство. Я растирал и смачивал спиртом

ее виски и ладони, я пускал в ход все средства, какие подсказывали мне опыт и немалое знакомство с медицинскими трактатами. Но втуне! Внезапно розовый цвет исчез, сердце перестало биться, губы вновь сложились в гримасу смерти, и миг спустя тело обрело льдистый холод, свинцовую бледность, жесткое окостенение, угловатость очертаний и все прочие жуткие особенности, которые обретает труп, много дней пролежавший в гробнице.

И вновь я предался грезам о Лигейе, и вновь (удивительно ли, что я содрогаюсь, когда пишу эти строки?), вновь с ложа черного дерева до меня донесся рыдающий вздох. Но к чему подробно пересказывать невыразимые ужасы этой ночи? К чему медлить и описывать, как опять и опять почти до первых серых лучей рассвета повторялась эта жуткая драма оживления, прерываясь новым жестоким и, казалось бы, победным возвращением смерти? Как каждая агония являла черты борьбы с каким-то невидимым врагом и как каждая такая борьба завершалась неописуемо страшным преображением трупа? Нет, я сразу перейду к завершению.

Эта жуткая ночь уже почти миновала, когда та, что была мертва, еще раз шевельнулась — и теперь с большей энергией, чем прежде, хотя и восставая из окостенения, более леденящего душу своей полной мертвенностью, нежели все предыдущие. Я уже давно отказался от всяких попыток помочь ей и, бессильно застыв, сидел на оттоманке, охваченный бурей чувств, из которых невыносимый ужас был, пожалуй, наименее мучительным и жгучим. Труп, повторяю, пошевелился, и на этот раз гораздо энергичней, чем раньше. Краски жизни с особой силой вспыхнули на лице, члены расслабились, и, если бы не сомкнутые веки и не погребальные покровы, которые все еще сообщали телу могильную безжизненность, я мог бы вообразить, что Ровене удалось наконец сбросить оковы смерти. Но если даже в тот миг я не мог вполне принять эту мысль, то для сомнений уже не было места, когда, восстав с ложа, неверными шагами, не открывая глаз, словно в дурмане тяжкого сна, фигура, завернутая в саван, выступила на самую середину комнаты!

Я не вздрогнул, я не шелохнулся, ибо в моем мозгу пронесся вихрь невыносимых подозрений, рожденных обликом, осанкой, походкой этой фигуры, парализуя меня, превращая меня в камень. Я не шелохнулся и только глядел на это видение. Мысли мои были расстроены, были ввергнуты в неизъяснимое смятение. Неужели передо мной действительно стояла живая Ровена? Неужели это Ровена — белокурая и синеглазая леди Ровена Тремейн из рода Тревейньон? Почему, почему усомнился я в этом? Рот стягивала тугая повязка, но разве он не мог быть ртом очнувшейся леди Тремейн? А щеки — на них цвели розы, как в дни ее беззаботной юности... да, конечно, это могли быть щеки ожившей леди Тремейн. А подбородок с ямочками, говорящими о здоровье, почему он не мог быть ее подбородком? Но в таком случае за дни своей болезни она стала выше ростом? Какое невыразимое безумие овладело мной при этой мысли. Одним прыжком я очутился у ее ног. Она отпрянула от моего прикосновения, окутывавшая ее голову жуткая погребальная пелена упала, и гулявший по комнате ветер заиграл длинными спутанными прядями пышных волос — они были чернее вороновых крыл полуночи. И тогда медленно раскрылись глаза стоявшей передо мной фигуры.

— В этом... — пронзительно вскрикнул я, — да, в этом я не могу ошибиться! Это они — огромные, и черные, и пылающие глаза моей потерянной возлюбленной... леди... ЛЕДИ ЛИГЕЙИ!

ЧЕРТ НА КОЛОКОЛЬНЕ

Который час?

Известное выражение

Решительно всем известно, что прекраснейшим местом в мире является — или, увы, являлся — голландский городок Школькофремен. Но ввиду того, что он расположен на значительном расстоянии от больших дорог, в захолустной местности, быть может лишь весьма немногим из моих читателей довелось в нем побывать. Поэтому, ради тех, кто в нем не побывал, будет вполне уместно, если я сообщу о нем некоторые сведения. Это тем более необходимо, что, надеясь пробудить сочувствие публики к его жителям, я намереваюсь поведать здесь историю бедственных событий, недавно произошедших в его пределах. Никто из знающих меня не усомнится в том, что мой добровольный долг будет выполнен в полную меру моих способностей, с тем строгим беспристрастием, скрупулезным изучением фактов и тщательным сличением источников, которыми всегда должен отличаться тот, кто претендует на звание историка.

Пользуясь помощью летописей купно с эпитафиями и медалями, я могу утверждать о Школькофремене, что он со своего основания находился совершенно в таком же состоянии, в каком пребывает и ныне. Однако замечу, сокрушаясь, что о дате его основания я могу говорить лишь с той неопределенной определенностью, с какой математики иногда принуждены мириться в некоторых алгебраических формулах. Поэтому могу сказать одно: городок стар, как все на земле, и существует с сотворения мира.

С прискорбием сознаюсь, что происхождение названия «Школькофремен» мне также неведомо. Среди множества мнений об этом щекотливом вопросе — из коих некоторые остроумны, некоторые учены, а некоторые в достаточной мере им противоположны — не могу выбрать ни одного, которое можно бы счесть удовлетворительным. Быть может, гипотеза Шнапстринкена, почти совпадающая с гипотезой Тугодумма, при известных оговорках заслуживает предпочтения. Она гласит: «Лексема «фремен» является этимологическим дублетом слова «ремень», что связывается с процветанием свиноводства в городе, а вследствие этого и производством изделий из свиной кожи». Однако я не желаю компрометировать себя, высказывая мнения о столь важной теме, и должен отослать интересующегося читателя к труду «Oratiunculae de Rebus Praeterveteris»¹ сочинения Брюхенгромма. Также смотри Вандерстервен. De Derivationibus² (с. 27—5010, фолио, готич. изд., красный и черный шрифт, колонти-тул и без арабской пагинации), где тоже можно ознакомиться с постраничными примечаниями Сорундвздо-ра и комментариями Тшафкенхрюккена.

Несмотря на тьму, которой покрыты дата основания Школькофремена и происхождение его названия, как было сказано выше, не может быть сомнения, что он всегда выглядел совершенно так же, как и в нашу эпоху. Старейший из жителей не может вспомнить даже малейшего изменения в облике какой-либо его части; да и самое допущение подобной возможности сочли бы оскорбительным. Городок расположен в долине, имеющей форму правильного круга, — около четверти мили в окружности, — и со всех сторон его обступают пологие холмы, перейти которые еще никто не отважился. Поэтому все горожане с достаточным основанием считают, что по ту сторону холмов вообще ничего нет.

По краю долины (совершенно ровной и полностью вымощенной плоскими кафлями) расположены, примыкая друг к другу, шестьдесят маленьких домиков. Домики эти фасадами выходят к центру долины,

¹ «Небольшие речи о давнем прошлом» (лат.).

² «Об образованиях» (лат.).

находящемся ровно в шестидесяти ярдах от входа в каждый дом. Перед каждым домиком маленький садик, а в нем — идущая по кругу дорожка, солнечные часы и двадцать четыре кочана капусты. Все здания так схожи между собой, что никак нельзя отличить одно от другого. Ввиду большой древности архитектура у них довольно странная, тем не менее она весьма живописна. Выстроены они из огнеупорных кирпичиков — красных, с черными концами, так что стены похожи на большие шахматные доски. Коньки крыш обращены к центру площади; над первыми этажами, неуклюже громоздясь, выступают вторые. Окна узкие и глубокие, с маленькими стеклами и частым переплетом. Крыши обильно разубраны черепицей с длинными завитками. Деревянные части — темного цвета; и хоть на них много резьбы, но разнообразия в ее рисунке мало, ибо с незапамятных времен резчики Школькофремена умели изображать только два предмета — часы и капустный кочан. Но вырезают они их отлично, и притом с поразительной изобретательностью — везде, где только хватит места для резца.

Жилища так же сходны между собой внутри, как и снаружи, и мебель расставлена по одному плану. Полы покрыты квадратными кафлями; стулья и столы сделаны из дерева, похожего на черное, с тонкими изогнутыми ножками. Полки над каминами высокие и черные, и на них имеются не только изображения часов и кочанов, но и настоящие часы, которые помещаются посередине полок; часы необычайно громко тикают; по концам полок, в качестве пристяжных, стоят цветочные горшки; в каждом горшке по капустному кочану. Между горшками и часами стоят толстопузые фарфоровые человечки; в животе у каждого из них большое круглое отверстие, в котором виден часовой циферблат.

Очаги в домах большие и глубокие, с изогнутыми таганами устрашающего вида. Над вечно горящим огнем — громадный котел, полный кислой капусты и свинины, за которым всегда наблюдает добрая хозяйка дома. Обычно это маленькая толстая старушка, голубоглазая и краснолицая, в огромном, похожем на сахарную голову чепце, украшенном лиловыми и желтыми лентами. На ней оранжевое платье из полушерсти,

очень широкое сзади и очень короткое в талии, да и вообще не длинное, ибо доходит только до икр. Икры у нее толстоватые, щиколотки — тоже, но обтягивают их нарядные зеленые чулки. Ее туфли — из розовой кожи, с пышными пучками желтых лент, которым придана форма капустных кочанов. В левой руке у нее маленькие тяжелые голландские часы, в правой — половник для помешивания свинины с капустой. Рядом с ней стоит жирная полосатая кошка, к хвосту которой мальчики потехи ради привязали позолоченные игрушечные часы с репетицией.

Сами мальчики — их трое — присматривают за свиньей. Все они ростом в два фута. На них треуголки, доходящие до бедер лиловые жилеты, короткие панталоны из оленьей кожи, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими серебряными пряжками и длинные кафтаны с крупными перламутровыми пуговицами. У каждого в зубах трубка, а в правой руке — маленькие пузатые часы. Затянутся они — и посмотрят на часы, посмотрят — и затянутся. Тучная ленивая свинья то подбирает опавшие капустные листья, то пытается лягнуть позолоченные часы с репетицией, которые мальчишки привязали к ее хвосту, дабы она была такой же красивой, как и кошка.

У самой парадной двери, в обитых кожей креслах с высокой спинкой и такими же изогнутыми ножками, как у столов, сидит сам хозяин дома. Это весьма пухлый старичок с большими круглыми глазами и огромным двойным подбородком. Одет он так же, как и дети, — так что об этом можно не говорить. Вся разница в том, что трубка у него несколько крупнее и дыма он пускает больше. Как и у мальчиков, у него есть часы, но он их носит в кармане. Говоря по правде, ему надо следить кое за чем поважнее часов, — а за чем, я скоро объясню. Он сидит, положив правую ногу на левое колено, облик его строг, и по крайней мере один его глаз всегда прикован к некоей примечательной точке в центре долины.

Точка эта находится на башне городской ратуши. Советники ратуши — все очень маленькие, кругленькие, масляные и смышленные человечки с большими, как блюдца, глазами и толстыми двойными подбород-

ками, а кафтаны у них гораздо длиннее и пряжки на башмаках гораздо крупнее, нежели у простых обитателей Школькофремена. За время моего пребывания в городе у них состоялось несколько особых совещаний, и они приняли следующие три важных решения:

«Что изменять добрый старый порядок жизни нехорошо»;

«Что вне Школькофремена нет ничего даже сносного» и

«Что мы будем держаться наших часов и нашей капусты».

Над залом ратуши высится башня, а на башне есть колокольня, на которой находится и находились с времен назапамятных гордость и диво этого города — главные часы Школькофремена. Это и есть точка, к которой обращены взоры старичков, сидящих в кожаных креслах.

У часов семь циферблатов — по одному на каждую из сторон колокольни, — так что их легко увидеть отовсюду. Циферблаты большие, белые, а стрелки тяжелые, черные. Есть специальный звонарь, единственной обязанностью которого является надзор за часами; но эта обязанность — совершеннейший вид синекуры, ибо со школькофременскими часами никогда еще ничего не случилось. До недавнего времени даже предположение об этом считалось ересью. С глубочайшей древности, упоминания о которой сохранились в архивах, большой колокол регулярно отбивал время. Да, впрочем, и все другие часы в городе тоже. Нигде так не следили за точным временем, как в этом городе. Когда большой колокол находил нужным сказать: «Двенадцать часов!», все его верные последователи одновременно разверзали глотки и откликались, как само эхо. Короче говоря, добрые бюргеры любили кислую капусту, но своими часами они гордились.

Всех, чья должность является синекурой, в той или иной степени уважают, а так как у школькофременского звонаря совершеннейший вид синекуры, то и уважают его больше, нежели кого-нибудь на свете. Он главный городской сановник, и даже свиньи взирают на него снизу вверх с глубоким почтением. Фалды его кафтана *гораздо* длиннее, трубка, пряжки на башмаках,

глаза и живот *гораздо* больше, нежели у других городских старцев. Что до его подбородка, то он не только двойной, а даже тройной.

Вот я и описал счастливый уголок Школькофремен. Какая жалость, что столь прекрасная картина должна была перемениться на обратную!

Давно уж мудрейшие обитатели его повторяли: «Из-за холмов добра не жди»; и в этих словах оказалось нечто пророческое. Два дня назад, когда до полудня оставалось пять минут, на вершине холмов с восточной стороны появился предмет весьма необычного вида. Такое происшествие, конечно, привлекло всеобщее внимание, и каждый старичок, сидевший в кожаных креслах, смятенно устремил один глаз на феномен, не отрывая второго глаза от башенных часов. Когда до полудня оставалось всего три минуты, любопытный предмет на горизонте оказался миниатюрным молодым человеком чужеземного вида. Он с необычайной быстротой спускался с холмов, так что скоро все могли подробно рассмотреть его. Воистину это был самый большой ломака из всех, каких когда-либо видели в Школькофрене. Цветом лица он напоминал темный нюхательный табак, у него был длинный крючковатый нос, глаза — как горошины, и прекрасные зубы, которыми он, казалось, стремился перед всеми похвастаться, улыбаясь до ушей; бакены и усы скрывали остальную часть его лица. Голова была не покрыта, волосы аккуратно завернуты в папильотки. На нем был плотно облегающий фрак (из заднего кармана которого высовывался длиннейший угол белого платка), черные кашемировые панталоны до колен, черные чулки и тупоносые черные лакированные туфли с громадными пучками черных атласных лент вместо бантов. С одной стороны он прижимал к себе локтем громадную шляпу, а с другой — скрипку, почти в пять раз больше его самого. В левой руке у него была золотая табакерка, из которой, сбегая с прискоком с холма и выделявая самые фантастические па, в то же время непрерывно брал табак и нюхал его с видом величайшего самодовольства. Вот это, доложу я вам, было зрелище для честных бюргеров Школькофремена!

Проще говоря, у этого малого, несмотря на его ухмылку, лицо было дерзкое и зловещее; и, когда он выделывая курбеты, влетел в городок, тупые носки его туфель вызвали немалое подозрение; и многие бюргеры, видевшие его в тот день, согласились бы даже пожертвовать малой толикой, лишь бы заглянуть под белый батистовый платок, столь нагло свисавший из кармана его фрака. Но главным образом этот щеголеватый негодяй возбудил праведное негодование тем, что, откалывая тут фанданго, там джигу, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости соблюдать в танце правильный *счет*.

Добрые горожане, впрочем, и глаз-то как следует открыть не успели, когда этот негодяй — до полудня оставалось всего полминуты — врезался прямо в их гущу: тут «шассе», там «балансе», а потом, сделав пируэт и «па-де-зефир», вспорхнул прямо на башню, где пораженный звонарь сидел и курил, исполненный достоинства и отчаяния. А человек тут же схватил его за нос и дернул как следует, нахлобучил ему на голову шляпу, закрыв ему глаза и рот, а потом замахнулся большой скрипкой и стал бить его так долго и старательно, что при соприкосновении столь полой скрипки со столь толстым звонарем можно было подумать, будто целый полк барабанщиков выбивает сатанинскую дробь на башне школькофременской ратуши.

Кто знает, к какому отчаянному акту мести побудило бы жителей это бесчестное нападение, если бы не одно важное обстоятельство: до полудня оставалось только полсекунды. Колокол должен был вот-вот ударить, а внимательное наблюдение за своими часами было абсолютной и насущной необходимостью. Видимо, в тот самый миг пришелец проделывал с часами что-то неподобающее. Но часы забили, ни у кого не было времени следить за его действиями, ибо всем надо было считать удары колокола.

— Раз! — сказали часы.

— Расс! — отозвался каждый маленький старичок с каждого обитого кожей кресла в Школькофремене. «Расс!» — сказали его часы; «расс!» — сказали часы его фроу; и «расс!» — сказали часы мальчиков и позолочен-

ные часики с репетицией на хвостах у кошки и у сви-
ньи.

— Два! — продолжал большой колокол; и—

— Тфа! — повторили все за ним.

— Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Де-
вять! Десять! — сказал колокол.

— Три! Тшетире! Пиать! Тшесть! Зем! Фосем! Те-
фять! Тесять! — ответили остальные.

— Одиннадцать! — сказал большой.

— Отиннатсать! — подтвердили маленькие.

— Двенадцать! — сказал колокол.

— Тфенатсать! — согласились все, удовлетворенно
понижив голос.

— Унд тфенатсать тшасофф и есть! — сказали все
старички, поднимая часы.

Но большой колокол еще с ними не покончил.

— Тринадцать! — сказал он.

— Дер Тейфель! — ахнули старички, бледнея, ро-
няя трубки и снимая правые ноги с левых колен.

— Дер Тейфель! — стонали они. — «Дряннатсать!
Дряннатсать! Майн Готт, сейтшас, сейтшас дряннатсать
тшасофф!»

К чему попытки описать последовавшую ужасную
сцену? Всем Школькофременом овладело прискорбное
смятение.

— Што с моим шифотом! — возопили все мальчи-
ки. — Я целый тшас колотаю!

— Што с моей капустой? — визжали все фроу. —
Она за тшас вся расфарилась!

— Што с моей трупкой? — бранились все старич-
ки. — Дондер унд блитцен; она целый тшас, как пока-
ла! — И в гневе они снова набили трубки и, откинув-
шись на спинки кресел, запыхтели так стремительно
и свирепо, что вся долина мгновенно окуталась непро-
ницаемым дымом.

Тем временем все капустные кочаны покраснели,
и казалось, сам нечистый вселился во все, имеющее
вид часов. Часы, вырезанные на мебели, заплясали, точ-
но бесноватые; часы на каминных полках едва сдержи-
вали ярость и не переставали отбивать тринадцать ча-
сов, а маятники так дрыгались и дергались, что страш-
но было смотреть. Но еще хуже то, что ни кошки, ни

свиньи не могли больше мириться с поведением часиков, привязанных к их хвостам, и выражали свое возмущение тем, что метались, царапались, повсюду совали рыла, визжали и верещали, вопили и пищали, кидались людям в лицо и забирались под юбки — словом, устроили самый омерзительный гомон и смятение, какие только может вообразить здравомыслящий человек. А в довершение всех зол негодный маленький шалопай на колокольне, по-видимому, старался вовсю. Время от времени мерзавца можно было увидеть сквозь клубы дыма. Он сидел в башне на упавшем навзничь звонаре. В зубах злодей держал веревку от колокола, которую дергал, мотая головой, и при этом поднимал такой шум, что у меня до сих пор в ушах звенит, как вспомню. На коленях у него лежала скрипка, которую он скреб обеими руками, немилосердно фальшивя, и страшно, стервец, рисовался, играя «Джуди О'Фланнаган и Пэдди О'Рафферти».

При столь горестном положении вещей я с отвращением покинул этот город и теперь взываю о помощи ко всем любителям точного времени и кислой капусты. Направимся туда в боевом порядке и восстановим в Школькофремене былой уклад жизни, выставив этого малого с колокольни.

ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

Son cœur est un luth suspendu;
Sitôt qu'on le touche il résonne¹.

Беранже

Весь этот нескончаемый пасмурный день, в глухой осенней тишине, под низко нависшим хмурым небом, я одиноко ехал верхом по безотрадным, неприветливым местам — и наконец, когда уже смеркалось, передо мной предстал сумрачный дом Ашеров. Едва я его увидел, мною, не знаю почему, овладело нестерпимое уныние. Нестерпимое оттого, что его не смягчала хотя бы малая толика почти приятной поэтической грусти, какую пробуждают в душе даже самые суровые картины природы, все равно скорбной или грозной. Открывшееся мне зрелище — и самый дом, и усадьба, и однообразные окрестности — ничем не радовало глаз: угрюмые стены... безучастно и холодно глядящие окна... кое-где разросшийся камыш... белые мертвые стволы иссохших деревьев... от всего этого становилось невыразимо тяжело на душе, чувство это я могу сравнить лишь с тем, что испытывает, очнувшись от своих грез, курильщик опиума: с горечью возвращения к постылым будням, когда вновь спадает пелена, обнажая неприкрашенное уродство.

Сердце мое наполнил леденящий холод, томила тоска, мысль цепенела, и напрасно воображение пыталось ее подхлестнуть — она бессильна была настроиться на лад более возвышенный. Отчего же это, подумал я, отчего так угнетает меня один вид дома Ашеров? Я не находил разгадки и не мог совладать со смутными, непостижимыми образами, что осаждали меня, пока я

¹ Сердце его — как лютня,
Чуть тронешь — и отзовется (*фр.*).

смотрел и размышлял. Оставалось как-то успокоиться на мысли, что хотя, безусловно, иные сочетания самых простых предметов имеют над нами особенную власть, однако постичь природу этой власти мы еще не умеем. Возможно, раздумывал я, стоит лишь под иным углом взглянуть на те же черты окружающего ландшафта, на подробности той же картины — и гнетущее впечатление смягчится или даже исчезнет совсем; а потому я направил коня к обрывистому берегу черного и мрачного озера, чья недвижная гладь едва поблескивала возле самого дома, и поглядел вниз, — но опрокинутые, отраженные в воде серые камыши, и ужасные остовы деревьев, и холодно, безучастно глядящие окна только заставили меня вновь содрогнуться от чувства еще более тягостного, чем прежде.

А меж тем в этой обители уныния мне предстояло провести несколько недель. Ее владелец, Родерик Ашер, в ранней юности был со мною в дружбе; однако с той поры мы долгие годы не виделись. Но недавно в моей дали я получил от него письмо — письмо бессвязное и настойчивое: он умолял меня приехать. В каждой строчке прорывалась мучительная тревога. Ашер писал о жестоком телесном недуге... о гнетущем душевном расстройстве... о том, как он жаждет повидаться со мной, лучшим и, в сущности, единственным своим другом, в надежде, что мое общество придаст ему бодрости и хоть немного облегчит его страдания. Все это и еще многое другое высказано было с таким неподдельным волнением, так горячо просил он меня приехать, что колебаться я не мог — и принял приглашение, которое, однако же, казалось мне весьма странным.

Хотя мальчиками мы были почти неразлучны, я, по правде сказать, мало знал о моем друге. Он всегда был на редкость сдержан и замкнут. Я знал, впрочем, что род его очень древний и что все Ашеры с незапамятных времен отличались необычайной утонченностью чувств, которая век за веком проявлялась во многих произведениях возвышенного искусства, а в недавнее время нашла выход в добрых делах, в щедрости не напоказ, а также в увлечении музыкой: в этом семействе музыке предавались со страстью, предпочитая не обще-

признанные произведения и всем доступные красоты, но сложность и изысканность. Было мне также известно примечательное обстоятельство: как ни стар род Ашеров, древо это ни разу не дало жизнеспособной ветви; иными словами, род продолжался только по прямой линии, и, если не считать пустячных кратковременных отклонений, так было всегда... Быть может, думал я, мысленно сопоставляя облик этого дома со славой, что шла про его обитателей, и размышляя о том, как за века одно могло наложить свой отпечаток на другое, — быть может, оттого, что не было боковых линий и родовое имение всегда передавалось вместе с именем только по прямой, от отца к сыну, прежнее название поместья в конце концов забылось, его сменило новое, странное и двусмысленное. «Дом Ашеров» — так прозвали здешние крестьяне и родовой замок, и его владельцев.

Как я уже сказал, моя ребяческая попытка подбодриться, заглянув в озеро, только усилила первое тягостное впечатление. Несомненно, оттого, что я и сам сознавал, как быстро овладевает мною суеверное предчувствие (почему бы и не назвать его самым точным словом?), оно лишь еще больше крепло во мне. Такова, я давно это знал, двойственная природа всех чувств, чей корень — страх. И, может быть, единственно по этой причине, когда я вновь перевел взгляд с отражения в озере на самый дом, странная мысль пришла мне на ум — странная до смешного, и я лишь затем о ней упоминаю, чтобы показать, сколь сильны и ярки были угнетавшие меня ощущения. Воображение мое до того разыгралось, что я уже всерьез верил, будто самый воздух над этим домом, усадьбой и всей округой какой-то особенный, он не сродни небесам и просторам, но пропитан духом тления, исходящим от полумертвых деревьев, от серых стен и безмолвного озера, — всё окутали тлетворные таинственные испарения, тусклые, медлительные, едва различимые, свинцово-серые.

Страхнув с себя наваждение — ибо это, конечно же, не могло быть ничем иным, — я стал внимательней всматриваться в подлинный облик дома. Прежде всего поражала невообразимая древность этих стен. За века слиняли и выцвели краски. Снаружи все покрылось ли-

шайником и плесенью, будто клочья паутины свисали с карнизов. Однако нельзя было сказать, что дом совсем пришел в упадок. Каменная кладка нигде не обрушилась; прекрасная соразмерность всех частей здания странно не соответствовала видимой ветхости каждого отдельного камня. Отчего-то мне представилась старинная деревянная утварь, что давно уже прогнила в каком-нибудь забытом подземелье, ибо долгие годы ее не тревожило ни малейшее дуновение извне. Однако, если не считать покрова лишайников и плесени, снаружи вовсе нельзя было заподозрить, будто дом непрочен. Разве только очень пристальный взгляд мог бы различить едва заметную трещину, которая начиналась под самой крышей, зигзагом проходила по фасаду и терялась в хмурых водах озера.

Приметив все это, я подъехал по мощеной дорожке к крыльцу. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические своды прихожей. Отсюда неслышно ступающий лакей безмолвно повел меня бесконечными темными и запутанными переходами в «студию» хозяина. Все, что я видел по дороге, еще усилило, не знаю отчего, смутные ощущения, о которых я уже говорил. Резные потолки, темные гобелены по стенам, черный, чуть поблескивающий паркет, причудливые трофеи — оружие и латы, что звоном отзывались моим шагам, — все вокруг было знакомо, нечто подобное с колыбели окружало и меня, и, однако, бог весть почему, за этими простыми, привычными предметами мне мерещилось что-то странное и непривычное. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач Ашеров. В выражении его лица, показалось мне, смешались низкое коварство и растерянность. Он испуганно поклонился мне и прошел мимо. Мой провожатый распахнул дверь и ввел меня к своему господину.

Комната была очень высокая и просторная. Узкие стрельчатые окна прорезаны так высоко от черного дубового пола, что до них было не дотянуться. Слабые красноватые отсветы дня проникали сквозь решетчатые витражи, позволяя рассмотреть наиболее заметные предметы обстановки, но тщетно глаз силился различить что-либо в дальних углах, разглядеть сводчатый резной потолок. По стенам свисали темные драпиров-

ки. Все здесь было старинное — пышное, неудобное и обветшалое. Повсюду во множестве разбросаны были книги и музыкальные инструменты, но и они не могли скрасить мрачную картину. Мне почудилось, что самый воздух здесь полон скорби. Все окутано и проникнуто было холодным, тяжким и безысходным унынием.

Едва я вошел, Ашер поднялся с кушетки, на которой перед тем лежал, и приветствовал меня так тепло и оживленно, что его сердечность сперва показалась мне преувеличенной — насильственной любезностью *ennuyé*¹ светского человека. Но, взглянув ему в лицо, я тотчас убедился в его совершенной искренности. Мы сели; несколько мгновений он молчал, а я смотрел на него с жалостью и в то же время с ужасом. Нет, никогда еще никто не менялся так страшно за такой недолгий срок, как переменялся Родерик Ашер! С трудом я заставил себя поверить, что эта бледная тень и есть былой товарищ моего детства. А ведь черты его всегда были примечательны. Восковая бледность; огромные, ясные, какие-то необыкновенно сияющие глаза; пожалуй, слишком тонкий и очень бледный, но поразительно красивого рисунка рот; изящный нос с горбинкой, с широко вырезанными ноздрями, хорошо вылепленный подбородок, однако, не слишком выдавался вперед, свидетельствуя о недостатке решимости; волосы на диво мягкие и тонкие; черты эти дополнял необычайно большой и широкий лоб, — право же, такое лицо нелегко забыть. А теперь все странности этого лица сделались как-то преувеличенно отчетливы, явственней проступило его своеобразное выражение — и уже от одного этого так сильно переменялся весь облик, что я едва не усомнился, с тем ли человеком говорю. Больше всего изумили и даже ужаснули меня ставшая поистине мертвенной бледность и теперь уже поистине сверхъестественный блеск глаз. Шелковистые волосы тоже, казалось, слишком отросли и даже не падали вдоль щек, а окружали это лицо паутинно-тонким летучим облаком; и, как я ни старался, мне не удавалось в загадочном выражении этого удивительного лица раз-

¹ Скучающего, пресыщенного (*фр.*).

глядеть хоть что-то, присущее всем обыкновенным смертным.

В разговоре и движениях старого друга меня сразу поразило что-то сбивчивое, лихорадочное; скоро я понял, что этому виною постоянные слабые и тщетные попытки совладать с привычной внутренней тревогой, с чрезмерным нервическим возбуждением. К чему-то в этом роде я, в сущности, был подготовлен — и не только его письмом: я помнил, как он, бывало, вел себя в детстве, да и самое его телосложение и нрав наводили на те же мысли. Он становился то оживлен, то вдруг мрачен. Внезапно менялся и голос — то дрожащий и неуверенный (когда Ашер, казалось, совершенно терял бодрость духа), то твердый и решительный... то речь его становилась властной, внушительной, неторопливой и какой-то нарочитой, то звучала тяжеломерно, размеренно, со своеобразной гортанной певучестью, — так говорит в минуты крайнего возбуждения запойный пьяница или неизлечимый курильщик опиума. Именно так говорил Родерик Ашер о моем приезде, о том, как горячо желал он меня видеть и как надеется, что я принесу ему облегчение. Он принялся многословно разъяснять мне природу своего недуга. Это — проклятие их семьи, сказал он, наследственная болезнь всех Ашеров, он уже отчаялся найти от нее лекарство, — и тотчас прибавил, что все это от нервов и, вне всякого сомнения, скоро пройдет. Проявляется эта болезнь во множестве противоестественных ощущений. Он подробно описывал их; иные заинтересовали меня и озадачили, хотя, возможно, тут действовали самые выражения и манера рассказчика. Он очень страдает оттого, что все его чувства мучительно обострены; переносит только совершенно пресную пищу; одеваться может далеко не во всякие ткани; цветы угнетают его своим запахом; даже неяркий свет для него пытка; и лишь немногие звуки — звуки струнных инструментов — не внушают ему отвращения.

Оказалось, его преследует необоримый страх.

— Это злосчастное безумие меня погубит, — говорил он, — неминуемо погубит. Таков и только таков будет мой конец. Я боюсь будущего — и не самих событий, которые оно принесет, но их последствий. Я со-

дрогаюсь при одной мысли о том, как любой, даже пустячный случай может сказаться на душе, вечно терзаемой нестерпимым возбуждением. Да, меня страшит вовсе не сама опасность, а то, что она за собою влечет: чувство ужаса. Вот что заранее отнимает у меня силы и достоинство, я знаю — рано или поздно придет час, когда я разом лишусь и рассудка и жизни в схватке с этим мрачным призраком — СТРАХОМ.

Сверх того не сразу, из отрывочных и двусмысленных намеков я узнал еще одну удивительную особенность его душевного состояния. Им владело странное суеверие, связанное с домом, где он жил и откуда уже многие годы не смел отлучиться; ему чудилось, будто в жилище этом гнездится некая сила, — он определял ее в выражениях столь туманных, что бесполезно их здесь повторять, но весь облик родового замка и даже дерево и камень, из которых он построен, за долгие годы обрели таинственную власть над душою хозяина: предметы материальные — серые стены, башни, сумрачное озеро, в которое они гляделись, — в конце концов повлияли на дух всей его жизни.

Ашер признался, однако, хотя и не без колебаний, что в тягостном унынии, терзающем его, повинно еще одно, более естественное и куда более осязаемое обстоятельство — давняя и тяжкая болезнь нежно любимой сестры, единственной спутницы многих лет, последней и единственной родной ему души, а теперь ее дни, видно, уже сочтены. Когда она покинет этот мир, сказал Родерик с горечью, которой мне никогда не забыть, он — отчаявшийся и хилый — останется последним из древнего рода Ашеров. Пока он говорил, леди Мэдилейн (так звали его сестру) прошла в дальнем конце залы и скрылась, не заметив меня. Я смотрел на нее с несказанным изумлением и даже со страхом, хоть и сам не понимал, откуда эти чувства. В странном оцепенении провожал я ее глазами. Когда за сестрою наконец затворилась дверь, я невольно поспешил обратить вопрошающий взгляд на брата; но он закрыл лицо руками, и я заметил лишь, как меж бескровными худыми пальцами заструились жаркие слезы.

Недуг леди Мэдилейн давно уже смущал и озадачивал искусных врачей, что пользовали ее. Они не могли

определить, отчего больная неизменно ко всему равнодушна, день ото дня тает и в иные минуты все члены ее коченеют и дыхание приостанавливается. До сих пор она упорно противилась болезни и ни за что не хотела вовсе слечь в постель; но в вечер моего приезда (как с невыразимым волнением сообщил мне несколькими часами позже Ашер) она изнемогла под натиском обессиливающего недуга; и когда она на миг явилась мне издали, то было, должно быть, в последний раз: едва ли мне суждено снова ее увидеть — по крайней мере, живою.

В последующие несколько дней ни Ашер, ни я не упоминали даже имени леди Мэдилейн; и все это время я, как мог, старался хоть немного рассеять печаль друга. Мы вместе занимались живописью, читали вслух, или же я, как во сне, слушал внезапную бурную исповедь его гитары. Близость наша становилась все тесней, все свободней допускал он меня в сокровенные тайники своей души — и все с большей горечью понимал я, сколь напрасны всякие попытки развеселить это сердце, словно наделенное врожденным даром изливать на окружающий мир, как материальный, так и духовный, поток беспросветной скорби.

Навсегда останутся в моей памяти многие и многие сумрачные часы, что провел я наедине с владельцем дома Ашеров. Однако напрасно было бы пытаться описать подробней занятия и раздумья, в которые я погружался, следуя за ним. Все озарено было потусторонним отблеском какой-то страстной, безудержной отрешенности от всего земного. Всегда будут отдаваться у меня в ушах долгие погребальные песни, что импровизировал Родерик Ашер. Среди многого другого мучительного врезалось мне в память, как странно искажил и подчеркнул он бурный мотив последнего вальса Вебера. Полотна, рожденные изысканной и сумрачной его фантазией, с каждым прикосновением кисти становились все непонятней, от их загадочности меня пробирала дрожь волнения, тем более глубокого, что я и сам не понимал, откуда оно; полотна эти и сейчас живо стоят у меня перед глазами, но напрасно я старался бы хоть в какой-то мере их пересказать — слова здесь бессильны. Приковывала взор и потрясала душу именно

совершенная пустота, обнаженность замысла. Если удавалось когда-либо человеку выразить красками на холсте чистую идею, человек этот был Родерик Ашер. По крайней мере, во мне при тогдашних обстоятельствах странные отвлеченности, которые ухитрялся мой мрачный друг выразить на своих полотнах, пробуждали безмерный благоговейный ужас — даже слабого подобия его не испытывал я перед бесспорно поразительными, но все же слишком вещественными видениями Фюзели¹.

Одну из фантасмагорий, созданных кистью Ашера и несколько менее отвлеченных, я попробую хоть как-то описать словами. Небольшое полотно изображало бесконечно длинное подземелье или туннель с низким потолком и гладкими белыми стенами, ровное однообразие которых нигде и ничем не прерывалось. Какими-то намеками художник сумел внушить зрителю, что странный подвал этот лежит очень глубоко под землей. Нигде на всем его протяжении не видно было выхода и незаметно факела или иного светильника; и, однако, все подземелье заливал поток ярких лучей, придавая ему какое-то неожиданное и жуткое великолепие.

Я уже упоминал о той болезненной изощренности слуха, что делала для Родерика Ашера невыносимой всякую музыку, кроме звучания некоторых струнных инструментов. Ему пришлось довольствоваться гитарой с ее своеобразным мягким голосом — быть может, прежде всего это и определило необычайный характер его игры. Но одним этим нельзя объяснить лихорадочную легкость, с какою он импровизировал. И мелодии и слова его буйных фантазий (ибо часто он сопровождал свои музыкальные экспромты стихами) порождала, без сомнения, та напряженная душевная сосредоточенность, что обнаруживала себя, как я уже мельком упоминал, лишь в минуты крайнего возбуждения, до которого он подчас сам себя доводил. Одна его внезапно вылившаяся песнь сразу мне запомнилась. Быть может, слова ее оттого так явственно запечатлелись

¹ Ф ю з е л и, Г е н р и (1741—1825) — швейцарский художник Иоганн Генрих Фюссли. Представитель романтического маньеризма, иллюстрировал Шекспира и Мильтона.

в моей памяти, что, пока он пел, в их потаенном смысле мне впервые приоткрылась, как ясно понимает Ашер, что высокий трон его разума шаток и непрочен. Песнь его называлась «Обитель привидений», и слова ее, может быть, не в точности, но приблизительно, были такие:

Божьих ангелов обитель,
Цвел в горах зеленый дол,
Где Разум, края повелитель,
Сияющий дворец возвел.

И ничего прекрасней в мире
Крылом своим
Не осенял, пlying в эфире
Над землею, серафим.

Гордо реяло над башней
Желтых флагов полотно.
(Было то не в день вчерашний,
А давным-давно.)
Если ветер, гость крылатый,
Пролетал над валом вдруг,
Сладостные ароматы
Он струил вокруг.

Вечерами видел путник,
Направляя к окнам взоры,
Как под мерный рокот лютни
Мерно кружатся танцоры,
Мимо трона проносясь,
И как порфирородный
На танец смотрит с трона князь
С улыбкой властной и холодной.

А дверь!.. рубины, аметисты
По золоту сплели узор—
И той же россыпью искристой
Хвалебный разливался хор;
И пробегали отголоски
Во все концы долины,
В немолчном славя переплеске
И ум и гений властелина.

Но духи зла, черны как ворон,
Вошли в чертог—
И свержен князь (с тех пор он
Встречать зарю не мог).
А прежнее великолепье
Осталось для страны
Преданием почившей в склепе
Неповторимой старины.

Бывает, странник зрит воочью,
Как зажигается багрянец
В окне — и кто-то пляшет ночью
Чуждый музыке дикий танец,
И рой теней, глумливый рой,
Из тусклой двери рвется — зыбкой,
Призрачною рекой...
И слышен смех — смех без улыбки¹.

Помню, потом мы беседовали об этой балладе, и друг мой высказал мнение, о котором я здесь упоминаю не столько ради его новизны (те же мысли высказывали и другие люди)², сколько ради упорства, с каким он это свое мнение отстаивал. В общих чертах оно сводилось к тому, что растения способны чувствовать. Однако безудержная фантазия Родерика Ашера довела эту мысль до крайней дерзости, переходящей подчас все границы разумного. Не нахожу слов, чтобы вполне передать пыл искреннего самозабвения, с каким доказывал он свою правоту. Эта вера его была связана (как я уже ранее намекал) с серым камнем, из которого сложен был дом его предков. Способность чувствовать, казалось ему, порождается уже самим расположением этих камней, их сочетанием, а также сочетанием мхов и лишайников, которыми они поросли, и обступивших дом полумертвых деревьев — и, главное, тем, что все это ничем не потревоженное, так долго оставалось неизменным и повторялось в недвижных водах озера. Да, все это способно чувствовать, в чем можно убедиться воочию, говорил Ашер (при этих словах я даже вздрогнул), — своими глазами можно видеть, как медленно, но с несомненностью сгущается над озером и вокруг стен дома своя особенная атмосфера. А следствие этого, прибавил он, некая безмолвная и, однако же, неодолимая и грозная сила, она веками лепит по-своему судьбы всех Ашеров, она и его сделала тем, что он есть, — таким, каким я вижу его теперь. О подобных воззрениях сказать нечего, и я не стану их разъяснять.

Нетрудно догадаться, что наши книги — книги, которыми долгие годы питался ум моего больного друга, — вполне соответствовали его причудливому взгля-

¹ Перевод Н. Вольпин.

² Уотсон, доктор Пэрсивелл, Спаланцани и в особенности епископ Лэндаф — см. «Этюды о химии», т. V. (Прим. авт.)

дам. Нас увлекали «Вервер» и «Монастырь» Грессэ, «Бельфегор» Макиавелли, «Рай и ад» Сведенборга, «Подземные странствия Николаса Климма» Хольберга, «Хиромантия» Роберта Флада, труды Жана д'Эндажинэ и Делашамбра, «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город солнца» Кампанеллы. Едва ли не любимой книгой был томик *in octavo* «Директориум Инквизиториум» доминиканца Эймерика Жеронского. Часами в задумчивости сиживал Ашер и над иными страницами Помпония Мелы о древних африканских сатирах и эгипанах. Но больше всего наслаждался он, перечитывая редкостное готическое издание *in quarto* — требник некоей забытой церкви — *Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae*¹.

Должно быть, неистовый дух этой книги, описания странных мрачных обрядов немало повлияли на моего болезненно впечатлительного друга, невольно подумал я, когда однажды вечером он отрывисто сказал мне, что леди Мэдилейн больше нет и что до погребения он намерен две недели хранить ее тело в стенах замка, в одном из подземелий. Однако для этого необычайного поступка был и вполне разумный повод, так что я не осмелился спорить. По словам Родерика, на такое решение натолкнули его особенности недуга, которым страдала сестра, настойчивые и неотвязные расспросы ее докторов, и еще мысль о том, что кладбище рода Ашеров расположено слишком далеко от дома и открыто всем стихиям. Мне вспомнился зловещий вид эскулапа, с которым в день приезда я повстречался на лестнице — и, признаться, не захотелось противиться тому, что, в конце концов, можно было счесть просто безобидной и естественной предосторожностью.

По просьбе Ашера я помог ему совершить это временное погребение. Тело еще раньше положено было в гроб, и мы вдвоем снесли его вниз. Подвал, где мы его поместили, расположен был глубоко под землею, как раз под той частью дома, где находилась моя спальня; он был тесный, сырой, без малейшей отдушины, которая давала бы доступ свету, и так давно не открывался, что наши факелы едва не погасли в затхлом воздухе и мне почти ничего не удалось разглядеть. В дав-

¹ Бдения по усопшим согласно хору магунтинской церкви (*лат.*).

ние феодальные времена подвал этот, по-видимому, служил темницей, а в пору более позднюю здесь хранили порох или иные горючие вещества, судя по тому, что часть пола, так же как и длинный коридор, приведший нас сюда, покрывали тщательно пригнанные медные листы. Так же защищена была от огня и массивная железная дверь. Непомерно тяжелая, она повернулась на петлях с громким, пронзительным скрежетом.

В этом ужасном подземелье мы опустили нашу горестную ношу на деревянный помост и, сдвинув еще не закрепленную крышку гроба, посмотрели в лицо покойницы. Впервые мне бросилось в глаза разительное сходство между братом и сестрой; должно быть, угадав мои мысли, Ашер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что он и леди Мэдилейн были близнецы и всю жизнь души их оставались удивительно, непостижимо созвучны.

Однако наши взоры лишь ненадолго остановились на лице умершей, — мы не могли смотреть на него без трепета. Недуг, сразивший ее в расцвете молодости, оставил (как это всегда бывает при болезнях каталепсического характера) подобие слабого румянца на ее щеках и едва заметную улыбку, столь ужасную на мертвых устах. Мы вновь плотно закрыли гроб, привинтили крышку, надежно заперли железную дверь и, обессиленные, поднялись наконец в жилую, а впрочем, почти столь же мрачную часть дома.

Прошло несколько невыразимо скорбных дней, и я уловил в болезненном душевном состоянии друга некие перемены. Все его поведение стало иным. Он забыл или забросил обычные занятия. Торопливыми неверными шагами бесцельно бродил он по дому. Бледность его сделалась, кажется, еще более мертвенной и пугающей, но глаза угасли. В голосе уже не слышались хотя бы изредка звучные, сильные ноты, — теперь в нем постоянно прорывалась дрожь нестерпимого ужаса. Порою мне чудилось даже, что смятенный ум его тяготит какая-то страшная тайна и он мучительно силится собрать все свое мужество и высказать ее. А в другие минуты, видя, как он часами сидит недвижимо и смотрит в пустоту, словно бы напряженно вслушивается в какие-то воображаемые звуки, я поне-

воле заключал, что все это попросту беспричинные странности самого настоящего безумца. Надо ли удивляться, что его состояние меня ужасало... что оно было заразительно. Я чувствовал, как медленно, но неотвратно закрадываются и в мою душу его сумасбродные, фантастические и, однако же, неодолимо навязчивые страхи.

С особенной силой и остротой я испытал все это однажды поздно ночью, когда уже лег в постель, на седьмой или восьмой день после того, как мы снесли тело леди Мэдилейн в подземелье. Томительно тянулся час за часом, а сон и не приближался к моей постели. Я пытался здравыми рассуждениями побороть владевшее мною беспокойство. Я уверял себя, что многие, если не все мои ощущения вызваны на редкость мрачной обстановкой, темными и ветхими драпировками, которые метались по стенам и шуршали о резную кровать под дыханием надвигающейся бури. Но напрасно я старался. Чем дальше, тем сильнее была меня необоримая дрожь. И наконец, сердце мое стиснул злой дух необъяснимой тревоги. Огромным усилием я стряхнул его, поднялся на подушках и, всматриваясь в темноту, стал прислушиваться — сам не знаю почему, разве что побуждаемый каким-то внутренним чутьем, — к смутным глухим звукам, что доносились неведомо откуда в те редкие мгновения, когда утихал вой ветра. Мною овладел как будто беспричинный, но нестерпимый ужас, и, чувствуя, что мне в эту ночь не уснуть, я торопливо оделся, начал быстро шагать из угла в угол и тем отчасти одолел сковавшую меня недостойную слабость.

Так прошел я несколько раз взад и вперед по комнате, и вдруг на лестнице за стеною слышались легкие шаги. Я узнал походку Ашера. И сейчас же он тихонько постучался ко мне и вошел, держа в руке фонарь. По обыкновению, он был бледен, как мертвец, но глаза сверкали каким-то безумным весельем, и во всей его повадке явственно сквозило еле сдерживаемое лихорадочное волнение. Его вид ужаснул меня... но что угодно было лучше, нежели мое мучительное одиночество, и я даже обрадовался его приходу.

Несколько мгновений он молча осматривался, потом спросил отрывисто:

— А ты не видел? Так ты еще не видел? Ну, подожди! Сейчас увидишь!

С этими словами, заботливо заслонив фонарь, он бросился к одному из окон и распахнул его навстречу буре.

В комнату ворвался яростный порыв ветра и едва не сбил нас с ног. То была бурная, но странно прекрасная ночь, ее суровая и грозная красота ошеломила меня. Должно быть, где-то по соседству рождался и набирал силы ураган, ибо направление ветра то и дело резко менялось; необычайно плотные, тяжелые тучи нависали совсем низко, задевая башни замка, и видно было, что они со страшной быстротой мчатся со всех сторон, сталкиваются — и не уносятся прочь! Повторяю, как ни были они густы и плотны, мы хорошо различали это странное движение, а меж тем не видно было ни луны, ни звезд и ни разу не сверкнула молния. Однако снизу и эти огромные массы взбаламученных водяных паров, и все, что окружало нас на земле, светилося в призрачном сиянии, которое испускала слабая, но явственно различимая дымка, нависшая надо всем и окутавшая замок.

— Не смотри... не годится на это смотреть, — с невольной дрожью сказал я Ашеру, мягко, но настойчиво увлек его прочь от окна и усадил в кресло. — Это поразительное и устрашающее зрелище — довольно обычное явление природы, оно вызвано электричеством... а может быть, в нем повинны зловредные испарения озера. Давай закроем окно... леденящий ветер для тебя опасен. Вот одна из твоих любимых книг. Я почитаю тебе вслух — и так мы вместе скоротаем эту ужасную ночь.

И я раскрыл старинный роман сэра Ланселота Каннинга «Безумная печаль»; назвав его любимой книгой Ашера, я пошутил, и не слишком удачно; по правде говоря, в этом неуклюжем, тягучем многословии, чуждом истинного вдохновения, мало что могло привлечь возвышенный и поэтический дух Родерика. Но другой книги под рукой не оказалось; и я смутно надеялся (история умственных расстройств дает немало поразительных тому примеров), что именно крайние проявления помешательства, о которых я намеревался

читать, помогут успокоить болезненное волнение моего друга. И в самом деле, сколько возможно было судить по острому напряженному вниманию, с которым он вслушивался — так мне казалось — в каждое слово повествования, я мог себя поздравить с удачной выдумкой.

Я дошел до хорошо известного места, где рассказывается о том, как Этелред, герой романа, после тщетных попыток войти в убежище пустынного хозяина, врывается туда силой. Как все хорошо помнят, описано это в следующих словах:

«И вот Этелред, чью природную доблесть утроило выпитое вино, не стал долее тратить время на препирательства с пустынным, который поистине нрава был упрямого и злобного, но уже ощущая, как по плечам его хлещет дождь, и опасаясь, что разразится буря, поднял палицу и могучими ударами быстро пробил в дощатой двери отверстие, куда прошла его рука в латной перчатке, — и с такою силой он бил, тянул, рвал и крошил дверь, что треск и грохот ломающихся досок разнесся по всему лесу».

Дочитав эти строки, я вздрогнул и на минуту замер, ибо мне показалось (впрочем, я тотчас решил, что меня просто обманывает разыгравшееся воображение), будто из дальней части дома смутно донеслось до моих ушей нечто очень похожее (хотя, конечно, слабое и приглушенное) на тот самый шум и треск, который столь усердно живописал сэр Ланселот. Несомненно, только это совпадение и задело меня; ведь сам по себе этот звук, смешавшийся с хлопаньем ставен и обычным многоголосьем шумом усиливающейся бури, отнюдь не мог меня заинтересовать или встревожить. И я продолжал читать:

«Когда же победоносный Этелред переступил порог, он был изумлен и жестоко разгневан, ибо злобный пустынный не явился его взору; а взамен того предрыцарем, весь в чешуе, предстал огромный и грозный дракон, изрыгающий пламя; чудище сие сторожило золотой дворец, где пол был серебряный, а на стене висел щит из сверкающей меди, на щите же виднелась надпись:

О ты, сюда вступивший, ты победитель будешь,
Дракона поразивший, сей щит себе добудешь.

И Этелред взмахнул палицею и ударил дракона по голове, и дракон пал пред ним, испустив свой зловонный дух вместе с воплем страшным и раздирающим, таким невыносимо пронзительным, что Этелред поневоле зажал уши, ибо никто еще не слышал звука столь ужасного».

Тут я снова умолк, пораженный сверх всякой меры, и немудрено: в этот самый миг откуда-то (но я не мог определить, с какой именно стороны) и вправду донесся слабый и, видимо, отдаленный, но душераздирающий, протяжный и весьма странный то ли вопль, то ли скрежет,— именно такой звук, какой представлялся моему воображению, пока я читал в романе про сверхъестественный вопль, вырвавшийся у дракона.

Это — уже второе — поразительное совпадение вызвало в душе моей тысячи противоборствующих чувств, среди которых преобладали изумление и неизъяснимый ужас, но, как ни был я подавлен, у меня достало присутствия духа не возбудить еще сильнее болезненную чувствительность Ашера неосторожным замечанием. Я вовсе не был уверен, что и его слух уловил странные звуки; впрочем, несомненно, за последние минуты все поведение моего друга переменилось. Прежде он сидел прямо напротив меня, но постепенно повернул свое кресло так, чтобы оказаться лицом к двери; теперь я видел его только сбоку, но все же заметил, что губы его дрожат, словно что-то беззвучно шепчут. Голова его склонилась на грудь, и, однако, он не спал — в профиль мне виден был широко раскрытый и словно бы остановившийся глаз. Нет, он не спал, об этом говорили и его движения; он слабо, но непрестанно и однообразно покачивался из стороны в сторону. Все это я уловил с одного взгляда и вновь принялся за чтение. Сэр Ланселот продолжает далее так:

«Едва храбрец избегнул ярости грозного чудища, как мысль его обратилась к медному щиту, с коего были теперь сняты чары, и, отбросив с дороги убитого дракона, твердо ступая по серебряным плитам, он приблизился к стене, где сверкал щит; а расколдованный щит, не дожидаясь, пока герой подойдет ближе, сам с грозным, оглушительным звоном пал на серебряный пол к его ногам».

Не успел я произнести последние слова, как откуда-то — будто и вправду на серебряный пол рухнул тяжелый медный щит — вдруг долетел глухой, прерывистый, но совершенно явственный, хоть и смягченный расстоянием, звон металла. Вне себя я вскочил. Ашер же по-прежнему мерно раскачивался в кресле. Я кинулся к нему. Взор его был устремлен в одну точку, черты недвижны, словно высеченные из камня. Но едва я опустил руку ему на плечо, как по всему телу его прошла дрожь, страдальческая улыбка искривила губы; и тут я услышал, что он тихо, торопливо и невнятно что-то бормочет, будто не замечая моего присутствия. Я склонился к нему совсем близко и наконец уловил чудовищный смысл его слов.

— Теперь слышишь?.. Да, слышу, давно уже слышу. Долго... долго... долго... сколько минут, сколько часов, сколько дней я это слышал... и все же не смел... о, я несчастный, я трус и ничтожество!.. я не смел... НЕ СМЕЛ сказать! МЫ ПОХОРОНИЛИ ЕЕ ЗАЖИВО! Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Вот теперь я тебе скажу — я слышал, как она впервые еле заметно пошевелилась в гробу. Я услышал это... много, много дней назад... и все же не смел... НЕ СМЕЛ СКАЗАТЬ! А теперь... сегодня... ха-ха! Этелред взломал дверь в жилище пустынника, и дракон испустил предсмертный вопль, и со звоном упал щит... скажи лучше, ломались доски ее гроба, и скрежетала на петлях железная дверь ее темницы, и она билась о медные стены подземелья! О, куда мне бежать? Везде она меня настигнет! Ведь она спешит ко мне с укором — зачем я поторопился? Вот ее шаги на лестнице! Вот уже я слышу, как тяжело, страшно стучит ее сердце! Безумец! — Тут он вскочил на ноги и закричал отчаянно, будто сама жизнь покидала его с этим воплем: — БЕЗУМЕЦ! ГОВОРЮ ТЕБЕ, ОНА ЗДЕСЬ, ЗА ДВЕРЬЮ!

И словно сверхчеловеческая сила, вложенная в эти слова, обладала властью заклинания, огромные старинные двери, на которые указывал Ашер, медленно раскрыли свои тяжелые черные челюсти. Их растворил мощный порыв ветра — но там, за ними, высокая, окутанная саваном, и вправду стояла леди Мэдилейн. На белом одеянии виднелись пятна крови, на страшно ис-

худалом теле — следы жестокой борьбы. И минуту, вся дрожа и шатаясь, она стояла на пороге... потом с негромким протяжным стоном покачнулась, пала брату на грудь — и в последних смертных судорогах увлекла за собою на пол и его, уже бездыханного, — жертву всех ужасов, которые он предчувствовал.

Объятый страхом, я кинулся прочь из этой комнаты, из этого дома. Буря еще неистовствовала во всей своей ярости, когда я миновал старую мощеную дорожку. Внезапно путь мой озарился ярчайшей вспышкой света, и я обернулся, не понимая, откуда исходит этот необычайный блеск, ибо позади меня оставался лишь огромный дом, тонувший во тьме. Но то сияла, заходя, багрово-красная полная луна, яркий свет ее лился сквозь трещину, о которой я упоминал раньше, что зигзагом пересекала фасад от самой крыши до основания, — когда я подъезжал сюда впервые, она была едва различима. Теперь, у меня на глазах, трещина эта быстро расширялась... налетел свирепый порыв урагана... и слепящий лик луны полностью явился предо мною... я увидел, как рушатся высокие древние стены, и в голове у меня помутилось... раздался дикий оглушительный грохот, словно рев тысячи водопадов... и глубокие воды зловещего озера у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулись над обломками дома Ашеров.

ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН

Что скажет совесть,
Злой призрак на моем пути?

Чемберлен. Фаронида

Позвольте мне на сей раз назваться Вильямом Вильсоном. Нет нужды пятнать своим настоящим именем чистый лист бумаги, что лежит сейчас передо мною. Имя это внушило людям слишком сильное презрение, ужас, ненависть. Ведь негодующие ветры уже разнесли по всему свету молву о неслыханном моем позоре. О, низкий из низких, всеми отринутый! Разве не потерял ты навек для всего сущего, для земных почестей, и цветов, и благородных стремлений? И разве не скрыты от тебя навек небеса бескрайней непроницаемой и мрачной завесой? Я предпочел бы, если можно, не рассказывать здесь сегодня о своей жизни в последние годы, о невыразимом моем несчастье и неслыханном злодеянии. В эту пору моей жизни, в последние эти годы я вдруг особенно преуспел в бесчестье, об истоках которого единственно и хотел здесь поведать. Негодяем человек обычно становится постепенно. С меня же вся добродетель спала в один миг, точно плащ. От сравнительно мелких прегрешений я гигантскими шагами перешел к злодеяниям, достойным Гелиогабала. Какой же случай, какое событие виной этому недоброму превращению? Вооружись терпением, читатель, я обо всем расскажу своим чередом.

Приближается смерть, и тень ее, неизменная ее предвестница, уже пала на меня и смягчила мою душу. Переходя в долину теней, я жажду людского сочувствия, чуть было не сказал — жалости. О, если бы мне поверили, что в какой-то мере я был рабом обстоятельств, человеку не подвластных. Пусть бы в подроб-

ностях, которые я расскажу, в пустыне заблуждений они увидели крохотный оазис рока. Пусть бы они признали, — не могут они этого не признать, — что хотя соблазны, быть может, существовали и прежде, но никогда еще человека так не искушали и, конечно, никогда он не падал так низко. И уж не потому ли никогда он так тяжело не страдал? Разве я не жил как в дурном сне? И разве умираю я не жертвой ужаса, жертвой самого непостижимого, самого безумного из всех подлунных видений?

Я принадлежу к роду, который во все времена отличался пылкостью нрава и силой воображения, и уже в раннем детстве доказал, что полностью унаследовал эти черты. С годами они проявлялись все определеннее, внушая по многим причинам серьезную тревогу моим друзьям и принося безусловный вред мне самому. Я рос своевольным сумасбродом, рабом самых диких прихотей, игрушкой необузданных страстей. Родители мои, люди недалекие и осаждаемые теми же наследственными недугами, что и я, не способны были пресечь мои дурные наклонности. Немногие робкие и неумелые их попытки окончились совершеннейшей неудачей и, разумеется, полным моим торжеством. С тех пор слово мое стало законом для всех в доме, и в том возрасте, когда ребенка обыкновенно еще водят на помочах, я был всецело предоставлен самому себе и всегда и во всем поступал как мне заблагорассудится.

Самые ранние мои школьные воспоминания связаны с большим, несуразно построенным домом времен королевы Елизаветы, в туманном сельском уголке, где росло множество могучих шишковатых деревьев и все дома были очень старые. Почтенное и древнее селение это было местом поистине сказочно мирным и безмятежным. Вот я пишу сейчас о нем и вновь ощущаю свежесть и прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат цветущего кустарника и вновь трепещу от неизъяснимого восторга, заслышав глухой и низкий звон церковного колокола, что каждый час нежданно и гулко будит тишину и сумрак погруженной в дрему готической резной колокольни.

Я перебираю в памяти мельчайшие подробности школьной жизни, всего, что с ней связано, и воспоми-

нения эти радуют меня, насколько я еще способен радоваться. Погруженному в пучину страдания, страдания, увы! слишком неподдельного, мне простятся поиски утешения, пусть слабого и мимолетного, в случайных беспорядочных подробностях. Подробности эти, хотя и весьма обыденные и даже смешные сами по себе, особенно для меня важны, ибо они связаны с той порою, когда я различил первые неясные предостережения судьбы, что позднее полностью мною завладела, с тем местом, где все это началось. Итак, позвольте мне перейти к воспоминаниям.

Дом, как я уже сказал, был старый и нескладный. Двор — обширный, окруженный со всех сторон высокой и массивной кирпичной оградой, верх которой был утыкан битым стеклом.

Эти, совсем тюремные стены ограничивали наши владения, мы выходили за них всего трижды в неделю — по субботам после полудня, когда нам разрешали выйти всем вместе в сопровождении двух наставников на недолгую прогулку по соседним полям, и дважды по воскресеньям, когда нас, так же строем, водили к утренней и вечерней службе в сельскую церковь. Священником в этой церкви был директор нашего пансиона. В каком глубоком изумлении, в каком смущении пребывала моя душа, когда с нашей далекой скамьи на хорах я смотрел, как медленно и величественно он поднимается на церковную кафедру! Неужто этот почтенный проповедник, с лицом столь благолепно милостивым, в облачении столь пышном, столь торжественно ниспадающем до полу, — в парике, напудренном столь тщательно, таком большом и внушительном, — неужто это он, только что сердитый и угрюмый, в обсыпанном нюхательным табаком сюртуке, с линейкой в руках, творил суд и расправу по драконовским законам нашего заведения? О, безмерное противоречие, ужасное в своей непостижимости!

Из угла массивной ограды, насупясь, глядели еще более массивные ворота. Они были усажены множеством железных болтов и увенчаны острыми железными зубьями. Какой глубокий благоговейный страх они внушали! Они всегда были на запоре, кроме тех трех наших выходов, о которых уже говорилось, и тогда в

каждом скрипе их могучих петель нам чудились всевозможные тайны — мы находили великое множество поводов для сумрачных замечаний и еще более сумрачных раздумий.

Владения наши имели неправильную форму, и там было много уединенных площадок. Три-четыре самые большие предназначались для игр. Они были ровные, посыпаны крупным песком и хорошо утрамбованы. Помню, там не было ни деревьев, ни скамеек, ничего. И располагались они, разумеется, за домом. А перед домом был разбит небольшой цветник, обсаженный вечнозеленым самшитом и другим кустарником, но по этой запретной земле мы проходили только в самых редких случаях — когда впервые приезжали в школу, или навсегда ее покидали, или, быть может, когда за нами заезжали родители или друзья и мы радостно отправлялись под отчий кров на рождество или на летние вакации.

Но дом! какое же это было причудливое старое здание! Мне он казался поистине заколдованным замком! Сколько там было всевозможных запутанных переходов, сколько самых неожиданных уголков и закоулков. Там никогда нельзя было сказать с уверенностью, на каком из двух этажей вы сейчас находитесь. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было непременно подняться или спуститься по двум или трем ступенькам. Коридоров там было великое множество, и они так разветвлялись и петляли, что, сколько ни пытались мы представить себе в точности расположение комнат в нашем доме, представление это получалось не отчетливей, чем наше понятие о бесконечности. За те пять лет, что я провел там, я так и не сумел точно определить, в каком именно отдаленном уголке расположен тесный дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати или двадцати делившим его со мной ученикам.

Классная комната была самая большая в здании и, как мне тогда казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая, с гнетуще низким дубовым потолком и стрельчатыми готическими окнами. В дальнем, внушающем страх углу было отгорожено помещение футов в восемь-десять — кабинет нашего директора, препо-

добного доктора Брэнсби. И в отсутствие хозяина мы куда охотней погибли бы под самыми страшными пытками, чем переступили бы порог этой комнаты, отделенной от нас массивной дверью. Два другие угла были тоже отгорожены, и мы взирали на них с куда меньшим почтением, но, однако же, с благоговейным страхом. В одном пребывал наш преподаватель древних языков и литературы, в другом — учитель английского языка и математики. По всей комнате, вдоль и поперек, в беспорядке стояли многочисленные скамейки и парты — черные, ветхие, заваленные грудami захватанных книг и до того изуродованные инициалами, полными именами, нелепыми фигурами и множеством иных проб перочинного ножа, что они вовсе лишились своего первоначального, хоть сколько-нибудь пристойного вида. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водой, в другом — весьма внушительных размеров часы.

В массивных стенах этого почтенного заведения я провел (притом без скуки и отвращения) третье пятилетие своей жизни. Голова ребенка всегда полна; чтобы занять его или развлечь, вовсе не требуются события внешнего мира, и унылое однообразие школьного бытия было насыщено для меня куда более напряженными волнениями, чем те, какие в юности я черпал из роскоши, а в зрелые годы — из преступления. Однако в моем духовном развитии ранней поры было, по-видимому, что-то необычное, что-то *outré*¹. События самых ранних лет жизни редко оставляют в нашей душе столь заметный след, чтобы он сохранился и в зрелые годы. Они превращаются обычно лишь в серую дымку, в неясное беспорядочное воспоминание — смутное скопище малых радостей и невообразимых страданий. У меня же все по-иному. Должно быть, в детстве мои чувства силою не уступали чувствам взрослого человека, и в памяти моей все события запечатлелись столь же отчетливо, глубоко и прочно, как надписи на карфагенских монетах.

Однако же, с общепринятой точки зрения, как мало во всем этом такого, что стоит помнить! Утреннее пробуждение, ежевечерние призывы ко сну; зубрежка,

¹ преувеличенное (*фр.*).

ответы у доски; праздничные дни; прогулки; площадка для игр — стычки, забавы, обиды и козни; все это, по волшебной и давно уже забытой магии духа, в ту пору порождало множество чувств, богатый событиями мир, вселенную разнообразных переживаний, волнений самых пылких и будоражающих душу. «O le bon temps, que ce siècle de fer!»¹

И в самом деле, пылкость, восторженность и властность моей натуры вскоре выделили меня среди моих однокашников и неспешно, но с вполне естественной неуклонностью подчинили мне всех, кто был немногим старше меня летами, — всех, за исключением одного. Исключением этим оказался ученик, который, хотя и не состоял со мною в родстве, звался, однако, так же, как и я, — обстоятельство само по себе мало примечательное, ибо, хотя я и происхожу из рода знатного, имя и фамилия у меня самые заурядные, каковые — так уж повелось с незапамятных времен — всегда были достоянием простонародья. Оттого в рассказе моем я назвался Вильямом Вильсоном, — вымышленное это имя очень схоже с моим настоящим. Среди тех, кто, выражаясь школьным языком, входил в «нашу компанию», единственно мой тезка позволял себе соперничать со мною в классе, в играх и стычках на площадке, позволял себе сомневаться в моих суждениях и не подчиняться моей воле — иными словами, во всем, в чем только мог, становился помехой моим деспотическим капризам. Если существует на свете крайняя, неограниченная власть, — это власть сильной личности над более податливыми натурами сверстников в годы отрочества.

Бунтарство Вильсона было для меня источником величайших огорчений; в особенности же оттого, что, хотя на людях я взял себе за правило пренебрегать им и его притязаниями, втайне я его страшился, ибо не мог не думать, что легкость, с какою он оказывался со мною вровень, означала истинное его превосходство, ибо первенство давалось мне нелегко. И однако его превосходства или хотя бы равенства не замечал никто, кроме меня; товарищи наши по странной слепоте, казалось, об этом и не подозревали. Соперничество его, противодействие и в особенности дерзкое и упрямое

¹ О дивная пора — железный этот век! (фр.)

стремление помешать были скрыты от всех глаз и явственны для меня лишь одного. По-видимому, он равно лишен был и честолюбия, которое побуждало меня к действию, и страстного нетерпения ума, которое помогало мне выделиться. Можно было предположить, что соперничество его вызывалось единственно прихотью, желанием перечить мне, поразить меня или уязвить; хотя, случалось, я замечал со смешанным чувством удивления, унижения и досады, что, когда он и прекословил мне, язвил и оскорблял меня, во всем этом сквозила некая совсем уж неуместная и непрошенная нежность. Странность эта проистекала, на мой взгляд, из редкостной самонадеянности, принявшей вид снисходительного покровительства и попечения.

Быть может, именно эта черта в поведении Вильсона вместе с одинаковой фамилией и с простой случайностью, по которой оба мы появились в школе в один и тот же день, навела старший класс нашего заведения на мысль, будто мы братья. Старшие ведь обыкновенно не очень-то вникают в дела младших. Я уже сказал или должен был сказать, что Вильсон не состоял с моим семейством ни в каком родстве, даже самом отдаленном. Но будь мы братья, мы бы, несомненно, должны были быть близнецами; ибо уже после того, как я покинул заведение мистера Брэнсби, я случайно узнал, что тезка мой родился девятнадцатого января 1813 года, — весьма замечательное совпадение, ибо в этот самый день появился на свет и я.

Может показаться странным, что, хотя соперничество Вильсона и присущий ему несносный дух противоречия постоянно мне досаждали, я не мог заставить себя окончательно его возненавидеть. Почти всякий день меж нами вспыхивали ссоры, и, публично вручая мне пальму первенства, он каким-то образом ухитрялся заставить меня почувствовать, что на самом деле она по праву принадлежит ему; но свойственная мне гордость и присущее ему подлинное чувство собственного достоинства способствовали тому, что мы, так сказать, «не раззнакомились», однако же нравом мы во многом были схожи, и это вызывало во мне чувство, которому, быть может, одно только необычное положение наше мешало обратиться в дружбу. Поистине не легко опре-

делить или хотя бы описать чувства, которые я к нему питал. Они составляли пеструю и разнородную смесь: доля раздражительной враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, бóльшая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любопытства. Знаток человеческой души и без дополнительных объяснений поймет, что мы с Вильсоном были поистине неразлучны.

Без сомнения, как раз причудливость наших отношений направляла все мои нападки на него (а было их множество — и открытых и завуалированных) в русло подтрунивания или грубоватых шуток (которые разыгрывались словно бы ради забавы, однако все равно больно ранили) и не давала отношениям этим вылиться в открытую враждебность. Но усилия мои отнюдь не всегда увенчивались успехом, даже если и придумано все было наиостроумнейшим образом, ибо моему тезке присуща была та спокойная непритязательная сдержанность, у которой не сыщешь ахиллесовой пяты, и поэтому, радуясь остроте своих собственных шуток, он оставлял мои совершенно без внимания. Мне удалось обнаружить у него лишь одно уязвимое место, но то было особое его свойство, вызванное, вероятно, каким-то органическим заболеванием, и воспользоваться этим мог лишь такой зашедший в тупик противник, как я: у соперника моего были, видимо, слабые голосовые связки, и он не мог говорить громко, а только еле слышным шепотом. И уж я не упускал самого ничтожного случая отыгаться на его недостатке.

Вильсон находил множество случаев отплатить мне, но один из его остроумных способов досаждал мне всего более. Как ему удалось угадать, что такой пустяк может меня бесить, ума не приложу; но, однажды поняв это, он пользовался всякою возможностью мне досадить. Я всегда питал неприязнь к моей неизысканной фамилии и к чересчур заурядному, если не плебейскому, имени. Они были ядом для моего слуха, и когда в день моего прибытия в пансион там появился второй Вильям Вильсон, я разозлился на него за то, что он носит это имя, и вдвойне вознегодовал на имя за то, что его носит кто-то еще, отчего его станут повторять вдвое чаще, а тот, кому оно принадлежит, постоянно

будет у меня перед глазами, и поступки его, неизбежные и привычные в повседневной школьной жизни, из-за отвратительного этого совпадения будут часто путать с моими.

Порожденная таким образом досада еще усиливалась всякий раз, когда случай явственно показывал внутреннее или внешнее сходство меж моим соперником и мною. В ту пору я еще не обнаружил того примечательного обстоятельства, что мы были с ним одних лет; но я видел, что мы одного роста, и замечал также, что мы на редкость схожи телосложением и чертами лица. К тому же я был уязвлен слухом, будто мы с ним в родстве, который распространился среди учеников старших классов. Коротко говоря, ничто не могло сильнее меня задеть (хотя я тщательно это скрывал), нежели любое упоминание о сходстве наших душ, наружности или обстоятельств. Но, сказать по правде, у меня не было причин думать, что сходство это обсуждали или хотя бы замечали мои товарищи; говорили только о нашем родстве. А вот Вильсон явно замечал это во всех проявлениях, и притом столь же ревниво, как я; к тому же он оказался на редкость изобретателен на колкости и насмешки — это свидетельствовало, как я уже говорил, об его удивительной проницательности.

Его тактика состояла в том, чтобы возможно точнее подражать мне и в речах и в поступках; и здесь он достиг совершенства. Скопировать мое платье ничего не стоило; походку мою и манеру держать себя он усвоил без труда; и, несмотря на присущий ему органический недостаток, ему удавалось подражать даже моему голосу. Громко говорить он, разумеется, не мог, но интонация была та же: и сам его своеобразный шепот стал по истине моим эхом.

Какие же муки причинял мне превосходный этот портрет (ибо по справедливости его никак нельзя было назвать карикатурой), мне даже сейчас не описать. Одно только меня утешало, — что подражание это замечал единственно я сам и терпеть мне приходилось многозначительные и странно язвительные улыбки одного только моего тезки. Удовлетворенный тем, что вызвал в душе моей те самые чувства, какие желал, он,

казалось, втайне радовался, что причинил мне боль, и решительно не ждал бурных аплодисментов, какие с легкостью мог принести ему его остроумно достигнутый успех. Но долгие беспокойные месяцы для меня оставались неразрешимой загадкой, как же случилось, что в пансионе никто не понял его намерений, не оценил действий, а стало быть, не глумился с ним вместе. Возможно, постепенность, с которой он подделывался под меня, мешала остальным заметить, что происходит, или — это более вероятно — своею безопасностью я был обязан искусству подражателя, который полностью пренебрег чисто внешним сходством (а только его и замечают в портретах люди туповатые), зато, к немалой моей досаде, мастерски воспроизводил дух оригинала, что видно было мне одному.

Я уже не раз упоминал об отвратительном мне покровительственном тоне, который он взял в отношении меня, и о его частом назойливом вмешательстве в мои дела. Вмешательство его нередко выражалось в непрошенных советах; при этом он не советовал прямо и открыто, но говорил намеками, обиняками. Я выслушивал эти советы с отвращением, которое год от году росло. Однако ныне, в столь далекий от той поры день, я хотел бы отдать должное моему сопернику, признать хотя бы, что ни один его совет не мог бы привести меня к тем ошибкам и глупостям, какие столь свойственны людям молодым и, казалось бы, неопытным; что нравственным чутьем, если не талантливостью натуры и жизненной умудренностью, он во всяком случае намного меня превосходил и что, если бы я не так часто отвергал его советы, сообщаемые тем многозначительным шепотом, который тогда я слишком горячо ненавидел и слишком ожесточенно презирал, я, возможно, был бы сегодня лучше, а значит, и счастливей.

Но при том, как все складывалось, под его постылым надзором я в конце концов дошел до крайней степени раздражения и день ото дня все более открыто возмущался его, как мне казалось, несносной самонадеянностью. Я уже говорил, что в первые годы в школе чувство мое к нему легко могло бы перерасти в дружбу; но в последние школьные месяцы, хотя навязчивость его, без сомнения, несколько уменьшилась, чув-

ство мое почти в той же степени приблизилось к настоящей ненависти. Как-то раз он, мне кажется, это заметил и после того стал избегать меня или делал вид, что избегает.

Если память мне не изменяет, примерно в это же самое время мы однажды крупно поспорили, и в пылу гнева он отбросил привычную осторожность и заговорил, и повел себя с несвойственной ему прямоотой — и тут я заметил (а может быть, мне почудилось) в его речи, выражении лица, во всем облике нечто такое, что сперва испугало меня, а потом живо заинтересовало, ибо в памяти моей всплыли картины младенчества, — беспорядочно теснящиеся смутные воспоминания той далекой поры, когда сама память еще не родилась. Лучше всего я передам чувство, которое угнетало меня в тот миг, если скажу, что не мог отделаться от ощущения, будто с человеком, который стоял сейчас передо мною, я был уже когда-то знаком, давным-давно, во времена бесконечно далекие. Иллюзия эта, однако, тотчас же рассеялась; и упоминаю я о ней единственно для того, чтобы обозначить день, когда я в последний раз беседовал со своим странным тезкой.

В громадном старом доме, с его бесчисленными помещениями, было несколько смежных больших комнат, где спали почти все воспитанники. Было там, однако (это неизбежно в столь неудобно построенном здании), много каморок, образованных не слишком разумно возведенными стенами и перегородками, изобретательный директор доктор Брэнсби их тоже приспособил под дортуары, хотя первоначально они предназначались под чуланы и каждый мог вместить лишь одного человека. В такой вот спаленке помещался Вильсон.

Однажды ночью, в конце пятого года пребывания в пансионе и сразу после только что описанной ссоры, я дождался, когда все погрузились в сон, встал и с лампой в руке, узкими запутанными переходами прокрался из своей спальни в спальню соперника. Я уже давно замышлял сыграть с ним одну из тех злых и грубых шуток, какие до сих пор мне неизменно не удавались. И вот теперь я решил осуществить свой замысел и дать ему почувствовать всю меру переполнявшей меня зло-

бы. Добравшись до его каморки, я оставил прикрытую колпаком лампу за дверью, а сам бесшумно переступил порог. Я шагнул вперед и прислушался к спокойному дыханию моего тезки. Уверившись, что он спит, я возвратился в коридор, взял лампу и с нею вновь приблизился к постели. Она была завешена плотным пологом, который, следуя своему плану, я потихоньку отодвинул, — лицо спящего залил яркий свет, и я впился в него взором. Я взглянул — и вдруг оцепенел, меня обдало холодом. Грудь моя тяжело вздымалась, колени задрожали, меня объял беспричинный и, однако, нестерпимый ужас. Я перевел дух и поднес лампу еще ближе к его лицу. Неужели это... это лицо Вильяма Вильсона? Я, конечно, видел, что это его лицо, и все же не мог этому поверить, и меня била лихорадочная дрожь. Что же в этом лице так меня поразило? Я смотрел, а в голове моей кружился вихрь беспорядочных мыслей. Когда он бодрствовал, в суете дня, он был не такой, как сейчас, нет, конечно, не такой. То же имя! те же черты! тот же день прибытия в пансион! Да еще упорное и бессмысленное подражание моей походке, голосу, моим привычкам и повадкам! Неужели то, что представилось моему взору, — всего лишь следствие привычных упражнений в язвительном подражании? Охваченный ужасом, я с трепетом погасил лампу, бесшумно выскользнул из каморки и в тот же час покинул стены старого пансиона, чтобы уже никогда туда не возвращаться.

После нескольких месяцев, проведенных дома в совершенной праздности, я был определен в Итон. Короткого этого времени оказалось довольно, чтобы память о событиях, происшедших в пансионе доктора Брэнсби, потускнела, по крайней мере, я вспоминал о них с совсем иными чувствами. Все это больше не казалось таким подлинным и таким трагичным. Я уже способен был усомниться в свидетельстве своих чувств, да и вспоминал все это не часто, и всякий раз удивлялся человеческому легковерию, и с улыбкой думал о том, сколь живое воображение я унаследовал от предков. Характер жизни, которую я вел в Итоне, несколько не способствовал тому, чтобы у меня поубавилось подобного скептицизма. Водоворот безрассудств и легкомыс-

ленных развлечений, в который я кинулся так сразу, очертя голову, мгновенно смыл все, кроме пены последних часов, поглотил все серьезные, устоявшиеся впечатления и оставил в памяти лишь пустые сумасбродства прежнего моего существования.

Я не желаю, однако, описывать шаг за шагом прискорбное распутство, предаваясь которому мы бросали вызов всем законам и ускользали от строгого ока нашего колледжа. Три года безрассудств протекли без пользы, у меня лишь укоренились порочные привычки, да я еще как-то вдруг вырос и стал очень высок ростом; и вот однажды после недели бесшабашного разгула я пригласил к себе на тайную пирушку небольшую компанию самых беспутных своих приятелей. Мы собрались поздним вечером, ибо так уж у нас было заведено, чтобы попойки затягивались до утра. Вино лилось рекой, и в других, быть может более опасных, соблазнах тоже не было недостатка; так что, когда на востоке стал пробиваться хмурый рассвет, сумасбродная наша попойка была еще в самом разгаре. Отчаянно покрасневшись от карт и вина, я упрямо провозглашал тост, более обыкновенного богохульный, как вдруг внимание мое отвлекла порывисто открывшаяся дверь и встревоженный голос моего слуги. Не входя в комнату, он доложил, что какой-то человек, который очень торопится, желает говорить со мною в прихожей.

Крайне возбужденный выпитым вином, я скорее обрадовался, нежели удивился неожиданному гостю. Нетвердыми шагами я тотчас вышел в прихожую. В этом тесном помещении с низким потолком не было лампы; и сейчас сюда не проникал никакой свет, лишь серый свет утра пробивался чрез полукруглое окно. Едва переступив порог, я увидел юношу примерно моего роста, в белом казимировом сюртуке такого же новомодного покроя, что и тот, какой был на мне. Только это я и заметил в полутьме, но лица гостя разглядеть не мог. Когда я вошел, он поспешно шагнул мне навстречу, порывисто и нетерпеливо схватил меня за руку и прошептал мне в самое ухо два слова: «Вильям Вильсон».

Я мигом отрезвел.

В повадке незнакомца, в том, как задрожал у меня перед глазами его поднятый палец, было что-то такое,

что безмерно меня удивило, но не это взволновало меня до глубины души. Мрачное предостережение, что таилось в его своеобразном, тихом, шипящем шепоте, а более всего то, как он произнес эти несколько простых и знакомых слогов, его тон, самая интонация, всколыхнувшая в душе моей тысячи бессвязных воспоминаний из давнего прошлого, ударили меня, точно я коснулся гальванической батареи. И еще прежде, чем я пришел в себя, гостя и след простыл.

Хотя случай этот сильно подействовал на мое расстроенное воображение, однако же впечатление от него быстро рассеялось. Правда, первые несколько недель я всерьез наводил справки либо предавался мрачным раздумьям. Я не пытался утаить от себя, что это все та же личность, которая столь упорно мешалась в мои дела и допекала меня своими вкрадчивыми советами. Но кто такой этот Вильсон? Откуда он взялся? Какую преследовал цель? Ни на один вопрос я ответа не нашел, знал лишь, что в вечер того дня, когда я скрылся из заведения доктора Брэнсби, он тоже оттуда уехал, ибо дома у него случилось какое-то несчастье. А вскорости я совсем перестал о нем думать, ибо мое внимание поглотил предполагаемый отъезд в Оксфорд. Туда я скоро и в самом деле отправился, а нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня таким гардеробом и годовым содержанием, что я мог купаться в роскоши, столь уже дорогой моему сердцу. — соперничать в расточительстве с высокомернейшими наследниками самых богатых и знатных семейств Великобритании.

Теперь я мог грешить, не зная удержу, необузданно предаваться пороку, и пылкий нрав мой разыграл с удвоенной силой, — с презрением отбросив все приличия, я кинулся в омут разгула. Но нелепо было бы рассказывать здесь в подробностях обо всех моих сумасбродствах. Довольно будет сказать, что я всех превзошел в мотовстве и изобрел множество новых безумств, которые составили немалое дополнение к длинному списку пороков, каковыми славились питомцы этого по всей Европе известного своей распушенностью университета.

Вы с трудом поверите, что здесь я пал столь низко, что свел знакомство с профессиональными игроками, перенял у них самые наиподлейшие приемы и, преуспев в этой презренной науке, стал пользоваться ею как источником увеличения и без того огромного моего дохода за счет доверчивых собутыльников. И, однако же, это правда. Преступление мое против всего, что в человеке мужественно и благородно, было слишком чудовищно — и, может быть, лишь поэтому оставалось безнаказанным. Что и говорить, любой, самый распутный мой сотоварищ скорее усомнился бы в явственных свидетельствах своих чувств, нежели заподозрил в подобных действиях веселого, чистосердечного, щедрого Вильяма Вильсона — самого благородного и самого великодушного студента во всем Оксфорде, чьи безрассудства (как выражались мои прихлебатели) были единственно безрассудствами юности и необузданного воображения, чьи ошибки всего лишь неподражаемая прихоть, чьи самые непростимые пороки не более как беспечное и лихое сумасбродство.

Уже два года я успешно следовал этим путем, когда в университете нашем появился молодой выскочка из новой знати, по имени Гленденнинг, — по слухам, богатый, как сам Ирод Аттик, и столь же легко получивший свое богатство. Скоро я понял, что он не блещет умом, и, разумеется, счел его подходящей для меня добычей. Я часто вовлекал его в игру и, подобно всем нечистым на руку игрокам, позволял ему выигрывать изрядные суммы, чтобы тем вернее заманить в мои сети. Основательно обдумав все до мелочей, я решил, что пора наконец привести в исполнение мой замысел, и мы встретились с ним на квартире нашего общего приятеля-студента (мистера Престона), который, надо признаться, даже и не подозревал о моем намерении. Я хотел придать всему вид самый естественный и потому заранее позаботился, чтобы предложение играть выглядело словно бы случайным и исходило от того самого человека, которого я замыслил обобрать. Не стану распространяться о мерзком этом предмете, скажу только, что в тот вечер не было упущено ни одно из гнусных ухищрений, ставших столь привычными в по-

добных случаях; право же, непостижимо, как еще находят простачи, которые становятся их жертвами.

Мы засиделись до глубокой ночи, и мне, наконец, удалось так все подстроить, что выскочка Гленденнинг оказался единственным моим противником. Притом игра шла моя излюбленная — экарте. Все прочие, заинтересовавшись размахом нашего поединка, побросали карты и столпились вокруг нас. Гленденнинг, который в начале вечера благодаря моим уловкам сильно выпил, теперь тасовал, сдавал и играл в таком неистовом волнении, что это лишь отчасти можно было объяснить воздействием вина. В самом непродолжительном времени он был уже моим должником на круглую сумму, и тут, отпив большой глоток портвейна, он сделал именно то, к чему я хладнокровно вел его весь вечер, — предложил удвоить наши и без того непомерные ставки. С хорошо разыгранной неохотой и только после того, как я дважды отказался и тем заставил его погорячиться, я наконец согласился, всем своим видом давая понять, что лишь уступаю его гневной настойчивости. Жертва моя повела себя в точности так, как я и предвидел: не прошло и часу, как долг Гленденнинга возрос вчетверо. Еще до того с лица его постепенно сходил румянец, сообщенный вином, но тут он, к моему удивлению, страшно побледнел. Я сказал: к моему удивлению. Ибо заранее с пристрастием расспросил всех, кого удалось, и все уверяли, что он безмерно богат, а проигрыш его, хоть и немалый сам по себе, не мог, на мой взгляд, серьезно его огорчить и уж того более — так потрясти. Сперва мне пришло в голову, что всему виною недавно выпитый портвейн. И скорее желая сохранить свое доброе имя, нежели из иных, менее корыстных видов, я уже хотел прекратить игру, как вдруг чьи-то слова за моею спиной и полный отчаяния возглас Гленденнинга дали мне понять, что я совершенно его разорил, да еще при обстоятельствах, которые, сделав его предметом всеобщего сочувствия, защитили бы и от самого отъявленного злодея.

Как мне теперь следовало себя вести, сказать трудно. Жалкое положение моей жертвы привело всех в растерянность и уныние; на время в комнате установилась глубокая тишина, и я чувствовал, как под множе-

ством горящих презрением и упреком взглядов моих менее испорченных товарищей щеки мои запылали. Признаюсь даже, что, когда эта гнетущая тишина была внезапно и странно нарушена, нестерпимая тяжесть на краткий миг упала с моей души. Массивные створчатые двери вдруг распахнулись с такой силой и так быстро, что все свечи в комнате, точно по волшебству, разом погасли. Но еще прежде, чем воцарилась тьма, мы успели заметить, что на пороге появился незнакомец примерно моего роста, окутанный плащом. Тьма, однако, стала такая густая, что мы лишь ощущали его присутствие среди нас. Мы еще не успели прийти в себя, ошеломленные грубым вторжением, как вдруг раздался голос незваного гостя.

— Господа,— произнес он глухим, отчетливым и незабываемым шепотом, от которого дрожь пробрала меня до мозга костей,— господа, прошу извинить меня за бесцеремонность, но мною движит долг. Вы, без сомнения, не осведомлены об истинном лице человека, который выиграл нынче вечером в экарте крупную сумму у лорда Гленденнинга. А потому я позволю себе предложить вам скорый и убедительный способ получить эти весьма важные сведения. Благоволите осмотреть подкладку его левой манжеты и те пакетики, которые, надо полагать, вы обнаружите в довольно поместительных карманах его сюртука.

Во время его речи стояла такая тишина, что, упав на пол булавка, и то было бы слышно.

Сказав все это, он тотчас исчез — так же неожиданно, как и появился. Сумею ли я, дано ли мне передать обуявшие меня чувства? Надо ли говорить, что я испытал все муки грешника в аду? Уж конечно, у меня не было времени ни на какие размышления. Множество рук тут же грубо меня схватили, тотчас были зажжены свечи. Начался обыск. В подкладке моего рукава обнаружены были все фигурные карты, необходимые при игре в экарте, а в карманах сюртука несколько колод, точно таких, какие мы употребляли для игры, да только мои были так называемые *arrondées*: края старших карт были слегка выгнуты. При таком положении простофиля, который, как принято, снимает колоду в длину, неизбежно даст своему противнику старшую карту,

тогда как шулер, снимающий колоду в ширину, наверняка не сдаст своей жертве ни одной карты, которая могла бы определить исход игры.

Любой взрыв негодования не так оглушил бы меня, как то молчаливое презрение, то язвительное спокойствие, какое я читал во всех взглядах.

— Мистер Вильсон, — произнес хозяин дома, наклонясь, чтобы поднять с полу роскошный плащ, подбитый редкостным мехом, — мистер Вильсон, вот ваша собственность. (Погода стояла холодная, и, выходя из дому, я накинул поверх сюртука плащ, но здесь, подойдя к карточному столу, сбросил его). Я полагаю, нам нет надобности искать тут, — он с язвительной улыбкой указал глазами на складки плаща, — дальнейшие доказательства вашей ловкости. Право же, нам довольно и тех, что мы уже видели. Надеюсь, вы поймете, что вам следует покинуть Оксфорд и, уж во всяком случае, немедленно покинуть мой дом.

Униженный, втоптаный в грязь, я, наверное, все-таки не оставил бы безнаказанными его оскорбительные речи, если бы меня в эту минуту не отвлекло одно ошеломляющее обстоятельство. Плащ, в котором я пришел сюда, был подбит редчайшим мехом; сколь редким и сколь дорогим, я даже не решаюсь сказать. Фасон его к тому же был плодом моей собственной фантазии, ибо в подобных пустяках я, как и положено щеголю, был до смешного привередлив. Поэтому, когда мистер Престон протянул мне плащ, что он поднял с полу у двери, я с удивлением, даже с ужасом, обнаружил, что мой плащ уже перекинут у меня через руку (без сомнения, я, сам того не заметив, схватил его), а тот, который мне протянули, в точности, до последней мельчайшей мелочи его повторяет.

Станный посетитель, который столь губительно меня разоблачил, был, помнится, закутан в плащ. Из всех собравшихся в тот вечер в плаще пришел только я. Сохраняя по возможности присутствие духа, я взял плащ, протянутый Престоном, незаметно кинул его поверх своего, с видом разгневанным и вызывающим вышел из комнаты, а на другое утро, еще до свету, в муках стыда и страха поспешно отбыл из Оксфорда на континент.

Но бежал я напрасно! Мой злой гений, словно бы упиваясь своим торжеством, последовал за мной и явственно показал, что его таинственная власть надо мною только еще начала себя обнаруживать. Едва я оказался в Париже, как получил новое свидетельство бесившего меня интереса, который питал к моей судьбе этот Вильсон. Пролетали годы, а он все не оставлял меня в покое. Негодяй! В Риме — как не вовремя и притом с какой беззастенчивой наглостью — он встал между мною и моей целью! То же и в Вене... а потом и в Берлине... и в Москве! Найдется ли такое место на земле, где бы у меня не было причин в душе его проклинать? От его загадочного деспотизма я бежал в страхе, как от чумы, но и на край света я бежал напрасно!

Опять и опять в тайниках своей души искал я ответа на вопросы: «Кто он?», «Откуда явился?», «Чего ему надобно?». Но ответа не было. Тогда я с величайшим тщанием проследил все формы, способы и главные особенности его неуместной опеки. Но и тут мне почти не на чем было строить догадки. Можно лишь было сказать, что во всех тех многочисленных случаях, когда он в последнее время становился мне поперек дороги, он делал это, чтобы расстроить те планы и воспрепятствовать тем поступкам, которые, удайся они мне, принесли бы истинное зло. Какое жалкое оправдание для власти, присвоенной столь дерзко! Жалкая плата за столь упрямое, столь оскорбительное посягательство на право человека поступать по собственному усмотрению!

Я вынужден был также заметить, что мучитель мой (по странной прихоти с тщанием и поразительной ловкостью совершенно уподобясь мне в одежде), постоянно разнообразными способами мешая мне действовать по собственной воле, очень долгое время ухитрялся ни разу не показать мне своего лица. Кем бы ни был Вильсон, уж это, во всяком случае, было с его стороны чистейшим актерством или же просто глупостью. Неужто он хоть на миг предположил, будто в моем советчике в Итоне, в погубителе моей чести в Оксфорде, в том, кто не дал осуществиться моим честолюбивым притязаниям в Риме, моей мести в Париже, моей

страстной любви в Неаполе или тому, что он ложно назвал моей алчностью в Египте, — будто в этом моем архивраге и злом гении я мог не узнать Вильяма Вильсона моих школьных дней, моего тезку, однокашника и соперника, ненавистного и внушающего страх соперника из заведения доктора Брэнсби? Не может того быть! Но позвольте мне поспешить к последнему, богатому событиям действию сей драмы.

До сих пор я безвольно покорялся этому властному господству. Благоговейный страх, с каким привык я относиться к этой возвышенной натуре, могучий ум, вездесущность и всесилье Вильсона вместе с вполне понятным ужасом, который внушали мне иные его черты и поступки, до сих пор заставляли меня полагать, будто я беспомощен и слаб, и приводили к тому, что я безоговорочно, хотя и с горькою неохотой подчинялся его деспотической воле. Но в последние дни я всецело предался вину; оно будоражило мой и без того беспокойный нрав, и я все нетерпеливей стремился вырваться из оков. Я стал роптать... колебаться... противиться. И неужто мне только чудилось, что чем тверже я держался, тем не менее настойчив становился мой мучитель? Как бы там ни было, в груди моей загорелась надежда и вскормила в конце концов непреклонную и отчаянную решимость выйти из порабощения.

В Риме во время карнавала¹ 18... года я поехал на маскарад в палаццо неаполитанского герцога Ди Брольо. Я пил более обыкновенного; в переполненных залах стояла духота, и это безмерно меня раздражало. Притом было нелегко прокладывать себе путь в толпе гостей, и это еще усиливало мою досаду, ибо мне не терпелось отыскать (позволю себе не объяснять, какое недостойное побуждение двигало мною) молодую, веселую красавицу — жену одряхлевшего Ди Брольо. Забыв о скромности, она заранее сказала мне, какой на ней будет костюм, и, наконец заметив ее в толпе, я теперь спешил приблизиться к ней. В этот самый миг я

¹ Римский карнавал, самый древний в Италии, празднуется в течение нескольких дней перед великим постом и сопровождается маскарадными переодеваниями и всевозможными шутками веселящейся толпы.

ощутил легкое прикосновение руки к моему плечу и услышал проклятый незабываемый глухой шепот.

Обезумев от гнева, я стремительно оборотился к тому, кто так некстати меня задержал, и яростно схватил его за воротник.

Наряд его, как я и ожидал, в точности повторял мой: испанский плащ голубого бархата, стянутый у талии алым поясом, с боку рапира. Лицо совершенно закрывала черная шелковая маска.

— Негодяй! — произнес я хриплым от ярости голосом и от самого слова этого распалился еще более. — Негодяй! Самозванец! Проклятый злодей! Нет, довольно, ты больше не будешь преследовать меня! Следуй за мной, не то я заколю тебя на месте! — И я кинулся из бальной залы в смежную с ней маленькую прихожую, я увлекал его за собою — и он ничуть не сопротивлялся.

Очутившись в прихожей, я в бешенстве оттолкнул его. Он пошатнулся и прислонился к стене, а я тем временем с проклятиями затворил дверь и приказал ему стать в позицию. Он заколебался было, но чрез мгновение с легким вздохом молча вытащил рапиру и встал в позицию.

Наш поединок длился недолго. Я был взбешен, разъярен, и рукою моей двигали энергия и сила, которой хватило бы на десятерых. В считанные секунды я прижал его к панели и, когда он таким образом оказался в полной моей власти, с кровожадной свирепостью несколько раз подряд пронзил его грудь рапирой.

В этот миг кто-то дернул дверь, запертую на задвижку. Я поспешил лучше ее запереть, чтобы никто не вошел, и тут же вернулся к моему умирающему противнику. Но какими словами передать то изумление, тот ужас, которые объяли меня перед тем, что предстало моему взору? Короткого мгновения, когда я отвел глаза, оказалось довольно, чтобы в другом конце комнаты все переменилось. Там, где еще минуту назад я не видел ничего, стояло огромное зеркало — так, по крайней мере, мне почудилось в этот первый миг смятения; и когда я в неописуемом ужасе шагнул к нему, навстречу мне нетвердой походкой выступило мое

собственное отражение, но с лицом бледным и обрызганным кровью.

Я сказал — мое отражение, но нет. То был мой противник — предо мною в муках погибал Вильсон. Маска его и плащ валялись на полу, куда он их прежде бросил. И ни единой нити в его одежде, ни единой черточки в его приметном и своеобразном лице, которые не были бы в точности такими же, как у меня!

То был Вильсон; но теперь говорил он не шепотом; можно было даже вообразить, будто слова, которые я услышал, произнес я сам:

— Ты победил, и я покоряюсь. Однако отныне ты тоже мертв — ты погиб для мира, для небес, для надежды! Мною ты был жив, а убив меня, — взгляни на этот облик, ведь это ты. — ты бесповоротно погубил самого себя!

ДЕЛЕЦ

Система — душа всякого бизнеса.

Старая пословица

Я — делец. И приверженец системы. Система — это, в сущности, и есть самое главное. Но я от всего сердца презираю глупцов и чудаков, которые разглагольствуют насчет порядка и системы, ровным счетом ничего в них не смысля, строго придерживаются буквы, нарушая самый дух этих понятий. Такие люди совершают самые необычные поступки, но «методически», как они говорят. Это, на мой взгляд, просто парадокс: порядок и система приложимы только к вещам самым обыкновенным. Какой смысл может быть заключен в выражении «порядок шалопайства» или, например, «система прихотей»?

Взгляды мои по этому вопросу, возможно, никогда не были бы столь определенны, если бы не счастливое происшествие, случившееся со мною совсем еще в юном возрасте. Однажды, когда я производил гораздо больше шума, нежели то диктовалось необходимостью, добрая старуха ирландка, моя нянюшка (которую я не забуду в моем завещании), подняла меня за пятки, покрутила в воздухе, пожелала мне как «визгуну проклятому» провалиться и ударом о спинку кровати промяла мне посередине голову, точно шапку. Этим была решена моя судьба и заложены начатки моего благосостояния. На теменной кости у меня в тот же миг вскочила шишка, и она впоследствии оказалась самой что ни на есть настоящей *шишкой порядка*. Вот откуда у меня страсть к системе и упорядоченности, благодаря которой я стал таким выдающимся дельцом.

Больше всего на свете я ненавижу гениев. Все эти гении — просто ослы, чем больше гений, тем больше осел. Уж такое это правило, из него не бывает исключений. Из гения, например, никогда не получится делец, как из жида не получится благодетель или из сосновой шишки — мускатный орех. Эти людишки вечно пускаются во всевозможные немыслимые и глупые предприятия, никак не соответствующие правильному порядку вещей, и нипочем не займутся настоящим делом. Так что гения сразу можно отличить по тому, чем он в жизни занимается. Если вам попадется человек, который тщится быть купцом или промышленником, который выбрал для себя табачное или хлопковое дело и тому подобную чертовщину, который хочет стать галантерейщиком, мыловаром или еще кем-нибудь в таком же роде, а то еще строит из себя не много, не мало, как адвоката, или кузнеца, или врача — словом, занимается чем-то необычным, — можете не сомневаться: это — гений и, значит, согласно тройному правилу, осел.

Я вот, например, — не гений. Я — просто делец, бизнесмен. Мой гроссбух и прихода-расходная книга докажут вам это в одну минуту. Замечу без ложной скромности, они у меня всегда в образцовом порядке, поскольку я склонен к аккуратности и пунктуальности. Я вообще так аккуратен и пунктуален, что никакому часовому механизму со мной не сравниться. Более того, дела, которыми занимаюсь я, всегда находятся в согласии с обыденными людскими привычками моих ближних. Хотя за это мне приходится благодарить вовсе не моих на редкость недалеких родителей — они-то уж постарались бы сделать из меня отъявленного гения, не вмешайся своевременно мой ангел-хранитель. В биографическом сочинении правда — это все, тем более в автобиографическом. И однако, кто мне поверит, если я расскажу, — а ведь мне не до шуток, — что пятнадцати лет меня родной отец задумал определить в контору к одному почтенному торговцу скобяными товарами, у которого, как он говорил, было «превосходное дело». Превосходное дело, как бы не так! Итог был тот, что

по прошествии двух или трех дней меня отослали назад, в лоно моей тупоумной семьи с высокой температурой и с резкими болями в теменной кости вокруг моего органа порядка. Я едва не отдал душу богу, шесть недель провел между жизнью и смертью, врачи потеряли всякую надежду — и так далее. Но хоть я и принял страдания, все же я был благодарен судьбе. Мне повезло — я не стал почтенным торговцем скобяными товарами, за что и возблагодарил помянутое возвышение у меня на темени, ставшее орудием моего спасения, равно как и ту добрую женщину, которая в свое время меня им наградила.

Обычные мальчишки убегают из дому в возрасте десяти — двенадцати лет. Я лично подождал, пока мне исполнится шестнадцать. Я, может быть, и тогда бы не сбежал, если бы не подслушал непароком, как моя старушка-мать вела разговор о том, что, мол, надобно меня пристроить по бакалейной части. «По бакалейной части» — подумать только! Я сразу же принял решение убраться подальше и приняться, по возможности, за какое-нибудь действительно приличное дело, чтобы не зависеть впредь от прихотей этих двух старых фантазеров, норовящих, того и гляди, не мытьем, так катаньем сделать из меня гения. Намерение мое с первой же попытки увенчалось успехом, и к тому времени, когда мне сравнялось восемнадцать лет, у меня уже было большое и доходное дело по линии *портновской ходячей рекламы*.

И удостоился я этой почетной должности исключительно благодаря приверженности к системе, являющейся моей характерной чертой. Аккуратность и методичность неизменно отличали мою работу, равно как и мою отчетность. По своему опыту могу сказать, что не деньги, а система делает человека — за исключением той части его индивидуальности, которая изготовляется портным, — моим нанимателем. Ровно в девять часов каждое утро я являлся к нему за очередным одеянием. В десять часов я уже был на каком-нибудь модном про-

менаде или в другом месте общественного увеселения. Точность и размеренность, с какой я поворачивал мою видную фигуру, выставляя напоказ одну за другой все детали облачавшего ее костюма, были предметом неизменного восхищения всех специалистов. Полдень еще не наступал, как я уже приводил в дом моих нанимателей, господ Крой, Шил и К°, нового заказчика. Говорю это с гордостью, но и со слезами на глазах, ибо их фирма выказала низкую неблагодарность. Представленный мною небольшой счетец, из-за которого мы рассорились и в конце концов расстались, ни один джентльмен, понимающий тонкости нашего дела, не назовет дутым. Впрочем, об этом, смею с гордостью и удовлетворением заметить, читателю дается возможность судить самому.

Причитается от господ Крой, Шил и К°,
портных, мистеру Питеру Профиту, Долл.
ходячей рекламе.

Июля 10	За прохаживание, как обычно, и привод одного заказчика	00,25
Июля 11	То же	25
Июля 12	За одну ложь второго сорта: всучил покупателю побуревший черный материал как якобы темно-зеленый	25
Июля 13	За одну ложь первого сорта экстра: выдал бумажный плис за драп-велюр	75
Июля 20	За покупку совершенно нового бумажного воротничка, чтобы лучше оттенить темно-серое пальто	2
Августа 15	За ношение короткого фрака с двойными прокладками на груди (температура — 76° в тени)	25
Августа 16	За стояние в течение трех часов на одной ноге для демонстрации нового фасона штрипок к панталонам — из расчета по 12½ центов за одну ногу	37½
Августа 17	За прохаживание, как обычно, и привод крупного заказчика (толстый мужчина)	50
Августа 18	То же, то же (средней упитанности)	25
Августа 19	То же, то же (тщедушный и неприбыльный)	6

Итого 2 долл. 96½ центов

Пункт, по которому разгорелись особенно жаркие споры, касался весьма умеренной суммы в 2 цента за бумажный воротничок. Но, клянусь честью, этот воротничок вполне стоил двух центов. В жизни я не видел воротничка изящнее и чище. И у меня есть основания утверждать, что он помог реализации трех темно-серых пальто. Но старший партнер фирмы не соглашался положить на него больше одного цента и вздумал даже показывать мне, как из двойного листа бумаги можно изготовить целых четыре таких воротничка. Едва ли стоит говорить, что я от своих *принципов* не отступился. Дело есть дело, и подходить к нему следует только по-деловому. Какой же это *порядок* — обсчитывать меня на целый цент? Чистое надувательство из пятидесяти процентов, вот как я это называю. Можно ли его принять за *систему*? Я немедленно покинул службу у господ Крой, Шил и К° и завел собственное дело по *бельмовой* части — одно из самых прибыльных, благородных и независимых среди обычных человеческих занятий.

И здесь моя неподкупная честность, бережливость и строгие правила бизнесмена снова пришлись как нельзя кстати. Предприятие процветало, и вскоре я уже был видной фигурой в своем деле. Ибо я не разменивался на всякие новомодные пустяки, не старался пускать пыль в глаза, а твердо придерживался добрых честных старых приемов этой почтенной профессии — профессии, которой, без сомнения, держался бы и по сей день, если бы не досадная случайность, происшедшая однажды со мною, когда я совершал кое-какие обычные деловые операции. Известно, что когда какой-нибудь старый толстосум, или богатый наследник-вертопрах, или акционерное общество, которому на роду написано вылететь в трубу, — словом, когда кто-нибудь затевает возвести себе хоромы, ничего нет лучше, как воспрепятствовать такой затее, всякий дурак это знает. Приведенное соображение и лежит в основе бельмового бизнеса. Как только дело у наших предполагаемых строителей примет достаточно серьезный оборот, вы тихонько покупаете клочок земли на краю

облюбованного ими участка, или же бок о бок с ним, или прямо напротив. Затем ждете, пока хоромы не будут уже наполовину возведены, а тогда нанимаете архитектора с тонким вкусом, и он строит вам у них под самым носом живописную мазанку, или азиатско-голландскую пагоду, или свинарник, или еще какое-нибудь замысловатое сооружение в эскимосском, кикапуском¹ или готтентотском стиле. Ну и понятно, нам не по средствам снести его за премию всего из пятисот процентов от наших первоначальных затрат на участок и на штукатурку. *По средствам* нам это, я спрашиваю? Пусть мне ответят другие дельцы. Самая мысль эта абсурдна. И тем не менее одно наглое акционерное общество сделало мне именно такое предложение — *именно такое!* Разумеется, я на эту глупость ничего не ответил и в ту же ночь вынужден был пойти и измазать сажей их строящиеся хоромы, я чувствовал, что это мой долг. Безмозглые же злодеи упекли меня в тюрьму; и, когда я оттуда вышел, собратья по бельмо-вой профессии поневоле должны были прекратить со мной знакомство.

Профессия *рукоприкладства*, которой мне пришлось заняться после этого, чтобы заработать себе хлеб насущный, не вполне соответствовала моей нежной конституции, — и, однако же, я приступил к делу с открытой душой и убедился, что моя сила, как и прежде, в тех твердых навыках методичности и аккуратности, которые вбила в меня эта замечательная женщина, моя старая нянька, — право, я был бы низким подлецом, если бы не помянул ее в моем завещании. Так вот, соблюдая в делах строжайшую систему и аккуратно ведя прихода-расходные книги, я сумел преодолеть немало серьезных трудностей и в конце концов добиться вполне приличного положения в своей профессии. Думаю, что мало кто делал дела удачнее, чем я. Приведу здесь страницу или две из моего журнала — это избавит меня

¹ К и к а п у — племя североамериканских индейцев, отличавшееся воинственностью и сражавшееся на стороне англичан во время войны за независимость США и в англо-американской войне 1812—1814 гг.

от необходимости трубить о самом себе, что, по-моему, недостойно человека с возвышенной душой. Другое дело журнал, он не даст солгать.

«1 янв. Новый год. — Встретил на улице Скока, навеселе. Нотабене: подойдет. Чуть позднее встретил Груба, пьяного в стельку. Нотабене: тоже годится. Внес обоих джентльменов в мой гроссбух и завел на каждого открытый счет.

2 янв. — Видел Скока на бирже, подошел к нему и наступил на ногу. Он размахнулся и кулаком сбил меня с ног. Отлично! Встал на ноги. Затруднения с моим поверенным Толстосуммом. Я хотел за ущерб тысячу, а он говорит, что за одну такую несерьезную затрещину больше пятисот нам с него не содрать. Нотабене: расстаться с Толстосуммом, у него нет совершенно никакой системы.

3 янв. — Был в театре, искал Груба. Он сидел сбоку в ложе во втором ряду между толстой дамой и тощей дамой. Разглядывал их в театральный бинокль, пока толстая дама не покраснела и зашептала что-то на ухо Г. Тогда зашел в ложу и сунул нос прямо ему под руку. Ничего не вышло — не дернул. Высморкался, попробовал еще раз — бесполезно. Тогда уселся и подмигнул тощей, после чего, к моему величайшему удовлетворению, был поднят им за шиворот и вышвырнут в партер. Вывих шеи и перелом ноги. Торжествуя, вернулся домой и записал на него пять тысяч. Толстосумм говорит, что выгорит.

15 февр. — Пошел на компромисс в деле мистера Скока. Сумма в пятьдесят центов заприходована — о чем см.

16 февр. — Сбит с ног этим хулиганом Грубом, какой сделал мне подарок в пять долларов. (Судебные издержки — четыре доллара двадцать пять центов. Чистый доход — см. прихода-расходную книгу — семьдесят пять центов.)»

Итого, за самый короткий срок чистой прибыли не менее одного доллара двадцати пяти центов — и это только от Скока и Груба. Притом, заверяю читателя,

что вышеприведенные выписки из моего журнала взяты наудачу.

Однако старая — и мудрая — пословица говорит, что здоровье дороже денег. Эта профессия оказалась несколько слишком тяжелой для моего слабого организма, и потому, обнаружив в один прекрасный день, что я измордован до полной неузнаваемости, так что знакомые, встречаясь со мною на улице, даже и не догадывались, что проходят мимо Питера Профита, я подумал, что лучшее средство от этого — сменить профессию. По каковой причине я обратил мои взоры к *пачкотне* и занимался ею несколько лет.

Хуже всего в этом деле то, что слишком многие им увлекаются, и поэтому конкуренция очень уж высока. Всякий дурак, у которого не хватает мозгов для того, чтобы преуспеть в качестве ходячей рекламы, или в бельмовом бизнесе, или в рукоприкладстве, конечно, считает, что пачкотня как раз по нему. Но думать, будто для пачкотни не требуется мозгов, величайшее заблуждение. Наоборот. И в особенности тут необходима *система* — без нее как без рук. Я вел всего только розничное дело, но благодаря моей старой привычке к *порядку* неплохо в нем преуспел. Прежде всего я с большим тщанием подошел к выбору подходящего перекрестка и за все время ни разу не поднял метлу ни в каком другом месте. Позаботился я также и о том, чтобы под рукой у меня всегда была отличная, удобная лужа. Этим способом я приобрел твердую репутацию человека, на которого можно положиться, а это, поверьте мне, для всякого дельца добрая половина успеха. Не было случая, чтобы кто-нибудь, кто швырнул мне монетку, не перешел на моем перекрестке улицу в чистых панталонах. И поскольку мои положительные деловые привычки были каждому известны, никто не пытался поживиться за мой счет. Попробовал бы только! Я сам не из тех, кто занимается вымогательством, но уж и меня тоже не тронь. Конечно, против банков, этих обдирал, я был бессилен. Я от них копейки не видел, отчего и терпел большие лишения. Но ведь это не люди, а корпорации, а у корпораций, как известно, нет

ни тела, которое можно поколотить, ни души, которую можно предать вечному проклятию.

Я с успехом вел свое прибыльное дело, пока в один злосчастный день не принужден был к слиянию с *сапого-собако-марательством*, каковое занятие в некотором роде подобно моему, однако далеко не столь почтенно. Правда, местоположение у меня было отличное, в самом центре, а щетки и вакса — высшего качества. И песик мой отличался упитанностью и был большой специалист по разного рода обнюхиваниям. У него уже имелся изрядный стаж, и дело свое он понимал, могу сказать, превосходно. Работали мы обычно так. Помпейчик, вывалявшись хорошенько в грязи, сидит, бывало, пайнкой на пороге соседней лавки, пока не появится какой-нибудь франт в начищенных сапогах. Тогда он устремляется ему навстречу и трется о блестящие голенища. Франт отчаянно ругается и начинает озираться в поисках чистильщика. А тут как раз я, сижу на самом виду, и в руках у меня вакса и щетки. Работы не больше чем на минуту, и шесть пенсов в кармане. На первых порах этого вполне хватало — я ведь не жадный. Зато пес мой оказался жадным. Я выделил ему третью долю доходов, а он счел уместным потребовать половину. На это я пойти не мог — мы поссорились и расстались.

Потом я какое-то время *крутил шарманку* и могу сказать, дело у меня шло совсем недурно. Работа эта простая, немудреная, особых талантов не требует. За безделицу покупаете музыкальный ящик и, чтобы привести его в порядок, открываете крышку и раза три ударяете по его нутру молотком. От этого звук несравненно улучшается, что для дела особенно важно. После этого остается взвалить шарманку на плечо и идти куда глаза глядят, покуда не попадетсЯ вам дверь с обтянутым замшей висячим молотком, а перед нею насыпанная на мостовой солома. Под этой дверью надо остановиться и завести шарманку, всем своим видом показывая, что намерен так стоять и крутить хоть до второго пришествия. Рано или поздно над вами распахивается окно, и вам бросают шестипенсовик, сопрово-

ждая подношение просьбой «заткнуться и проваливать». Мне известно, что некоторые шарманщики и в самом деле считают возможным «проваливать» за названную сумму, но я лично полагал, что вложенный капитал слишком велик и не позволяет «проваливать» меньше чем за шиллинг.

Это занятие приносило мне немалый доход, но как-то не давало полного удовлетворения, так что в конце концов я его бросил. Ведь я все же был поставлен в невыгодные условия, у меня не было обезьянки, — и потом, улицы в Америке так грязны, а демократический сброд до того бесцеремонен и толпы злых мальчишек слишком уж надоедливы.

Несколько месяцев я был без работы, но потом сумел устроиться при *лже-почте*, ибо испытывал к этому делу пылкий интерес. Занятие это весьма простое и притом не вовсе бездоходное. К примеру, рано утром я подготавливал пачку лже-писем — на листке бумаги писал что-нибудь на любую тему, что ни придет в голову, лишь бы позагадочнее, и ставил какую-нибудь подпись, скажем, Том Добсон или Бобби Томпкинс. Потом складывал листки, запечатывал сургучом, лепил поддельные марки с поддельными штемпелями якобы из Нового Орлеана, Бенгалии, Ботани-Бея и прочих удаленных мест и спешил вон из дому. Мой ежеутренний путь вел меня от дома к дому, которые посолиднее. Я стучался, вручал письма и взимал суммы, причитающиеся по наложенному платежу. Платили, не раздумывая. Люди всегда с готовностью платят за письма — такие дураки, — и я без труда успевал скрыться за углом, прежде чем они прочитывали мое послание. Единственное, что плохо в этой профессии, — это что нужно очень много и очень быстро ходить и беспрестанно менять маршруты. И, кроме того, я испытывал укоры совести. Признаться, я терпеть не могу, когда ругают ни в чем не повинного человека, а весь город так честил Тома Добсона и Бобби Томпкинса, что просто слушать было больно. И я в отвращении умыл от этого дела руки.

Восьмым, и последним, моим занятием было *кошководство*. Я нашел его в высшей степени приятным, доходным и совершенно необременительным. Страна на-

ша, как известно, наводнена кошками. Бедствие это достигло в последнее время таких размеров, что на последней сессии Законодательного совета была внесена петиция о помощи, под которой стояло множество подписей, в том числе людей самых уважаемых. Совет выказал рассудительность необыкновенную и, приняв на той памятной сессии целый ряд здравых и мудрых постановлений, увенчал их Актом о кошках. Новый закон в своей первоначальной редакции предлагал премию (по четыре пенса) за кошачью голову, но сенату удалось протащить поправку к основному параграфу, с тем чтобы заменить слово «голову» на слово «хвост». Поправка эта была столь неоспоримо уместна, что сенат проголосовал за нее *nem. con.*¹.

Лишь только новый закон был подписан губернатором, как я тут же вложил всю мою движимость в приобретение кисок. Вначале я ввиду ограниченности средств кормил их одними мышами, поскольку они дешевы, но мои питомцы с такой невероятной быстротой выполняли библейский завет, что я вскоре счел возможным быть с ними пощеднее и баловал их устрицами и черепаховым супом. Их хвосты по сенатской ставке приносят мне отличный доход, ибо я открыл способ с помощью макассарского масла снимать по три урожая в год. К тому же я с радостью обнаружил, что славные животные скоро привыкают к этой процедуре и сами предпочитают, чтобы хвосты им отрубали. Словом, теперь я состоятельный человек и сейчас занят тем, что торгую себе поместье на берегу Гудзона.

¹ *Nemine contradicente* — никто против (*лат.*).

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ

Что за песню пели сирены или каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин, — уж на что это, кажется, мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна.

Сэр Томас Браун.
«Захоронения в урнах»

Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе мало доступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому, как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то *прояснить* или *распутать*. Всякая, хотя бы и нехитрая задача, высекающая искры из его таланта, ему приятна. Он обожает загадки, ребусы и криптограммы, обнаруживая в их решении проницательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции. Эта способность решения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим ее разделом, который неправомерно и только в силу обратного характера своих действий именуется анализом, так сказать, анализом *par excellence*¹. Между тем рассчитывать, вычислять — само по себе — еще не значит анализировать. Шахматист, например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахматах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами, читатель, не трактат, а лишь несколько случайных соображений, которые должны послужить

¹ По преимуществу (*фр.*).

предисловием к моему не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат. В шахматах, где фигуры неравноценны и где им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы, сложность (как это нередко бывает) ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь *решает* внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и многозначны, то шансы на оплошность соответственно растут, и в девяти случаях из десяти выигрывает не более способный, а более сосредоточенный игрок. Другое дело шашки, где допускается один только ход с незначительными вариантами; здесь шансов на недосмотр куда меньше, внимание не играет особой роли, и успех зависит главным образом от сметливости. Представим себе для ясности партию в шашки, где остались только четыре дамки и, значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь (при равных силах) победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других возможностей аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку.

Вист давно известен как прекрасная школа для того, что именуется искусством расчета; известно также, что многие выдающиеся умы питали, казалось бы, необъяснимую слабость к висту, пренебрегая шахматами, как пустым занятием. В самом деле, никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Лучший в мире шахматист — шахматист, и только, тогда как мастерская игра в вист сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой предприимчивости, в которых ум соревнуется с умом. Говоря «мастерская игра», я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе. Эти средства

не только многочисленны, но и многообразны и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчетливо и помнит, а следовательно, всякий сосредоточенно играющий шахматист может рассчитывать на успех в висте, поскольку руководство Хойла (основанное на простой механике игры) общепонятно и общедоступно. Чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать «правила» и обладать хорошей памятью. Однако искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений! Его партнер, быть может, тоже; но перевес в этой обоюдной разведке зависит не столько от надежности выводов, сколько от качества наблюдения. Важно, конечно, знать, на что обращать внимание. Но наш игрок ничем себя не ограничивает. И, хотя прямая его цель — игра, он не пренебрегает и самыми отдаленными указаниями. Он изучает лицо своего партнера и сравнивает его с лицом каждого из противников, подмечает, как они распределяют карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем и онёр за онёром по взглядам, какие они на них бросают. Следит по ходу игры за мимикой игроков и делает уйму заключений, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях. Судя по тому, как человек сгреб взятку, он заключает, последует ли за ней другая. По тому, как карта брошена, догадывается, что противник финтит, что ход сделан для отвода глаз. Невзначай или необдуманно оброненное слово; случайно упавшая или открывшаяся карта и как ее прячут — с опаской или спокойно; подсчет взяток и их расположение; растерянность, колебания, нетерпение или боязнь — ничто не ускользает от якобы безразличного взгляда аналитика. С двух-трех ходов ему уже ясно, что у кого на руках, и он выбрасывает карту с такой уверенностью, словно все игроки раскрылись.

Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Умение придумывать и комбинировать

ровать, в котором обычно проявляется изобретательность и для которого френологи¹ (совершенно напрасно, по-моему) отводят особый орган, считая эту способность первичной, нередко наблюдается даже у тех, чей умственный уровень в остальном граничит с кретинизмом, что не раз отмечалось писателями, живописующими быт и нравы. Между умом изобретательным и аналитическим существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением, но это различие того же порядка. В самом деле, нетрудно заметить, что люди изобретательные — большие фантазеры и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу.

Дальнейший рассказ послужит для читателя своего рода иллюстрацией к приведенным соображениям.

Весну и часть лета 18... года я прожил в Париже, где свел знакомство с неким мосье Ш. Огюстом Дюпеном. Еще молодой человек, потомок знатного и даже прославленного рода, он испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства, и, живя на ренту и придерживаясь строжайшей экономии, он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Единственная роскошь, какую он себе позволял, — книги — вполне доступна в Париже.

Впервые мы встретились в плохонькой библиотеке на улице Монмартр, и так как оба случайно искали одну и ту же книгу, чрезвычайно редкое и примечательное издание, то, естественно, разговорились. Потом мы не раз встречались. Я заинтересовался семейной историей Дюпена, и он поведал ее мне с обычной чистосердечностью француза, рассказывающего вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпена, а главное — я не мог не восхищаться неудержимо-

¹ Ф р е н о л о г — сторонник френологии, антинаучного учения о связи психических свойств человека со строением поверхности его черепна. Основателем френологии был немецкий медик Франц Иосиф Галль (1758—1828).

стью и свежестью его воображения. Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами и, чувствуя, что общество такого человека неоценимая для меня находка, не замедлил ему в этом признаться. Вскоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе; а поскольку обстоятельства мои были чуть получше, чем у Дюпена, то я снял с его согласия и обставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно пострадавший от времени дом причудливой архитектуры в уединенном уголке Сен-Жерменского предместья¹. давно покинутый хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться, он клонился к упадку.

Если бы наш образ жизни в этой обители стал известен миру, нас сочли бы маньяками, хоть и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого не хотели видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, а Дюпен давно порвал с Парижем, да и Париж не вспоминал о нем. Мы жили только в себе и для себя.

Одной из фантастических причуд моего друга — ибо как еще это назвать? — была влюбленность в ночь, в ее особое очарование; и я покорно принял эту *bizarregie*², как принимал и все другие, самозабвенно отдаваясь прихотям друга. Темноликая богиня то и дело покидала нас, и, чтобы не лишаться ее милостей, мы прибегали к бутафории: при первом проблеске зарри захлопывали тяжелые ставни старого дома и зажигали два-три светильника, которые, курясь благовониями, изливали тусклое, призрачное сияние. В их бледном свете мы предавались грезам, читали, писали, беседовали, пока звон часов не возвещал нам приход истинной Тьмы. И тогда мы рука об руку выходили на улицу, продолжая дневной разговор, или бесцельно бродили до поздней ночи, находя в мелькающих огнях и тенях большого города ту неисчерпаемую пищу для умственных восторгов, какую дарит тихое созерцание.

В такие минуты я не мог не восхищаться аналитическим дарованием Дюпена, хотя и понимал, что это

¹ Аристократический район Парижа на южном берегу Сены.

² Странность, чудачество (*фр.*).

лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозрительности его мышления. Да и Дюпену, видимо, нравилось упражнять эти способности, если не блистать ими, и он, не чинясь, признавался мне, сколько радости это ему доставляет. Не раз хвалился он с довольным смешком, что люди в большинстве для него — открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нем какая-то холодность и отрешенность; пустой, ничего не выражающий взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет и звучал бы раздраженно, если бы не четкая дикция и спокойный тон. Наблюдая его в эти минуты, я часто вспоминал старинное учение о двойственности души и забавлялся мыслью о двух Дюпенах: созидающем и расчленяющем.

Из сказанного отнюдь не следует, что разговор здесь пойдет о неких чудесах; я также не намерен романтизировать своего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбужденного, а может быть, и больного ума. Но о характере его замечаний вам лучше поведаст живой пример.

Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной грязной улице в окрестностях Пале-Рояля¹. Каждый думал, по-видимому, о своем, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно невзначай, сказал:

— Куда ему, такому заморышу! Лучше б он попытал счастья в театре «Варьете»².

— Вот именно, — ответил я машинально.

Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпена совпали с моими мыслями. Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ.

— Дюпен, — сказал я серьезно, — это выше моего понимания. Сказать по чести, я поражен, я просто ушам своим не верю. Как вы догадались, что я думал

¹ П а л е - Р о я л ь — дворец с садом в Париже, построенный для кардинала Ришелье в 1629—1634 гг.

² Т е а т р « В а р ь е т е » — парижский театр водевиля, основанный в 1807 г.

о...— Тут я остановился, чтобы увериться, точно ли он знает, о ком я думал.

— ...о Шантильи,— закончил он.— Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что при его тщедушном сложении нечего ему было соваться в трагики.

Да, это и составляло предмет моих размышлений. Шантильи, *quondam*¹ сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребийона и был за все свои старания жестоко освистан.

— Объясните мне, ради бога, свой метод,— настаивал я,— если он у вас есть и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли.— Признаться, я даже старался не показать всей меры своего удивления.

— Не кто иной, как зеленщик,— ответил мой друг,— навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок не дорос до Ксеркса *et id genus omne*².

— Зеленщик? Да бог с вами! Я знать не знаю никакого зеленщика!

— Ну, тот увалень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад.

Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение имеет к этому Шантильи, я так и не мог понять.

Однако у Дюпена ни на волос не было того, что французы называют *charlatanerie*³.

— Извольте, я объясню вам,— вызвался он.— А чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыслей с нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым зеленщиком. Основные вехи — Шантильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур, стереотомия, булыжник и — зеленщик.

Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это — преувлекательное подчас занятие, и кто впервые

¹ некогда (*лат.*).

² и ему подобных (*лат.*).

³ очковтирательство (*фр.*).

к нему обратится, будет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода и как мало они друг другу соответствуют. С удивлением выслушал я Дюпена и не мог не признать справедливости его слов.

Мой друг между тем продолжал:

— До того как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда, на эту улицу, выскочивший откуда-то зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и второпях толкнул вас на грудь булыжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, слегка растянули связку, рассердились, во всяком случае, насупились, пробормотали что-то, еще раз оглянулись на грудь булыжника и молча зашагали дальше. Я не то чтобы следил за вами: просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой.

Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели (из чего я заключил, что вы все еще думаете о булыжнике), пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина и вымощен на новый лад — плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово «стереотомия» — термин, которым для пущей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах и, кстати, об учении Эпикура; а поскольку это было темой нашего недавнего разговора — я еще доказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему должного, — то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона. И вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашней «Musée» некий зоил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на котурны, постарался изменить самое имя свое, процити-

ровал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих:

Perdidit antiquum litera prima sonum¹.

Я как-то пояснил вам, что здесь разумеется Орион — когда-то он писался Урион, — мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантильи, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклятие. Все время вы шагали сутулясь, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о тщедушном сапожнике. Тогда-то я прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытать счастья в театре «Варьете».

Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск «Gazette des Tribunaux»², наткнулись мы на следующую заметку:

«НЕСЛЫХАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обывателям, проживала только некая мадам Л'Эспане с незамужней дочерью мадемуазель Камиллой Л'Эспане. После небольшой заминки у запертых дверей при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем пришлось прибегнуть к лому, и с десятков соседей, в сопровождении двух жандармов ворвались в здание. Крики уже стихли; но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно, и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до

¹ Утратила былое звучание первая буква (*лат.*).

² «Судебная газета» (*фр.*).

большой угловой спальни на пятом этаже (дверь, запертую изнутри, тоже взломали), — толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением.

Здесь все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели, подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу, под ногами, найдены четыре наполеондора, одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами — общим счетом без малого четыре тысячи франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью (а не под кроватью). Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других завалявшихся бумажек.

И никаких следов мадам Л'Эспане! Кто-то заметил в камине большую грудку золы, стали шарить в дымоходе и — о ужас! — вытащили за голову труп дочери: его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана — явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые потеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили.

После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, на мощный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху — ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело, и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого.

Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной».

Назавтра газета принесла следующие дополнительные сообщения:

Неслыханное по жестокости убийство всколыхнуло весь Париж, допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания:

Полина Дюбур, прачка, показывает, что знала покойниц последние три года, стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу. Платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Л'Эспане была гадалкой, этим и кормились. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только пятый этаж.

Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Л'Эспане нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже больше шести лет как поселилась в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Л'Эспане. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи внаем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе как впала в детство. За все эти годы свидетель только пять-шесть раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л. промышляет гаданьем, но он этому не верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой и дочери да кое-когда привратника, да раз восемь-десять навещался доктор.

Примерно то же свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо заходил. Были ли у них где-нибудь друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили, за исключением большой комнаты на пятом этаже. Дом еще не старый, крепкий.

Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что за ним пришли около трех утра. Застал у дома толпу, человек в двадцать — тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком. Дверь поддавалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, — и вдруг оборвались. Кричали (не разберешь — один или двое) как будто в смертной тоске, крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на второй этаж, услышал, как двое сердито и громко переругиваются — один глухим, а другой вроде как визгливым голосом, и голос какой-то чудной. Отдельные слова первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в каком случае не женщина. Он разобрал слова «sacré» и «diable»¹, визгливым голосом говорил иностранец. Не поймешь, мужчина или женщина. Не разобрать, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению.

Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая все прибывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, полагает, что итальянец. С мадам Л. и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорила визгливым голосом.

Оденгеймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй, что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошел в дом. Подтверждает

¹ «Проклятие» и «черт» (фр.).

предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного: уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Нет, слов не разобрал, говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий — скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял «sacré» и «diable», а однажды сказал «mon Dieu!»¹.

Жюль Миньо, банкир, фирма «Миньо и сыновья» на улице Делорен. Он — Миньо-старший. У мадам Л'Эспане имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года (восемь лет назад) вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады — небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщиком банка.

Адольф Лебон, конторщик фирмы «Миньо и сыновья», показывает, что в означенный день, часу в двенадцатом, проводил мадам Л'Эспане до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Л'Эспане; она взяла у него один мешочек, а старуха другой. После чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная.

Уильям Берд, портной, показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин. В Париже живет два года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал «sacré» и «mon Dieu!». Слова сопровождались шумом борьбы, топотом и возней, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин. Скорее немец. Может быть, и женщина. Сам он по-немецки не говорит.

Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л., была заперта изнутри. Тишина стояла мертвая, ни стона, ни малейшего шороха. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спаль-

¹ Боже мой (*фр.*).

ни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри, дверь между ними притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу, в дальнем конце коридора, на том же пятом этаже, была не заперта, дверь приотворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочистами. В доме пять этажей, не считая чердачных помещений (*mansardes*). На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели слышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному: от трех до пяти минут. Взломать ее стоило немалых усилий.

Альфонсо Гарсио, гробовщик, показал, что проживает на улице Морг. Испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабые, ему нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили, хриплый голос — несомненно француза. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не понимает, судит по интонации.

Альберто Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых взбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто, заплетающимся языком. Похоже, что по-русски. В остальном свидетель подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец. С русскими говорить ему не приходилось.

Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, дымоходы на четвертом этаже слишком узкие и человеку в них не пролезть. Под «трубочистами» они разумели цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Труп мадемуазель Л'Эспане был так плотно затиснут в дымоход,

что только общими усилиями четырех или пяти человек удалось его вытащить.

Поль Дюма, врач, показывает, что утром, чуть рассвело, его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матраце, снятом с кровати в спальне, где найдена мадемуазель Л. Тело дочери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея. Под самым подбородком несколько глубоких ссадин и сине-багровых подтеков — очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках, глаза вылезли из орбит. Язык чуть ли не насквозь прокушен. Большой кровоподтек на нижней части живота показывает, что здесь надавливали коленом. По мнению *мосье Дюма*, мадемуазель Л'Эспане задушена — убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено. Все кости правой руки и ноги переломаны и частично раздроблены. Расщеплена левая *tibia*¹, равно как и ребра с левой стороны. Все тело в синяках и ссадинах. Трудно сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка или железный лом, ножка кресла — да, собственно, любое тяжелое орудие в руках необычайно сильного человека могло это сделать. Женщина была бы не в силах нанести такие увечья. Голова убитой, когда ее увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно, бритвой.

Александр Этъенн, хирург, был вместе с *мосье Дюма* приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключению *мосье Дюма*.

Ничего существенного больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не запомнят убийства, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшей путеводной нити, ни намек на возможную разгадку».

В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох, но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось,

¹ Берцовая кость (*лат.*).

что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, хотя никаких новыхотягчающих улики, кроме уже известных фактов, не обнаружено.

Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздерживался. И только когда появилось сообщение об аресте Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве.

Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы.

— А вы не судите по этой пародии на следствие, — возразил Дюпен. — Парижская полиция берет только хитростью, ее хваленая догадливость — чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспомнишь Журдена, требовавшего подать себе свой «robe-de-chambre pour mieux entendre la musique»¹. Если они кое-что и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. У Видока, например, была догадка и упорство, при полном неумении систематически мыслить; самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал впросак. Он так близко вглядывался в свой объект, что это искажало перспективу. Пусть он ясно различал то или другое, зато целое от него ускользало. В глубокомыслии легко перемудрить. Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах. Чтобы уразуметь характер подобных ошибок и их причину, обратимся к наблюдению над небесными телами. Бросьте на звезду быстрый взгляд, посмотрите на нее краешком сетчатки (более чувствительным к слабым световым раздражениям, нежели центр), и вы увидите светило со всей ясностью и сможете оценить его блеск, который тускнеет, по мере того как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадет больше лучей, зато в первом восприимчивость куда острее. Чрезмер-

¹ «Халат, чтобы лучше слышать музыку» (*фр.*).

ная глубина лишь путает и затуманивает мысль. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес.

Что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит (у меня мелькнуло, что «позабавит» не то слово, но я промолчал), к тому же Лебон когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдемте же поглядим на все своими глазами. Полицейский префект Г.—мой старый знакомый — не откажет нам в разрешении.

Разрешение было получено, и мы не мешкая отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом конце города и только часам к трем добрались до места. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазели с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая *loge de concierge*¹. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задкам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние строения, что я только диву давался, не находя в них ничего достойного внимания.

Вернувшись к выходу, мы позвонили. Наши верительные грамоты произвели впечатление, и дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемуазель Л'Эспане и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все осталось в неприкосновенности и по-прежнему царил хаос. Я видел перед собой картину, описанную «*Gazette des Tribunaux*», — и ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Мы обошли и остальные комнаты и спустились во двор, все это под бдительным оком сопровождавшего нас полицейского. Осмотр затянулся до вечера; наконец, мы попрощались. На обратном пути мой спутник еще наведалься в редакцию одной из утренних газет.

¹ привратничья (фр.).

Я уже рассказал здесь о многообразных причудах моего друга и о том, как *je les ménageais*¹, — соответствующее английское выражение не приходит мне в голову. Сейчас он был явно не в настроении обсуждать убийство и заговорил о нем только на завтра в полдень. Начав без предисловий, он огорошил меня вопросом: не заметил ли я чего-то *особенного* в этой картине зверской жестокости?

«Особенного» он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся.

— Нет, ничего особенного, — сказал я, — по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете.

— Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное, — возразил Дюпен, — то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Но бог с ним, с этим дурацким листком и его праздными домыслами. Мне думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которое помогает ее решить: я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов, и не столько самого убийства, сколько его жестокости. К тому же они не могут справиться с таким будто бы непримиримым противоречием: свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Л'Эспане, никого не оказалось. Но и бежать убийцы не могли — другого выхода нет, свидетели непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Невообразимый хаос в спальне; труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, да еще вверх ногами; фантастические истязания старухи — этих обстоятельств вместе с вышеупомянутыми, да и многими другими, которых я не стану здесь перечислять, оказалось достаточно, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног, парировать их хваленую догадливость. Они впали в грубую, хоть и весьма распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. В таком расследовании, как наше с вами, надо спрашивать не «Что случилось?», а «Что случилось такого, чего еще никогда не бывало?». И в самом деле, легкость, с какой

¹ я им потакал (*фр.*).

я прихожу — пришел, если хотите, — к решению этой загадки, не прямо ли пропорциональна тем трудностям, какие возникают перед полицией?

Я смотрел на Дюпена в немом изумлении.

— Сейчас я жду, — продолжал Дюпен, поглядывая на дверь, — жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть, в какой-то мере способствовал тому, что случилось. В самой страшной части содеянных преступлений он, очевидно, не повинен. Надеюсь, я прав в своем предположении, так как на нем строится мое решение всей задачи в целом. Я жду этого человека сюда, к нам, с минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но, по всей вероятности, придет. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, распорядиться ими.

Я машинально взял пистолеты, почти не сознавая, что делаю, не веря ушам своим, а Дюпен продолжал, словно изливаясь в монолог. Я уже упоминал о присутствующей ему временами отрешенности. Он адресовался ко мне и, следовательно, говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, точно он обращается к кому-то вдалеке. Пустой, ничего не выражающий взгляд его упирался в стену.

— Показаниями установлено, — продолжал Дюпен, — что спорящие голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Л'Эспане убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом, лишь чтобы показать ход своих рассуждений: у мадам Л'Эспане не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной, и спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничто не удивило?

— Все свидетели, — отвечал я, — согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как на-

счет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мнения разошлись.

— Вы говорите о показаниях вообще, — возразил Дюпен, — а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного. А следовало бы заметить! Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса, тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз — все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца: «Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский». Для голландца это был француз; впрочем, как записано в протоколе, «свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика». Для англичанина это звучит как речь немца; кстати, он «по-немецки не понимает». Испанец «уверен», что это англичанин, причем сам он «по-английски не знает ни слова» и судит только по интонации — «английский для него чужой язык». Итальянцу мерещится русская речь — правда, «с русскими говорить ему не приходилось». Мало того, второй француз, в отличие от первого, «уверен, что говорил итальянец»; не владея этим языком, он, как и испанец, ссылается «на интонацию». Поистине, странно должна была звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного! Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже, но, даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался «скорее резким, чем визгливым». Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова или хотя бы отчетливого звука.

— Не знаю,— продолжал Дюпен,— какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний — насчет хриплого и визгливого голоса — вытекают законные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав «законные выводы», я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы и что они неизбежно ведут к моей догадке, как к единственному результату. Что за догадка, я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придавала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне. Перенесем-ся мысленно в эту спальню. Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим. Не злые же духи, в самом деле, расправились с мадам и мадемуазель Л'Эспане! Преступники — заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что, когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне либо, в крайнем случае, в смежной комнате, — а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда. Но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней части, футов на восемь — десять от выхода в камин, они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошке. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказываться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся

доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

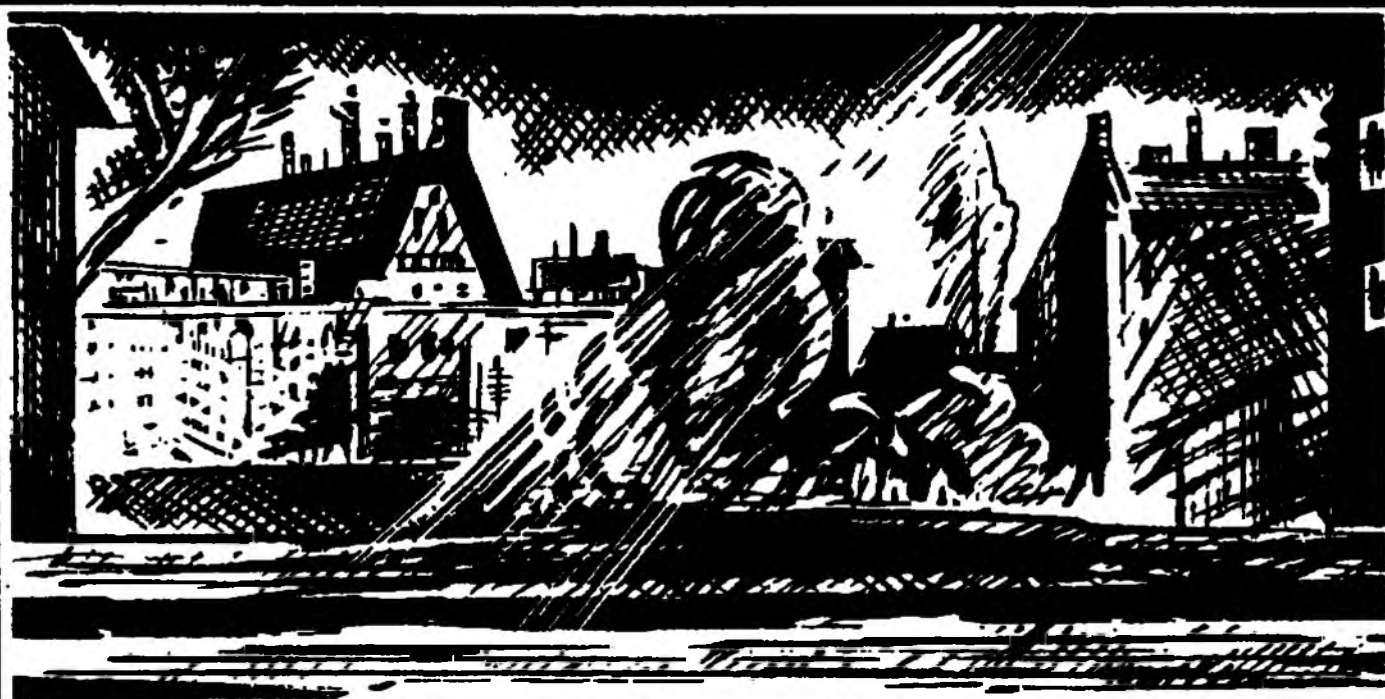
В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить оба гвоздя и открыть окна.

Я не ограничился поверхностным осмотром, я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

Я стал рассуждать *a posteriori*¹. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, а ведь окна оказались наглухо запертыми, и это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка, по крайней мере, оставляла в силе мое исходное положение, как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину. Я нажал на нее и, удовлетворясь этой находкой, не стал поднимать раму.

Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется — но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивался вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало

¹ На основании опыта, исходя из опыта (*фр.*).



ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде или, по крайней мере, в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна; потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину, во всех отношениях схожую со своей соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку.

Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления — умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена, я проследил ее всю до конечной точки — и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всем походил на своего собрата в соседнем окне, но что значил этот довод (при всей его убедительности) по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить. «Значит, гвоздь не в порядке», — подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпенька осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. Излом был старый; об этом говорила покрывавшая его ржавчина; я заметил также, что молоток, сломавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Не было заметно ни малейшей трещинки. Нажав на пружинку, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно — опять впечатление целого гвоздя.

Итак, в этой части загадка была разгадана: убийца скрылся в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась — сама по себе или с чьей-нибудь помощью, — пружина закрепляла ее на месте; полицейские же действие пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований.

Встает вопрос, как преступник спустился вниз. Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка во-

круг дома. Фу́тах в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более влезть в него нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на пятом этаже принадлежат к разряду *ferrades*, как называют их парижские плотники; они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь — одностворчатую, — с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры, за нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Л'Эспане шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу. Но, увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычайной ширины, во всяком случае — не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что, если до конца распахнуть ставень над изголовьем кровати, он окажется не более чем в двух футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода в окно. Протянув руку фута на два с половиной (при условии, что ставень открыт настежь), грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стену ногами, он мог с силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату.

Итак, запомните: речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой прыжок возможен, а во-вторых, — и это главное, — хочу, чтобы вы представили себе, какое необычайное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка.

Вы, конечно, скажете, что «в моих интересах», как выражаются адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если та-

ковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Истина — вот моя конечная цель. Ближайшая же моя задача в том, чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление: с одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорил; с другой — крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии — разкий голос, относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся; и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога...

Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль Дюпена, так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал:

— Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат носильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Ну не абсурд ли? Предположение, явно взятое с потолка и не сказать чтобы умное. Почем знать, может быть, в комоде и не было ничего, кроме найденных вещей? Мадам Л'Эспане и ее дочь жили затворницами, никого не принимали и мало где бывали, — зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие, почему наконец не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых?

А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мосье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах — дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадения вдесятеро более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшее спустя три дня убийство получателя, происходят

ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения — это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей, и слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятности, — а ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег недосчитались, тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае счесть мотивом преступления деньги означало бы прийти к выводу, что преступник — совершеннейшая разиня и болван, ибо о деньгах, а значит, о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл.

А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, — своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, — обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычные преступники так не убивают. И уж, во всяком случае, не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу, и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется невероятная силища, чтобы затолкать тело в трубу — *снизу вверх*, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда — *сверху вниз*...

И, наконец, другие проявления этой страшной силы! На каменной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже двадцать — тридцать волосков! Вы, так же как и я, видели эти космы. На корнях — страшно сказать! — запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа, — красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто пер-

резано — голова начисто отделена от шеи; а ведь орудием убийце послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Л'Эспане. Мосье Дюма и его достойный коллега мосье Этьенн считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием, — и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого! Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна все же отворяются.

Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить невероятную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также совершенно нечленораздельной речью. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами?

Меня в жар бросило от этого вопроса.

— Безумец, совершивший это злодеяние, — сказал я, — бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома.

— Что ж, не так плохо, — одобрительно заметил Дюпен, — в вашем предположении кое-что есть. И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимавшиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речи его, хоть и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Л'Эспане. Что вы о них скажете?

— Дюпен, — воскликнул я, вконец обескураженный, — это более чем странные волосы — они не принадлежат человеку!

— Я этого и не утверждаю, — возразил Дюпен. — Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу,

взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как «темные кровоподтеки и следы ногтей» на шее у мадемуазель Л'Эспане, а в заключении господ Дюма и Этьенна фигурирует как «ряд сине-багровых пятен — по-видимому, отпечатки пальцев».

— Рисунок, как вы можете судить, — продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги, — дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки.

Тщетные попытки! Мои пальцы не совпадали с отпечатками.

— Нет, постойте, сделаем уж все как следует, — остановил меня Дюпен. — Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот полence примерно такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте еще раз.

Я повиновался, но стало не легче, а труднее.

— Похоже, — сказал я наконец, — что это отпечаток не человеческой руки.

— А теперь, — сказал Дюпен, — прочтите этот абзац из Кювье.

То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны.

— Описание пальцев, — сказал я, закончив чтение, — в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем рисунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако как объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них, бесспорно, принадлежал французу.

— Совершенно справедливо! И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписы-

вают французу: «mon Dieu!». Воскликание это, применительно к данному случаю, было удачно истолковано одним из свидетелей (Монтани, владельцем магазина) как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, что он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня, а тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, непричастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию «Le Monde» — газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди моряков, — это объявление наверняка приведет его сюда.

Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел:

«ПОЙМАН в Булонском лесу — ранним утром — такого-то числа сего месяца (в утро, когда произошло убийство) огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу (по слухам, матросу мальтийского судна) при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу: дом №... на улице... в Сен-Жерменском предместье; справиться на пятом этаже».

— Как же вы узнали, — спросил я, — что человек этот матрос с мальтийского корабля?

— Я этого не знаю, — возразил Дюпен. — И далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду напоминает те, какими ма-

тросы завязывают волосы, — вы знаете эти излюбленные моряками gueues¹. К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего мальтиец. Я нашел эту ленту под громоотводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в моем объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение, и особенно задумываться тут не станет. Если же я прав, — это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать: «Я не виновен, к тому же человек я бедный; орангутанг и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние, зачем же терять его из-за пустой мнительности. Вон он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции ввек не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили — попробуй докажи, что я что-то знаю; а хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. В объявлении меня так и называют владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня порассказали. Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин — я, на обезьяну падет подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой».

На лестнице слышались шаги.

— Держите пистолеты наготове, — предупредил меня Дюпен, — только не показывайте и не стреляйте — ждите сигнала.

Парадное внизу было открыто; посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы

¹ Здесь: косицы; буквально: хвосты (фр.).

слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали.

— Войдите! — весело и приветливо отозвался Дюпен.

Вошел мужчина, судя по всему матрос, — высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат, а в общем, приятный малый. Лихие бачки и *mustachio*¹ больше чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера, говорил он по-французски чисто, разве что с легким невшательским² акцентом; но по всему было видно, что это коренной парижанин.

— Садитесь, приятель, — приветствовал его Дюпен. — Вы, конечно, за орангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь: великолепный экземпляр и, должно быть, ценный. Сколько ему лет, как вы считаете?

Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч.

— Вот уж не знаю, — ответил он развязным тоном. — Годика четыре-пять — не больше. Он здесь, в доме?

— Где там, у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозничий двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, нетрудно будет удостоверить свои права?

— За этим дело не станет, мосье!

— Прямо жалко расстаться с ним, — продолжал Дюпен.

— Не думайте, мосье, что вы хлопотали задаром, — заверил его матрос. — У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды, по силе возможности, конечно. Столкнемся!

— Что ж, — сказал мой друг, — очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А впрочем, не нужно мне денег; расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг.

Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Так же спокойно подошел к двери, запер ее и поло-

¹ Усы (*ит.*).

² Невшатель — город на севере Франции.

жил ключ в карман; потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол.

Лицо матроса побагровело, казалось, он борется с удушьем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стул, дрожа всем телом, смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души его жаль.

— Зря пугаетесь, приятель, — успокоил его Дюпен. — Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека: у нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы не виновны в этих ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хоть это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек; над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен.

Слова Дюпена возымели действие: матрос овладел собой, но куда девалась его развязность!

— Будь что будет, — сказал он, помолчав. — Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне бог! Вы, конечно, не поверите — я был бы дураком, если бы надеялся, что вы мне поверите. Но все равно моей вины тут нет! И пусть меня казнят, а я расскажу вам все как на духу.

Рассказ его, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на прогулку в глубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только не натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей, а также в

ожидании, чтобы у орангутанга зажала нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать.

Вернувшись недавно домой с веселой пирушки, — это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, — он застал орангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно, — а там на улицу.

Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра, на улицах стояла мертвая тишина. В переулке позади улицы Морг внимание беглянки привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Л'Эспане, на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень.

Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку, бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать. Но как бы она чего не натворила в доме! Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскрабкаться по громоотводу не представляет труда, особенно для матроса, но, поравнявшись с окном, которое приходилось

слева, в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, — это, дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг.

Мадам Л'Эспане и ее дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в упомянутой железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был раскрыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины, должно быть, сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя. Судя по тому, что между его появлением и их криками прошло некоторое время, они, очевидно, решили, что ставнем хлопнул ветер.

Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал мадам Л'Эспане за волосы, распущенные по плечам (она расчесывала их на ночь), и, в подражание парикмахеру, поигрывал бритвой перед самым ее носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирные поначалу намерения орангутанга, разбудив в нем ярость. Сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство. Глаза его пылали, как раскаленные угли. Скрежеща зубами, набросился он на девушку, вцепился ей страшными когтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, обезьяна увидела маячившее в глубине над изголовьем кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо, не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутанг, верно, решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяла. Наконец он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом и обнаружили, а труп старухи не долго думая швырнул за окно.

Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмер и не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой, страшась последствий кровавой бойни и

отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе своей питомицы. Испуганные восклицания потрясенного француза и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди.

Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали дверь, орангутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно.

Спустя некоторое время сам хозяин поймал его и за большие деньги продал в Jardin des Plantes¹. Лебона сразу же освободили, как только мы с Дюпенем явились к префекту и обо всем ему рассказали (Дюпен не удержался и от кое-каких комментариев). При всей благосклонности к моему другу сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза и даже отпустил в наш адрес две-три шпильки насчет того, что не худо бы каждому заниматься своим делом.

— Пусть ворчит, — сказал мне потом Дюпен, не удостоивший префекта ответом. — Пусть утешается. Надо же человеку душу отвести. С меня довольно того, что я побил противника на его территории. Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитер, чтобы смотреть в корень. Вся его наука — сплошное верхоглядство. У нее одна лишь голова, без тела, как изображают богиню Лаверну², или в лучшем случае — голова и плечи, как у трески. Но что ни говори, он добрый малый; в особенности восхищает меня та ловкость, которая стяжала ему репутацию великого умника. Я говорю о его манере «*de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas*»³.

¹ Ботанический сад (*фр.*).

² Л а в е р н а — римская богиня прибыли, покровительница воров и мошенников.

³ Отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует (*фр.*).

НИЗВЕРЖЕНИЕ В МАЛЬСТРЕМ

Пути Господни в Природе и в Предначертаниях — не *наши пути*, и уподобления, к которым мы прибегаем, никоим образом несоизмеримы с необъятностью, неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний, *глубина коих превосходит глубину Демокритова колодца*.

Джозеф Генвилл

Мы очутились на вершине самой высокой скалы. В течение нескольких минут старик, по-видимому, не мог говорить от изнеможения.

— Еще не так давно, — наконец промолвил он, — я мог бы провести вас по этой тропе с такой же легкостью, как мой младший сын; но без малого три года тому назад со мной случилось происшествие, какого еще никогда не выпадало на долю смертного, и уж во всяком случае, я думаю, нет на земле человека, который, пройдя через такое испытание, остался бы жив и мог рассказать о нем. Шесть часов пережитого мною смертельного ужаса сломили мой дух и мои силы. Вы думаете, я *глубокий* старик, но вы ошибаетесь. Меньше чем за один день мои волосы, черные как смоль, стали совсем седыми, тело мое ослабло и нервы до того расшатались, что я дрожу от малейшего усилия и пугаюсь тени. Вы знаете, стоит мне только поглядеть вниз с этого маленького утеса, и у меня сейчас же начинает кружиться голова.

«Маленький утес», на краю которого он так непридуманно разлегся, что большая часть его тела оказалась на весу, держалась только тем, что он опирался локтем на крутой и скользкий выступ, — этот «маленький утес» поднимался над пропастью прямой, отвесной глянцеви́то-черной каменной глыбой футов на полтора выше гряды скал, теснившихся под нами. Ни за что на свете не осмелился бы я подойти хотя бы на пять-шесть шагов к его краю. Признаюсь, что рискованная поза моего спутника повергла меня в такое смятение, что я бросился ничком на землю и, уцепившись за

торчавший около меня кустарник, не решался даже поднять глаза. Я не мог отделаться от мысли, что вся эта скалистая глыба может вот-вот обрушиться от бешеного натиска ветра. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось несколько овладеть собой и я обрел в себе мужество приподняться, сесть и оглядеться кругом.

— Будет вам чудить, — сказал мой проводник, — ведь я вас только затем и привел сюда, чтобы показать место того происшествия, о котором я говорил, потому что, если вы хотите послушать эту историю, надо, чтобы вся картина была у вас перед глазами.

— Мы сейчас находимся, — продолжал он с той же неизменной обстоятельностью, коей отличался во всем, — над самым побережьем Норвегии, на шестьдесят восьмом градусе широты, в обширной области Нордланд, в суровом краю Лофодена¹. Гора, на вершине которой мы с вами сидим, называется Хмурый Хельсегген. Теперь поднимитесь-ка немножко повыше, — держитесь за траву, если у вас кружится голова, вот так, — и посмотрите вниз, вон туда, за полосу туманов под нами, в море.

Я посмотрел, и у меня потемнело в глазах: я увидел широкую гладь океана такого густого черного цвета, что мне невольно припомнилось *Mare Tenebrarum*² в описании нубийского географа. Нельзя даже и вообразить себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево, насколько мог охватить глаз, простирались гряды отвесных чудовищно-черных нависших скал, как бы заслонивших весь мир. Их зловеющая чернота казалась еще чернее из-за бурунов, которые, высоко вздыбливая свои белые страшные гребни, обрушивались на них с неумолчным ревом и воем. Прямо против мыса, на вершине которого мы находились, в пяти-шести милях от берега, виднелся маленький плоский островок; вернее было бы сказать, что вы угадывали этот островок по яростному клочкотанию волн, вздымавшихся вокруг него. Мили на две поближе к берегу виднелся другой островок, поменьше,

¹ Скалистые и безлесые Лофоденские (или Лофотенские) острова расположены у северо-западного побережья Норвегии.

² Море мрака (*лат.*).

чудовищно изрезанный, голый и окруженный со всех сторон выступающими там и сям темными зубцами скал.

Поверхность океана на всем пространстве между дальним островком и берегом имела какой-то необычайный вид. Несмотря на то, что ветер дул с моря с такой силой, что небольшое судно, двигавшееся вдалеке под глухо зарифленным триселем, то и дело пропадало из глаз, зарываясь всем корпусом в волны, все же это была не настоящая морская зыбь, а какие-то короткие, быстрые, гневные всплески во все стороны — и по ветру, и против ветра. Пены почти не было, она бурлила только у самых скал.

— Вот тот дальний островок, — продолжал старик, — зовется у норвежцев Вург. Этот, поближе, — Моске. Там, на милю к северу, — Амбаарен. Это Ифлезен, Гойхольм, Килдхольм, Суарвен и Букхольм. Туда подальше, между Моске и Вургом, — Оттерхольм, Флимен, Сандфлезен и Скархольм. Вот вам точные названия этих местечек, но зачем их, в сущности, понадобилось как-то называть, этого ни вам, ни мне уразуметь не дано. Вы слышите что-нибудь? Не замечаете вы никакой перемены в воде?

Мы уже минут десять находились на вершине Хельсеггена, куда поднялись из внутренней части Лофодена, так что мы только тогда увидели море, когда оно внезапно открылось перед нами с утеса. Старик еще не успел договорить, как я услышал громкий, все нарастающий гул, похожий на рев огромного стада буйволов в американской прерии; в ту же минуту я заметил, что эти всплески на море, или, как говорят моряки, «сечка», стремительно перешли в быстрое течение, которое несло на восток. У меня на глазах (в то время, как я следил за ним) это течение приобретало чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В каких-нибудь пять минут все море до самого Вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между Моске и берегом. Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела, бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой бы-

стротой, с какой может низвергаться только водопад с горной кручи.

Еще через пять минут вся картина снова изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой, воронки одна за другой исчезли, но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство, и, сливаясь одна с другой, вбирали в себя вращательное движение осевших водоворотов, словно готовясь стать очагом нового, более обширного. Неожиданно — совсем неожиданно — он вдруг выступил совершенно отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмили. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены; но ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки: внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в сорок пять градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем — не то воплем, не то ревом, — какого даже могучий водопад Ниагары никогда не воссылает к небесам.

Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался. Я приник лицом к земле и в невыразимом смятении вцепился в чахлую траву.

— Это, конечно, и есть, — прошептал я, обращаясь к старику, — великий водоворот Мальстрем?

— Так его иногда называют, — отозвался старик. — Мы, норвежцы, называем его Москестрем — по имени острова Моске, вон там, посредине.

Обычные описания этого водоворота отнюдь не подготовили меня к тому, что я теперь видел. Описание Ионаса Рамуса, пожалуй, самое подробное из всех, не дает ни малейшего представления ни о величии, ни о грозной красоте этого зрелища, ни о том непостижимо захватывающем ощущении необычности, которое потрясает зрителя. Мне не совсем ясно, откуда наблюдал автор это явление и в какое время, — во всяком случае, не с вершины Хельсеггена и не во время шторма. Некоторые места из его описания стоит при-

вести ради кое-каких подробностей, но язык его так беден, что совершенно не передает впечатления от этого страшного котла.

«Между Лофоденом и Моске,— говорит он,— глубина океана доходит до тридцати шести — сорока морских саженей; но по другую сторону, к Воргу, она настолько уменьшается, что здесь нет сколько-нибудь безопасного прохода для судов и они всегда рискуют разбиться о камни даже при самой тихой погоде. Во время прилива течение между Лофоденом и Моске бурно устремляется к берегу, но оглушительный гул, с которым оно во время отлива несется обратно в море, едва ли может сравниться даже с шумом самых мощных водопадов. Гул этот слышен за несколько десятков километров, а глубина и размеры образующихся здесь ям или воронок таковы, что судно, попадающее в сферу их притяжения, неминуемо захватывается водоворотом, идет ко дну и там разбивается о камни; когда море утихает, обломки выносит на поверхность. Но это затишье наступает только в промежутке между приливом и отливом в спокойную погоду и продолжается всего четверть часа, после чего волнение снова постепенно нарастает. Когда течение бушует и ярость его еще усиливается штормом, опасно приближаться к этому месту на расстояние норвежской мили¹. Шхуны, яхты, корабли, вовремя не заметившие опасности, погибают в пучине. Часто случается, что киты, очутившиеся слишком близко к этому котлу, становятся жертвой яростного водоворота; и невозможно описать их неистовое мычание и рев, когда они тщетно пытаются выплыть. Однажды медведя, который плыл от Лофодена к Моске, затянуло в воронку, и он так ревел, что рев его был слышен на берегу. Громадные стволы сосен и елей, поглощенные течением, выносит обратно в таком растерзанном виде, что щепы на них торчат, как щетина. Это, несомненно, указывает на то, что дно здесь покрыто острыми рифами, о которые и разбивается все, что попадает в крутящийся поток. Водоворот этот возникает в связи с приливом и отливом, которые чередуются каждые шесть часов. В 1645 году, рано утром в мясопустное воскресенье², он бушевал с такой

¹ Норвежская миля — 11295 метров.

² Мясопустное воскресенье — по церковному календарю, за две недели перед великим постом.

силой и грохотом, что от домов, стоящих на берегу, не осталось камня на камне».

Что касается глубины, я не представляю себе, каким образом можно было определить ее в непосредственной близости к воронке. «Сорок сажений» указывают, по-видимому, на глубину прохода возле берегов Моске или Лофодена. Глубина в середине течения Москестрема, конечно, неизмеримо больше. И для этого не требуется никаких доказательств: достаточно бросить хотя бы один беглый взгляд в пучину водоворота с вершины Хельсеггена. Глядя с этого утеса на ревущий внизу Флегетон¹, я не мог не улыбнуться тому простодушию, с каким почтенный Ионас Рамус рассказывает, как о чем-то малоправдоподобном, о случаях с китами и медведями, ибо мне, признаться, казалось совершенно очевидным, что самый крупный линейный корабль, очутившись в пределах смертоносного притяжения, мог бы противиться ему не больше, чем перышко — урагану, и был бы мгновенно поглощен водоворотом.

Попытки объяснить это явление казались мне, насколько я их помню, довольно убедительными. Но теперь я воспринял их совсем по-другому, и они отнюдь не удовлетворяли меня. По общему признанию, этот водоворот, так же как и три других небольших водоворота между островами Ферё, обязан своим происхождением не чему иному, как столкновению волн, которые, во время прилива и отлива, сдавленные между грядами скал и рифов, яростно взмываются вверх и обрушиваются с неистовой силой: таким образом, чем выше водяной столб, тем больше глубина его падения, и естественным результатом этого является воронка, или водоворот, удивительная способность всасывания коего достаточно изучена на менее грандиозных примерах. Вот что говорится по этому поводу в Британской энциклопедии. Кирхер и другие считают, что в середине Мальстрема имеется бездонная пропасть, которая выходит по ту сторону земного шара в какой-нибудь отдаленной его части, например, в Ботническом заливе, как определенно утверждают иные. Это само по себе не-

¹ Ф л е г е т о н — в греческой мифологии огненная река, окружающая подземное царство.

лепое утверждение сейчас, когда вся картина была у меня перед глазами, казалось мне вполне правдоподобным, но, когда я обмолвился об этом моему проводнику, я с удивлением услышал от него, что, хотя почти все норвежцы и придерживаются этого мнения, он сам не разделяет его. Что же касается приведенного выше объяснения, он просто сознался, что не в состоянии этого понять; и я согласился с ним, потому что, как оно ни убедительно на бумаге, здесь, перед этой ревущей пучиной, оно кажется невразумительным и даже нелепым.

— Ну, вы достаточно нагляделись на водоворот, — сказал старик, — так вот теперь, если вы осторожно обогнете утес и сядете здесь, с подветренной стороны, где не так слышен этот рев, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас, что я-то кое-что знаю о Москестреме...

Я примостился там, где он мне посоветовал, и он приступил к рассказу:

— Я и двое моих братьев владели когда-то сообща хорошо оснащенный парусным судном, тонн этак на семьдесят, и на этом паруснике мы обычно отправлялись ловить рыбу к островам за Моске, ближе к Вургу. Во время бурных приливов в море всегда бывает хороший улов, надо только выбрать подходящую минуту и иметь достаточно мужества, чтобы не упустить ее; однако из всех лофоденских рыбаков только мы трое ходили промыслять к островам. Обычно лов рыбы производится значительно ниже, к югу, где можно без всякого риска рыбачить в любое время, — поэтому все и предпочитают охотиться там. Однако здесь, среди скал, были кое-какие местечки, где мало того, что водилась разная редкая рыба, но и улов был много богаче, так что нам иногда удавалось за один день наловить столько, сколько люди более робкого десятка не добывали и за неделю. Словом, это было своего рода отчаянное предприятие: вместо того чтобы вкладывать в него труд, мы рисковали головой, отвага заменяла нам капитал.

Мы держали наш парусник в небольшой бухте, примерно миль на пять выше отсюда по побережью, и обычно в хорошую погоду, пользуясь затишьем, кото-

рое длилось четверть часа, мы пересекали главное течение Мальстрема, намного выше водоворота, и бросали якорь где-нибудь около Оттерхольма или Сандфлезена, где не так бушует прибой. Мы оставались здесь, пока снова не наступало затишье, и тогда, снявшись с якоря, возвращались домой. Мы никогда не пускались в это путешествие, если не было надежного бейдевинда (такого, за который можно было поручиться, что он не стихнет до нашего возвращения), и редко ошибались в наших расчетах. За шесть лет мы только два раза вынуждены были простоять ночь на якоре из-за мертвого штиля — явление, поистине редкое в здешних местах; а однажды нам пришлось целую неделю задержаться на промысле, и, чуть не подохли с голоду, потому что, едва только мы прибыли на лов, как поднялся шторм, и нечего было даже и думать о том, чтобы пересечь разбушевавшееся течение. Нас бы, конечно, все равно унесло в море, потому что шхуну так швыряло и крутило, что якорь запутался и волочился по дну; но, к счастью, мы попали в одно из перекрестных течений — их много здесь, нынче оно тут, а завтра нет, — и оно прибило нас к острову Флимен, где нам удалось стать на якорь.

Я не могу описать и двадцатую долю тех затруднений, с которыми нам приходилось сталкиваться на промысле (скверное это место, даже и в тихую погоду). Однако мы ужитрились всегда благополучно миновать страшную пропасть Москестрема; хотя, признаюсь, у меня иной раз душа уходила в пятки, когда нам случалось очутиться в его водах на какую-нибудь минуту раньше или позже затишья. Бывало, что ветер оказывался слабее, чем нам казалось, когда мы выходили на лов, и наш парусник двигался не так быстро, как нам хотелось, а управлять им мешало течение. У моего старшего брата был сын восемнадцати лет, и у меня тоже было двое здоровых молодцов. Они, разумеется, были бы нам большой подмогой в таких случаях — и на веслах, да и во время лова, — но, хотя сами мы всякий раз шли на риск, у нас не хватало духу подвергать опасности жизнь наших детей, потому что, сказать правду, это была смертельная опасность.

Через несколько дней исполнится три года с тех пор, как произошло то, о чем я вам хочу рассказать.

Это случилось десятого июля 18... года. Жители здешних мест никогда не забудут этого дня, ибо такого страшного урагана, какой свирепствовал в тот день, еще никогда не посылали небеса. Однако все утро и после полудня дул мягкий устойчивый юго-западный ветер и солнце светило ярко, так что самый что ни на есть старожил из рыбаков не мог предугадать того, что случилось.

Около двух часов пополудни мы втроем — два моих брата и я — пристали к островам и очень скоро нагрузили нашу шхуну превосходной рыбой, которая в этот день, как мы все заметили, шла в таком изобилии, как никогда. Было ровно семь по моим часам, когда мы снялись с якоря и пустились в обратный путь, чтобы пересечь опасное течение Стрема в самое затишье, а оно, как мы хорошо знали, должно было наступить в восемь часов.

Мы вышли под свежим ветром, который нас подгонял с штирборта, и некоторое время быстро двигались вперед, не думая ни о какой опасности, потому что и в самом деле не видели никаких причин для опасений. Вдруг ни с того ни с сего навстречу нам подул ветер с Хельсеггена. Это было что-то совсем необычное, никогда такого не бывало, и мне, сам не знаю почему, стало как-то не по себе. Мы поставили паруса под ветер, но все равно не двигались с места из-за встречного течения, и я уж собирался было предложить братьям повернуть обратно и стать на якорь, но в эту минуту, оглянувшись, мы увидели, что над горизонтом нависла какая-то необыкновенная, совершенно медная туча, которая росла с невероятной быстротой. Между тем налетевший на нас спереди ветер утих, наступил мертвый штиль, и нас только мотало во все стороны течением. Но это продолжалось так недолго, что мы даже не успели подумать, что бы это значило. Не прошло и минуты, как на нас налетел шторм, еще минута — небо заволокло, море вспенилось, и внезапно наступил такой мрак, что мы перестали видеть друг друга. Бессмысленно и пытаться описать этот ураган. Ни один из самых старых норвежских моряков не видал ничего подобного. Мы успели убрать паруса, прежде чем на нас налетел шквал, но при первом же порыве ветра обе наши

мачты рухнули за борт, будто их спилили, и грот-мачта увлекла за собой моего младшего брата, который привязал себя к ней из предосторожности.

Наше судно отличалось необыкновенной легкостью, оно скользило по волнам, как перышко. Палуба у него была сплошного настила, с одним только небольшим люком в носовой части; этот люк мы обычно задраивали, перед тем как переправляться через Стрем, чтобы нас не захлестнуло «сечкой». И если бы не эта предосторожность, то мы сразу пошли бы ко дну, потому что на несколько секунд совершенно зарылись в воду.

Каким образом мой старший брат избежал гибели, я не могу сказать, мне не пришлось его об этом спросить. А я, как только у меня вырвало из рук фок, бросился ничком на палубу и, упершись ногами в планшир¹, уцепился что было сил за рымболт у основания фок-мачты. Конечно, я это сделал совершенно инстинктивно, — и это лучшее, что я мог сделать, потому что в ту минуту я не был способен думать.

На несколько секунд, как я уже вам говорил, нас совершенно затопило, и я лежал не дыша, цепляясь обеими руками за рым². Когда я почувствовал, что силы изменяют мне, я приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой. В это время наше суденышко встряхнулось, точь-в-точь как пес, выскочивший из воды, и каким-то образом нас вынесло наверх. Я был точно в каком-то столбняке, но изо всех сил старался овладеть собой и сообразить, что мне делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Оказалось, это мой старший брат, и я страшно обрадовался, потому что я ведь уже был уверен, что его смыло за борт. Но радость моя мгновенно сменилась ужасом, когда он, приблизив губы к моему уху, выкрикнул одно слово: «Москестрем!»

Нельзя передать, что почувствовал я в эту минуту. Я затрясся с головы до ног, точно в каком-то страшном лихорадочном ознобе. Я хорошо понял, что означало в

¹ П л а н ш и р — деревянный или стальной брус по обводу корпуса корабля для придания жесткости и прочности, а также для укрепления такелажа.

² Р ы м — металлическое кольцо, вбиваемое на судне для закрепления за него снастей.

его устах это одно-единственное слово. Ветер гнал нас вперед, прямо к водовороту Стрема, и ничто не могло нас спасти.

Вы понимаете, что обычно, пересекая течение Стрема, мы всегда старались держаться как можно выше, подальше от водоворота, даже в самую тихую погоду, и при этом зорко следили за началом затишья, а теперь нас несло в самый котел, да еще при таком урагане. «Но ведь мы, наверно, попадем туда в самое затишье,— подумал я.— Есть еще маленькая надежда». И тут же обругал себя: только сумасшедший мог на что-то надеяться.

К этому времени первый бешеный натиск шторма утих, или, может быть, мы не так ощущали его, потому что ветер дул нам в корму, но зато волны, которые сперва ложились низко, прибитые ветром, и только пенились, теперь вздыбились и превратились в целые горы... В небе также произошла какая-то странная перемена. Кругом со всех сторон оно было черное, как деготь, и вдруг прямо у нас над головой прорвалось круглое оконце, и в этом внезапном просвете чистой, ясной, глубокой синевы засияла полная луна таким ярким светом, какого я никогда в жизни не видывал. Она осветила все кругом, и все выступило с необыкновенной отчетливостью. О боже, какое зрелище осветила она своим сиянием!

Я несколько раз пытался заговорить с братом, но, непонятно почему, шум до такой степени усилился, что, как я ни старался, он не мог расслышать ни одного слова, несмотря на то, что я изо всех сил кричал ему прямо в ухо. Вдруг он покачал головой и, бледный как смерть, поднял палец, словно желая сказать: «Слушай!»

Сперва я не мог понять, на что он хочет обратить мое внимание, но тотчас же у меня мелькнула страшная мысль. Я вытащил из кармана часы, поднял их на свет и поглядел на циферблат. Они остановились в семь часов! Мы пропустили время затишья, и водоворот Стрема сейчас бушевал вовсю.

Если судно сбито прочно, хорошо оснащено и не слишком нагружено, при сильном шторме в открытом море волны всегда словно выскальзывают из-под него; людям, непривычным к морю, это кажется странным,

а у нас на морском языке это называется «оседлать волны».

Так вот, до сих пор мы очень благополучно «держались в седле», как вдруг огромная волна подхватила нас прямо под корму и, взметнувшись, потащила вверх, выше, выше, словно в самое небо. Я бы никогда не поверил, что волна может так высоко подняться. А потом, крутясь и скользя, мы стремглав полетели вниз, так что у меня захватило дух и потемнело в глазах, будто я падал во сне с высокой-высокой горы. Но, пока мы еще были наверху, я успел бросить взгляд по сторонам, и одного этого взгляда было достаточно. Я тотчас же понял, где мы находимся. Водоворот Москестрема лежал прямо перед нами, на расстоянии всего четверти мили, но он был так непохож на обычный Москестрем, как вот этот водоворот, который вы видите, на мельничный ручей. Если бы я еще раньше не догадался, где мы и к чему мы должны быть готовы, я бы не узнал этого места. И я невольно закрыл глаза от ужаса. Веки мои судорожно сомкнулись сами собой.

Прошло не больше двух-трех минут, как вдруг мы почувствовали, что волны отхлынули и нас обдаёт пеной. Судно круто повернуло на левый борт и стремительно рванулось вперед. В тот же миг оглушительный грохот волн совершенно потонул в каком-то пронзительном свисте,— представьте себе несколько тысяч пароходов, которые все сразу вместе гудят, выпуская пары. Мы очутились теперь в полосе пены, всегда окружающей водоворот, и я подумал, что нас, конечно, сейчас швырнет в бездну, которую мы только смутно различали, потому что кружили над ней с невероятной быстротой. Шхуна наша как будто совсем не погружалась в воду, а скользила, как пузырь, по поверхности зыби. Правый борт был обращен к водовороту, а слева громоздился необъятный, покинутый нами океан. Он высился подобно огромной стене, которая судорожно вздыбливалась между нами и горизонтом.

Это может показаться странным, но теперь, когда мы уже очутились в самой пасти водяной бездны, я был спокойнее, чем тогда, когда мы еще только приближались к ней. Сказав себе, что надеяться не на что, я почти избавился от того страха, который так парали-

зовал меня вначале. Должно быть, отчаяние взвинтило мои нервы.

Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду: мне представлялось, как это должно быть величественно — погибнуть такой смертью, и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу. Конечно, это странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии; я потом часто думал, что, может быть, это бесконечное кружение над бездной несколько помутило мой разум.

Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой: это отсутствие ветра, теперь не достигавшего нас. Как вы сами видели, полоса пены находится значительно ниже уровня океана — он громоздился над нами высокой, черной, необозримой стеной. Если вам никогда не случалось быть на море во время сильного шторма, вы не в состоянии даже представить себе, до какого исступления может довести ветер и хлестание волн. Они слепят, оглушают, не дают вздохнуть, лишают вас всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были почти избавлены от этих неприятностей, — так осужденный на смерть преступник пользуется в тюрьме некоторыми маленькими льготами, которых он был лишен, когда участь его еще не была решена.

Сколько раз совершили мы круг по краю водоворота, сказать невозможно. Нас кружило, может быть, около часа; мы не плыли, а словно летели, подвигаясь все больше к середине пояса, потом все ближе и ближе к его зловещему внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок,

принайтованный к корме; это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом. Но вот, когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись к рыму, вне себя от ужаса, пытался оторвать от него мои руки, так как вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывал я такого огорчения, как от этого его поступка, хотя я и понимал, что у него, должно быть, отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня и в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет, будем мы за что-нибудь держаться или нет. Я уступил ему кольцо и перебрался на корму к бочонку. Сделать это не представляло большого труда, потому что шхуна наша в своем вращении держалась довольно устойчиво, не кренилась на борт и только покачивалась взад и вперед от гигантских рывков и содроганий водоворота. Едва я успел примоститься на новом месте, как вдруг мы резко опрокинулись на правый борт и стремглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что все кончено.

Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза. В течение нескольких секунд я не решался их открыть; я ждал, что вот-вот мы погибнем, и не понимал, почему я еще не вступил в смертельную схватку с потоком. Но секунды проходили одна за другой — я был жив. Я перестал чувствовать, что мы летим вниз; шхуна, казалось, двигалась совершенно так же, как и раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она как будто глубже сидела в воде. Я собрался с духом, открыл глаза и бросил взгляд сначала в одну, потом в другую сторону.

Никогда не забуду я ощущения благоговейного трепета, ужаса и восторга, охвативших меня. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины; ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее, призрачное сияние лунных лу-

чей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти.

Сначала я был так ошеломлен, что не мог ничего разглядеть. Грозное, всеобъемлющее величие — вот все, что открылось моему зрению. Когда я немножко пришел в себя, взгляд мой невольно устремился вниз. В этом направлении для глаза не было никаких преград, ибо шхуна висела на наклонной поверхности воронки. Она держалась совершенно ровно, иначе говоря — палуба ее представляла собой плоскость, параллельную плоскости воды, но эта последняя круто опускалась, образуя угол больше сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я не мог не заметить, что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие; должно быть, это объяснялось скоростью нашего вращения.

Лунные лучи, казалось, ощупывали самое дно пучины; но я по-прежнему не мог ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная тому узкому, колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из Времени в Вечность. Этот туман, или водяная пыль, возникал, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они все сразу сшибались на дне; но вопль, который поднимался из этого тумана и летел к небесам, я не берусь описать.

Когда мы оторвались от верхнего пояса пены и очутились в бездне, нас сразу увлекло на очень большую глубину; но после этого мы спускались отнюдь не равномерно. Мы носились кругом и кругом не ровным, плавным движением, а стремительными рывками и толчками, которые то швыряли нас всего на какую-нибудь сотню футов, то заставляли лететь так, что мы сразу описывали чуть не полный круг. И с каждым оборотом мы опускались ниже, медленно, но очень заметно.

Озираясь кругом и вглядываясь в огромную черную пропасть, по стенам которой мы кружились, я заметил, что наше судно было не единственной добычей, захваченной пастью водоворота.

Над нами и ниже нас. виднелись обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов — разная домашняя утварь, разломанные ящики, доски, бочонки. Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, вытеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто все сильнее разгоралось во мне, по мере того как я все ближе и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным интересом разглядывал теперь все эти предметы, кружившиеся вместе с нами. Быть может, я был в бреду, потому что мне даже доставляло удовольствие загадывать, какой из этих предметов скорее умчится в клокочущую пучину. Вот эта сосна, говорил я себе, сейчас непременно сделает роковой прыжок, нырнет и исчезнет, — и я был очень разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил ее и нырнул первым. Наконец, после того как я несколько раз загадывал и всякий раз ошибался, самый этот факт — неизменной ошибочности моих догадок — толкнул меня на мысль, от которой я снова весь задрожал с головы до ног, а сердце мое снова неистово заколотилось.

Но причиной этому был не страх, а смутное предчувствие *надежды*. Надежда эта была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припомнил весь тот разнообразный хлам, которым усеян берег Лофодена, все, что когда-то было поглощено Москестремом и потом выброшено им обратно. Большей частью это были совершенно изуродованные обломки, истерзанные и искромсанные до такой степени, что щепы на них стояла торчком, но среди этого хлама иногда попадались предметы, которые совсем не были изуродованы. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме того, что из всех этих предметов только те, что превратились в обломки, были увлечены на дно, другие же — потому ли, что они много позже попали в водоворот, или по какой-то иной причине — опускались очень медленно и не успевали достичь дна, так как наступал прилив или отлив. Я готов был допустить, что и в том и в другом случае они могли быть вынесены на поверхность океана, не подвергшись участи тех предметов, которые

были втянуты раньше или почему-то затонули скорее. При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое: как общее правило — чем больше были предметы, тем скорее они опускались; второе: если из двух тел одинакового объема одно было сферическим, а другое какой-нибудь иной формы, сферическое опускалось быстрее; третье: если из двух тел одинаковой величины одно было цилиндрическим, а другое любой иной формы — цилиндрическое погружалось медленнее. После того как я спасся, я несколько раз беседовал на эту тему с нашим старым школьным учителем. От него я и научился употреблению этих слов — «цилиндр» и «сфера». Он объяснил мне, хоть я и забыл это объяснение, каким образом то, что мне пришлось наблюдать, являлось, в сущности, естественным следствием той формы, какую имели плывущие предметы, и почему так получалось, что цилиндр, попавший в водоворот, оказывал большее сопротивление его всасывающей силе и втягивался труднее, чем какое-нибудь другое, равное ему по объему тело, обладающее любой иной формой¹.

Еще одно удивительное обстоятельство в большей мере подкрепляло мои наблюдения, оно-то главным образом и побудило меня воспользоваться ими для своего спасения: каждый раз, описывая круг, мы обгоняли то бочонок, то рею или обломок мачты, и многие из этих предметов, которые были на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел эти чудеса водоворота, теперь кружили высоко над нами и как будто почти не сдвинулись со своего первоначального уровня.

Я больше не колебался. Я решил привязать себя как можно крепче к бочонку для воды, за который я держался, отрезать найтов, прикреплявший его к корме, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата, я показывал ему на проплывавшие мимо нас бочки и всеми силами старался объяснить ему, что именно я собираюсь сделать. Мне кажется, он в конце концов понял мое намерение, но — так это было или нет — он только безнадежно покачал головой и не захотел двинуться с места. Заставить его было невозмож-

¹ См.: Архимед. О плавающих телах. Кн. 2. (Прим. авт.)

но; каждая секунда промедления грозила гибелью. Итак, я скрепя сердце предоставил брата его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой бочонок был принайтован к корме, и не задумываясь бросился в пучину.

Результат оказался в точности таким, как я и надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю и вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось спастись, а следовательно, можете уже сейчас предугадать все, чего я еще недосказал, я постараюсь в немногих словах закончить мой рассказ. Прошел, быть может, час или немногим больше, после того как я покинул шхуну, которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась три-четыре раза и, унося с собой моего дорогого брата, нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, прошел чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул, когда в самых недрах водоворота произошла решительная перемена. Покатые стены гигантской воронки стали внезапно и стремительно терять свою крутизну, их бурное вращение постепенно замедлялось. Туман и радуга мало-помалу исчезли, и дно пучины как будто начало медленно подниматься. Небо было ясное, ветер затих, и полная луна, сияя, катилась к западу, когда я очутился на поверхности океана против берегов Лофодена, над тем самым местом, где только что зияла пропасть Москестрема. Это было время затишья, но море после урагана все еще дыбилось громадными волнами. Течение Стрема подхватило меня и через несколько минут вынесло к рыбацким промыслам. Я был еле жив и теперь, когда опасность миновала, не в силах был вымолвить ни слова и не мог опомниться от пережитого мной ужаса. Меня подобрала мои старые приятели и товарищи, но они не узнали меня, как нельзя узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо у меня стало совсем другое. Я потом рассказал им всю эту историю, но они не поверили мне. Теперь я рассказал ее вам, но я сильно сомневаюсь, что вы поверите этому больше, чем беспечные лофоденские рыбаки.

ОСТРОВ ФЕИ

Nullus enim locus sine genio est.

*Servius*¹

«La musique, — пишет Мармонтель в тех «Contes Moraux»², которым во всех наших переводах упорно дают заглавие «Нравственные повести», как бы в насмешку над их истинным содержанием, — la musique est le seul des talents qui jouissent de lui-même; tous les autres veulent des témoins»³. Здесь он смешивает наслаждение, получаемое от нежных звуков, со способностью их творить. Талант музыкальный, не более всякого другого, в силах доставлять наслаждение в отсутствие второго лица, способного оценить упражнения в нем. И то, что он создает *эффекты*, коими вполне можно наслаждаться в одиночестве, лишь роднит его с другими талантами. Идея, которую писатель не то не сумел ясно выразить, не то принес в жертву присущей его нации любви к острой фразе, — несомненно, вполне разумная идея о том, что музыку самого высокого рода наилучшим образом можно оценить, когда мы совсем одни. С положением, выраженным таким образом, немедленно согласится всякий, кто любит музыку и ради ее самой, и ради ее духовного воздействия. Но есть одно наслаждение, еще доступное падшему роду человеческому, — и, быть может, единственное — которое даже в большей мере, нежели музыка, возрастает, будучи сопутствуемо чувством одиночества. Разумею сча-

¹ Ибо нет места без своего духа-покровителя. *Сервий (лат.)*.

² *Мораux* — здесь производное от *moeurs* и означает «о нравах».

³ Музыкальность — единственный талант, который довольствуется сам собою; все остальные требуют второго лица (*фр.*).

стве, испытываемое от созерцания природы. Воистину человек, желающий узреть славу Божию на земле, должен узреть ее в одиночестве. По крайней мере, для меня жизнь — не только человеческая, но в любом виде, кроме жизни безгласных зеленых существ, произрастающих из земли, — портит пейзаж и враждует с духом — покровителем местности. Говоря по правде, я люблю рассматривать темные долины, серые скалы, тихо улыбающиеся воды, леса, что вздыхают в непокойной дремоте, и горделивые, зоркие горы, на все взирающие свысока, — я люблю рассматривать их как части одного огромного целого, наделенного ощущениями и душою, — целого, чья форма (сферическая) наиболее совершенна и всеобъемлюща; чья тропа пролегает в семье планет; чья робкая прислужница — луна; чей покорный богу властелин — солнце; чья жизнь — вечность; чья мысль — о некоем божестве; чье наслаждение — в познании; чьи судьбы теряются в бесконечности; чье представление о нас подобно нашему представлению об *animalculae*¹, кишачих у нас в мозгу, — вследствие чего существо это представляется нам сугубо материальным и неодушевленным, подобно тому как, наверное, мы представляемся этим *animalculae*.

Наши телескопы и математические исследования постоянно убеждают нас — невзирая на нужные рацеи наиболее невежественной части духовенства, — что пространство и, следственно, объем имеют важное значение для Всевышнего. Звезды движутся по циклам, наиболее годным для вращения наибольшего количества тел без их столкновения. Тела эти имеют в точности такую форму, дабы вместить наивозможно большее количество материи в пределах данной поверхности; а сама поверхность расположена таким образом, дабы разместить на ней большее количество насельников, нежели на той же самой поверхности, расположенной иначе. И бесконечность пространства — не довод против мысли о том, что бога заботит объем, ибо для его заполнения может существовать бесконечное количество материи. И так как мы ясно видим, что наделение материи жизненной силою является принципом, и, насколько мы можем судить, *ведущим* принципом в деяниях

¹ микроскопических существах (лат.).

божества, то вряд ли будет логичным предполагать, будто принцип этот ограничивается пределами малого, где мы каждый день усматриваем его проявление, и не распространяется на великое.

Если мы обнаруживаем циклы, до бесконечности вмещающие другие циклы, но все имеющие некий единый отдаленный центр коловращения — божество, то не можем ли мы по аналогии представить себе существование жизней в жизнях, меньших в больших, и все в пределах божественного духа? Коротко говоря, мы в своей самонадеянности заблуждаемся до безумия, когда предполагаем, будто человек в своей временной или грядущей жизни значит во вселенной больше, нежели те «глыбы долины», которые он возделывает и презирает, отказываясь видеть в них душу, лишь на том основании, что он действий этой души не замечал¹.

Эти и им подобные мысли всегда придавали моим раздумьям, когда я находился в горах или в лесах, на речном или на морском берегу, оттенок того, что будничным мир не преминул бы назвать фантастическим. Мои скитания по таким местностям были многочисленны, исполнены любознательности и часто велись в одиночестве; и любопытство, с каким я блуждал по многим тенистым, глубоким долинам или созерцал небеса, отраженные во многих ясных озерах, было любопытство, во много раз усугубленное мыслью о том, что я блуждаю и созерцаю один. Какой это насмешливый француз² сказал относительно известного произведения Циммермана, что «la solitude est une belle chose; mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose»³? Остроумие этой фразы нельзя отрицать; но подобной необходимости и нет.

Во время одного из моих одиноких странствий по далекому краю гор, краю печально вьющихся рек и уныло дремлющих озер мне довелось набрести на некий ручей и остров. Порою июньского шелеста листвы

¹ Говоря о приливах, Помпоний Мела в своем трактате «De situ orbis» утверждает, что «или мир — огромное животное, или...» и т. д. (Прим. авт.)

² Бальзак; передаю общий смысл — точных слов не помню. (Прим. авт.)

³ Одиночество — прекрасная вещь; но ведь необходимо, чтобы кто-то вам сказал, что одиночество — прекрасная вещь (фр.).

я неожиданно наткнулся на них и распростерся на дерне под сенью ветвей благоухающего куста неизвестной мне породы, дабы предаться созерцанию и дремоте. Я почувствовал, что видеть окружающее дано было мне одному — настолько оно походило на призрачное видение.

По всем сторонам — кроме западной, где начинало садиться солнце, — поднимались зеленые стены леса. Речка, которая в этом месте делала крутой поворот, казалось, не могла найти выхода и поглощалась на востоке густой зеленой листвой, а с противоположной стороны (так представлялось мне, пока я лежал растянувшись и смотрел вверх) беззвучно и непрерывно низвергался в долину густой пурпурно-золотой каскад небесных закатных потоков.

Примерно посередине небольшого пространства, которое охватывал мой мечтательный взор, на водном лоне дремал круглый островок, покрытый густою зеленью.

Так тень и берег слиты были,
Что словно в воздухе парили,—

чистая вода была так зеркальна, что едва было возможно сказать, где именно на склоне, покрытом изумрудным дерном, начинаются ее хрустальные владения.

С того места, где я лежал, я мог охватить взглядом и восточную и западную оконечности острова разом и заметил удивительно резкую разницу в их виде. К западу помещался сплошной лучезарный гарем садовых красавиц. Он сиял и рдел под бросаемыми искоса взглядами солнца и прямо-таки смеялся цветами. Короткая, упругая, ароматная трава пестрела асфоделиями. Было что-то от Востока в очертаниях и листве деревьев — гибких, веселых, прямых, ярких, стройных и грациозных, с корою гладкой, глянцевитой и пестрой. Все как бы пронизывало ощущение полноты жизни и радости; и хотя с небес не слетало ни дуновения, но все колыхалось — всюду порхали бабочки, подобные крылатым тюльпанам¹.

¹ Florem putares nare per liquidum aethere. — P. Commire. (Ты полагаешь, что цветок рождается из текучего эфира. Отец Коммир; лат.).

Другую, восточную часть острова окутывала чернейшая тень. Там царил суровый, но прекрасный и покойный сумрак. Все деревья были темного цвета; они печально клонились, свиваясь в мрачные, торжественные и призрачные очертания, наводящие на мысли о смертельной скорби и безвременной кончине. Трава была темна, словно хвоя кипариса, и никла в бессилии; там и сям среди нее виднелись маленькие неказистые бугорки, низкие, узкие и не очень длинные, похожие на могилы, хотя и не могилы, и поросшие рутой и розмарином. Тень от деревьев тяжело ложилась на воду, как бы погружаясь на дно и пропитывая мраком ее глубины. Мне почудилось, будто каждая тень, по мере того как солнце опускалось ниже и ниже, неохотно отделялась от породившего ее ствола и поглощалась потоком; и от деревьев мгновенно отходили другие тени вместо своих погребенных предтеч.

Эта идея, однажды поразив мою фантазию, возбудила ее, и я погрузился в грезы. «Если и был когда-либо очарованный остров, — сказал я себе, — то это он. Это приют немногих нежных фей, переживших гибель своего племени. Их ли это зеленые могилы? Расстаются ли они со своею милою жизнью, как люди? Или, умирая, они скорее грустно истаивают, мало-помалу отдавая жизнь богу, как эти деревья отделяют от себя тень за тенью, теряя свою субстанцию? И не может ли жизнь фей относиться к поглощающей смерти, как дерево — к воде, которая впитывает его тень, все чернея и чернея?»

Пока я, полузакрыв глаза, размышлял подобным образом, солнце стремительно клонилось на отдых, и скорые струи кружились вокруг острова, качая большие, ослепительно белые куски платановой коры, которые так проворно скользили по воде, что быстрое воображение могло превратить их во что угодно, — пока я размышлял подобным образом, мне представилось, что фигура одной из тех самых фей, о которых я грезил, медленно перешла во тьму из освещенной части острова. Она выпрямилась в удивительно хрупком челне, держа до призрачности легкое весло. В медливших погаснуть лучах облик ее казался радостным — но скорбь исказила его, как только она попала в тень.

Плавню скользила она и, наконец, обогнув остров, вновь очутилась в лучах. «Круг, только что описанный феей, — мечтательно подумал я, — равен краткому году ее жизни. То были для нее зима и лето. Она приблизилась к кончине на год; ибо я не мог не заметить, что в темной части острова тень ее отпала от нее и была поглощена темною водою, от чего чернота воды стала еще чернее».

И вновь показался челн и фея на нем, но в облике ее сквозили забота и сомнение, а легкая радость уменьшилась. И вновь она всплыла из света во тьму (которая мгновенно сгустилась), и вновь ее тень, отделяясь, погрузилась в эбеновую влагу и поглотилась ее чернотою. И вновь и вновь проплывала она вокруг острова (пока солнце поспешно отходило ко сну), и каждый раз, выходя из темноты, она становилась печальнее, делалась более слабой, неясной и зыбкой, и каждый раз, когда она переходила во тьму, от нее отделялась все более темная тень, растворяясь во влаге, все более черной. И наконец, когда солнце совсем ушло, фея, лишь бледный призрак той, какою была до того, печально всплыла в эбеновый поток, а вышла ли оттуда — не могу сказать, ибо мрак объял все кругом, и я более не видел ее волшебный облик.

ЭЛЕОНОРА

Sub conser vatione formae specificae
salva anima.

*Raymond Lully*¹

Я родом из тех, кто отмечен силой фантазии и пыланием страсти. Меня называли безумным, но вопрос еще далеко не решен, не есть ли безумие высший разум и не проистекает ли многое из того, что славно, и все, что глубоко, из болезненного состояния мысли, из особых настроений ума, вознесшегося ценой утраты разумности. Тем, кто видит сны наяву, открыто многое, что ускользает от тех, кто грезит лишь ночью во сне. В туманных видениях мелькают им проблески вечности, и, пробудясь, они трепещут, помня, что были на грани великой тайны. Мгновениями им открывается нечто от мудрости, которая есть добро, и несколько больше от простого звания, которое есть зло, и все же без руля и ветрил проникают они в безбрежный океан «света неизреченного» и вновь, словно мореплаватели нубийского географа, «*agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi*»².

Что ж, пусть я безумен. Я готов, впрочем, признать, что есть два различных состояния для моего духа: состояние неоспоримого ясного разума, принадлежащего к памяти о событиях, образующих первую пору моей жизни, и состояние сомнения и тени, относящихся к настоящему и воспоминаниям о том, что составляет вторую великую эру моего бытия. Тому, что расскажу о ранних моих днях, верьте; а к тому, что поведаю я о времени более позднем, отнеситесь с той долей дове-

¹ При сохранении особой формы душа остается неприкосновенной. *Раймунд Луллий (лат.)*.

² вступают в море тьмы, чтобы исследовать, что в нем *(лат.)*.

рия, какую оно заслуживает, или вовсе в нем усомнитесь, или, если и сомневаться вы не можете, разгадайте, подобно Эдипу, эту загадку.

Та, кого любил я в юности и о которой теперь спокойно и ясно пишу я эти воспоминания, была единственным ребенком единственной сестры моей матери, давно усопшей. Элеонора — это имя носила моя кузина. Всю жизнь мы прожили вместе под тропическим солнцем, в Долине Многоцветных Трав. Путник никогда не забредал ненароком в эту долину, ибо лежала она далеко-далеко, за цепью гигантских гор, тяжело нависших над нею со всех сторон, изгоняя солнечный свет из прекрасных ее уголков. К нам не вела ни одна тропа, и, чтобы попасть в наш счастливый край, нужно было пробраться сквозь заросли многих тысяч лесных деревьев, растоптав каблуком прелесть многих миллионов душистых цветов. Вот почему жили мы совсем одни, не зная ничего о внешнем мире, — я, моя кузина и мать ее.

Из угрюмых краев, что лежали за далекими вершинами гор, замкнувших наш мир, пробивалась к нам узкая глубокая река, блеск которой превосходил все — все, кроме глаз Элеоноры; неслышно вилась она по долине и наконец исчезала в тенистом ущелье, среди гор, еще угрюмее тех, из которых она вытекала. Мы называли ее Рекой Молчания, ибо была в ее водах какая-то сила беззвучия. На ее берегах не раздавалось ни шороха, и так тихо скользила она, что жемчужная галька на глубоком ее дне, которой мы любовались, не двигалась, а лежала в недвижимом покое на месте, блистая неизменным своим сиянием.

Берега этой реки и множества ослепительных ручейков, бегущих, извиваясь, к ее волнам, и все пространство, что шло от склонов вниз, в самую глубь ее потоков, до ложа из гальки на дне, — все это и поверхность долины, от реки и до самых гор, вставших кругом, были, словно ковром, покрыты мягкой зеленой травой, густой, короткой, удивительно ровной, издававшей запах ванили, по которой рассыпаны были желтые лютики, белые маргаритки, лиловые фиалки и рубиново-красные асфодели, и безмерная их красота громко вещала нашим сердцам о любви и о славе господней.

Тут и там над этой травой, словно порождения причудливых снов, вздымались стройные стволы невиданные деревья; они не стояли прямо, как свечи, но, выгибаясь изящно, тянулись к солнечному свету, который в час полудня заглядывал в сердце долины. Кора их была испещрена изменчивым и ярким сиянием черни и серебра, и была она нежной — нежнее всего, кроме щек Элеоноры; и если б не яркая зелень огромных листов, что спадали с вершин длинным, трепещущим рядом, играя с легким ветерком, деревья эти можно было б принять за гигантских сирийских змеев, воздающих хвалу своему властелину — Солнцу.

Пятнадцать лет рука об руку бродил я с Элеонорой по этой долине, пока любовь не вошла в наши сердца. Это случилось однажды вечером, на исходе третьего пятилетия ее жизни и четвертого пятилетия — моей; мы сидели, сомкнув объятия, под змееподобными стволами и смотрели в Реку Молчания, на свои отражения в ней. Мы не произнесли ни слова за весь этот дивный день и даже на завтра сказали друг другу лишь несколько робких слов. Из волн мы вызвали бога Эроса и знали теперь, что он зажег в нас пламенный дух наших предков. Страсти, которыми веками славился наш род, слились в своем биении с мечтами, которые равно нас отличали, и пронеслись горячкой блаженства над Долиной Многоцветных Трав. Все в ней переменилось. Странные, яркие цветы раскрылись, словно звезды, на деревьях, которые раньше не знали цветения. Зелень изумрудных ковров стала глубже; а когда, одна за другой, белые маргаритки увяли, вместо них засверкали десятки рубиново-красных асфоделей. И жизнь засияла повсюду, куда мы ступали, ибо стройный фламинго, никогда не виданный ранее, вместе с другими веселыми светлыми птицами развернул перед нами алые крылья. В реке заиграли золотые и серебряные рыбы, а в глубине родился ропот, который, все ширясь, зазвучал наконец колыбельной, слаще эоловой арфы, краше всего на свете, кроме голоса Элеоноры. И огромное облако, которое давно замечали мы возле Геспера¹, выплыло, сверкая золотом и багрянцем, и, мирно встав над нами, день за днем опускалось все ниже, пока на-

¹ Г е с п е р — то есть запад. Геспер — вечерняя звезда.

конец не коснулось краями верхушек гор, превратив их угрюмость в сияние и заключив нас, как бы навеки, в волшебной темнице величия и славы.

Элеонора красой подобна была серафиму, бесхитростна и невинна, как та недолгая жизнь, что провела она среди цветов. Она не скрывала лукаво пламя любви, что охватило ее сердце, и вместе со мной заглянула в его тайники, когда мы бродили вдвоем по долине, беседуя о переменах, недавно свершившихся здесь.

И, наконец, заговорив однажды в слезах о последней печальной перемене, что выпадает всем людям, она стала с тех пор грустна, не расставалась с этой мыслью, то и дело возвращаясь к ней, подобно тому как в песнях певца Шираза во всех величавых вариациях снова и снова возникают все те же образы.

Она видела, что Смерть коснулась своим перстом ее груди, — подобно мотыльку, она создана была бесконечно прелестной лишь для того, чтоб погибнуть; но ужас могилы был для нее лишь в одном; она поведала мне об этом однажды в сумерках на берегу Реки Молчания. Ей горестно было думать, что, похоронив ее в Долине Многоцветных Трав, я навсегда покину этот счастливый край, отдав свою любовь, так страстно ей теперь посвященную, деве из мира будничного и чужого. И тогда, ни минуты не медля, я бросился к ногам Элеоноры и поклялся ей и небесам, что никогда не соединюсь браком с дочерью Земли, что ни в чем не изменю ее благословенной памяти и памяти о том неземном чувстве, которым она меня подарила. И я призвал Великого Владыку Мира в свидетели того, что обет этот свят и нерушим. И кара, ниспослать которую я молил Его и ее, святую, чье жилище будет в Элизии, если нарушу я свой обет, кара эта была столь чудовищно страшной, что я не решился говорить о ней здесь. И ясные глаза Элеоноры прояснились при этих словах, она вздохнула, словно смертельная тяжесть спала у нее с груди, и, трепеща, заплакала горько; но приняла мой обет (ибо была всего лишь ребенком), и он принес ей облегчение на ложе смерти. Несколько дней спустя, умирая спокойно и мирно, она мне сказала: за то, что сделал я для спокойствия ее духа, дух ее после кончины будет меня охранять, и если будет ей то дозволено, то по ночам будет она являться мне зримо; но если не

дано это душам рая, то будет часто посылать мне весть о своем присутствии — вечерний ветерок обвеет ее вздохом мне щеку или напоит воздух, которым я дышу, благоуханием небесных кадила. И с этими словами она рассталась со своей безгрешной жизнью, кладя предел первой поре моего бытия.

Истинно излагал я все до сего мгновения. Но, пересекая преграду на путях Времени, преграду, воздвигнутую смертью любимой, и вступая во вторую пору моего существования, чувствую, как тени окутывают мой мозг, и не доверяю своему разуму и памяти. Но продолжаю. Годы тяжко влачили свой груз, а я не покидал Долины Многоцветных Трав; и снова все в ней переменилось. Звездopodobные цветы исчезли и более не появлялись на деревьях. Зеленые ковры поблекли, и одна за другой увяли рубиново-красные асфодели, а на их месте раскрыли свои глаза десятки черных фиалок, беспокойно трепещущих и вечно отягощенных влагой. И Жизнь покинула те края, где мы когда-то ступали, ибо стройный фламинго сложил свои алые крылья и с другими веселыми светлыми птицами, что появились когда-то с ним вместе, с грустью покинул долину. Золотые и серебряные рыбы уплыли по ущелью, в самый дальний конец края, и не украшали больше нашей реки. И колыбельная, что звучала слаще эоловой арфы, волшебней всего — кроме голоса Элеоноры, — начала затихать и понемногу вовсе замолкла; ропот волн становился все глуше, пока наконец река не погрузилась снова в торжественное свое молчание; и огромное облако поднялось и, возвращая вершинам гор прежнюю их угрюмость, пало назад, в край Геспера, унеся из Долины Многоцветных Трав всю многокрасочную и золотую прелесть сияния.

Но обет, данный Элеонорой, не был забыт — я слышал звон небесных кадила, волны нездешнего благоухания плыли по долине, и в часы одиночества, когда сердце тяжело стучало в груди, ветерок, обвевавший мое чело, доносил до меня тихий вздох. Часто воздух ночи исполнен был невнятного шепота, и раз — о, только раз! — я пробудился от глубокого, словно смертельного, сна, ощутив на своих губах прикосновение призрачных уст.

Но пустота в моем сердце все не заполнялась. Я тосковал по любви, которая прежде заполняла его до краев. Настало время, когда долина стала меня тяготить памятью об Элеоноре, и я покинул наш край навсегда ради бурных волнений и суетных радостей мира.

Я очутился в незнакомом городе, где все, казалось, служило тому, чтобы изгнать из памяти сладкие сны, которым предавался я так давно в Долине Многоцветных Трав. Великолепие и пышность блестящего двора, и упоительный звон оружия, и сияние женских очей, смутив, опьянило мой ум. Но душа моя все еще оставалась верна своему обету, и по ночам мне все еще было дано знать о присутствии Элеоноры. Внезапно все прекратилось; и мир потемнел у меня пред глазами; и я пришел в ужас от неотступных мучительных мыслей и страшных соблазнов, ибо из далекой-далекой, чужой, неизвестной земли прибыла к веселому двору короля, которому я служил, дева, чьей красотой пленилось мое неверное сердце, — к ее ногам склонил я без колебаний колена в пылком самозабвении любви. Разве могла моя страсть к девочке из долины сравниться с тем лихорадочным жаром, с тем возвышающим дух восторгом и преклонением, с которым излил я в слезах свое сердце божественной Эрменгарде? О, светел был ангельский лик Эрменгарды! — и, зная об этом, я не помышлял ни о ком другом. О божественный свет Эрменгарды! — и, глядя в самую глубь ее все помнящих очей, я думал только о них — и о ней.

Я обвенчался и не трепетал той кары, которую призывал на себя, и горечь ее меня миновала. И раз — но только раз! — в ночной тиши сквозь решетку окна слышались давно замолкшие тихие вздохи, и милый, такой знакомый голос сказал:

— Спи с миром! Ибо над всем царит Дух Любви, и, отдав свое сердце той, кого зовешь Эрменгардой, ты получишь отпущение — почему, узнаешь на небесах — от клятвы, данной Элеоноре.

ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ

«У, бессердечный, бесчеловечный, жестоковыйный, тупоголовый, замшелый, заматерелый, закоснелый, старый дикарище!» — воскликнул я однажды (мысленно), обращаясь к моему дядюшке (собственно, он был мне двоюродным дедом) Скупердэю, и (мысленно же) погрозил ему кулаком.

Увы, только мысленно, ибо в то время существовало некоторое несоответствие между тем, что я говорил, и тем, чего не отваживался сказать, — между тем, как я поступал, и тем, как, право же, готов был поступить.

Когда я распахнул дверь в гостиную, старый морж сидел, задрав ноги на каминную полку и держа в руке стакан с портвейном, и, насколько ему это было по силам, пытался петь известную песенку:

Remplis ton verre vide!
Vide ton verre plein!¹

— Любезный дядюшка, — обратился я к нему, осторожно прикрыв дверь и изобразив на лице своем простодушнейшую из улыбок, — вы всегда столь добры и снисходительны и так много раз выказывали всячески свое благорасположение, что... что я не сомневаюсь, стоит мне только заговорить с вами опять об этом небольшом деле, и я получу ваше полное согласие.

¹ Наполни опять свой пустой стакан!
Осуши свой полный стакан! (*фр.*)

— Гм, — ответствовал дядюшка. — Умник. Продолжай.

— Я убежден, любезнейший дядюшка (у-у, чтоб тебе провалиться, старый злыдень!), что вы, в сущности, вовсе и не хотите воспрепятствовать моему союзу с Кейт. Это просто шутка, я знаю, ха-ха-ха! Какой же вы, однако, дядюшка, шутник!

— Ха-ха, — сказал он. — Черта с два. Ну, так что же?

— Вот видите! Конечно же! Я так и знал. Вы шутили. Так вот, милый дядюшка, мы с Кейт только просим вашего совета касательно того... касательно срока...ну, вы понимаете, дядюшка...срока, когда вам было бы удобнее всего... ну, покончить это дело со свадьбой?

— Покончить, ты говоришь, негодник? Что это значит? Чтобы покончить, надо прежде начать.

— Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо. Ну, не остроумно ли? Прелесть, ей-богу! Чудо! Но нам всего только нужно сейчас, чтобы вы точно назначили срок.

— Ах, точно?

— Да, дядюшка. Если, понятно, вам это нетрудно.

— А если, Бобби, я эдак приблизительно прикину, скажем, в нынешнем году или чуть позже, это тебе не подходит?

— Нет, дядюшка, скажите точно, если вам нетрудно.

— Ну, ладно, Бобби, мой мальчик, — ты ведь славный мальчик, верно? — коли уж тебе так хочется, чтобы я назначил срок точно, я тебя на этот раз, так и быть, уважу.

— О, дядюшка!

— Молчите, сэр (заглушая мой голос). На этот раз я тебя уважу. Ты получишь мое согласие — а заодно и *приданое*, не будем забывать о приданом, — постой-ка, сейчас я тебе скажу когда. Сегодня у нас воскресенье? Ну так вот, ты сможешь сыграть свадьбу точно — точно-хонько, сэр! — тогда, *когда три воскресенья подряд придутся на одну неделю!* Ты меня слышал? Ну, что уставился, разиня? Говорю тебе, ты получишь Кейт и ее деньги, когда на одну неделю придутся три воскресенья. И не раньше, понял, шалопай? Ни днем раньше, хоть умри. Ты меня знаешь: я человек слова! А теперь ступай

прочь. — И он одним глотком осушил свой стакан портвейна, а я в отчаянье выбежал из комнаты.

Как поется в балладе, «английский славный джентльмен» был мой двоюродный дед мистер Скупердэй, но со своими слабостями — в отличие от героя баллады. Он был маленький, толстенный, кругленький, гневливый человек с красным носом, непрошибаемым черепом, туго набитым кошельком и преувеличенным чувством собственной значительности. Обладая, в сущности, самым добрым сердцем, он среди тех, кто знал его лишь поверхностно, из-за своей неискоренимой страсти дразнить и мучить ближних почитался жестоким и грубым. Подобно многим превосходным людям, он был одержим бесом противоречия, что по первому взгляду легко сходило за прямую злобу. На любую просьбу «нет!» бывало его неизменным ответом, и, однако же, почти не бывало таких просьб, которые бы он рано или поздно — порой очень поздно — не исполнил. Все посягательства на свой кошелек он встречал в штыки, но сумма, исторгнутая у него в конечном итоге, находилась, как правило, в прямо пропорциональном отношении к продолжительности предпринятой осады и к упорству самозащиты. И на благотворительность он жертвовал всех больше, хотя и ворчал и кряхтел при этом всех громче.

К искусствам, особенно к изящной словесности, питал он глубочайшее презрение, которому научился у Казимира Перье, чьи язвительные слова: «*A quoi un poète est-il bon?*»¹ — имел обыкновение цитировать с весьма забавным прононсом, как *нес plus ultra*² логического остроумия. Потому и мою склонность к музам он воспринимал крайне неодобрительно. Как-то в ответ на мою просьбу о приобретении нового томика Горация он вздумал даже уверять меня, будто изречение: «*Poeta nascitur non fit*»³ — надо переводить как: «Поэт у нас-то дурью набит», чем вызвал глубокое мое негодование. Его нерасположение к гуманитарным занятиям особенно возросло в последнее время в связи со вдруг вспыхнувшей у него страстью к тому, что он име-

¹ Что проку от поэта? (*фр.*).

² предел (*лат.*).

³ Поэтом рождаются, а не становятся (*лат.*).

новал «естественной наукой». Кто-то однажды на улице обратился к нему, по ошибке приняв его за самого доктора О'Болтуса, знаменитого шарлатана «виталиста». Отсюда все и пошло, и ко времени действия моего рассказа — а это все-таки будет рассказ — подъехать к моему двоюродному деду Скупердэю возможно было только на его собственном коньке. В остальном же он только хохотал да отмахивался руками и ногами. И вся его несложная политика сводилась к положению, высказанному Хорслеем, что «человеку нечего делать с законами, как только подчиняться им».

Я прожил со стариком всю жизнь. Родители мои, умирая, завещали ему меня, словно богатое наследство. По-моему, старый разбойник любил меня, как родного сына, — почти так же сильно, как он любил Кейт, — и все-таки это была собачья жизнь. С года и до пяти включительно он потчевал меня регулярными трепками. С пяти до пятнадцати, не скупясь, ежечасно грозил исправительным домом. С пятнадцати до двадцати каждый божий день сулился оставить меня без гроша в кармане. Я, конечно, был не ангел, это приходится признать, но такова уж моя натура и таковы, если угодно, мои убеждения. Кейт была мне надежным другом, и я это знал. Она была добрая девушка и прямо объявила мне со свойственной ей добротой, что я получу ее вместе со всем ее состоянием, как только уломаю дядюшку Скупердэя. Ведь бедняжке едва исполнилось пятнадцать лет, и без его согласия, сколько там ни было у нее денег, все оставалось недоступным еще в течение пяти бесконечных лет, «медлительно длину свою влачащих». Что же в таком случае оставалось делать? Когда тебе пятнадцать и даже когда тебе двадцать один (ибо я уже завершил мою пятую олимпиаду), пять лет — это почти так же долго, как и пятьсот. Напрасно заседали мы на старика с просьбами и мольбами. Этот «*pièce de résistance*»¹ (в терминологии господ Юда и Карема) как раз пришелся ему по вкусу. Сам долготерпеливый Иов возмутился бы, наверное, при виде того, как он играл с нами, точно старый многоопытный кот с двумя мышатами. В глубине души он и не желал ничего иного, как нашего союза. Он сам уже давно ре-

¹ Самое сытное блюдо в меню (в кулинарии) (*фр.*).

шил нас поженить и, наверное, дал бы десять тысяч фунтов из своего кармана (денежки Кейт были ее собственные), чтобы только изобрести законный предлог для удовлетворения нашего вполне естественного желания. Но мы имели неосторожность завести с ним об этом речь сами. И при таком положении вещей он, я думаю, просто не мог не заупрямиться.

Выше я говорил, что у него были свои слабости: но при этом я вовсе не имел в виду его упрямство, которое считаю, наоборот, его сильной стороной — *assurément se n'était pas sa faiblesse*¹. Под его слабостью я подразумеваю его невероятную, чисто старушечью приверженность к суевериям. Он придавал серьезное значение снам, предзнаменованиям *et id genus omne*² ерунде. И, кроме того, был до мелочности щепетилен. По-своему он, безусловно, был человеком слова. Я бы даже сказал, что верность слову была его коньком. Дух данного им обещания он не ставил ни во что, но букву соблюдал неукоснительно. И именно эта его особенность позволила моей выдумщице Кейт в один прекрасный день, вскоре после моего с ним объяснения в столовой неожиданно обернуть все дело в нашу пользу. На сем, исчерпав по примеру современных бардов и ораторов на *prolegomena*³ имевшееся в моем распоряжении время и почти все место, я теперь в нескольких словах передам то, что составляет, собственно, суть моего рассказа.

Случилось так—по велению Судеб,— что среди знакомых моей нареченной были два моряка и что оба они только что вновь ступили на британскую землю, проведя каждый по целому году в дальнем плавании. И вот, сговорившись заранее, мы с моей милой кузиной взяли с собой этих джентльменов и вместе с ними нанесли визит дядюшке Скупердэю — было это в воскресенье десятого октября, ровно через три недели после того, как он произнес свое окончательное слово, чем сокрушил все наши надежды. Первые полчаса разговор шел на обычные темы, но под конец нам удалось как бы невзначай придать ему такое направление:

¹ это, безусловно, не было его слабостью (*фр.*).

² и всей такого рода (*лат.*).

³ введение (*греч.*).

Капитан Пратт. М-да, я пробыл в отсутствии целый год. Как раз сегодня ровно год, по-моему. Ну да, погодите-ка, конечно! Сегодня ведь десятое октября. Помните, мистер Скупердэй, год назад я в этот же самый день приходил к вам прощаться? И, кстати сказать, надо же быть такому совпадению, что наш друг капитан Смизертон тоже отсутствовал как раз год — ровно год сегодня, не так ли?

Смизертон. Именно! Точнешенько год! Вы ведь помните, мистер Скупердэй, я вместе с капитаном Праттом навестил вас в этот день год назад и засвидетельствовал вам перед отплытием мое почтение.

Дядя. Да, да, да, я отлично помню. Как, однако же, странно. Оба вы пробыли в отсутствии ровнехонько год! Удивительное совпадение! То, что доктор О'Болтус назвал бы редкостным стечением обстоятельств. Доктор О'Бол...

Кейт (прерывая). И в самом деле, папочка, как странно. Правда, капитан Пратт и капитан Смизертон плыли разными рейсами, а это, вы сами знаете, совсем другое дело.

Дядя. Ничего я такого не знаю, проказница. Да и что тут знать? По-моему, тем удивительнее. Доктор О'Болтус...

Кэйт. Но, папочка, ведь капитан Пратт плыл вокруг мыса Горн, а капитан Смизертон обогнул мыс Доброй Надежды.

Дядя. Вот именно! Один двигался на запад, а другой на восток. Понятно, стрекотунья? И оба совершили кругосветное путешествие. Между прочим, доктор О'Болтус...

Я (поспешно). Капитан Пратт, приходите к нам завтра вечером — и вы, Смизертон, — расскажете о своих приключениях, сыграем партию в вист...

Пратт. В вист? Что вы, молодой человек! Вы забыли: завтра воскресенье. Как-нибудь в другой раз...

Кейт. Ах, ну как можно? Роберт еще не совсем потерял рассудок. Воскресенье *сегодня*.

Дядя. Разумеется.

Пратт. Прошу у вас обоих прощения, но невозможно, чтобы я так ошибался. Я точно знаю, что завтра воскресенье, так как я...

Смизертон (с изумлением). Позвольте, что вы такое говорите? Разве *не вчера* было воскресенье?

Все. Вчера? Да вы в своем ли уме!

Дядя. Да говорю вам, воскресенье сегодня! Мне ли не знать?

Пратт. Да нет же! Завтра воскресенье.

Смизертон. Вы просто помешались, все четверо. Я так же твердо знаю, что воскресенье было вчера, как и то, что сейчас я сижу на этом стуле.

Кейт (вскакивая в возбуждении). Ах, я понимаю! Я все понимаю! Папочка, это вам перст судьбы — сами знаете в чем. Погодите, я сейчас все объясню. В действительности это очень просто. Капитан Смизертон говорит, что воскресенье было вчера. И он прав. Кузен Бобби и мы с папочкой утверждаем, что сегодня воскресенье. И это тоже верно, мы правы. А капитан Пратт убежден в том, что воскресенье будет завтра. Верно и это, он тоже прав. Мы все правы, и, стало быть, на одну неделю пришлось три воскресенья!

Смизертон (помолчав). А знаете, Пратт, Кейт ведь правду говорит. Какие же мы с вами глупцы. Мистер Скупердэй, все дело вот в чем. Земля, как вы знаете, имеет в окружности двадцать четыре тысячи миль. И этот шар земной вертится, поворачивается вокруг своей оси, совершая полный оборот протяженностью в двадцать четыре тысячи миль с запада на восток ровно за двадцать четыре часа. Вам понятно, мистер Скупердэй?

Дядя. Да, да, конечно. Доктор О'Бол...

Смизертон (заглушая его). То есть, сэр, скорость его вращения — тысяча миль в час. Теперь предположим, что я переместился отсюда на тысячу миль к востоку. Понятно, что для меня восход солнца произойдет ровно на час раньше, чем здесь, в Лондоне. Я обгоню ваше время на один час. Продвинувшись в том же направлении еще на тысячу миль, я опережу ваш восход уже на два часа; еще тысяча миль — на три часа, и так далее, покуда я не возвращусь в эту же точку, проделав путь в двадцать четыре тысячи миль к востоку и тем самым опередив лондонский восход солнца ровно на двадцать четыре часа. Иначе говоря, я на целые сутки обгоню ваше время. Вы понимаете?

Дядя. Но О'Болтус...

Смизертон (очень громким голосом). Капитан же Пратт, напротив, отплыв на тысячу миль к западу, оказался на час позади, а проделав весь путь в двадцать четыре тысячи миль к западу, на сутки отстал от лондонского времени. Вот почему для меня воскресенье было вчера, для вас оно сегодня, а для Пратта наступит завтра. И главное, мистер Скупердэй, мы все трое совершенно правы, ибо нет никаких философских резонов, почему бы мнению одного из нас следовало отдать предпочтение.

Дядя. Ах ты, черт, действительно... Ну, Кейт, ну, Бобби, это в самом деле, как видно, перст судьбы. Я — человек слова, это каждому известно. И потому ты можешь назвать ее своею (со всем, что за ней дается), когда пожелаешь. Обошли меня, клянусь душою! Три воскресенья подряд, а? Интересно, что скажет О'Болтус на это?

ТАЙНА МАРИ РОЖЕ¹

Продолжение «Убийства на улице Морг»

„Есть идеальные сочетания событий, которые развертываются параллельно фактически происходящим. Совпадают они редко. Люди и обстоятельства, как правило, искажают идеальную последовательность событий, и в той же мере, в какой она искажена, и последствия их оказываются уже не теми, какими могли бы быть. Так с Реформацией; вместо протестантства явилось лютеранство“.

Новалис. Moralische Ansichten².

Мало какому даже самому рассудочному человеку не случалось порой со смутным волнением почти уверовать в сверхъестественное, столкнувшись с совпадением настолько поразительным, что разум отказывается признать его всего лишь игрой случая. Подобные ощущения (ибо смутная вера, о которой я говорю, никогда полностью не претворяется в мысль) редко удастся до конца подавить иначе, как

¹ «Мари Роже» впервые была опубликована без примечаний, поскольку тогда они казались излишними, однако со времени трагедии, которая легла в основу этой истории, прошли годы, а потому появилась нужда и в примечаниях, и в небольшом вступлении, объясняющем суть дела. В окрестностях Нью-Йорка была убита молодая девушка Мэри Сесили Роджерс, и хотя это убийство вызвало большое волнение и очень долго оставалось в центре внимания публики, его тайна еще не была раскрыта в тот момент, когда был написан и опубликован настоящий рассказ (в ноябре 1842 года). Автор, якобы описывая судьбу французской гризетки, на самом деле точно и со всеми подробностями воспроизвел основные факты убийства Мэри Роджерс, ограничиваясь параллелизмами в менее существенных деталях. «Тайна Мари Роже» писалась вдали от места зверского убийства, и, расследуя его, автор мог пользоваться только сведениями, опубликованными в газетах. В результате от него ускользнуло многое из того, чем он мог бы воспользоваться, если бы лично побывал на месте происшествия. Тем не менее будет, пожалуй, нелишним указать, что признания двух лиц (одно из них выведено в рассказе под именем мадам Дюлюк), сделанные независимо друг от друга и много времени спустя после опубликования рассказа, полностью подтвердили не только общий вывод, но и абсолютно все основные предположения, на которых был этот вывод построен. (Прим. авт.)

² Нравственные воззрения (нем.).

прибегнув к доктрине случайности или — воспользуемся специальным ее наименованием — к теории вероятности. Теория же эта является по самой своей сути чисто математической; и, таким образом, возникает парадокс — наиболее строгое и точное из всего, что дает нам наука, прилагается к теням и призракам наиболее неуловимого в области мысленных предположений.

Невероятные подробности, которые я призван теперь сделать достоянием гласности, будучи взяты в хронологической их последовательности, складываются в первую ветвь необычайных совпадений, а во второй и заключительной их ветви все читатели, несомненно, узнают недавнее убийство в Нью-Йорке Мэри Сесили Роджерс.

* * *

Когда в статье, озаглавленной «Убийства на улице Морг», я год назад попытался описать некоторые примечательные особенности мышления моего друга шеваляе С.-Огюста Дюпена, мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь вновь вернусь к этой теме. Именно это описание было моей целью, и она нашла свое полное осуществление в рассказе о прихотливой цепи происшествий, которые позволили раскрыться особому таланту Дюпена. Я мог бы привести и другие примеры, но они не доказали бы ничего, кроме уже доказанного. Однако удивительный поворот недавних событий неожиданно открыл мне новые подробности, которые облекаются в подобие вынужденной исповеди. После того, что мне довелось услышать совсем недавно, было бы странно, если бы я продолжал хранить молчание относительно того, что я слышал и видел задолго перед этим.

Раскрыв тайну трагической гибели мадам Л'Эспанэ и ее дочери, шеваляе тотчас выбросил все это дело из головы и возвратился к привычным меланхолическим раздумьям. Его настроение вполне отвечало моему неизменному тяготению к отрешенности, и, как прежде замкнувшись в нашем тихом приюте в предместье Сен-Жермен, мы оставили Будущее на волю судьбы и

предались безмятежному спокойствию Настоящего, творя грезы из окружающего нас скучного мира.

Но эти грезы время от времени нарушались. Нетрудно догадаться, что роль моего друга в драме, разыгравшейся на улице Морг, не могла не произвести значительного впечатления на парижскую полицию. У ее агентов имя Дюпена превратилось в поговорку. Того простого хода рассуждений, который помог ему раскрыть тайну, он, кроме меня, не сообщил никому — даже префекту, — а потому неудивительно, что непосвященным эта история представлялась истинным чудом, и аналитический талант шевалье принес ему славу провидца. Если бы он отвечал на любопытные расспросы с достаточной откровенностью, это заблуждение скоро рассеялось бы, но душевная леность делала для него невозможным какое бы то ни было возвращение к теме, которая давно уже перестала интересовать его самого. Вот почему взгляды полицейских постоянно устремлялись к нему и префектура вновь и вновь пыталась прибегнуть к его услугам. Одна из наиболее примечательных таких попыток была вызвана убийством молоденькой девушки по имени Мари Роже.

Это случилось года через два после жуткого события на улице Морг. Мари (поразительное совпадение ее имени и фамилии с именем и фамилией злополучной продавщицы сигар сразу бросается в глаза) была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Ее отец умер, когда она была еще младенцем, и вплоть до последних полутора лет перед убийством, о котором пойдет речь в этом повествовании, мать и дочь жили вместе на улице Паве-Сент-Андре¹. Мадам Роже содержала пансион, а Мари ей помогала. Так продолжалось до тех пор, пока Мари не исполнилось двадцать два года — а тогда ее редкая красота привлекла внимание парфюмера, снимавшего лавку в нижнем этаже Пале-Рояля и числившего среди своих клиентов почти одних только отчаянных искателей легкой наживы, которыми кишит этот квартал. Мосье Леблан² отлично понимал, что присутствие красавицы Мари в его лавке может принести ему немалые выгоды, и его щедрые

¹ Нассау-стрит.

² Андерсон.

посулы сразу же прельстили девушку, хотя ее маменька выказала гораздо больше нерешительности.

Надежды парфюмера вполне сбылись, и его заведение благодаря чарам бойкой гризетки скоро приобрело значительную популярность. Мари уже служила у мосье Леблана около года, когда она внезапно исчезла из его лавки, повергнув своих поклонников в большое смятение. Мосье Леблан не знал, чем объяснить ее отсутствие, а мадам Роже была вне себя от тревоги и страшных опасений. Происшествие попало в газеты, и полиция уже собиралась начать серьезное расследование, как вдруг в одно прекрасное утро ровно через неделю Мари вновь появилась на своем обычном месте за прилавком, живая и здоровая, хотя как будто и погрустневшая. Официальное расследование было, конечно, немедленно прекращено, а на все расспросы мосье Леблан по-прежнему отговаривался полным неведением, мадам же Роже и Мари отвечали, что прошлую неделю она гостила у родственницы в деревне. На том дело и кончилось, а затем и вовсе изгладилось из памяти публики, тем более что девушка, желая, по-видимому, избежать назойливого внимания любопытных, вскоре навсегда покинула парфюмера и вернулась в материнский дом на улице Паве-Сент-Андре.

Примерно через три года после возвращения Мари к матери ее друзья были встревожены новым внезапным исчезновением девушки. Три дня о ней ничего не было известно. На четвертый день ее труп обнаружили в Сене¹ — у берега, противоположного тому, на котором находится квартал Сент-Андре, в пустынных окрестностях заставы Дюруль².

Столь зверское убийство (в том, что это — убийство, никаких сомнений быть не могло), молодость и красота жертвы, а главное, ее недавняя известность пробудили живейший интерес падких до сенсаций парижан. Я не припомню никакого другого происшествия, которое вызвало бы столь всеобщее и сильное волнение. В течение нескольких недель эта тема была злобой дня,

¹ Гудзон.

² Уихоукен.

заслонившей даже важнейшие политические события. Префект усердствовал больше обыкновенного, и парижская полиция, разумеется, совсем сбилась с ног.

Когда труп нашли, все были убеждены, что немедленно предпринятые поиски убийцы увенчаются самым скорым результатом. И только через неделю наконец сочли нужным предложить награду за его поимку, но даже и тогда сумма была ограничена всего лишь тысячью франками. Следствие тем временем велось весьма энергично, если не всегда разумно, очень много разных людей подверглось ни к чему не приведшим допросам, и отсутствие даже самых слабых намеков на разгадку тайны все больше и больше подогревало интерес к ней. На десятый день пришлось удвоить обещанную награду, а когда по истечении второй недели дело не сдвинулось с места и недовольство полицией, никогда не угасающее в Париже, успело несколько раз привести к уличным беспорядкам, префект лично предложил награду в двадцать тысяч франков «за изобличение убийцы» или же, если бы участников преступления оказалось несколько, «за изобличение кого-либо из убийц». В объявлении об этой награде, кроме того, содержалось обещание полного помилования любому сообщнику, который донес бы на своих соучастников; и к нему, где бы оно ни вывешивалось, присовокуплялось объявление комитета частных граждан, обещавшего добавить десять тысяч франков к сумме, назначенной префектом. Таким образом, в целом награда составляла тридцать тысяч франков: сумма неслыханная, если вспомнить более чем скромное положение девушки и то обстоятельство, что в больших городах подобные возмутительные преступления — отнюдь не редкость.

Теперь уже никто не сомневался, что тайна этого убийства будет немедленно раскрыта. И правда, были произведены два-три ареста, однако никаких улик против подозреваемых обнаружить не удалось и их пришлось тут же освободить.

Как ни удивительно, мы с Дюпеном впервые услышали об этом событии, столь взволновавшем общественное мнение, только когда миновала третья неделя после обнаружения трупа — неделя, также не бросившая никакого света на происшедшее. Мы были всецело поглощены одним исследованием и более месяца не

выходили из дома, не принимали посетителей и едва проглядывали политические статьи в ежедневно доставлявшейся нам газете. И первое известие об убийстве Мари Роже нам принес сам Г. Он зашел к нам днем 13 июля 18... года и просидел у нас до поздней ночи. Ему было крайне досадно, что все его усилия разыскать убийц ни к чему не привели. На карту поставлена, заявил он с чисто парижским жестом, его репутация. Более того — его честь! К нему прикованы глаза всего общества, и нет жертвы, которую он не принес бы ради раскрытия тайны. Свою несколько витиеватую речь он заключил комплиментом касательно того, что соизволил назвать «тактом» Дюпена, и обратился к моему другу с прямым и, бесспорно, щедрым предложением, о котором я не считаю себя вправе сообщить что-либо, но которое не имеет ни малейшего отношения к непосредственной теме моего повествования.

Комплимент мой друг по мере сил отклонил, но на предложение тотчас согласился, хотя его выводы оставались пока условными. Покончив с этим, префект немедленно принялся излагать свою собственную точку зрения, уснащая объяснение многочисленными рассуждениями, касавшимися обстоятельств дела, о которых мы еще ничего не знали. Он говорил долго, проявляя, без сомнения, немалую осведомленность, я иногда осмеливался высказать скромное предположение, а дремотные часы ночи проходили один за другим. Дюпен неподвижно сидел в своем кресле, как истое воплощение почтительного внимания. На нем были очки, и, исподтишка заглядывая под их зеленые стекла, я вновь и вновь убеждался, что мой друг крепко спит, — ничем себя не выдав, он так и проспал все семь свинцово-медлительных часов, по истечении которых префект наконец удалился.

Утром я получил в префектуре полное изложение всех собранных фактов, а в газетных редакциях — экземпляры всех газет, в которых были опубликованы какие бы то ни было сведения об этой трагедии. Очищенная от всех безусловно опровергнутых выдумок, история выглядела следующим образом. Мари Роже вышла из дома своей матери на улице Паве-Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье 22 июня 18...

года. Уходя, она сообщила некоему мосье Жаку Сент-Эсташу¹ — и только ему, — что намерена провести день у своей тетки, которая живет на улице Дром. Узенькая, короткая, но оживленная улица Дром находится неподалеку от берега Сены, и от пансиона мадам Роже ее отделяют две с лишним мили, даже если идти кратчайшим путем. Сент-Эсташ был официальным женихом Мари и не только столовался, но и жил в пансионе. Он должен был зайти за своей невестой под вечер и проводить ее домой. Однако во второй половине дня полил сильный дождь, и, полагая, что Мари предпочтет переночевать у тетки (как она уже не раз делала при подобных обстоятельствах), он не счел нужным сдержать свое обещание. Вечером мадам Роже (больная семидесятилетняя старуха) выразила опасение, что она «уже больше никогда не увидит Мари», но тогда никто не обратил на ее слова особого внимания.

В понедельник выяснилось, что Мари вообще не заходила к тетке, и когда к вечеру она не вернулась, ее с большим запозданием принялись искать в тех местах города и окрестностей, где она могла бы оказаться. Однако узнать о ней что-то определенное удалось только на четвертый день с момента ее исчезновения. В этот день (в среду 25 июня) некий мосье Бове², который вместе с приятелем навел справки о Мари в окрестностях заставы Дюруль на противоположном берегу Сены, услышал, что рыбаки только что доставили на берег труп, который плыл по реке. Увидев тело, Бове после некоторых колебаний опознал бывшую продавщицу из парфюмерной лавки. Его приятель опознал ее сразу же.

Лицо мертвой было налито темной кровью, которая сочилась изо рта. Пены, какая бывает у обыкновенных утопленников, заметно не было. На горле виднелись синяки и следы пальцев. Согнутые в локтях и скрещенные на груди руки окостенели. Пальцы правой были сжаты в кулак, пальцы левой полусогнуты. На левой кисти имелись два кольцевых рубца, как будто оставленные веревками или одной веревкой, но обвитой вокруг руки несколько раз. На правой кисти

¹ Пейн.

² Кроммелин.

имелись ссадины, так же как и на всей спине — особенно в области лопаток. Чтобы доставить труп на берег, рыбаки захлестнули его веревкой, но она никаких рубцов не оставила. Шея была сильно вздута. На теле не было заметно ни порезов, ни синяков, причиненных ударами. Шея была перехвачена обрывком кружев, затянутым так туго, что складки кожи совершенно скрывали его от взгляда. Он был завязан узлом, находившимся под левым ухом. Одного этого было достаточно, чтобы вызвать смерть. Протокол медицинского осмотра не оставлял ни малейших сомнений в целомудрии покойной, она, указывалось в нем, подверглась грубому насилию. Состояние трупа в момент его обнаружения позволяло легко опознать его.

Одежда была сильно изорвана и приведена в полнейший беспорядок. Из верхней юбки от подола к талии была вырвана полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обвернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом. Вторая юбка была из тонкого муслина, и от нее была оторвана полоса шириной дюймов в восемнадцать — оторвана полностью и очень аккуратно. Эта полоса муслина была свободно обвернута вокруг шеи и завязана неподвижным узлом. Поверх этой муслиновой полосы и обрывка кружев проходили ленты шляпки. Эти ленты были завязаны не бантом, как их завязывают женщины, а морским узлом.

После опознания труп против обыкновения не был увезен в морг (это сочли излишней формальностью), а поспешно погребен неподалеку от того места, где его вытащили на берег. Благодаря усилиям Бове дело, насколько это было возможно, замяли, и прошло несколько дней, прежде чем оно привлекло внимание публики. Затем, однако, им занялась еженедельная газета¹, труп был эксгумирован и вновь подвергнут осмотру, но ничего, помимо вышеописанного, обнаружено не было. Правда, на этот раз платье, шляпку и прочее предъявили матери и знакомым покойной, и они без колебаний опознали в них одежду, в которой девушка ушла из дома в то утро.

¹ Нью-йоркская «Меркюри».

Тем временем возбуждение публики росло с каждым часом. Несколько человек было арестовано, но отпущено. Главное подозрение падало на Сент-Эсташа, и вначале он не сумел достаточно убедительно объяснить, как он провел роковое воскресенье. Однако вскоре он представил мосье Г. в письменном виде точные сведения о том, где и когда он был в этот день, подкрепленные надежными свидетельскими показаниями. По мере того как дни проходили, не принося никаких новых открытий, по городу начали распространяться тысячи противоречивых слухов, а журналисты принялись строить всевозможные догадки и предположения. Среди этих последних наибольший интерес вызвало утверждение, будто Мари Роже жива, а из Сены был извлечен труп какой-то другой несчастной девушки. Я считаю своим долгом познакомить читателя с отрывками из статьи, содержавшей вышеуказанное предположение и опубликованной в «Этуаль»¹ — газете достаточно солидной.

«Мадемуазель Роже ушла из материнского дома утром в воскресенье 22 июня 18... года, объявив, что намерена навестить тетку или какую-то другую родственницу, проживающую на улице Дром. С этого момента, насколько удалось установить, ее никто не видел. Она исчезла бесследно, и ее судьба остается неизвестной... До сих пор не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее в тот день после того, как за ней закрылась дверь материнского дома... Итак, хотя мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня, у нас есть неопровержимые доказательства, что до этого часа она была жива и здорова. В среду в двенадцать часов дня в Сене у заставы Дюруль был обнаружен женский труп. Это произошло — даже если предположить, что Мари Роже бросили в реку не позже чем через три часа после того, как она ушла из дому, — всего лишь через трое суток после ее ухода, через трое суток час в час. Однако было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи.

¹ Нью-йоркская «Бразер Джонатан».

Те, кто творит столь гнусные преступления, предпочитают ночной мрак свету дня... Другими словами, если тело, найденное в реке, — это действительно тело Мари Роже, оно могло пробыть в воде не более двух с половиной или — с большой натяжкой — ровно трех суток. Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения пойдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды. Итак, мы должны задать себе вопрос, что в этом случае вызвало отклонение от обычных законов природы? ...Если же изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц. Кроме того, представляется сомнительным, чтобы труп всплыл так скоро, даже если его бросили в реку через два дня после убийства. И далее, весьма маловероятно, чтобы злодеи, совершившие убийство, вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы ни малейшего труда».

По мнению автора статьи, этот труп должен был пробыть в воде «не каких-то трое суток, а впятеро дольше», поскольку разложение зашло так далеко, что Бове не сразу его опознал. Однако этот довод был полностью опровергнут. Затем в статье говорилось:

«Так каковы же факты, ссылаясь на которые мосье Бове утверждает, будто убитая — без сомнения, Мари Роже? Он разорвал рукав платья убитой и теперь заявляет, что видел особые приметы, вполне его удовлетворившие. Широкой публике, конечно, представляется, что под этими особыми приметами подразумеваются шрамы или родинки. На самом же деле он потерял руку и обнаружил — волоски! На наш взгляд, трудно найти менее определенную примету, и убедительна она не более, чем ссылка на то, что в рукаве обнаружилась рука! В этот вечер мосье Бове не вернулся в пан-

сион, а в семь часов послал мадам Роже известие, что расследование касательно ее дочери все еще продолжается. Если даже допустить, что преклонный возраст и горе мадам Роже не позволяли ей самой побывать там (а допустить это очень нелегко!), то, несомненно, должен был найтись кто-то, кто счел бы необходимым поспешить туда и принять участие в расследовании, если они были уверены, что это действительно тело Мари. Но никто туда не отправился. Обитателям дома на улице Паве-Сент-Андре вообще ничего не было сказано, и они даже не слыхали о том, что произошло. Мосье Сент-Эсташ, поклонник и жених Мари, живший в пансионе ее матери, показал под присягой, что про обнаружение тела своей нареченной он узнал только на следующее утро, когда к нему в спальню вошел мосье Бове и рассказал ему о событиях прошлого вечера. Нам кажется, что, учитывая характер новости, она была принята весьма спокойно и хладнокровно».

Вот так газета стремилась создать впечатление, что близкие Мари оставались равнодушными и бездеятельными — картина, несовместимая с предположением, будто они верили, что найден действительно ее труп. Эти инсинуации вкратце сводились к следующему: Мари при пособничестве своих друзей покинула город по причинам, бросающим тень на ее добродетель, и когда из Сены был извлечен труп, имевший некоторое сходство с исчезнувшей девушкой, указанные друзья воспользовались этим, чтобы внушить всем мысль, будто она мертва. Однако «Этуаль» опять излишне поторопилась. Выяснилось, что равнодушие и бездеятельность целиком относятся к области вымыслов, что старушка действительно была очень слаба и волнение лишило ее последних сил, что Сент-Эсташ не только не выслушал это известие с полным хладнокровием, но совсем обезумел от горя, и мосье Бове, увидя его отчаяние, убедил кого-то из его родственников остаться с ним и помешать ему отправиться на эксгумацию. Более того, хотя «Этуаль» объявила, что труп был вторично погребен на общественный счет, что близкие Мари Роже наотрез отказались оплатить даже очень дешевые похороны и что никто из них не присутствовал на церемонии, — хотя, повторяю, «Этуаль» утверждала все

это для подкрепления впечатления, которое она стремилась создать у своих читателей, каждое из перечисленных утверждений было решительным образом опровергнуто. В одном из последующих номеров этой газеты была предпринята попытка бросить подозрение на самого Бове. Редактор в своей статье заявил:

«И вот все изменяется. Нам сообщают, что однажды, когда в доме мадам Роже находилась мадам Б., мосье Бове, собиравшийся уходить, сообщил ей, что они ждут жандарма и что она, мадам Б., не должна ничего говорить жандарму до его возвращения, а предоставить все объяснения ему... В настоящий момент, насколько можно заключить, мосье Бове хранит в своей голове все обстоятельства дела. Без мосье Бове буквально нельзя и шагу ступить, ибо, куда ни поворачиваешь, обязательно натыкаешься на него... По какой-то причине он твердо решил не позволять никому другому принимать участие в расследовании и, как утверждают родственники мужского пола, он оттер их в сторону самым странным образом. Он, как кажется, всячески старался воспрепятствовать тому, чтобы родственники увидели труп».

Нижеследующий факт как будто подтверждает подозрения, брошенные на Бове этой статьей. За несколько дней до исчезновения девушки какой-то посетитель, оставшись один в конторе Бове, заметил в замочной скважине розу, а на висевшей поблизости грифельной доске было написано «Мари».

Общее мнение, однако, насколько мы могли судить по газетам, склонялось к тому, что Мари стала жертвой шайки бандитов, которые увезли ее на тот берег реки, надругались над ней и убили. Однако «Коммерсьель»¹, газета весьма влиятельная, всячески оспаривала это предположение. Я приведу несколько абзацев с ее страниц.

«Мы убеждены, что следствие все это время в той мере, в какой оно занималось заставой Дюруль, шло по ложному следу. Невозможно предположить, чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала, а увидевшие ее люди не забыли бы об этом, так как ею ин-

¹ Нью-йоркская «Джорнел ов коммерс».

тересовались все, кому она была известна. И вышла она из дома в час, когда улицы были полны народа... Прежде чем она достигла бы заставы Дюруль или улицы Дром, ее неизбежно узнали бы два десятка прохожих, и все же не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее после ухода из дому, и, кроме сообщения о выраженных ею намерениях, мы не располагаем никакими доказательствами того, что она действительно покинула материнский дом именно тогда. Ее платье было разорвано, полоса материи была обмотана вокруг ее тела и завязана так, что труп можно было нести, точно узел. Если убийство произошло возле заставы Дюруль, не было бы никаких причин проделывать все это. То обстоятельство, что тело было обнаружено в реке неподалеку от заставы, вовсе не показывает, где именно оно было брошено в воду... От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длинной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Однако за день-два до появления у нас префекта полиция получила важные сведения, которые, по-видимому, опровергли большую часть рассуждений «Коммерсьель». Два мальчика, сыновья некоей мадам Дюлюк, гуляя в лесу неподалеку от заставы Дюруль, обнаружили в густом кустарнике сооруженное из трех-четырех больших камней сиденье со спинкой и приступкой для ног. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Поблизости были затем найдены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была вышита метка «Мари Роже». На ветвях колючих кустов висели лоскутки материи. Земля была утоптана, кусты поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе. Далее, в изгородях, находящихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве показывали, что тут волочили что-то тяжелое.

Еженедельник «Солей»¹, повторяя мнение всей па-

¹ Филадельфийская «Сатердей ивнинг пост».

рижской прессы, оценил эти находки следующим образом:

«Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель; под действием дождя они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк на зонтике был толстым, но складки его склеились, а верхняя сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда его раскрыли, он весь расползся... Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину — шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой, а другой был вырван из юбки гораздо выше оборки. Они выглядели так, словно были оторваны, и висели на терновнике в футе над землей... Не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено».

Это открытие помогло получить новые сведения. Мадам Дюлюк показала, что она содержит небольшой трактир на берегу Сены неподалеку от заставы Дюруль. Места вокруг пустынные, можно даже сказать — глухие. Добраться туда от Парижа можно только на лодке. Их облюбовало для воскресных развлечений городское отребье. В роковое воскресенье примерно в три часа дня в трактир зашла молодая девушка, которую сопровождал смуглый молодой человек. Они пробыли там некоторое время, а потом ушли, направившись к расположенному по соседству густому лесу. Мадам Дюлюк хорошо заметила платье девушки, потому что оно напомнило ей платье одной ее недавно скончавшейся родственницы. Особенно хорошо она рассмотрела шарф. Вскоре после ухода молодой пары в трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке.

В тот же вечер, вскоре после того как совсем стемнело, мадам Дюлюк и ее старший сын слышали женские крики неподалеку от трактира. Крики были очень громкими, но вскоре оборвались. Мадам Д. опознала

не только шарф, но и платье, которое было на трупe. Кучер омнибуса, по фамилии Валанс¹, теперь также показал, что видел в это воскресенье, как Мари переправлялась через Сену в обществе смуглого молодого человека. Он, Валанс, знал Мари и ошибиться не мог. Предметы, найденные в чаще, все были опознаны родственниками Мари.

Сведения, которые я таким образом извлек по просьбе Дюпена из газетных статей, включали, кроме вышеперечисленных, только один факт — но факт этот представлялся весьма многозначительным. После того, как в чаще были обнаружены шарф и прочие вещи, неподалеку от того места, которое теперь все считали местом убийства, было обнаружено безжизненное или почти безжизненное тело Сент-Эсташа, жениха Мари. Возле валялся пустой флакон — на ярлычке было написано «опиум». Дыхание Сент-Эсташа указывало, что он действительно принял этот яд. Он умер, не приходя в сознание. В кармане у него была найдена записка: коротко упомянув о своей любви к Мари, он сообщал, что намерен наложить на себя руки.

— Мне, разумеется, незачем говорить вам, — сказал Дюпен, внимательно прочитав мои заметки, — что это куда более запутанное дело, чем убийство на улице Морг, от которого оно отличается в одном очень важном отношении, так как представляет собой хотя и зверски-жестокое, но ординарное преступление. В нем нет ничего выходящего за рамки обычного. Заметьте, что по этой причине все полагали, будто раскрыть его окажется нетрудно, тогда как именно его заурядность и составляет главный камень преткновения. Вначале ведь даже не сочли нужным назначить награду. Мирмидоняне² префекта сразу же представили себе, как и почему могло быть совершено это гнусное преступление. Их воображение было способно нарисовать способ — много способов — его совершения, а также и побудительный мотив — много мотивов. И потому, что какие-то из этих способов и этих мотивов мог-

¹ Эдам.

² Мирмидоняне — так называлось племя, жившее во владениях Ахиллеса, во главе которого он отправился на Троянскую войну.

ли оказаться подлинными, им представилось само собой разумеющимся, что один из них и окажется подлинным. Однако легкость, с какой возникали эти различные предположения, и их правдоподобность свидетельствовали о том, что правильное решение найти будет не только не просто, но, наоборот, очень трудно. Я не раз замечал, что в поисках истины логика нащупывает свой путь по отклонениям от обычного и заурядного и что в случаях, подобных этому, следует спрашивать не «что произошло?», а «что произошло необыкновенного, такого, чего не случалось прежде?». Ведя следствие в доме мадам Л'Эспанэ¹, агенты Г. растерялись из-за необычности случившегося, в то время как верно направленный интеллект именно в этой необычности усмотрел бы залог успеха; и тот же самый интеллект с глубоким отчаянием убедился бы в видимой заурядности обстоятельств исчезновения продавщицы парфюмерных товаров, хотя подчиненные префекта как раз в ней увидели обещание легкой победы.

В деле мадам Л'Эспанэ и ее дочери мы с самого начала твердо знали, что речь идет об убийстве. Возможность самоубийства исключалась безусловно. Здесь самоубийство также исключается. Вид трупа, обнаруженного неподалеку от заставы Дюруль, не оставляет никаких сомнений в этом важном вопросе. Однако высказывается предположение, что труп этот — не труп Мари Роже, за поимку убийцы или убийц которой назначена награда и которой касается наш уговор с префектом. Мы оба прекрасно знаем этого господина. И знаем, что слишком доверять ему не следует. Если мы начнем наше расследование с трупа и, отыскав убийцу, тем не менее установим, что это труп какой-то другой женщины, а не Мари, или если мы сразу предположим, что Мари жива и отыщем ее — отыщем целой и невредимой, — то в обоих случаях наши труды пропадут даром, ибо мы имеем дело с мосье Г. Поэтому в наших собственных интересах, если не в интересах правосудия, мы должны с самого начала удостовериться, что найденный в Сене труп — это действительно труп пропавшей Мари Роже.

¹ См.: «Убийство на улице Морг».

Доводы «Этуаль» произвели впечатление на публику, да и сама газета убеждена в их неопровержимости, о чем свидетельствует первая строка одной из напечатанных в ней заметок, посвященных делу Мари Роже. «Несколько утренних газет, — начинается эта заметка, — обсуждают исчерпывающую статью в номере «Этуаль» от понедельника». На мой взгляд, эта статья исчерпывающе доказывает только рвение ее автора. Вообще следует помнить, что наши газеты думают главным образом о том, как создать сенсацию, а не о том, как способствовать обнаружению истины. Последнее становится их задачей, только если это способствует достижению первой и главной их цели. Когда печать всего лишь следует общему мнению (каким бы обоснованным оно ни было), она не обеспечивает себе успеха у толпы. Большинство людей считает мудрецом только того, кто высказывает предположение, идущее вразрез с принятыми представлениями. В логических рассуждениях, не менее чем в литературе, наибольшим и незамедлительным успехом пользуется эпиграмма, и в обоих случаях она стоит меньше всего.

Я хочу сказать, что предположение, будто Мари Роже еще жива, было подсказано «Этуаль» неожиданностью и мелодраматичностью подобной идеи, а вовсе не ее правдоподобием — и по той же причине она нашла столь благосклонный прием у публики. Давайте разберем по пунктам рассуждения этой газеты, освободив их от той бессвязности и непоследовательности, с какой они изложены в статье.

Прежде всего ее автор стремится доказать, что между исчезновением Мари и обнаружением в реке плывущего трупа прошло слишком мало времени, а потому это не мог быть ее труп. Для достижения своей цели он стремится по возможности сократить этот интервал. Такое опрометчивое стремление заставляет его сразу же пустить в ход абсолютно безосновательное предположение. «Было бы чистейшей нелепостью считать, — утверждает он, — будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи». Мы немедленно задаем естественный вопрос: почему? Почему было бы неле-

постью предположить, что девушку убили через пять минут после того, как она вышла из дома? Убийства случались во всякое время суток. Но если бы это убийство произошло в течение воскресенья в любую минуту между девятью часами утра и до без четверти двенадцать ночи, убийцы все-таки успели бы «бросить тело в реку до полуночи». Следовательно, произвольная предпосылка автора статьи, в сущности, сводится к тому, что убийство вообще в воскресенье не произошло, а если мы позволим «Этуаль» исходить из такой предпосылки, то должны будем прощать ей любые вольности. Фраза, начинающаяся словами: «Было бы чистейшей нелепостью считать...» — и т. д., независимо от того, в каком виде она появилась на страницах «Этуаль», была порождена следующей мыслью своего творца: «Было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство (если речь действительно идет об убийстве) могло совершиться настолько быстро после ухода девушки из дома, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи; было бы нелепостью, утверждаем мы, предположить все это и в то же время предположить (как мы твердо решили сделать), что тело было брошено в реку только после полуночи», — фраза достаточно непоследовательная, но далеко не столь абсурдная, как та, которая появилась в статье.

— Если бы, — продолжал Дюпен, — я хотел просто опровергнуть именно это место в рассуждениях «Этуаль», — то мог бы спокойно ограничиться уже сказанным. Однако нас интересует не «Этуаль», а истина. Рассматриваемая фраза в ее настоящем виде имеет лишь одно содержание, и это содержание я изложил с полной беспристрастностью, но нам важно, не ограничиваясь только словами, проникнуть в мысль, которую эти слова явно должны были выразить, хотя и не выразили. Журналист хотел сказать, что, независимо от того, утром, днем или вечером в воскресенье было совершено это убийство, убийцы вряд ли осмелились бы доставить труп к реке раньше полуночи. И именно в этих словах прячется та произвольная предпосылка, которую я ставлю ему в упрек. Он без каких-либо оснований исходит из предположения, будто убийство было совершено в таком месте и при таких обстоятель-

ствах, что труп обязательно надо было доставлять к реке. А ведь оно могло произойти на берегу или даже на самой реке — тогда труп мог быть брошен в воду в любое время суток, так как это был бы наиболее легкий и естественный способ избавиться от него. Вы, конечно, понимаете, что я вовсе не считаю наиболее вероятной именно эту возможность и не высказываю своего мнения. Пока еще я не касаюсь реальных фактов дела, а только хочу предостеречь вас против самого тона предположения «Этуаль», обратив ваше внимание на то, что они с самого начала носят характер *ex-parte*¹.

И вот, предписав ограничение, удобное для ее собственных предвзятых идей, предположив, что этот труп, если он был трупом Мари, мог пребыть в воде лишь очень незначительное время, газета заявляет:

«Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в воду вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения пойдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды».

С этими утверждениями безмолвно согласились все парижские газеты, за исключением «Монитор»², которая пытается опровергнуть лишь то место, которое относится к «утопленникам», ссылаясь на пять-шесть случаев, когда тела заведомых утопленников всплывали до истечения срока, указанного «Этуаль». Однако в этой попытке «Монитор» опровергнуть общее утверждение «Этуаль» ссылками на конкретные противоречащие ему примеры есть что-то глубоко нефилософское. Сошлись «Монитор» не на пять, а на пятьдесят трупов, всплывших через двое-трое суток, все равно эти пятьдесят примеров следовало бы считать лишь исключением из правила, установленного «Этуаль», до тех пор пока не было бы доказано, что само это правило неверно. А если признавать правило («Монитор» же его не отрицает и только указывает на исключения), то рассуждения

¹ Односторонний, предвзятый (*лат.*).

² Нью-йоркская «Коммершиел эдвертайзер».

«Этуаль» сохраняют полную силу, поскольку они касаются всего лишь вероятности того, что труп всплыл до истечения трех суток; и эта вероятность будет свидетельствовать в пользу «Этуаль» до тех пор, пока количество примеров, на которые по-детски ссылаются противники ее выводов, не возрастет до той степени, когда уже можно будет говорить о противоположном правиле.

Как вы могли заметить, все рассуждения касательно этого пункта должны строиться так, чтобы опровергнуть указанное правило, а для этой цели нам следует рассмотреть его рациональную основу. Начнем с того, что в среднем человеческое тело немногим тяжелее или легче воды Сены; другими словами, удельный вес человеческого тела в обычных условиях примерно равен удельному весу пресной воды, которую вытесняет это тело. Тела тучных, дородных людей с тонкими костями и тела подавляющего большинства женщин легче, чем тела худощавых крупно костных мужчин; а на удельный вес речной воды оказывает влияние наличие морской воды, поступающей в реки с приливной волной. Но даже отбросив это наличие морской воды, все-таки можно утверждать, что даже в пресной воде при отсутствии дополнительных причин тонут лишь немногие человеческие тела. Упавший в реку человек почти никогда не пойдет ко дну, если он позволит весу своего тела прийти в соответствие с весом вытесненной им воды — другими словами, если он погрузится в воду почти целиком. Для людей, не умеющих плавать, наиболее правильной будет вертикальная позиция идущего человека, причем голову следует откинуть и погрузить в воду так, чтобы над ней оставались только рот и нос. Приняв подобную позу, вы обнаружите, что без всяких усилий и труда держитесь у самой поверхности. Однако совершенно очевидно, что вес человеческого тела и воды, которую оно вытесняет, находятся лишь в весьма хрупком равновесии, так что достаточно ничтожного пустяка, чтобы оно нарушилось в ту или иную сторону. Например, рука, поднятая над водой и тем самым лишенная ее поддержки, представляет собой добавочный вес, которого достаточно, чтобы голова ушла под воду целиком, тогда как случайно схвачен-

ный даже небольшой кусок дерева позволит вам приподнять голову и оглядеться. Человек, не умеющий плавать, обычно начинает биться в воде, вскидывает руки и старается держать голову, как всегда, прямо. В результате рот и ноздри оказываются под водой, которая при попытке вздохнуть проникает в легкие. Кроме того, большое ее количество попадает в желудок, и все тело становится тяжелее настолько, насколько вода тяжелее воздуха, наполнявшего эти полости прежде. Как правило, этой разницы достаточно для того, чтобы человек пошел ко дну, но только не в тех случаях, когда речь идет о людях с тонкими костями и излишком жира на теле. Такие люди, и утонув, продолжают держаться на поверхности.

Труп, опустившийся на дно реки, останется там до тех пор, пока по какой-то причине его вес опять не станет меньше веса вытесняемой им воды. Это может быть связано с разложением или с чем-либо еще. В процессе разложения образуется газ, расширяющий клетки в тканях и все полости, что придает мертвым телам ту вздутость, которая производит столь жуткое впечатление. Когда такое расширение приводит к заметному увеличению объема трупа без соответствующего увеличения его массы или веса, он становится легче вытесняемой им воды и всплывает. Однако процесс разложения определяется множеством факторов, он убыстряется или замедляется по множеству причин — тут могут играть роль жара и холод, количество растворенных в воде минеральных веществ, большая или меньшая глубина, наличие или отсутствие течения, температура тела, а также и состояние здоровья человека перед смертью. Таким образом, совершенно очевидно, что мы не можем даже приблизительно указать срок всплытия трупа в результате разложения. В некоторых условиях это произойдет менее чем через час, а в других — не произойдет вовсе. Есть химикалии, способные полностью и навсегда предохранить животные ткани от гниения, — к ним, например, принадлежит двухлористая ртуть. Однако и помимо разложения в желудке, в результате брожения растительной массы (или же в других полостях по другим причинам) может образовываться — и обычно образуется — газ, ко-

торый вызывает расширение тела, достаточное для того, чтобы оно всплыло на поверхность. Пушечный выстрел просто производит сильную вибрацию, которая либо освобождает труп из ила, и он всплывает, потому что был уже почти готов всплыть, либо разрушает какую-то часть уже сгнившей клеточной ткани, препятствовавшей расширению полостей под воздействием газа.

Итак, ознакомившись с философской основой этого предмета, мы с ее помощью легко можем проверить справедливость утверждения «Этуаль». «Как показывает весь прошлый опыт, — заявляет эта газета, — тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения пойдет достаточно далеко, то есть не ранее чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успевают извлечь из воды».

Теперь весь этот абзац выглядит мешаниной натяжек и несуразностей. Весь прошлый опыт отнюдь не показывает, что телу утопленника обязательно требуется шесть-десять дней, прежде чем оно разложится настолько, чтобы всплыть. И наука, и практический опыт свидетельствуют, что период, предшествующий всплытию, должен быть самым неопределенным — каковым он и является. Если же труп всплывет в результате выстрела из пушки, то он «опускается вновь на дно, если его не успеют извлечь из воды» не «вскоре», а только тогда, когда разложение продвинется настолько далеко, что образовавшийся в теле газ найдет выход наружу. Но я хотел бы обратить ваше внимание на различие, сделанное между «телами утопленников» и «телами жертв убийства, брошенных в реку вскоре после наступления смерти». Хотя автор признает это различие, он тем не менее относит и те и другие тела к одной категории. Я уже объяснил, как именно тело тонущего приобретает больший удельный вес, чем вода, и показал вам, что такой человек не утонул бы, если бы не начал бить руками, высовывая их из воды, и не захлебывался бы, пытаясь вздохнуть, в результате чего

в его легкие вместо воздуха попадает вода. Но тело, «брошенное в реку вскоре после наступления смерти», рук не вскидывает и не захлебывается. Следовательно, в этом случае труп, как правило, вообще не утонет — факт, о котором «Этуаль», по-видимому, не осведомлена. Только когда разложение зайдет очень далеко, когда в значительной мере обнажатся кости, только тогда, но не ранее, он скроется под водой.

Так как же должны мы теперь оценивать довод, что найденный труп — это не труп Мари Роже, ибо он плыл по реке, хотя со времени исчезновения девушки прошло всего три дня? Если бы она утонула, то, будучи женщиной, могла вообще не пойти ко дну, а если и пошла, то ее тело могло всплыть меньше чем через сутки. Но ведь никто не высказывает предположения, будто она утонула, а раз ее бросили в воду уже мертвой, тот факт, что тело плыло по реке, ни о каком сроке не говорит: оно и не должно было опускаться на дно.

Но, утверждает «Этуаль», «если изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Здесь в первый момент трудно распознать, куда клонит автор. На самом же деле он хочет предвосхитить возможное возражение против его теории — а именно, что тело оставили лежать двое суток на берегу, где оно разлагалось быстро, быстрее, чем под водой. Он предполагает, что в этом случае оно могло бы всплыть уже в среду, и считает, что всплыть оно могло только при подобных обстоятельствах. А поэтому он торопится показать, что на берегу его не оставляли, ибо тогда «в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Полагаю, ваша улыбка вызвана столь неожиданной причинной связью. Вам непонятно, каким образом одна лишь длительность пребывания трупа на берегу могла способствовать умножению следов, оставленных убийцами. Непонятно это и мне.

«И далее, весьма маловероятно, — продолжает наша газета, — чтобы злодеи, совершившие убийство вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило

бы никакого труда». Заметьте, какая смехотворная путаница мыслей! Никто — ни даже «Этуаль» — не оспаривает, что женщина, чей труп был извлечен из Сены, была убита. Признаки насильственной смерти слишком уж очевидны. Наш автор ставит себе всего лишь одну цель: убедить читателей, что эта убитая не Мари. Он стремится доказать не то, что не была убита женщина, чей труп найден, а что не была убита Мари. Однако этот его довод может служить только доказательством первого. Перед нами труп, к которому не привязано никакого груза. Убийцы, бросая его в воду, обязательно привязали бы к нему груз. Отсюда следует, что убийцы его в воду не бросали. Больше ничего подобный аргумент не доказывает, если он вообще что-либо доказывает. Вопрос о личности убитой даже не затрагивается, а «Этуаль» пускается тут в сложные рассуждения всего лишь для того, чтобы опровергнуть собственное признание, которое было сделано несколькими строчками выше: «Мы твердо убеждены, — говорится в них, — что найденное тело — несомненно, труп убитой женщины».

И это отнюдь не единственный случай, когда наш автор невольно опровергает сам себя даже только в этой части своих рассуждений. Он, как я уже говорил, несомненно, ставит себе целью елико возможно сократить промежуток между исчезновением Мари и обнаружением трупа. Тем не менее он настойчиво подчеркивает, что с той минуты, когда девушка вышла из материнского дома, ее никто не видел. «Итак, — говорит он, — мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня». Поскольку его довод явно *ex-parte*, ему следовало бы по меньшей мере вовсе не упоминать об этом обстоятельстве, так как вышеупомянутый промежуток заметно сократился бы, если бы кто-нибудь видел Мари в понедельник или, например, во вторник, и, согласно его собственным рассуждениям, вероятность того, что был найден труп именно красавицы гризетки, заметно уменьшилось бы. Очень забавно наблюдать, как «Этуаль» настойчиво обращает внимание своих читателей на эту подробность в глубо-

кой уверенности, что таким образом она подкрепляет общий ход своих рассуждений.

Теперь перечитайте ту часть статьи, где рассказывается о том, как труп был опознан Бове. В вопросе о волосках «Этуаль» проявила большую неуклюжесть. Мосье Бове, не будучи идиотом, при опознании трупа вряд ли привел бы в качестве доказательства просто волоски на руке. Волоски есть на любой руке. Неопределенность выражения, употребленного «Этуаль», искажает слова свидетеля. Он, без сомнения, указал на какое-то своеобразие этих волосков — особый цвет, густоту, длину или расположение.

«Ее нога, — пишет газета, — была маленькой, как и тысячи других женских ног. Ее подвязка не может служить серьезным доказательством, как и ботинки, — ведь ботинки и подвязки продаются тысячами одинаковых пар. То же можно сказать о цветах на ее шляпе. Мосье Бове особенно упирает на то, что застежка на подвязке переставлена. Это просто ничего не значит, так как женщины почти всегда предпочитают, купив подвязки, затем подогнать их дома, нежели примерять подвязки в лавке перед покупкой». Трудно предположить, что автор утверждает это серьезно. Если бы мосье Бове, разыскивая Мари, нашел труп женщины, сложением и внешностью схожей с исчезнувшей девушкой, он имел бы все основания (вообще не рассматривая одежды) счесть, что его поиски увенчались успехом. А если, кроме общего сходства, он обнаружил бы на руке умершей те своеобразные волоски, которые видел на руке Мари, его уверенность с полным правом могла бы возрасти в степени, прямо пропорциональной необычности этой приметы. Если ноги Мари были маленькими и ноги трупа — тоже, уверенность в том, что это труп именно Мари, возросла бы не в арифметической, но в геометрической прогрессии. Добавьте ко всему этому ботинки, такие же, какие были на ней в день исчезновения, и пусть даже эти ботинки «продаются тысячами одинаковых пар», вы доведете вероятность уже почти до степени абсолютной несомненности. То, что само по себе не является точной приметой, теперь благодаря своему месту в целом ряду других признаков становится почти неопровержимым

доказательством. Добавьте еще цветы на шляпе, такие же, какие носила исчезнувшая девушка, и опознание можно считать полным. Достаточно было бы и одного цветка. Но что, если их два, или три, или больше? Каждый из них не просто дополняет нашу уверенность, но стократ ее умножает. А теперь обнаружим на покойнице такие же подвязки, какие носила живая девушка, — и всякие дальнейшие поиски становятся просто нелепыми. Но оказывается, застёжки на этих подвязках были переставлены, чтобы подогнать их по ноге, — точно так, как Мари затянула свои подвязки незадолго до ухода. После этого сомневаться может только сумасшедший или лицемер. Эластичная природа подвязок уже указывает на необычность такой перестановки застёжки. Если предмет способен укорачиваться сам, то дополнительное его укорачивание по необходимости не может не быть редким. То, что подвязки Мари потребовали такой переделки, было случайностью в самом строгом смысле слова. Одних этих подвязок было бы вполне достаточно, чтобы точно установить ее личность. Но ведь на трупе не просто нашли подвязки исчезнувшей девушки, или ее ботинки, или ее шляпку, или цветы с ее шляпки, не просто оказалось, что ноги убитой такие же маленькие, или что у нее такие же волосы на руке, или что она напоминает Мари сложением и внешностью, — нет, труп имел все эти приметы до единой. Если бы удалось доказать, что редактор «Этуаль» при таких обстоятельствах все же продолжает искренне сомневаться в личности убитой, его можно было бы объявить сумасшедшим и без заключения медицинской комиссии. Он решил, что будет очень хитро с его стороны прибегнуть к профессиональному языку адвокатов, которые по большей части удовлетворяются повторением прямолинейных юридических понятий. Кстати, многое из того, что суды отказываются считать доказательствами, является для острого ума наиболее убедительным доказательством. Ибо суд руководствуется общими принципами, определяющими, что составляет доказательство, а что — нет, то есть руководствуется признанными, записанными в кодексах принципами и не склонен отступать от них в конкретных случаях. Несомненно, такое неуклонное следование принци-

пу и полное игнорирование противоречащих ему исключений в конечном счете представляет собой верный способ обнаружения максимума поддающейся обнаружению истины. Следовательно, в целом такая практика вполне философически оправдана, однако верно и то, что она приводит ко множеству индивидуальных ошибок¹.

Что касается инсинуаций, направленных против Бове, вы, конечно, отбросите их без долгих размышлений. Истинный характер этого господина вам, разумеется, уже ясен. Это романтичный и не очень умный любитель совать нос в чужие дела. Каждый человек подобного типа в действительно серьезных случаях обычно ведет себя так, что вызывает подозрение у излишне проницательных или нерасположенных к нему людей. Мосье Бове (как вытекает из ваших замечаний) имел личную беседу с редактором «Этуаль» и задел его самолюбие, настаивая на том, что труп, вопреки теории редактора, все-таки и без всяких сомнений труп Мари Роже. «Он, — говорит газета, — упрямо утверждает, что это — труп Мари, но не может сослаться в подтверждение ни на какие более убедительные для других приметы, кроме тех, которые мы уже обсудили». Не возвращаясь к вопросу о том, что «более убедительные для других приметы» найти вообще невозможно, надо указать на следующее: в подобного рода делах человек вполне может быть твердо убежден сам и в то же время не располагать никакими доводами, убедительными для других. Впечатление, которое вы храните о личности того или иного человека, очень трудно поддается определению. Каждый человек узнает своих знакомых, но весьма редко кто бывает способен логически объяснить, каким образом он их узнает. Редактор «Этуаль»

¹ «Теория, опирающаяся на качества какого-либо предмета, препятствует тому, чтобы он раскрывался согласно его целям; а тот, кто располагает явления, исходя из их причин, перестает оценивать их согласно их результатам. Посему юриспруденция любой страны показывает, что закон, едва он становится наукой и системой, перестает быть правосудием. Нетрудно убедиться в ошибках, к которым слепая преданность принципу классификации приводила обычное право, проследив, как часто законодательным органам приходилось вмешиваться и восстанавливать справедливость, которую оно успевало утратить» (Лендор). (Прим. авт.)

не имеет права обижаться на мосье Бове за его нерассуждающую уверенность.

Связанные с ним подозрительные обстоятельства куда легче объяснить, исходя из моего представления о нем как о романтическом любителе совать нос в чужие дела, чем из виновности, которую обвиняком пытаются ему приписать автор статьи. Если мы будем исходить из более милосердного предположения, то легко поймем и розу в замочной скважине, и «Мари» на грифельной доске, и «оттирание в сторону родственников мужского пола», и нежелание, чтобы они увидели труп, и предостережение, с которым он обратился к мадам Б., указывая, что ей не следует ничего говорить жандарму до его (Бове) возвращения, и, наконец, его твердую решимость «не позволять никому другому принимать участие в расследовании». Мне представляется безусловным, что Бове был поклонником Мари, что она с ним кокетничала и что он стремился внушить всем, будто пользуется ее особым доверием и расположением. Больше я ничего об этом говорить не стану, а поскольку факты полностью опровергают утверждение «Этуаль» относительно равнодушия матери Мари и других ее родственников — равнодушия, которое ставило бы под сомнение искренность их убеждения, что найден действительно труп Мари, — мы будем далее исходить из того, что вопрос об установлении личности убитой разрешен к полному нашему удовлетворению.

— А что вы думаете, — спросил я, — о предположениях «Коммерсьель»?

— Я думаю, что по своему духу они заслуживают значительно большего внимания, чем все прочие мнения, высказанные об этом деле. Выводы из предпосылок философски верны и остроумны, однако по меньшей мере в двух случаях предпосылки опираются на неточные наблюдения. «Коммерсьель» дает понять, что Мари неподалеку от дома ее матери схватила шайка негодяев. «Невозможно предположить, — настаивает газета, — чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала». Такую мысль мог высказать лишь мужчина, коренной парижанин, видный член общества, который, как правило, ходит только по определенным улицам

в деловой части города. Он по опыту знает, что ему редко удастся пройти пять кварталов от своей конторы без того, чтобы его кто-нибудь не узнал и не заговорил с ним. Он знает обширность своих знакомств и, сравнивая собственную известность с известностью продавщицы из парфюмерной лавки, не обнаруживает существенной разницы, а потому тут же приходит к заключению, что и ее на улице должны узнавать не реже, чем его. Но так могло бы быть, только если бы она, подобно ему, ходила одним и тем же неизменным путем в пределах четко ограниченной части города. Он проходит туда и обратно в определенные часы, и его маршрут пролегает по улицам, где ему на каждом шагу встречаются люди, интересующиеся им из-за общности их занятий. Мари же в своих прогулках вряд ли придерживалась какого-либо определенного маршрута. А в данном случае наиболее вероятным будет предположение, что она избрала путь, как можно более отличавшийся от обычных. Сопоставление, которое, как мы полагаем, подразумевала «Коммерсьель», оказалось бы справедливым, только если бы два сопоставляемых индивида прошли через весь город. В этом случае, при условии равной обширности круга их знакомств, были бы равны и их шансы на равное число встреч со знающими их людьми. Я же считаю не только возможным, но и гораздо более вероятным, что Мари могла в любое заданное время проследовать по какому-либо из многочисленных путей, соединяющих ее жилище и жилище ее тетки, не встретив ни единого человека, который был бы ей известен или которому была бы известна она. Рассматривая этот вопрос наиболее полно и правильно, мы должны все время помнить о колоссальном несоответствии между кругом знакомств даже самого известного парижанина и всем населением Парижа.

Если предположение «Коммерсьель» тем не менее еще сохраняет некоторую силу, нам следует вспомнить час, в который Мари вышла из дома. «И она вышла из дома в час, — утверждает «Коммерсьель», — когда улицы были полны народа». Однако дело обстояло по-другому. Это произошло в девять часов утра. Действительно, в девять часов утра улицы бывают полны народа

в любой день недели, кроме воскресенья. В воскресенье же в девять часов утра горожане обычно бывают дома, собираясь идти в церковь. Любой наблюдательный человек, несомненно, замечал особую пустынность городских улиц в воскресное утро с восьми до десяти часов. Между десятью и одиннадцатью часами их действительно заполняют прохожие, но не ранее, не в час, о котором идет речь.

Наблюдательность изменила «Коммерсьель» и в другом случае. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки, — указывает газета, — был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут. Из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Прodelано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками». Насколько это предположение основательно само по себе, мы рассмотрим позже, но во всяком случае под «субъектами, не располагающими носовыми платками», автор подразумевает бродяг самого низшего разбора. Однако именно у них всегда бывают платки, даже у тех, у кого и рубашки нет. Вероятно, вы заметили, что за последние годы платки превратились в обязательную принадлежность всего городского отребья.

— А как следует оценить статью в «Солей»? — спросил я.

— Очень жаль, что ее сочинитель не родился попугаем — в этом случае он, несомненно, стал бы самым знаменитым попугаем на свете. Он всего-навсего повторяет отдельные положения из того, что уже было высказано кем-то другим, разыскивая их с похвальным трудолюбием на страницах чужих газет. «Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель, и не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено». Факты, которые тут вновь перечисляет «Солей», моих сомнений отнюдь не рассеивают, и подробнее мы о них поговорим позднее, в связи с еще одним аспектом этой темы.

А пока нам следует заняться другими вопросами. Вы, несомненно, обратили внимание на чрезвычайную небрежность осмотра трупа. Да, конечно, личность



убитой была установлена достаточно быстро, но многое осталось невыясненным. Был ли труп ограблен? Надела ли убитая, выходя из дому, какие-нибудь дорогие украшения? А если да, то были ли они найдены на ее теле? На эти весьма важные вопросы материалы расследования не дают никакого ответа, без внимания остались и другие, столь же существенные моменты. Мы должны попробовать сами восполнить эти пробелы. Необходимо заново рассмотреть роль Сент-Эсташа. У меня нет против него никаких подозрений, но нам следует действовать систематически. Мы придирчиво проверим его письменное показание о том, где и когда он был в то воскресенье. Такого рода показания нередко оказываются весьма ненадежными. Но если мы не обнаружим в них никаких противоречий, то больше Сент-Эташем заниматься не будем. Однако его самоубийство, хотя оно и усугубило бы подозрения против него в случае, если бы нам удалось доказать лживость этих показаний, вполне объяснимо, если они верны, а потому из-за него нам незачем изменять обычные методы анализа.

Я предполагаю пока не заниматься непосредственно самым трагическим событием, а сосредоточить наше внимание на предшествовавших и сопутствовавших ему обстоятельствах. Одна из частых и отнюдь не наименьших ошибок подобного рода расследования заключается в том, что расследуется только самый факт, а все опосредствованно или косвенно с ним связанное полностью игнорируется. Суды совершают значительный промах, ограничивая рассмотрение улик и свидетельских показаний лишь теми, связь которых с делом представляется непосредственной и очевидной. Однако, как не раз показывал прошлый опыт и как всегда покажет истинная философия, значительная, если не подавляющая, часть истины раскрывается через обстоятельства, на первый взгляд совершенно посторонние. Именно дух, если не буква этого принципа, лежит в основе решимости современной науки опираться на непредвиденное. Но, возможно, вам непонятны мои слова. История накопления человеческих знаний непрерывно доказывает одно: наибольшим числом самых ценных открытий мы обязаны сопутствующим, случай-

ным или непредвиденным обстоятельствам, а потому в конце концов при обзоре перспектив на будущее стало необходимым отводить не просто большое, но самое большое место будущим изобретениям, которые возникнут благодаря случайности и вне пределов предполагаемого и ожидаемого. Теперь стало несовместимым с философией строить прогнозы грядущего, исходя только из того, что уже было. Случай составляет признанную часть таких построений. Мы превращаем случайность в предмет точных исчислений. Мы подчиняем непредвиденное и невообразимое научным математическим формулам.

Как я уже говорил, наибольшая часть истины была открыта благодаря побочным обстоятельствам и в соответствии с духом принципа, стоящего за этим фактом, я в данном случае перенесу расследование с истоптанной и до сей поры неплодородной почвы самого события на обстоятельства, ему сопутствовавшие. Вы будете проверять истинность показаний, подтверждающих, где и когда был в то воскресенье Сент-Эташ, а я тем временем проштудирую газеты не столь целенаправленно, как сделали это вы. Пока мы лишь произвели предварительную разведку, но будет весьма странно, если широкое ознакомление с прессой, которое я намерен предпринять, не откроет какие-нибудь второстепенные подробности, которые, в свою очередь, подскажут нам, в каком направлении надо вести расследование.

Выполняя поручение Дюпена, я скрупулезно изучил вышеупомянутые показания и убедился в их истинности, а следовательно, и в невинности Сент-Эташа. Тем временем мой друг с тщанием, которое представлялось мне совершенно излишним, просматривал одну газетную подшивку за другой. Через неделю он положил передо мной следующие выдержки:

«Примерно три с половиной года назад волнение, весьма напоминающее нынешнее, было вызвано исчезновением той же самой Мари Роже из парфюмерной лавки мосье Леблана в Пале-Рояль. Однако неделю спустя она вновь появилась за своим прилавком, живая и невредимая, хотя, правда, чуть более бледная, чем

прежде. Мосье Леблан и ее мать заявили, что она просто уезжала к какой-то подруге в деревню, и дело быстро замяли. Мы полагаем, что и нынешнее исчезновение вызвано сходной причиной и что по истечении недели или, быть может, месяца мы снова увидим ее среди нас».

(«Вечерняя газета»¹, понедельник, 23 июня.)

«Одна из вечерних газет сослалась вчера на первое таинственное исчезновение мадемуазель Роже. Известно, что ту неделю, пока ее не было в лавке мосье Леблана, она провела в обществе молодого морского офицера, имеющего репутацию кутилы и повесы. Полагают, что вследствие ссоры она, к счастью, вернулась домой вовремя. Нам известно имя этого Лотарио, находящегося в настоящее время в Париже, но по понятным причинам мы не предаем его гласности».

(«Меркюри»², вторник, 24 июня, утренний выпуск.)

«Позавчера в окрестностях нашего города было совершено возмутительнейшее преступление. Некий господин в сумерках нанял шестерых молодых людей, которые катались на лодке по Сене, перевезти его с женой и дочерью через реку. Когда лодка причалила к противоположному берегу, трое пассажиров высадились и успели отойти на такое расстояние, что река скрылась из виду, но тут дочь заметила, что забыла в лодке зонтик. Она вернулась за ним, но негодяи схватили ее, заткнули ей рот кляпом, вывезли на середину реки, учинили над ней зверское насилие и в конце концов высадили на берег примерно там же, где она вошла в лодку со своими родителями. Преступники скрылись, но полиция напала на их след, и кое-кто из них скоро будет арестован».

(«Утренняя газета»³, 25 июня.)

«Мы получили несколько писем, цель которых — доказать, что виновником недавнего зверского

¹ Нью-йоркская «Экспресс».

² Нью-йоркская «Геральд».

³ Нью-йоркская «Курьер энд инквайрер».

преступления был Менэ¹, но поскольку после официального расследования он был полностью оправдан, а доводы этих наших корреспондентов продиктованы более желанием обнаружить преступника, нежели фактами, мы не считаем возможным опубликовать их».

(«Утренняя газета», 28 июня.)

«Мы получили несколько гневных писем, по-видимому, принадлежащих перу разных лиц, которые дышат уверенностью, что злополучная Мари Роже стала жертвой одной из многочисленных бандитских шайек, которые по воскресеньям наводняют окрестности города. Это предположение полностью соответствует нашему собственному мнению. Несколько позже мы попробуем найти место для некоторых из этих писем на наших страницах».

(«Вечерняя газета»², вторник, 30 июня.)

«В понедельник один из лодочников, служащих в налоговом управлении, заметил пустую лодку, плывущую вниз по Сене. Паруса лежали свернутыми на дне лодки. Лодочник отбуксировал ее к своей пристани. На следующее утро ее забрали оттуда без ведома местного начальства. Ее руль находится в конторе пристани».

(«Дилижанс»³, вторник, 26 июня.)

Я прочел эти разнообразные выдержки, и они не только показались мне совершенно не связанными между собой, но я не мог вообразить, какое отношение они имели к делу, которым мы занимались. И я стал ждать объяснения Дюпена.

— Пока, — сказал он, — я не намерен останавливаться на первой и второй вырезках. Я дал их вам главным образом для того, чтобы показать всю степень непростительной небрежности нашей полиции, которая, насколько я понял из слов префекта, даже не потруди-

¹ Менэ был одним из тех, кого вначале арестовали по подозрению, но затем отпустили за полным отсутствием улик.

² «Нью-Йорк ивнинг пост».

³ Нью-йоркская «Стандард».

лась хотя бы навести справки об этом морском офицере. А ведь утверждать, что между первым и вторым исчезновением Мари невозможно хотя бы предположительно усмотреть никакой связи, по меньшей мере глупо. Допустим, что первое бегство из дома закончилось ссорой и обманутая девушка вернулась к матери. Теперь мы готовы рассмотреть второе бегство (если нам известно, что это именно бегство) скорее как свидетельство того, что обманщик возобновил свои ухаживания, чем как результат новых предложений кого-то еще, — нам легче счесть возобновлением старого романа после примерения, чем началом нового. Десять шансов против одного, что прежний возлюбленный, однажды уже уговоривший Мари бежать с ним, уговорил ее снова, а не нашелся кто-то другой, кто обратился к ней с таким же предложением. И тут разрешите мне привлечь ваше внимание к тому факту, что время, миновавшее между первым, несомненным, бегством, и вторым, предполагаемым, лишь на несколько месяцев превышает обычный срок дальнего плавания наших военных кораблей. Быть может, соблазнитель в первый раз не сумел привести в исполнение свое низкое намерение, так как должен был уйти в море, и, едва вернувшись, вновь приступил к осуществлению своего незавершенного гнусного плана — во всяком случае, не завершенного им самим? Об этом нам ничего не известно.

Однако вы возразите, что во втором случае бегства с любовником не было. Безусловно так — но возьмемся ли мы утверждать, что оно и не предполагалось? Кроме Сент-Эсташа и, быть может, Бове, у Мари, насколько нам известно, не было признанных поклонников, ухаживающих за ней открыто и с честными намерениями. Ни о ком другом мы не находим никаких упоминаний. Так кто же этот тайный возлюбленный, о котором родственники (во всяком случае, большинство из них) не знают ничего, но с которым Мари встречается утром в воскресенье и которому она так доверяет, что без опасения остается в его обществе до тех пор, пока вечерний сумрак не окутывает пустынные рощи неподалеку от заставы Дюруль? Кто этот тайный возлю-

бленный, спрашиваю я, о ком, во всяком случае, большинство родственников ничего не знает? И что означает странное пророчество мадам Роже, произнесенное утром в воскресенье после ухода Мари? Это ее «боюсь, я уже больше никогда не увижу Мари»?

Но если мы не можем вообразить, что мадам Роже знала о предполагаемом бегстве, то разве непозволительно будет допустить, что сама девушка такие планы строила? Уходя, она сказала, что идет навестить тетку, и попросила Сент-Эсташа зайти за ней вечером на улицу Дром. На первый взгляд это обстоятельство как будто опровергает мое предположение. Однако поразмыслим. Точно известно, что она с кем-то встретилась и что она отправилась с этим человеком за реку, оказавшись в окрестностях заставы Дюруль в три часа дня, то есть через несколько часов после ухода из дома. Но, согласившись отправиться туда с этим неизвестным (неважно, ради какой цели, с ведома или без ведома матери), Мари не могла не подумать о том, как она объяснит свой уход, а также об удивлении ее нареченного, Сент-Эсташа, и о подозрениях, которые его охватят, когда, явившись за ней в назначенный час на улицу Дром, он узнает, что она там даже не появлялась, а затем, воротившись в пансион с этой тревожной вестью, не найдет ее и там. Конечно, она не могла не подумать обо всем этом. Она должна была предвидеть отчаяние Сент-Эсташа и подозрения, которые ее исчезновение вызовет у всех. После такой эскапады ей было бы трудно вернуться домой, но мысль об этом не стала бы ее смущать, если, допустим, она с самого начала не собиралась возвращаться в дом матери.

Мы можем предположить, что она рассуждала примерно так: «Я должна встретиться с таким-то человеком, чтобы бежать с ним — или ради какой-то другой цели, известной мне одной. Надо устроить так, чтобы мне не помешали, надо выиграть время, чтобы избежать погони, а потом я скажу, что собираюсь провести день у тетушки на улице Дром, и попрошу Сент-Эсташа, чтобы он не заходил за мной, пока не стемнеет. Таким образом, до начала вечера мое отсутствие ни у кого не вызовет ни беспокойства, ни подозрений, и я

выиграю времени больше, чем любым другим способом. Если я попрошу Сент-Эсташа зайти за мной, когда стемнеет, он раньше туда не явится, но если я не скажу ему ничего, то выиграю времени гораздо меньше, так как меня будут ждать дома в более ранний час и мое отсутствие скорее вызовет тревогу. Если бы я собиралась вернуться — если бы я хотела только прогуляться с тем человеком, — то я не попросила бы Сент-Эсташа зайти за мной, поскольку в этом случае он наверняка узнал бы, что я его обманула, тогда как мне ничего не стоило бы скрыть от него это, если бы я ничего ему не сказала, вернулась бы домой до сумерек, а потом объявила бы, что была в гостях у тетушки на улице Дром. Но раз я вообще не намерена возвращаться — во всяком случае, не ранее чем через несколько недель или же только после принятия некоторых мер предосторожности, — мне следует думать лишь о том, как выиграть побольше времени, и ни о чем другом».

Как вы указываете в своих заметках, с самого начала общее мнение касательно этого печального происшествия склонялось к тому, что Мари Роже стала жертвой шайки хулиганов. Ну, а при определенных обстоятельствах общее мнение не следует игнорировать. Когда оно возникает само собой — когда оно появляется строго самопроизвольно, — его следует рассматривать как аналогию той интуиции, которой бывают наделены гениальные люди. И в девяноста девяти случаях из ста я соглашусь с ним. Но необходимо твердо знать, что оно никем и ничем не подсказано. Это мнение должно быть строго мнением самого общества, но такое различие часто бывает довольно трудно уловить и объяснить. В данном случае я вижу, что это «общее мнение» о шайке возникло из-за сходного случая, который подробно описан в третьем из моих извлечений. Весь Париж неистовствует из-за того, что найден труп Мари — молодой, красивой девушки, уже привлекавшей к себе внимание публики. На трупе обнаружены следы насилия, и он был вытащен из реки. Но тут же становится известно, что тогда же или примерно тогда же, когда была убита Мари Роже, другая девушка подверглась такому же надругательству, как и покойная, хо-

тя и с менее трагическими последствиями, попав в лапы шайки молодых негодяев. Стоит ли удивляться, что достоверные сведения о возмутительном преступлении подействовали на общественное мнение и в связи с другим преступлением, о котором ничего достоверного пока не известно? Общественное мнение искало виновных, и они были услужливо подсказаны ему обстоятельствами другой драмы! Ведь Мари нашли в реке — в той же самой, на которой разыгралась эта вторая драма. Связь этих двух событий на первый взгляд представляется абсолютно очевидной, и было бы поразительно, если бы публика не заметила этого сходства и не ухватилась за него. Однако в действительности подобное преступление скорее доказывает, что второе, совершенное примерно в то же время, носило совсем иной характер. Если бы оказалось, что пока одна шайка мерзавцев в таком-то месте совершала чрезвычайно редкое по гнусности преступление, еще одна такая же шайка в тех же окрестностях того же города при таких же обстоятельствах, прибегнув к таким же ухищрениям, творила точно такую же гнусность точно в то же время, — это вышло бы за пределы вероятного и могло бы называться чудом! А ведь общественное мнение, сложившееся под воздействием внушения, требует, чтобы мы поверили именно в эту невероятную цепь совпадений.

Прежде чем идти дальше, поговорим о предполагаемом месте убийства — о чаще неподалеку от заставы Дюруль. Эта чаща, хотя и густая, находится возле проезжей дороги. В ее глубине были найдены три-четыре больших камня, сложенные в виде сиденья со спинкой и подножкой. На верхнем камне была найдена белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Там же были обнаружены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была метка «Мари Роже». На ветках вокруг висели лоскутки платья. Земля была истоптана, кусты переломаны и повсюду виднелись признаки отчаянной борьбы.

Какую бы важность ни придавали газеты этим находкам, с каким бы единодушием ни было решено, что место преступления наконец обнаружено, тем не ме-

нее есть немало веских причин для сомнения. Я могу верить или не верить, что преступление был совершенно именно там, но существуют весьма веские причины для сомнения. Если бы, как предположила «Коммерсьель», преступление совершилось где-то неподалеку от улицы Паве-Сент-Андре, его участники, если они остались в Париже, естественно, пришли бы в ужас от того, что внимание публики оказалось направленным в верную сторону, и у людей определенного умственного склада немедленно возникло бы стремление что-то предпринять, чтобы отвлечь это внимание. А поскольку чаще у заставы Дюруль уже вызывала некоторые подозрения, это могло подсказать им мысль подбросить вещи девушки в то место, где они и были затем найдены. Вопреки убеждению «Солей» нет никаких реальных доказательств того, что вещи пролежали в чаще более трех-четырех дней, тогда как многие косвенные данные свидетельствуют, что они не могли бы остаться там незамеченными в течение тех двадцати суток, которые протекли между роковым воскресеньем и вечером, когда их обнаружили мальчики. «Под действием дождя, — утверждает «Солей», повторяя другие газеты, — они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг них выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк зонтика был толстым, но складки его склеились, а верхняя, сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда ее раскрыли, он весь расползся». Что касается травы, которая «выросла вокруг них», и стеблей, «кое-где проросших и сквозь них», то эти факты могли быть почерпнуты только из рассказа, а следовательно, из впечатлений двух маленьких мальчиков, так как эти мальчики унесли все найденные ими вещи домой и никто третий в чаще их не видел. Однако в такую теплую и влажную погоду, какая стояла со времени убийства, трава порой вырастает на два-три дюйма в сутки. Зонтик, положенный среди молодой травки, через неделю может быть уже полностью скрыт от взгляда ее вытянувшимися стеблями. Ну а плесень, на которую редактор «Солей» ссылается с таким упорством, что в двух-трех фразах, процитированных мной, он трижды ее упоминает, — не-

ужели этот господин и правда не знает, какова ее природа? Неужели ему надо объяснять, что это одна из разновидностей грибов, а грибам свойственно вырастать и сгнивать на протяжении двадцати четырех часов?

Таким образом, мы сразу видим, что наиболее торжественно преподносимое свидетельство пребывания этих вещей в чаше «не менее трех-четырёх недель» абсолютно ничем этого факта не доказывает. С другой стороны, очень трудно поверить, что эти вещи могли пролежать в указанной чаше дольше недели, то есть дольше, чем от одного воскресенья до другого. Людям, знакомым с окрестностями Парижа, хорошо известно, насколько трудно отыскать там укромное местечко — разве только в большом отдалении от предместьев. В этих лесках и рощах просто нельзя вообразить не только уединенного уголка, но даже такого, который посещался бы не очень часто. Пусть-ка любитель природы, прикованный своими обязанностями к пыли и жаре этой огромной столицы, пусть-ка такой человек попробует даже в будний день утолить свою жажду одиночества среди окружающих ее прелестных естественных пейзажей. Их очарование ежеминутно будет нарушаться голосом, а то и появлением какого-нибудь бродяги или же веселящейся компании городских обормотцев. И он тщетно будет искать уединения в гуще деревьев и кустов. Именно там собираются неумытые в наибольшем числе, именно эти храмы подвергаются наибольшему поруганию. И с тоской в сердце такой скиталец устремится назад, в оскверненный Париж, ибо в этом средоточии скверны она все же менее бросается в глаза. Но если окрестности города столь многолюдны в будние дни, насколько больше переполнены они народом в воскресенье! Именно тогда, освободившись на день от необходимости трудиться или же на тот же срок лишившись возможности совершать обычные преступления, подонки города устремляются за его черту не из любви к сельской природе, которую они в глубине души презирают, но чтобы освободиться от уз и запретов, налагаемых на них обществом. Их манят не столько чистый воздух и зелень деревьев, сколь-

ко отсутствие какого-либо надзора. Где-нибудь в придорожном трактире или под пологом лесной листвы, вдали от чужих глаз, они в компании собутыльников предаются тому, что сходит у них за веселье, — дикому разгулу, порождению безнаказанности и спиртных напитков. И повторяя, что в любой чаще под Парижем означенные вещи могли бы пролежать никем не замеченные дольше, чем от воскресенья до воскресенья, только если бы произошло чудо, я утверждаю лишь то, с чем не может не согласиться любой непредубежденный наблюдатель.

К тому же существует достаточно других оснований подозревать, что вещи эти были подброшены в чащу у заставы с целью отвлечь внимание от настоящего места преступления. И в первую очередь я хотел бы, чтобы вы заметили, какого числа были найдены вещи. Сопоставьте это число с числом, которым помечено мое пятое извлечение из газет. Вы обнаружите, что открытие это последовало почти немедленно за сообщением вечерней газеты о полученных ею «гневных письмах». Эти письма, различавшиеся по содержанию и, по-видимому, исходявшие от разных лиц, все клонили к одному и тому же, а именно — называли виновниками преступления шайку негодяев и указывали на заставу Дюруль как на место, где оно было совершено. Разумеется, никак нельзя считать, что мальчики отправились в чащу и отыскиали там вещи Мари Роже вследствие этих писем и того внимания, которое они к себе привлекли; однако может представляться и представляется вполне вероятным, что мальчики не отыскиали этих вещей раньше, так как раньше этих вещей в чаще не было, и что их оставили там, только когда газета сообщила о письмах (или же незадолго до этого), сами же виновные авторы указанных писем.

Эта чаща — очень своеобразная чаща, весьма и весьма своеобразная. Она чрезвычайно густа. А внутри между стенами кустов находятся необычные камни, образующие сиденье со спинкой и подножкой. И эта-то чаща, такая необычная, находилась совсем рядом, всего в нескольких сотнях шагов от жилища мадам Дюлюк, чьи сыновья имели обыкновение обшаривать все сосед-

ние кусты, собирая кору сассафраса¹. Можно ли будет назвать неразумным пари, если я поставлю тысячу франков против одного, что не проходило дня, чтобы хотя бы один из этих мальчуганов не забирался в тенистую естественную беседку и не восседал на каменном троне? Те, кто откажутся предложить такое пари, либо никогда сами не были мальчиками, либо забыли свое детство. И я повторяю: почти невозможно понять, как эти вещи могли бы пролежать в чаще больше двух дней и остаться незамеченными; а поэтому есть достаточно оснований заподозрить, что, вопреки дидактичному невежеству «Солей», они были подброшены туда, где их нашли, относительно недавно.

Однако существуют еще более веские основания полагать, что их именно подбросили, — куда более веские, чем все, о чем я упоминал до сих пор. Позвольте мне теперь указать вам на чрезвычайно искусственное расположение вещей. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф, а вокруг были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с меткой «Мари Роже». Именно такое расположение им, естественно, придал бы не слишком умный человек, желая разбросать эти вещи естественно. На самом же деле это выглядит далеко не естественно. Было бы уместнее, если бы все они валялись на земле и были бы истоптаны. В тесноте этой полянки юбка и шарф едва ли остались бы лежать на камнях, если там шла какая-то борьба, — их обязательно смахнули бы на землю. «Земля была утоптана, кусты поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе», — утверждает газета, однако юбка и шарф были аккуратно разложены, словно на полках. «Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину — шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой. Они выглядели так, словно были оторваны». Здесь «Солей» случайно употребила весьма подозрительный глагол. Действительно, судя по описанию, эти лоскутки кажутся оторванными — но сознательно, человеческой рукой. Лишь в чрезвычайно ред-

¹ С а с с а ф р а с — североамериканское «укропное дерево» из семейства лавровых; из корня добывается эфирное масло.

ких случаях колючка «отрывает» лоскут от подобной одежды. Эти ткани по самой своей природе таковы, что колючка или гвоздь, запутавшиеся в них, рвут их под прямым углом, образуя две перпендикулярные друг другу прорехи, сходящиеся там, где колючка вонзилась в ткань, но трудно вообразить «оторванный» таким способом лоскуток. Мне этого видеть не приходилось. Да и вам тоже. Для того, чтобы оторвать лоскуток такой ткани, необходимо почти в любом случае приложить две отдельные силы, действующие в разных направлениях. Если ткань имеет два края — если, например, вы захотите оторвать полоску от носового платка, — тогда и только тогда достаточно будет приложения одной силы. Но в данном случае речь идет о платье, имеющем один край. Чтобы колючки вырвали лоскут где-то выше, где нет краев, необходимо чудо, а одна колючка вообще этого сделать не может. Но даже и у нижнего края для этого требуется не меньше двух колючек, причем они должны действовать в двух сильно различающихся направлениях. Но и это относится лишь к неподрубленному краю ткани. Если же он подрублен, то опять-таки ничего подобного произойти не может. Итак, мы видим, сколько существует серьезных, почти непреодолимых препятствий к тому, чтобы лоскуток был «вырван» просто «колючками», а нас просят поверить, что было вырвано несколько лоскутков! Причем «один оказался куском нижней оборки»! А второй «был вырван из юбки гораздо выше оборки», то есть колючки не оторвали его от края, а вырвали из внутренней части ткани! Да, человека, отказывающегося поверить в это, вполне можно извинить, но, взятые в целом, эти улики все же дают, пожалуй, меньше оснований для подозрения, чем одно-единственное поразительное обстоятельство, а именно — тот факт, что вещи вообще были оставлены среди кустов убийцами, у которых хватило хладнокровия унести труп. Однако вы поймете меня неверно, если предположите, будто моя цель — доказать, что преступление не было совершено в этой чаще. Оно могло произойти там, или же, что вероятнее, какая-то несчастная случайность привела к нему под кровлей мадам Дюлюк, но этот

факт имеет второстепенное значение. Мы пытаемся установить, не где было совершено убийство, а кто его совершил. Мои рассуждения, несмотря на их обстоятельность, имели только целью, во-первых, показать всю нелепость решительных и опрометчивых выводов «Солей», и во-вторых, что гораздо важнее, наиболее естественным путем подвести вас к вопросу о том, было ли убийство совершено шайкой, или нет.

Мы возобновим рассмотрение этого вопроса, кратко коснувшись отвратительных подробностей, сообщенных полицейским врачом на следствии. Достаточно сказать, что его опубликованное заключение, касающееся числа преступников, вызвало заслуженные насмешки всех видных анатомов Парижа, как неверное и абсолютно безосновательное. Конечно, он не предположил ничего невозможного, но никаких реальных оснований для такого предположения у него не было. Однако нельзя ли найти достаточных оснований для какого-нибудь другого предположения?

Займемся теперь «следами отчаянной борьбы». Позвольте мне спросить, свидетельством чего были сочтены эти следы? Свидетельством присутствия шайки. Но разве на самом деле они не свидетельствуют совсем об обратном? Какая борьба могла завязаться — какая борьба, настолько яростная и длительная, что она оставила «следы» повсюду, — между слабой беззащитной девушкой и предполагаемой шайкой негодяев? Да они просто схватили бы ее, и все было бы кончено в одно мгновение и без всякого шума. У жертвы не хватило бы сил вырваться из их грубых рук, и она оказалась бы в полной их власти. Но помните одно: доводы против того, что местом преступления является именно эта чаща, в подавляющем большинстве справедливы, только если считать, что преступников было несколько. Если же предположить, что насильник был один, то тогда — и только тогда — можно представить себе такую яростную и упорную борьбу, которая оставила бы пресловутые «следы».

И еще одно. Я уже упомянул, насколько подозрительным представляется тот факт, что вещи вообще были оставлены там, где их нашли. Почти невозможно

вообразить, что их случайно забыли в чаще. У преступников достало хладнокровия (так по крайней мере считается) унести труп, и тем не менее улики куда более очевидные, чем сам труп (который мог вскоре быть изуродован разложением до неузнаваемости), оставляются на месте преступления — я имею в виду носовой платок с именем и фамилией убитой. Если это произошло случайно, то такая случайность исключает шайку. Она могла произойти, только если преступник был один. Будем рассуждать. Человек совершил убийство. Он стоит один перед трупом своей жертвы. Он испытывает глубокий ужас, глядя на неподвижное тело. Бурная вспышка страстей угасла, и его сердцем овладевает естественный страх перед содеянным. Его не подбадривает присутствие сообщников. Он здесь один с убитой. Он трепещет и не знает, как поступить. Но труп необходимо как-то скрыть. Он тащит мертвое тело к реке и оставляет в чаще другие свидетельства своей вины, так как унести все сразу было бы очень трудно или даже вообще невозможно, но он полагает, что вернуться за остальным будет легко. Однако, пока он пробирается к реке, его страх удесятеряется. Со всех сторон до него доносятся звуки, свидетельствующие о близости людей. Много раз он слышит — или ему чудится, что он слышит, — шаги непрошеного свидетеля. Даже огни города пугают его. Но вот после долгих, исполненных ужаса остановок он достигает реки и избавляется от своей жуткой ноши — быть может, воспользовавшись для этого лодкой. Но какой страх перед воздаянием может понудить одинокого убийцу вернуться теперь по трудной и опасной тропе в чаще, полную ужасных воспоминаний? Ни за какие сокровища мира он не решится пойти туда еще раз, чем бы это ему ни грозило. Он не мог бы вернуться, даже если бы хотел. Сейчас он думает только об одном: бежать отсюда, бежать как можно скорее. Он навсегда поворачивается спиной к этим страшным кустам и обращается в паническое бегство.

Ну, а если бы там действовала шайка? Их многочисленность придала бы им уверенности — закоренелым негодяям ее вообще не занимать стать. Подобные же

шайки составляются именно из закоренелых негодяев. Их многочисленность, повторяю я, избавила бы их от растерянности и слепого ужаса, парализующего рассудок одинокого убийцы, о котором я говорил. Если бы не спохватился первый, второй, даже третий из них, четвертый исправил бы их промах. Они ничего не оставили бы в кустах, потому что легко могли бы унести все сразу. Возвращаться им не было бы нужды.

Теперь вспомните, что из верхней юбки, надетой на трупе, была вырвана от подола к талии «полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом». Сделано это было, несомненно, для того, чтобы облегчить переноску трупа. Но зачем нескольким мужчинам могло понадобиться такое приспособление? Троим-четверым было бы проще и удобнее нести тело за руки и за ноги. Такая «ручка» могла понадобиться только человеку, которому предстояло перетаскивать тело одному, а это подводит нас к тому обстоятельству, что «в изгородях, находившихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве указывали, что тут волочили что-то тяжелое». Но неужели несколько мужчин стали бы ломать изгородь, чтобы протащить сквозь нее труп, когда им ничего не стоило бы в одно мгновение перекинуть его через любую ограду? Неужели несколько мужчин стали бы волочить тело по земле, оставляя следы-улики?

И тут нам следует обратиться к одному из замечаний «Коммерсьель», о котором я уже говорил. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под подбородком, и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Я уже указывал, что бродяги, воры и другие темные личности всегда имеют при себе носовой платок. Но теперь меня интересует другое. Платок, брошенный в чащу, неопровержимо доказывает, что не отсутствие

носового платка побудило бы преступника воспользоваться этой повязкой для цели, которую ему приписала «Коммерсьель»; и предназначалась повязка отнюдь не для того, чтобы «помешать ей кричать» — для этого ведь он располагал гораздо более надежным средством. Однако в протоколе осмотра трупа говорится о полосе муслина, «свободно обернутой вокруг шеи и завязанной неподвижным узлом». Это довольно неопределенное описание, но оно существенно отличается от того, что мы находим в «Коммерсьель». Полоса шириной в восемнадцать дюймов, пусть даже муслиновая, представляет собой довольно крепкую веревку, если скрутить ее в продольном направлении. А она была скручена именно так. Я делаю из этого следующий вывод: одинокий убийца протащил труп несколько десятков шагов (в чаще у заставы или в другом месте — значения не имеет), держа его на весу за повязку, закрепленную скользящим узлом на талии жертвы, но обнаружил, что такая ноша слишком тяжела для него. Он решил дальше волочить ее — следы на земле свидетельствуют, что труп именно волочили. Для этого необходимо привязать веревку к шее жертвы или к ее ногам. Шея представляется ему более удобной, так как подбородок не даст веревке соскользнуть. Тут убийца, несомненно, подумал о повязке, уже охватывающей пояс жертвы. Но, чтобы воспользоваться ею, надо распутать скользящий узел, размотать ее и оторвать от корсажа. Проще оторвать еще одну такую полосу ткани от нижней юбки. Он отрывает такую полосу, завязывает ее на шее мертвой девушки и волочит свою жертву к реке. Тот факт, что была использована «повязка», которую можно было изготовить только ценою определенных усилий и задержки, причем она довольно плохо отвечала своему назначению, ясно показывает, что прибегнуть к ней пришлось под давлением каких-то обстоятельств в тот момент, когда носового платка рядом уже не было, то есть, как мы уже предположили, когда убийца выбрался из чащи (если все произошло именно там) и находился на полпути между чащей и рекой.

Однако, скажете вы, показания мадам Дюлюк (!) не оставляют никаких сомнений, что в час, когда было совершено убийство или примерно в этот час неподалеку от чащи бродила какая-то шайка. Да, конечно. Вполне возможно, что в момент трагедии или примерно в то же время неподалеку от заставы Дюруль шлялось даже полдесятка шаек вроде описанной мадам Дюлюк. Но шайка, привлекавшая к себе особое внимание благодаря довольно запоздалым и весьма подозрительным показаниям мадам Дюлюк, — это единственная шайка, которая, по словам этой честной и щепетильной дамы, ела ее пироги и пила ее пиво, не побеспокоившись заплатить за них. *Et hinc illae irae?*¹

Но что именно показала мадам Дюлюк? «В трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начинало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке».

Эта «большая спешка» могла представиться мадам Дюлюк особенно большой потому, что она оплакивала судьбу своих пирогов и пива и, возможно, все еще таила слабую надежду получить причитающиеся ей деньги. Иначе почему она с такой настойчивостью указывает на их «большую спешку», хотя уже начинало смеркаться? Неужели следует удивляться, что даже эта буйная компания спешила вернуться домой? Ведь собиралась гроза, приближалась ночь, а им еще предстояло переправиться через широкую реку в маленьких лодках.

Я говорю — «приближалась ночь», так как еще не стемнело. Ведь неприличная торопливость этих «хулиганов» оскорбила трезвый взор мадам Дюлюк, когда только-только начинало смеркаться. Однако нам сообщают, что в тот же самый вечер мадам Дюлюк и ее старший сын «слышали женские крики неподалеку от трактира». Какими же словами мадам Дюлюк обозначила тот час вечера, когда раздались эти крики? Она их услышала «после того, как совсем стемнело». Но «сов-

¹ Не отсюда ли этот гнев? (лат.)

сем стемнело» означает полную темноту, а «начинало смеркаться» подразумевает дневной свет. Следовательно, шайка покинула окрестности заставы Дюруль до того, как мадам Дюлюк услышала (?) крики. Но, хотя во всех сообщениях о показаниях мадам Дюлюк эти обозначения времени неизменно приводятся именно в тех словах, которые я повторил сейчас в беседе с вами, пока еще ни газеты, ни полицейские агенты не обратили внимания на грубое противоречие, которое в них содержится.

Я приведу еще только один довод против предположения, что в деле замешана шайка, но этот один довод, на мой взгляд, неопровержим. Раз за поимку преступников предложена большая награда и обещано полное прощение тому, кто их выдаст, среди членов такой шайки уж непременно нашелся бы предатель. Каждый член шайки, оказавшись в подобном положении, не столько думает о награде или о возможности избежать кары, сколько опасается предательства со стороны своих сообщников. Он торопится донести на них первым, чтобы другой не успел донести на него. И то, что тайна остается нераскрытой, вернее всего свидетельствует о том, что это — действительно тайна. Подробности этого гнусного преступления известны только одному человеку — или, в крайнем случае, двум людям — и богу.

Теперь подведем итоги скудных, но, во всяком случае, верных выводов из нашего долгого анализа. Он показал нам, что либо в трактире мадам Дюлюк произошел несчастный случай, либо в чаще у заставы Дюруль было совершено убийство, причем совершил его любовник покойной девушки или, во всяком случае, ее близкий и тайный знакомый. Про него мы знаем, что он — «смуглый» молодой человек. Эта смуглота, пресловутый «скользящий узел», а также «морской узел», которым были завязаны ленты шляпки, указывают на моряка. Его отношения с покойной — разбитной, но разборчивой девушкой — позволяют сделать вывод, что он не мог быть простым матросом. Это подтверждается и хорошо написанными гневными письмами, адресованными в газеты. Обстоятельство первого бегства,

упомянутые «Меркюри», заставляют связать этого моряка с тем «морским офицером», который, как известно, один раз уже увлек несчастную девушку на гибельный путь.

И здесь весьма уместно вспомнить о том, что этот смуглый молодой человек до сих пор никак не заявил о себе. Я немного отвлекусь и замечу, что он смугл до черноты — эта смуглость настолько необычна, что и Валанс, и мадам Дюлюк обратили внимание только на нее и никаких других его примет не указали. Но почему этот молодой человек исчез? Может быть, шайка его убила? Но в этом случае почему сохранились только следы убийства девушки? Естественно предположить, что убить их должны были бы в одном и том же месте. И где его труп? Убийцы скорее всего избавились бы от них обоим одинаковым способом. Но можно предположить, что он жив и не хочет обнаружить себя, опасаясь обвинения в убийстве. Такое соображение имеет определенный вес сейчас, на этом позднем этапе, поскольку свидетели видели его с Мари, но в то время, когда произошло убийство, оно не имело никакой силы. Ни в чем не повинный человек поспешил бы сообщить о случившемся и помог бы розыску преступника. Такое поведение было бы самым разумным. Его видели в обществе убитой. Он переехал с ней через реку на открытом пароме. Даже идиот понял бы, что обличение убийц было бы наиболее верным и к тому же единственным способом очистить себя от подозрений. А предположить, что вечером в воскресенье он был и неповинен в совершенном преступлении, и ничего о нем не знал, невозможно. Однако только в этом случае он, если он остался жив, мог бы не объявить об убийстве и не обличить убийц.

А какими средствами мы располагаем, чтобы узнать истину? Мы обнаружим, что средства эти умножаются и становятся все более верными по мере того, как мы будем продвигаться в нужном направлении. Давайте до конца выясним все подробности первого побега. Давайте познакомимся со всеми обстоятельствами жизни этого «офицера», узнаем, где он сейчас и где находился в час убийства. Давайте тщательно сравним все письма,

присланные в вечернюю газету с целью обвинить в преступлении шайку. Затем сравним эти письма — их стиль и почерк — с письмами, которые ранее присылались в утреннюю газету и содержали столь настойчивые обвинения по адресу Менэ. После чего сравним все эти письма с какими-нибудь письмами «офицера». Попробуем вновь допросить мадам Дюлюк, ее сыновей и кучера омнибуса, чтобы узнать другие приметы «смуглого молодого человека». Искусно составленные вопросы непременно помогут кому-нибудь из вышеперечисленных свидетелей вспомнить такую примету (или еще что-нибудь), хотя сейчас он даже не отдает себе отчета, что ему что-то известно. И давайте проследим лодку, которая утром в понедельник была найдена плывущей вниз по Сене, а затем еще до обнаружения трупа кем-то забрана — без ведома начальника пристани и без руля. Соблюдая необходимые предосторожности и действуя настойчиво, мы, без всяких сомнений, разыщем эту лодку, потому что ее не только может опознать лодочник, доставивший ее к пристани, но еще и потому, что в наших руках находится ее руль. Человек, которому нечего опасаться, не оставит на произвол судьбы руль от парусной лодки. И тут я кстати задам вопрос. О найденной лодке не было дано никакого объявления. Она была отбуксирована к пристани и на следующее утро уже исчезла. Но каким образом ее владелец или наниматель к утру вторника без помощи объявления уже узнал, куда отогнали лодку, найденную в понедельник? Этого нельзя объяснить, не предположив какой-нибудь связи с соответствующим ведомством, какого-нибудь обмена мелкими новостями на основе общих интересов.

Когда я описывал, как убийца один волок свою жертву к реке, я уже упоминал, что затем он, возможно, воспользовался лодкой. Теперь мы можем считать, что тело Мари Роже действительно было брошено в реку с лодки. Произойти иначе это не могло. Кто рискнул бы оставить труп на мелководье у берега? Странные рубцы на спине и плечах жертвы заставляют вспомнить о шпангоутах на дне лодки. Подтверждается это предположение еще и тем, что труп был бро-

шен в воду без груза. Если бы его бросали в воду с берега, к нему обязательно привязали бы груз. Такой недосмотр убийцы мы можем объяснить, только предположив, что второпях он забыл захватить с собой в лодку что-нибудь подходящее. Когда он выбрасывал тело за борт, то, конечно, обнаружил свой недосмотр, но уже не мог его исправить. Он готов был пойти на любой риск, лишь бы не возвращаться к этому проклятому берегу. Избавившись от своего жуткого балласта, убийца, без сомнения, поспешил к городу. Там он выпрыгнул на какую-нибудь темную пристань. Но лодка? Привязал ли он ее? Нет, он слишком торопился, чтобы тратить время на привязывание лодки. Кроме того, он почувствовал бы, что, привязывая ее к пристани, тем самым оставляет там страшную улику против себя. Ему, естественно, хотелось избавиться от всего, что было связано с его преступлением. Он не только сам бежал без оглядки от этой пристани, но никак не мог оставить там лодку. Конечно же, он пустил ее плыть по течению. Последуем и дальше за игрой нашего воображения. Утром негодяй с ужасом узнает, что лодку поймали и отвели туда, где он имеет обыкновение бывать чуть ли не ежедневно, туда, где он, возможно, обязан бывать по долгу службы. В эту же ночь, не посмев взять из конторы руль, он забирает лодку. Итак, где теперь находится эта лодка, лишенная руля? Вот что нам надо узнать прежде всего. Первые сведения о ней будут нашим первым шагом к верному успеху. Эта лодка с быстротой, которая удивит даже нас самих, приведет нас к тому, кто плыл на ней в полночь этого рокового воскресенья. Одно подтверждение последует за другим, и убийца будет обнаружен.

(По причинам, которые мы не будем называть, но которые многие наши читатели поймут без всяких объяснений, мы взяли на себя смелость изъять из врученной нам рукописи подробности того, как были использованы немногочисленные улики, обнаруженные Дюпеном. Мы считаем необходимым лишь вкратце сообщить, что цель была достигнута и что префект добросовестно, хотя и с большой неохотой, выполнил усло-

вия своего договора с шевалье. Статья мистера По завершается следующим образом.— *Ред.*¹⁾

Само собой разумеется, что я говорю тут только о совпадениях и ни о чем другом. Того, что я сказал об этом выше, должно быть достаточно. В моем собственном сердце нет веры в сверхъестественное. Ни один мыслящий человек не станет отрицать двоицы — Природы и ее Бога. Бесспорно и то, что последний, творя первую, может по своей воле управлять ею и изменять ее. Я говорю — «по своей воле», ибо речь здесь идет о воле, а не о власти, как это предполагает безумие логики. Конечно, Всевышний может менять свои законы, но мы оскорбляем его, выдумывая необходимость такого изменения. Эти законы с самого начала были созданы так, чтобы обнять любые возможности, какие только таило в себе будущее. Для Бога все — только ТЕПЕРЬ.

И я повторяю, что рассматриваю все, о чем здесь шла речь, только как совпадения. И далее: вдумываясь в мой рассказ, нетрудно усмотреть, что между судьбой злополучной Мэри Сесилии Роджерс — насколько эта судьба известна — и историей некой Мари Роже вплоть до определенного момента существует параллелизм, поразительная точность которого приводит в смущение рассудок. Да, усмотреть это нетрудно. Но не следует полагать, будто я продолжил грустную историю Мари после упомянутого выше момента и проследил весь путь раскрытия тайны ее смерти с задней мыслью, желая намекнуть на дальнейшие совпадения или даже давая понять, что меры, принятые в Париже для обнаружения убийцы хорошенькой гризетки, или меры, опирающиеся на сходный анализ, привели бы и здесь к таким же результатам.

Ведь следует помнить, что при таком ходе рассуждений даже самое крохотное различие в фактах того и другого случая могло бы привести к колоссальному просчету, потому что тут обе цепи событий начали бы расходиться. Точно так же в арифметике ошибка, сама по себе ничтожнейшая, в ходе вычислений после ряда умножений может дать результат, чрезвычайно дале-

¹ Из журнала, в котором впервые была напечатана эта статья.

кий от истинного. К тому же не следует забывать, что та самая теория вероятности, на которую я ссылался, налагает запрет на всякую мысль о продолжении такого параллелизма — налагает с решительностью, находящейся в прямой зависимости от длительности и точности уже установленного параллелизма. Это — одна из тех аномалий, которые, хотя и чаруют умы, далекие от математики, тем не менее полностью постижимы только для математиков. Например, обычного читателя почти невозможно убедить, что при игре в кости двукратное выпадение шестерки делает почти невероятным выпадение ее в третий раз и дает все основания поставить против этого любую сумму. Заурядный интеллект не может этого воспринять, он не может усмотреть, каким образом два броска, принадлежащие уже прошлому, могут повлиять на бросок, существующий еще пока только в будущем. Возможность выпадения шестерки кажется точно такой же, как и в любом случае — то есть зависящей только от того, как именно будет брошена кость. И это представляется настолько очевидным, что всякое возражение обычно встречается насмешливой улыбкой, а отнюдь не выслушивается с почтительным вниманием. Суть скрытой тут ошибки — грубейшей ошибки — я не могу объяснить в пределах места, предоставленного мне здесь, а людям, искушенным в философии, никакого объяснения и не потребуется. Тут достаточно будет сказать, что она принадлежит к бесконечному ряду ошибок, которые возникают на пути Разума из-за его склонности искать истины в частностях.

ЗОЛОТОЙ ЖУК

Глядите! Хо! Он пляшет, как
безумный.
Тарантул укусил его...

«Все не правы»

Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избежать унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Сэлливановом острове, поблизости от Чарлстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш — убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарлстонской пыли, — можно увидеть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белой, твердой, как камень, песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пятнадцати-двадцати футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая, с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Много в характере отшельника внушало интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позавидовал бы Сваммердам. В этих странствиях Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи; однако ни угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как он полагал, права следовать повсюду за своим «масса Виллом». Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения.

Зимы на широте Сэлливанова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября 18... года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечнозеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в тайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до

ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготавливая на ужин болотных курочек. У Леграна был очередной приступ восторженности — не знаю, как точнее именовать его состояние. Он нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного, по его словам, доселе науке. Он сказал, что завтра хочет услышать мое суждение об этом жуке.

— А почему не сегодня? — спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете.

— Если бы я знал, что вы здесь! — воскликнул Легран. — Но ведь мы так давно не виделись. Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали лейтенанта Дж. из форта, и я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Переночуйте, и мы пошлем за ним Юпа, как только взойдет солнце. Это просто восторг.

— Что? Восход солнца?

— К черту солнце! Я — о жуке! Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него три пятнышка, черных как смоль. Два круглых повыше и одно продолговатое книзу. А усики и голову...

— Где же там олово, масса Вилл, послушайте-ка меня, — вмешался Юпитер, — жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи; только вот пятна на спине. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.

— Допустим, что все это так, и жук из чистого золота, — сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства, — но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? Действительно, жук таков, — продолжал он, обращаясь ко мне, — что я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск — в этом вы сами сможете завтра же убедиться. Пока что я покажу вам, каков он на вид.

Леггран сел за столик, где было перо и чернильница. Бумаги не оказалось. Он поискал в ящике, но и там ничего не нашел.

— Не беда,— промолвил он наконец,— обойдусь этим.— Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он был этим занят, я продолжал греться; озноб мой еще не прошел. Леггран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышался громкий лай и царапанье у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный ньюфаундленд Легграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив свои лапы мне прямо на плечи; я подружился с ним еще в прежние посещения. Когда пес утих, я взглянул на бумагу, которую все это время держал в руке, и, по правде говоря, был немало озадачен рисунком моего друга.

— Что же,— сказал я, наглядевшись на него вдоволь,— это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка, никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. Да что там походит!.. Форменный череп!

— Череп? — отозвался Леггран.— Пожалуй, что так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? А нижнее удлиненное пятнышко можно счесть за оскал черепа.

— Может быть, что и так, Леггран,— сказал я ему,— но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.

— Как вам угодно,— отозвался он с некоторой досадой,— но, по-моему, я рисую недурно, по крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться.

— В таком случае вы дурачите меня, милый друг,— сказал я ему.— Вы нарисовали довольно порядочный *череп*, готов допустить даже, хоть я и полный профан в вопросах остеологии, что вы нарисовали *замечательный* череп, и, если ваш жук на самом деле похож на него, это самый поразительный жук на свете. Жук с

такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Я не сомневаюсь, что вы назовете его *Scarabaeus carut hominis*¹ или как-нибудь еще в этом роде; естественная история полна подобных наименований. Хорошо, а где же у него усики.

— Усики? — повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа. — Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.

— Не стоит волноваться, — сказал я, — может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. — И я отдал ему рисунок без дальнейших замечаний, не желая сердить его. Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук, как две капли воды *походил на череп*.

Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал бледнее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова устроился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак, однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать; как видно, он погружался в свое угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Он как будто очнулся, но прежнее оживление уже не вернулось к нему. Он не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь с настроением хозяина, — решил вернуться домой. Легран меня не удерживал; однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее, чем обычно.

По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чарлстоне Юпитер. Я никогда не видел старого до-

¹ Жук — человеческая голова (*лат.*).

бряка-негра таким удрученным, и меня охватила тревога: уж не случилось ли чего дурного с моим другом?

— Ну, Юп,— сказал я,— что там у вас? Как поживает твой господин?

— По чести говоря, масса, он нездоров.

— Нездоров? Ты пугаешь меня! На что он жалуется?

— В том-то и штука! Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.

— *Очень* болен, Юпитер? Что же ты сразу мне не сказал? Лежит в постели?

— Где там лежит! Его и с собаками не догонишь! В том-то и горе! Ох, болит у меня душа! Бедный мой масса Вилл!..

— Юпитер, я хочу все-таки понять, о чем ты толкуешь. Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил он тебе, что у него болит?

— Вы не сердчайте, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот спрошу вас, почему масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый, как гусь? И почему он все время считает?

— Что он делает?

— Считает да цифры пишет, таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. А вчера проворонил, он убежал, солнце еще не вставало, и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет, да пожалел, старый дурак, уж очень он грустный вернулся...

— Как? Что? Отлупить его?.. Нет, Юпитер, не будь слишком суров с беднягой, не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что, как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что дурное после того, как я приходил к вам?

— *После* того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А *вот до того* приключилось. В тот самый день приключилось.

— Что? О чем ты толкуешь?

— Известно, масса, о чем! О жуке!

— О чем?

— О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.

— Золотой жук укусил его? Эка напасть!

— Вот-вот, масса, очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука, бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его, да и выронил, тут же выронил, вот тогда жук наверно и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась, и я сразу решил — голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги, да в бумагу и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул, вот что я сделал!

— Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук и это причина его болезни?

— Ничего я не думаю — точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось бы золото? Я много кое-чего слышал про таких золотых жуков.

— А откуда ты знаешь, что ему снится золото?

— Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.

— Хорошо, Юп, может быть, ты и прав. Ну а каким же счастливым обстоятельствам я обязан чести твоего сегодняшнего визита?

— О чем это вы толкуете, масса?

— Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?

— Нет, масса. Но он приказал передать вам вот это. И Юпитер вручил мне записку следующего содержания:

«Дорогой —!

Почему вы совсем перестали бывать у нас? Неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою *brusquerie*?¹ Нет, это, конечно, не так.

За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как браться за это, да и рассказывать ли вообще.

Последние дни я был не совсем здоров, и старина Юп вконец извел меня своим непрошеным попечением. Вчера, представьте, он приготовил огромнейшую дубину, чтобы побить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день *solus*² в горах на материке.

¹ резкость (*фр.*).

² один (*лат.*).

Только, кажется, нездоровье спасло меня от неожиданной взбучки.

Со времени нашей встречи ничего нового в моей коллекции не прибавилось.

Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. *Очень* прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело *великой важности*. Ваш, как всегда,

Вильям Легран».

Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так непохож на Леграна, что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что за «дело великой важности» могло быть у *него*, у Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать вместе с негром.

Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопаты, как видно, совсем новые.

— Это что, Юп? — спросил я.

— Коса и еще две лопаты, масса.

— Ты совершенно прав. Но откуда они взялись?

— Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.

— Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему «масса Виллу» коса и лопаты?

— Зачем — я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке!

Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьешься и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к северу от форта Моултри, откуда нам оставалось до хижины около двух миль. Мы пришли в три часа пополудни. Легран ожидал нас с видимым нетерпением. Здороваясь, он крепко стиснул мне руку, и эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна скво-

зила какая-то мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его самочувствии и не зная, о чем еще говорить,— я спросил, получил ли он от лейтенанта Дж. своего золотого жука.

— О да! — ответил он, заливаясь ярким румянцем. — На другое же утро! Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?

— В чем Юпитер был прав? — спросил я, и меня охватило горестное предчувствие.

— Жук — *из чистого золота!*

Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен.

— Этот жук принесет мне счастье, — продолжал Легран, торжествующе усмехаясь, — он вернет мне утраченное родовое богатство. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания. Юпитер, пойдя принеси жука!

— Что? Жука, масса? Не буду я связываться с этим жуком. Несите его сами.

Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где он хранил его.

Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть сомнений — натуралисты в то время еще не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два черных округлых пятнышка, и ниже с другой еще одно, подлиннее. Надкрылья были удивительно твердыми и действительно блестели, как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной. Учитывая все это, можно было не так уже строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой.

— Я послал за вами, — начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр, — я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли Судьбы и жука...

— Дорогой Легран, — воскликнул я, прерывая его, — вы совсем больны, вам надо лечиться. Ложитесь

сейчас же в постель, и я побуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас лихорадит.

— Пощупайте мне пульс, — сказал он.

Я пощупал ему пульс и вынужден был признать, что никакой лихорадки у него не было.

— Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета. Прежде всего в постель. А затем...

— Вы заблуждаетесь, — прервал он меня. — Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.

— А как это сделать?

— Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас там успех или же неудача, все равно это волнение во мне сразу утихнет.

— Я буду счастлив, если смогу быть полезным, — ответил я, — но, скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?

— Да!

— Если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в вашей нелепой затее.

— Жаль! Очень жаль! Нам придется идти одним. Идти одним! Он действительно сумасшедший!

— Погодите! Сколько времени вы намереваетесь пробыть там?

— Должно быть, всю ночь. Мы выйдем сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой. Что бы там ни было.

— А вы поклянетесь честью, что, когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком (боже правый!) благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?

— Да. Обещаю. Скорее в путь! Время не ждет!

С тяжелым сердцем решил я сопровождать моего друга. Было около четырех часов дня, когда мы пустились в путь, — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты; он настоял на этом не от избытка лю-

безности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. «Чертов жук!» — вот единственное, что я услышал от него за все путешествие. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее я пока решил ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо действительные энергичные меры. Я попытался несколько раз завязать беседу о целях похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров, и на все мои расспросы отвечал односложно: «Увидим!»

Дойдя до мыса, мы сели в ялик и переправились на материк. Потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий, пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые, видимо, приметил, посещая эти места до того.

Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был род плато, раскинувшегося у подножия почти неприступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.

Плоскогорье, по которому мы поднимались, сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что без косы нам сквозь заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которое стояло, окруженное десятком дубов, и далеко превосходило и эти дубы и вообще все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть, раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственностью общих

очертаний. Когда мы пришли наконец к цели, Легран обернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли он взобраться на это дерево. Старик был сперва озадачен вопросом и ничего не ответил. Потом, подойдя к лесному гиганту, он обошел ствол кругом, внимательно вглядываясь. Когда осмотр был закончен, Юпитер сказал просто:

— Да, масса! Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.

— Тогда не мешкай и лезь, потому что скоро станет темно и мы ничего не успеем сделать.

— Высоко залезть, масса? — спросил Юпитер.

— Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну... Эй, погоди. Возьми и жука!

— Жука, масса Вилл? Золотого жука? — закричал негр, отшатываясь в испуге. — Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.

— Слушай, Юпитер, если ты, здоровенный, рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке, но, если ты вовсе откажешься взять жука, мне придется, как это ни грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.

— Совсем ни к чему шуметь, масса, — сказал Юпитер, как видно, пристыженный и ставший более сговорчивым. — Всегда вы браните старого негра. А я пошутил и только! Что я *боюсь* жука? Подумаешь, жук!

И, осторожно взявшись за самый конец шнура, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево.

Тюльпановое дерево, или *Liriodendron Tulipifera*, — великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако, по мере того как оно стареет, кора на стволе становится неровной и узловатой, а вместе с тем появляются короткие сучья. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой только на первый взгляд. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая пальцами босых ног неровности коры для упора и раза два счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола и, видимо, считал свою миссию

выполненной. Главная опасность действительно была позади, но Юпитер находился на высоте в шестьдесят или семьдесят футов.

— Куда мне лезть дальше, масса Вилл? — спросил он.

— По толстому суку вверх, вон с той стороны, — ответил Легран.

Негр тотчас повиновался, лезть было, должно быть, нетрудно. Он подымался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался голос как будто издалека:

— Сколько еще лезть?

— Где ты сейчас? — спросил Легран.

— Высоко, высоко! — ответил негр. — Вижу верхушку дерева, а дальше — небо.

— Поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри теперь вниз и сочти, сколько всего ветвей на суку, на который ты влез. Сколько ветвей ты миновал?

— Одна, две, три, четыре, пять. Подо мной пять ветвей, масса.

— Поднимись еще на одну.

Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до седьмой ветви.

— А теперь, Юп, — закричал Легран вне себя от волнения, — ты полезешь по этой ветви, пока она будет тебя держать! А найдешь что-нибудь, крикни.

Если у меня еще оставались какие-либо сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их не стало. Увы, он был сумасшедший! Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я терялся в мыслях, опять послышался голос Юпитера:

— По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти вся сухая.

— Ты говоришь, что она *сухая*, Юпитер? — закричал Легран прерывающимся голосом.

— Да, масса, мертвая, готова для того света.

— Боже мой, что же делать? — воскликнул Легран, как видно в отчаянии.

— Что делать? — откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать свое слово. — Вернуться до-

мой и сразу в постель. Будьте умницей, уже поздно, и к тому же вы мне обещали.

— Юпитер! — закричал он, не обращая на мои слова никакого внимания. — Ты слышишь меня?

— Слышу, масса Вилл, как не слышать!

— Возьми нож. Постругай эту ветвь. Может быть, она не *очень* гнилая.

— Она, конечно, гнилая, — ответил негр, немного спустя, — да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед. Но только один.

— Что это значит? Разве ты и так не один?

— Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.

— Старый плут! — закричал Легран, испытывая, видимо, облегчение. — Не городи вздора! Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею. Эй, Юпитер, ты слышишь меня?

— Как не слышать, масса? Нехорошо так ругать бедного негра.

— Так вот, послушай! Если ты проберешься еще немного вперед, осторожно, конечно, чтобы не грохнуться вниз и если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар, сразу, как только ты спустишься.

— Хорошо, масса Вилл, лезу, — очень быстро ответил Юпитер, — а вот уже и конец.

— Конец ветви? — вскричал Легран. — Ты правду мне говоришь, ты на конце ветви?

— Не совсем на конце, масса... Ой-ой-ой! Господи боже мой! Что это здесь на дереве?

— Ну? — крикнул Легран, очень довольный. — Что ты там видишь?

— Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо.

— Ты говоришь — череп?! Отлично! А как он там держится? Почему он не падает?

— А верно ведь, масса! Сейчас погляжу. Что за притча такая! Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем.

— Теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?

— Слышу, масса.

— Слушай меня внимательно! Найди левый глаз у черепа.

— Угу! Да! А где же у черепа левый глаз, если он вообще безглазый?

— Ох, какой ты болван, Юпитер! Знаешь ты, где у тебя правая рука и где левая?

— Знаю, как же не знать, левой рукой я колю дрова.

— Правильно. Ты левша. Так вот, левый глаз у тебя с той стороны, что и рука. Ну, сумеешь теперь отыскать левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз?

Юпитер долго молчал, потом он сказал:

— Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа? Но у черепа нет левой руки... Что ж, на нет и суда нет! Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?

— Пропусти сквозь него жука и спусти его вниз, сколько хватит шнура. Только не урони.

— Пропустил, масса Вилл. Это самое плевое дело пропустить жука через дырку. Смотрите-ка!

Во время этого диалога Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если б Юпитер сейчас отпустил шнурок, тот упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в девять — двенадцать футов, после чего он велел Юпитеру отпустить шнурок и слезать поскорее вниз.

Забив колышек точно в том месте, куда упал жук, мой друг вытащил из кармана землемерную ленту. Прикрепив ее за конец к стволу дерева, как раз напротив забитого колышка, он протянул ее прямо, до колышка, после чего, продолжая разматывать ленту и отступая назад, отмерил еще пятьдесят футов. Юпитер с косой в руках шел перед ним, срезая кусты ежевики. Дойдя до нужного места, Легран забил еще один колышек и, принимая его за центр, очистил круг диаметром

примерно в четыре фута. Потом он дал по лопате мне и Юпитеру, сам взял лопату и приказал нам копать.

Откровенно скажу, я не питаю склонности к подобным забавам даже при свете дня; теперь же спускалась ночь, а я и так изрядно устал от нашей прогулки. Всего охотнее я отказался бы. Но мне не хотелось противоречить моему бедному другу и тем усугублять его душевное беспокойство. Так что выхода не было. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то, ничуть не колеблясь, применил бы сейчас силу и увел бы безумца домой. Но я слишком хорошо знал старого негра и понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что до Леграна, мне стало теперь ясно, что он заразился столь обычной у нас на Юге манией кладоискательства и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука и еще, наверное, упрямством Юпитера, затвердившего, что найденный жук «из чистого золота».

Такие мании могут легко подтолкнуть к помешательству неустойчивый разум, особенно если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга о том, что жук вернет ему родовое богатство. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко огорчен. В конце концов я решил проявить добрую волю (поскольку не видел иного выхода) и принять участие в поисках клада, чтобы быстрее и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его выдумок.

Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы втроем образуем весьма живописную группу и что случайный путник, который наткнется на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений.

Так мы копали не менее двух часов. Мы сохраняли молчание, и нас смущал только лай собаки, которая выказывала необычайный интерес к нашей работе. Этот лай становился все более настойчивым, и мы начали опасаться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, расположившегося по соседству на отдых. Точнее, боялся Легран, а я был бы только рад, если бы с помо-

щью постороннего человека вернуть домой моего путешественника. Разбушевавшегося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом немалую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату.

После двухчасовых трудов мы вырыли яму глубиной в пять футов, однако никаких признаков клада не было видно. Мы приостановились, и я стал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако Легран, хотя и расстроенный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова взялся за работу. Яма уже имела четыре фута в диаметре и занимала всю площадь очерченного Леграном круга. Теперь мы расширили этот круг, потом углубили яму еще на два фута. Результаты остались все теми же. Мой золотоискатель, которого мне было жаль от души, наконец вылез из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал, Юпитер по знаку своего господина стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки свой самодельный намордник, и мы двинулись в путь, домой, не произнеся ни слова.

Не успели пройти мы и десятка шагов, как Легран с громким проклятием повернулся к негру и крепко схватил его за ворот. Пораженный Юпитер разинул рот, выпучил глаза и, уронив лопаты, упал на колени.

— Каналья, — с трудом промолвил Легран сквозь сжатые зубы, — проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай без уверток, где у тебя левый глаз?

— Помилуй бог, масса Вилл, вот у меня левый глаз, вот он! — ревел перепуганный Юпитер, кладя руку на *правый* глаз и прижимая его изо всей мочи, словно страшась, что его господин вырвет ему этот глаз.

— Так я и думал! Я знал! Ура! — закричал Легран, отпуская негра. Он исполнил несколько сложных танцевальных фигур, поразивших его слугу, который, поднявшись на ноги и словно окаменев, переводил взгляд с хозяина на меня и с меня опять на хозяина.



— За дело! — сказал Легран. — Вернемся! Мы еще выиграем эту игру! — И он повел нас обратно к тюльпановому дереву.

— Ну, Юпитер, — сказал Легран, когда мы снова стояли втроем у подножия дерева, — говори: как был прибит этот череп к ветке, лицом или наружу?

— Наружу, масса, так чтобы вороны могли клевать глаза без хлопот.

— Теперь говори мне, в какой ты глаз опустил жука — в тот или этот? — И Легран тронул пальцем сперва один глаз Юпитера и потом другой.

— В этот самый, масса, в левый, как вы велели! — Юпитер указывал пальцем на *правый* глаз.

— Отлично, начнем все сначала!

С этими словами мой друг, в безумии которого, как мне показалось, появилась теперь некоторая система, вытащил колышек, вбитый им ранее на месте падения жука, и переставил его на три дюйма к западу. Снова связав землемерной лентой колышек со стволом дерева, он отмерил еще пятьдесят футов до новой точки, отстоявшей от нашей ямы на несколько ярдов.

Мы очертили еще раз круг, несколько большего диаметра, чем предыдущий, и снова взялись за лопаты.

Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе в том отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес, более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план, и это, вероятно, оказало на меня свое действие. Продолжая усердно копать, я ловил себя несколько раз на том, что и сам со вниманием гляжу себе под ноги, в яму, словно тоже ищу на дне ее мифическое сокровище, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. Мы трудились уже часа полтора, и эти странные прихоти мысли овладевали мной все настойчивее, когда нас опять всполошил отчаянный лай нашего пса. Если раньше он лаял из озорства или же из каприза, то теперь его беспокойство было нешуточным. Он не дался Юпитеру, когда тот опять хотел напялить ему намордник, и, прыгнув в яму, стал яростно разгре-

бать лапами землю. Через несколько секунд он отрыл два человеческих скелета, а, вернее, груды костей, перемешанных с обрывками полуистлевшей шерстяной материи и металлическими пуговицами. Еще два удара лопатой — и мы увидели широкое лезвие испанского ножа и несколько монет, золотых и серебряных.

При виде монет Юпитер предался необузданной радости, но на лице его господина выразилось сильнейшее разочарование. Он умолял нас, однако, не прекращать работу. Не успел он вымолвить эту просьбу, как я оступился и тут же упал ничком, зацепившись ногой за большое железное кольцо, прикрытое рыхлой землей.

Теперь работа пошла уже не на шутку; лихорадочное напряжение, испытанное за эти десять минут, я не решусь сравнить ни с чем в своей жизни. Мы отрыли продолговатый деревянный сундук, прекрасно сохранившийся. Необыкновенная твердость досок, из которых он был сколочен, наводила на мысль, что дерево подверглось химической обработке, вероятно, было пропитано двухлористой ртутью. Сундук был длиною в три с половиной фута, шириной в три фута и высотой — в два с половиной. Он был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Перекрещиваясь, железные полосы покрывали сундук, образуя как бы решетку. С боков сундука под самую крышку было ввинчено по три железных кольца, всего шесть колец, так что за него могли взяться разом шесть человек. Взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка держалась лишь на двух выдвижных болтах. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение — и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены.

Чувства, с которыми я взирал на сокровища, не передать словами. Прежде всего я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на минуту стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черноте негра. Он был пора-

жен словно громом. Потом он упал на колени и, погрузив по локоть в сокровища свои голые руки, блаженно застыл в этой позе, словно был в теплой ванне. Наконец, глубоко вздохнув, он произнес примерно такую речь:

— И все это сделал золотой жук! Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, я бранил его! И не стыдно тебе, старый негр? Отвечай!..

Я оказался вынужденным призвать их обоих — и слугу и господина — к порядку; нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело, голова шла кругом, и много времени ушло на раздумья. Наконец мы извлекли из сундука две трети его содержимого, после чего, тоже не без труда, вытащили сундук из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в ежевичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настрого приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно, — ведь и человеческая выносливость имеет предел, — мы закусили и дали себе отдых до двух часов; после чего, захватив три больших мешка, отыскавшихся, к нашему счастью, тут же на месте, мы поспешили назад. Около четырех часов, под утро, мы подошли к тюльпановому дереву, разделили остатки добычи на три примерно равные части, бросили ямы как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкою леса.

Мы изнемогали от тяжелой усталости, но внутреннее волнение не оставляло нас. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наши сокровища.

Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богат-

ство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото, иностранного происхождения и старинной чеканки — французское, испанское и немецкое, несколько английских гиней и еще какие-то монеты, нам совсем незнакомые. Попадались тяжелые большие монеты, стертые до того, что нельзя было прочесть на них надписи. Американских не было ни одной. Определить стоимость драгоценностей было труднее. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Всего было сто десять бриллиантов и среди них ни одного мелкого. Мы нашли восемнадцать рубинов удивительного блеска, триста десять превосходных изумрудов, двадцать один сапфир и один опал. Все камни были, как видно, вынуты из оправы и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были сплюснуты молотком, видимо, для того, чтобы нельзя было опознать драгоценностей. Кроме того, что я перечислил, в сундуке было множество золотых украшений, около двухсот массивных колец и серег; золотые цепочки, всего тридцать штук, если не ошибаюсь; восемьдесят три тяжелых больших распятия; пять золотых кадильниц огромной ценности; большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурами искусной ювелирной работы; две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких вещиц, которые я не в силах сейчас припомнить. Общий вес драгоценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов. Я уж не говорю о часах, их было сто девяносто семь штук, и трое из них стоили не менее чем по пятьсот долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизмы, но украшенные драгоценными камнями золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия (некоторые безделушки мы сохранили на память), оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной.

Когда наконец мы завершили осмотр и владевшее нами необычайное волнение чуть-чуть поутихло, Легран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности.

— Вы помните, — сказал он, — тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука. Вспомните также, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите; потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спинке жука, и решил, что ваше замечание не столь уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня — я считаюсь недурным рисовальщиком. Потому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылil и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.

— Клочок бумаги, вы хотите сказать, — заметил я.

— Нет! Я сам так думал вначале, но, как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-претонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязен. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал вам жука. В первую минуту я растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мною рисунок не был похож на тот, который я видел сейчас, хотя в их общих чертах и можно было усмотреть нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я тотчас нашел свой рисунок, совершенно такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих изображений на двух сторонах пергамента была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был нарисован череп, который напоминал моего жука и размером и очертаниями! Невероятное совпадение на минуту ошеломило меня. Это обычное следствие такого рода случайностей. Рассудок силится установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я пришел в себя, меня осенила вдруг мысль, которая была еще удивительнее, чем то совпадение, о котором я говорю. Я совер-

шенно ясно, отчетливо помнил, что, когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было *никакого другого рисунка*. Я был в этом совершенно уверен потому, что, отыскивая для рисунка местечко почище, поворачивал пергамент то одной, то другой стороной. Если бы череп там был, я бы, конечно, его заметил. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить. Впрочем, скажу вам, уже тогда, в этот первый момент, где-то в далеких тайниках моего мозга чуть мерцало, подобное светлячку, предчувствие той разгадки, которую столь блистательно подтвердила вчера наша ночная прогулка. Я встал, спрятал пергамент в укромное место и отложил дальнейшие размышления до того, как останусь один.

Когда вы ушли и Юпитер крепко уснул, я приступил к более методическому исследованию стоявшей передо мною задачи. Прежде всего я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил. Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать листок или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он и я, одновременно, увидели этот пергамент; он показался тогда мне бумагой. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки почти ничего не осталось.

Итак, Юпитер поднял пергамент, завернул в него золотого жука и передал его мне. Вскоре мы собрались домой. По дороге мы встретили лейтенанта Дж., я показал ему нашу находку, и он попросил у меня позволения взять жука с собой в форт. Я согласился, он быстро сунул жука в жилетный карман, оставив пергамент мне. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал жука, быть может, боясь, что я передумаю; вы ведь знаете, как горячо он относится ко всему, что связано с естествознанием. Я, в свою очередь, сунул пергамент в карман совсем машинально.

Вы помните, когда я подсел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось бумаги. Я заглянул в ящик, но и там ничего не нашел. Я стал рыться в карманах, рассчитывая отыскать какой-нибудь старый конверт, и нащупал пергамент. Я описываю с наивозможнейшей точностью, как пергамент попал ко мне: эти обстоятельства имеют большое значение.

Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую *связь* событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка, неподалеку от шлюпки пергамент — *не бумага*, заметьте, пергамент, на котором был нарисован череп. Вы, конечно, спросите, где же здесь связь? Я отвечу, что череп — всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа.

Итак, я уже сказал, то была не бумага — пергамент. Пергамент сохраняется очень долго, то, что называется вечно. Его редко используют для обычных записей уже потому, что писать или рисовать на бумаге гораздо легче. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. Я обратил внимание и на *формат* пергамента. Один уголок листа был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлинненным. Это был лист пергамента, предназначенный для памятной записи, которую следует тщательно, долго хранить.

— Все это так, — прервал я Леграна, — но вы ведь сами сказали, что, когда рисовали жука на пергаменте, там *не было* черепа. Как же вы утверждаете, что существует некая связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован (один только бог знает кем!) уже после того, как вы рисовали жука?

— А! Здесь-то и начинается тайна. Хотя должен сказать, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиваться с пути, логика же допускала только одно решение. Рассуждал я примерно так. Когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам и пристально за ва-

ми следил, пока вы мне не вернули пергамент. Следовательно, *не вы* нарисовали там череп. Однако помимо вас нарисовать его было некому. Значит, череп вообще нарисован не был. Откуда же он взялся?

Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что случилось в тот вечер. Стояла холодная погода (о, редкий, счастливый случай!), в камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел к столу. Ну, а вы пододвинули свое кресло еще ближе к камину. В ту же минуту, как я передал вам пергамент и вы стали его разглядывать, вбежал Волк, наш ньюфаундленд, и бросился вас обнимать. Левой рукой вы гладили пса, стараясь его отстранить, а правую руку с пергаментом опустили между колен, совсем близко к огню. Я побоялся даже, как бы пергамент не вспыхнул, и хотел уже вам сказать, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова его разглядывать. Когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте *под влиянием тепла*.

Вы, конечно, слыхали, что с давних времен существуют химические составы, при посредстве которых можно писать невидимо и на бумаге и на пергаменте. Запись становится видимой под влиянием тепла. Растворите цафру¹ в «царской водке» и разведите потом в четырехкратном объеме воды, чернила будут зелеными. Растворите кобальтовый королек в нашатырном спирте — они будут красными. Ваша запись вскоре исчезнет, но появится вновь, если вы прогреете бумагу или пергамент вторично.

Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка — я имею в виду очертания его, близкие к краю пергамента, — *выделялся отчетливее*. Значит, действие тепла было либо малым, либо неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал нагревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно; когда же я продолжил свой опыт, то по диагонали от черепа в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изобра-

¹ Ц а ф р а — голубой пигмент, используемый для рисунков на стекле и фарфоре.

жение козы. Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся я. — Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами, полтора миллиона долларов не тема для шуток, но прибавить еще звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместимы. Пираты не занимаются скотоводством; это — прерогатива фермеров.

— Но я же сказал вам, что это была *не коза*.

— Не коза, так козленок, не вижу большой разницы.

— Большой я тоже не вижу, но разница есть, — ответил Легран, — сопоставьте два слова kid (козленок) и Kidd! Доводилось ли вам читать или слышать о капитане Кидде? Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе. Подпись я говорю, потому что козленок был нарисован на нашем пергаменте именно в том самом месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескураживало отсутствие главного — текста моего воображаемого документа.

— Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?

— Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладевало непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Это было, быть может, не столько предчувствие, сколько самовнушение. Представьте, глупая шутка Юпитера, что жук — из чистого золота, сильно подействовала на меня. К тому же эта удивительная цепь случайностей и совпадений!.. Ведь все события прились на тот самый день, выпадающий, может быть, *раз в году*, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда не узнал бы о черепе и никогда не стал бы владельцем сокровищ.

— Хорошо, что же дальше?

— Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на атлантическом побережье. В основе

этих преданий, конечно, лежат факты. Предания живут с давних пор и не теряют своей живучести; на мой взгляд, это значит, что клад до сих пор *не найден*. Если бы Кидд сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас все в той же устойчивой форме. Заметьте, предания рассказывают лишь о поисках клада, о находке в них нет ни слова. Но если пират отрыл бы сокровище, толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность, скажем, потеря карты, где было обозначено местонахождение клада, помешало Кидду найти его и забрать. О несчастье Кидда разведали другие пираты, без того никогда не узнавшие бы о зарытом сокровище, и их бесплодные поиски, предпринятые наудачу, и породили все эти предания и толки, которые разошлись по свету и дожили до нашего времени. Доводилось вам слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?

— Нет, никогда.

— А ведь всякий знает, что Кидд владел несметным богатством. Итак, я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кидда.

— Что вы предприняли дальше?

— Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, выросшая на пергаменте. Я взял пергамент и осторожно обмыл его теплой водой. Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил сковороду на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал еще над огнем. Тут надпись выступила вся целиком — сейчас я вам покажу.

Легран разогрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным, стояли такие знаки.

53 # # + 305)) 6*; 4826) 4 # .) 4 # .); 806*, 48 + 8 || 60)),
 85;;] 8*; :# *8 + 83(88)5* +; 46(;88*96*?;8)* # (;485);
 5* + 2:* # (; 4956* 2(5* = 4) 8 || 8*; 4069285);) 6 + 8)
 4 # # ; 1(# 9; 4 8081; 8:8 # 1; 48 + 85; 4) 485 + 528806*81
 (# 9; 48; (88; 4(# ? 34; 48) 4 # ; 161; : 188 # ?;

— Что ж! — сказал я, возвращая Леграну пергамент, — меня это не подвинуло бы ни на шаг. За все алмазы Голконды¹ я не возьмусь решать подобную головоломку.

— И все же, — сказал Легран, — она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, — шифр; иными словами, они скрывают словесную запись. Кидд, насколько мы можем о нем судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной примитивный шифр, но притом такой, который незатейливой фантазии моряка должен был показаться совершенно не постижимым.

— И что же, вы сумели найти решение?

— С легкостью! В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее. Я стал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям и пришел к заключению, что едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, какую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Прямо скажу, если текст зашифрован без грубых ошибок и документ в приличной сохранности, я больше ни в чем не нуждаюсь; последующие трудности для меня просто не существуют.

Прежде всего, как всегда в этих случаях, возникает вопрос о языке криптограммы. Принцип решения (в особенности это относится к шифрам простейшего типа) в значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая один язык за другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решение. С нашим пергаментом такой трудности не было; подпись давала разгадку. Игра сло-

¹ Г о л к о н д а — город в Индии, вблизи Хайдарабада, знаменитый драгоценными камнями.

вами kid и Kidd возможна лишь по-английски. Если б не это, я начал бы поиски с других языков. Пират испанских морей¹ скорее всего избрал бы для тайной записи французский или испанский язык. Но я уже знал: криптограмма написана по-английски.

Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Задача намного была бы проще, если б отдельные слова были выделены просветами. Я начал тогда бы с анализа и сличения более коротких слов, и как только нашел бы слово из одной буквы (например, местоимения *я* или союз *и*), я почел бы задачу решенной. Но просветов в строке не было, и я принялся подсчитывать однотипные знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу:

Знак	8	встречается	34	раза
»	;	»	27	раз
»	4	»	19	»
»)	»	16	»
»	#	»	15	»
»	*	»	14	»
»	5	»	12	»
»	6	»	11	»
»	+	»	8	»
»	1	»	7	»
»	0	»	6	»
»	9 и 2	»	5	»
»	: и 3	»	4	раза
»	?	»	3	»
»		»	2	»
»	= и]	»	1	раз.

В английской письменной речи самая частая буква — *e*. Далее идут в нисходящем порядке *a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z*. Буква *e*, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу,

¹ Испанские моря — район Карибского моря, место наибольшей активности морских пиратов.

в которой она не занимала бы господствующего положения.

Итак, уже сразу у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица, вообще говоря, может быть очень полезна, но в данном случае она нам понадобится лишь в начале работы. Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, мы примем его за букву *e* английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском, как вам известно, буква *e* очень часто удваивается, например, в словах *meet* или *fleet*, *speed* или *seed*, *seen*, *been*, *agree* и так далее. Хотя криптограмма невелика, знак 8 стоит в нем дважды подряд не менее пяти раз.

Итак, будем считать, что 8 — это *e*. Самое частое слово в английском — определенный артикль *the*. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности, и оканчивающееся знаком 8. Если такое найдется, это будет, по всей вероятности, определенный артикль. Приглядевшись, находим не менее семи раз сочетание из трех знаков ; 4 8. Итак, мы имеем право предположить, что знак ; — это буква *t*, а 4 — *h*; вместе с тем подтверждается, что 8 действительно *e*. Мы сделали важный шаг вперед.

То, что мы расшифровали целое слово, потому так существенно, что позволяет найти границы других слов. Для примера возьмем предпоследнее из сочетаний этого рода ; 4 8. Идущий сразу за 8 знак ; будет, как видно, начальной буквой нового слова. Выписываем, начиная с него, шесть знаков подряд. Только один из них нам незнаком. Обозначим теперь знаки буквами и оставим свободное место для неизвестного знака:

t. eeth

Ни одно слово, начинающееся на *t* и состоящее из шести букв, не имеет в английском языке окончания *th*, в этом легко убедиться, подставляя на свободное место все буквы по очереди. Потому мы отбрасываем две последние буквы как посторонние и получаем:

t.ee

Для заполнения свободного места можно снова взяться за алфавит. Единственным верным прочтением этого слова будет:

tree (дерево).

Итак, мы узнали еще одну букву — r, она обозначена знаком (, и мы можем теперь прочитать два слова подряд:

the tree

Немного дальше находим уже знакомое нам сочетание ; 4 8. Примем его опять за границу нового слова и выпишем целый отрывок, начиная с двух расшифрованных нами слов. Получаем такую запись:

the tree; 4(#? 34 the

Заменим уже известные знаки буквами:

the tree thr #? 3h the

А неизвестные знаки точками:

the tree thr...h the

Нет никакого сомнения, что неясное слово — through (через). Это открытие дает нам еще три буквы — o, u и g, обозначенные в криптограмме знаками #? и 3.

Внимательно вглядываясь в криптограмму, находим вблизи от ее начала группу знакомых нам знаков:

83 (88)

которое читается так: egree. Это, конечно, слово degree (градус) без первой буквы. Теперь мы знаем, что буква d обозначена знаком +.

Вслед за словом degree, через четыре знака, встречаем такую группу:

; 48 (; 8 8*

Заменим, как уже делали раз, известные знаки буквами, а неизвестные точками:

th rtee

Сомнения нет, перед нами слово thirteen (трина-

дцать). К известным нам буквам прибавились *i* и *n*, обозначенные в криптограмме знаками 6 и *.

Криптограмма начинается так:

53 # # +

Подставляя по-прежнему буквы и точки, получаем:

.good

Недостающая буква, конечно, *a*, и, значит, два первые слова будут читаться так:

A good (хороший).

Чтобы теперь не сбиться, расположим знаки в виде такой таблицы.

5	означает	a
+		»d
8		»e
3		»g
4		»h
6		»i
*		»n
#		»o
(»r
;		»t

Здесь ключ к десяти главным буквам. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я распознал остальные. Я познакомил вас с общей структурой шифра и, надеюсь, что убедил, что он поддается разгадке. Повторяю, впрочем, что криптограмма — из самых простейших. Теперь я даю вам полный текст записи. Вот она в расшифрованном виде:

«A good glass in the Bishop's hostel in the Devil's seat twenty-one degrees and thirteen minutes — northeast and by north — main branch seventh limb east side — shoot from the left eye of the death's-head — a bee-line from the tree through the shot fifty feet out». [Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо — северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стреляй из

левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов].

— Что же, — сказал я, — загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину: «трактир епископа», «мертвую голову», «чертов стул»?

— Согласен, — сказал Легран, — текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.

— Расставить точки и запятые?

— Да, в этом роде.

— И как же вы сделали это?

— Я исходил из того, что автор намеренно писал криптограмму в сплошную строку, чтобы затруднить тем разгадку. Причем человек не слишком утонченный, задавшись такой целью, легко ударяется в крайность. Там, где в тексте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на запись, и вы сразу увидите пять таких мест. По этому признаку я разделил криптограмму на несколько фраз:

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле — двадцать один градус и тринадцать минут — северо — северо-восток — главный сук седьмая ветвь восточная сторона — стреляй из левого глаза мертвой головы — прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов».

— Запятые и точки расставлены, — сказал я, — но смысла не стало больше.

— И мне так казалось первое время, — сказал Легран. — Сперва я расспрашивал всех, кого ни встречал, нет ли где по соседству с островом Сэлливановым какого-нибудь строения, известного под названием «трактир епископа». Никто ничего не знал, и я уже принял решение расширить мои поиски и повести их систематичнее, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, быть может, это название «трактир епископа» (bishop's hostel) нужно связать со старинной фамилией Бессопов (Bessor), владевшей в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. После многих расспросов самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает

место, которое называлось «трактиром епископа», и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир и даже не таверна, а высокий скалистый утес.

Я обещал ей хорошо заплатить за труды, и после некоторых колебаний она согласилась пойти туда вместе со мной. Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, я осмотрелся кругом. «Трактир» оказался нагромождением скал и утесов. Одна скала, стоявшая особняком, выделялась своей высотой и странностью формы, напоминая искусственное сооружение. Я добрался до самой ее вершины и стал там в смущении, не зная, что делать дальше.

Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ в скале, на восточном ее склоне, примерно в ярде от места, где я стоял. Выступ имел в ширину около фута и выдавался наружу дюймов на восемнадцать. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших прадедов. Я сразу понял, что это и есть «чертов стул» и что я проник в тайну записи на пергаменте.

«Хорошее стекло» могло означать только одно — подзорную трубу; моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений. Слова «двадцать один градус и тринадцать минут» и «северо — северо-восток» указывали направление подзорной трубы. Сильно взволнованный своими открытиями, я поспешил домой, взял трубу и вернулся в «трактир епископа».

Спустившись на «чертов стул», я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Догадка моя таким образом подтверждалась. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано — «северо — северо-восток». Следовательно, «двадцать один градус и тринадцать минут» значили высоту над видимым горизонтом. Сориентировавшись по карманному компасу, я направил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее сперва вверх, потом вниз, пока взор мой не задержался на круглом отверстии, или просвете, в листве громадного дерева, поднявшего свою крону над окружающим

лесом. В центре просвета я заметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп.

Открытие открыло меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» означают место, где надо искать череп на дереве, а приказ «стреляй из левого глаза мертвой головы» допускает тоже лишь одно толкование и указывает местонахождение клада. Надо было спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести «прямую», то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через «выстрел» (место падения пули) на пятьдесят футов вперед. Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

— Все это выглядит убедительно, — сказал я, — и при некоторой фантастичности все же логично и просто. Что же вы сделали, покинув «трактир епископа»?

— Хорошенько заметив дерево, я решил возвращаться домой. В ту же минуту, как я поднялся с «чертова стула», круглый просвет исчез, и, сколько я ни старался, я его больше не видел. В том-то и состояло все остроумие замысла, что просвет в листве дерева (как я убедился, несколько раз вставая и снова садясь) открывался зрителю с одной лишь единственной точки, с узкого выступа в этой скале.

К «трактиру епископа» мы ходили вместе с Юпитером, который, конечно, заметил за эти дни, что я веду себя как-то странно, и потому не отставал от меня ни на шаг. Но на завтра я встал чуть свет, ускользнул от его надзора и ушел один в горы разыскивать дерево. Разыскал я его с немалым трудом. Когда я вернулся вечером, Юпитер, как вы уже знаете, хотел отдубасить меня. О дальнейших событиях я могу не рассказывать. Они вам известны.

— Значит, — сказал я, — первый раз вы ошиблись местом из-за Юпитера; он опустил жука в правую глазницу черепа вместо левой?

— Разумеется! Разница в «выстреле», иными словами, в положении колышка не превышала двух с половиной дюймов, и если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка была бы пустячной. Но ведь линия

через «выстрел» лишь указывала нам направление, по которому надо идти. По мере того как я удалялся от дерева, отклонение все возрастало, и когда я прошел пятьдесят футов, клад остался совсем в стороне. Не будь я так свято уверен, что сокровище — здесь, наши труды пропали бы даром.

— Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную выдумку с черепом, в пустую глазницу которого он велит опускать пулю? Обрести драгоценный клад через посредство зловещей эмблемы пиратов — в этом чувствуется некий поэтический замысел.

— Быть может, вы правы, хотя я лично думаю, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с «чертова стула» столь малый предмет можно только в единственном случае — если он будет белым. А что тут сравнится с черепом? Череп ведь не темнеет от бурь и дождей. Напротив, становится все белее...

— Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке?! Что за странное это было чудачество! Я решил, что вы не в себе. И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

— Что же, не скрою! Ваши намеки на то, что я не в своем уме, рассердили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, сама эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.

— Теперь все ясно. Ответьте еще на последний вопрос. Откуда эти скелеты в яме?

— Об этом я знаю не больше вашего. Тут возможна, по-видимому, только одна догадка, но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кидд — если он владелец сокровища, в чем я лично не сомневаюсь, — не мог обойтись без подручных. Когда они сделали свое дело и осталось засыпать яму, он рассудил, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом тут же решили дело. А быть может, потребовался целый десяток — кто скажет?

НАДУВАТЕЛЬСТВО КАК ТОЧНАЯ НАУКА

Гули, гули, гули,
А тебя надули!

Дразнилка

С сотворения мира было два Иеремии. Один написал иеремиаду о ростовщичестве и звался Иеремия Бентам. Он пользовался особым признанием мистера Джона Нийла и был, в узком смысле, великий человек. Другой дал имя самой важной из точных наук и был великим человеком в *широком* смысле слова — я бы сказал даже, величайшим.

Понятие «надувательство», — вернее, отвлеченная идея, заключенная в глаголе «надувать», — знакомо каждому. Но самый акт, *надувательство* как единичное действие, с трудом поддается определению. Впрочем, некоторой ясности в этом вопросе можно достичь, если дать определение не надувательству, как таковому, но человеку как животному, которое надувает. Напади в свое время на эту мысль Платон, и ему не пришлось бы проглатывать оскорблений из-за ощипанной курицы.

Ему был задан очень остроумный вопрос: «Не будет ли ощипанная курица, безусловно являющаяся «двуногим существом без перьев», согласно его же собственному определению, человеком?» Мне таких каверзных вопросов не зададут. Человек — это животное, которое надувает; и кроме человека, ни одного животного, которое надувает, не существует. И с этим даже целый курятник ощипанных кур ничего не сможет сделать. То, что составляет существо, основу, принцип надувательства, свойственно классу живых тварей, характеризующемуся ношением сюртуков и панталон. Ворона ворует, лиса плутует; хорек хитрит — человек надувает.

Надувать — таков его жребий. «Человек рожден, чтоб плакать», — сказал поэт. Но это не так: он рожден, чтобы надувать. Такова цель его жизни — его жизненная задача — его *предназначение*. Поэтому про человека, совершившего надувательство, говорят, что он уже *отпетый*.

Надувательство, если рассмотреть его в правильном свете, есть понятие сложное, его составными частями являются: малый размах, корысть, упорство, выдумка, отвага, дерзость, невозмутимость, оригинальность, нахальство и *ухмылка*.

Малый размах. — Надувала работает с небольшим размахом. Его операции — операции мелкого масштаба, розничные, за наличный расчет или за чеки на предъявителя. Соблазнись он на крупные спекуляции, и он сразу же утратит свои характерные особенности, это уже будет не надувала, а так называемый «финансист», каковой термин передает все аспекты понятия «надувательства», за исключением его масштаба. Таким образом, надувала может быть рассмотрен как банкир *in petto*¹, а «финансовая операция» — как надувательство в Бробдингеге. Они соотносятся одно с другим, как Гомер с «Флакком», как мастодонт с мышью, как хвост кометы с хвостиком поросенка.

Корысть. — Надувалой руководит корысть. Он не станет надувать просто ради того, чтобы надуть. Он считает это недостойным. У него есть объект деятельности — свой карман. И ваш тоже. И он всегда выбирает наиболее благоприятный момент. Его занимает Номер Первый. А вы — Номер Второй и должны сами о себе позаботиться.

Упорство. — Надувала упорен. Он не отчаивается из-за пустяков. Его не так-то просто привести в отчаяние. Даже если все банки лопнут, ему мало дела. Он упорно добивается своей цели, и *Ut canis a corio nunquam absterrebitur uncto*², — так и он не выпускает свою добычу.

Выдумка. — Надувала горазд на выдумки. Он обладает большой изобретательностью. Способен на хитрейшие замыслы. Умеет войти в доверие и выйти из любо-

¹ В миниатюре, в уменьшенном виде (*лат.*).

² Ты не отгонишь ее, как пса от засаленной шкуры (*лат.*).

го положения. Если бы он не был Александром, то желал бы быть Диогеном. Не будь он надувала, он мастерил бы патентованные крысоловки или ловил на удочку форель.

Отвага. — Надувала отважен. Он — бесстрашный человек. Он ведет войну на вражеской территории. Нападает и побеждает. Тайные убийцы со своими кинжалами его бы не испугали. Чуть побольше рассудительности, и неплохой надувала получился бы из Дика Терпина; чуть поменьше болтовни — из Даниела О'Коннелла, а лишний фунт-другой мозгов — из Карла Двенадцатого.

Невозмутимость. — Надувала невозмутим. Никогда не нервничает. У него вообще нет нервов и отродясь не было. Не поддается суете. Его никто не выведет из себя — даже если выведет за дверь. Он абсолютно хладнокровен и спокоен — «как светлая улыбка леди Бэри». Он держится свободно, как старая перчатка на руке или как девы древних Байи¹.

Оригинальность. — Надуватель оригинален, иначе ему совесть не позволяет. Мысли у него — собственные. Чужих ему не надо. Устаревшие приемы он презирает. Я уверен, что он вернет вам кошелек, если только убедится, что раздобыл его неоригинальным надувательством.

Нахальство. — Надувала нахален. Он ходит вразвалку. Ставит руки в боки. Держит кулаки в карманах. Хочет вам в лицо. Наступает вам на мозоли. Он сст ваш обед, пьет ваше вино, занимает у вас деньги, оставляет вас с носом, пинает вашу собачку и целует вашу жену.

Ухмылка. — Настоящий надувала венчает все эти свойства ухмылкой. Но никто, кроме него самого, этого не видит. Он скалит зубы, когда закончен день трудов — когда дело сделано поздно вечером у себя в камерке и исключительно для собственного удовольствия. Он приходит домой. Запирает дверь. Раздевается. Задувает свечу. Ложится в постель. Опускает голову на подушку. И по завершении всего этого надувала широко скалит зубы. Это не гипотеза, а нечто само собой

¹ Б а й и — город вблизи Неаполя, известный в древности как место отдыха знатных римлян.

разумеющееся. Я рассуждаю а priori¹, ибо надувательство без ухмылки — не надувательство.

Происхождение надувательства относится к эпохе детства человечества. Первым надувалой, я думаю, можно считать Адама. Во всяком случае, эта наука прослеживается в веках вплоть до самой глубокой древности. Однако современные люди довели ее до совершенства, о каком и мечтать не могли наши толстолобые праотцы. И потому, не отвлекаясь для пересказа «преданий старины», удовлетворюсь кратким обзором «примеров из наших дней».

Отличным надувательством можно считать такое. Хозяйка дома, вознамерившись купить, скажем, диван, ходит из одного мебельного магазина в другой. Наконец, в десятом рекламируют как раз то, что ей надо. У дверей к ней обращается некий весьма вежливый и речистый индивидуум и с поклоном приглашает войти. Диван, как она и думала, вполне отвечает ее требованиям, а осведомившись о цене, она с удивлением и радостью слышит сумму, процентов на двадцать ниже ее ожиданий. Она спешит произвести покупку, просит чек, платит, получает квитанцию, оставляет адрес с просьбой доставить диван как можно скорее и удаляется, провожаемая до самого порога любезно кланяющимся приказчиком. Наступает вечер — дивана нет. Проходит следующий день — все то же. Слугу посылают навести справки о причинах задержки. Никакой диван продан не был, и денег никто не получал — кроме надувалы, прикинувшегося для этого случая приказчиком.

У нас в мебельных магазинах обычно никто не сидит, благодаря чему и возникает возможность для подобного жульничества. Люди входят, разглядывают мебель и удаляются, и никто их не видит и не слышит. Пожелай ты сделать покупку или осведомиться о цене, тут же висит звонок, и находят, что этого вполне достаточно.

Почтенным надувательством считается такое. В лавку входит хорошо одетый человек и делает покупки на сумму в один доллар; обнаруживает, раздосадованный,

¹ Исходя из общих соображений (*лат.*).

что оставил бумажник в кармане другого сюртука, и говорит приказчику так:

— Мой дорогой сэр, бог с ним со всем. Сделайте мне одолжение, отошлите весь пакет ко мне домой, хорошо?.. Хотя постоит, кажется у меня и *там* нет мелочи меньше пятидолларовой банкноты. Ну, да вы можете отослать и четыре доллара сдачи вместе с покупкой.

— Очень хорошо, сэр,— отвечает приказчик, сразу же проникнувшись уважением к возвышенному образу мыслей своего покупателя. «Я знаю молодчиков,— говорит он себе,— которые бы просто положили товар под мышку и пошли вон, посулившись зайти на обратном пути и принести доллар».

И он посылает мальчика с пакетом и сдачей. По дороге ему совершенно случайно встречается давешний господин и восклицает:

— А, это мои покупки, как я вижу! Я думал, они уже давно у меня дома. Ну, ну, беги. Моя жена, миссис Троттер, даст тебе пять долларов — я ей оставил указания на этот счет. А сдачу можешь отдать прямо мне, серебро мне как раз кстати: я должен зайти на почту. Прекрасно! Один, два... это не фальшивый четвертак?.. три, четыре — все верно! Скажешь миссис Троттер, что повстречался со мною, да смотри не замешкайся по дороге.

Мальчишка не мешкает по дороге — и, однако, очень долго не возвращается в лавку, потому что дамы по имени миссис Троттер ему отыскать не удалось. Впрочем, он утешает себя сознанием, что не такой уж он дурак, чтобы оставить товар без денег, возвращается в лавку с самодовольным видом и чувствует обиду и возмущение, когда хозяин спрашивает его, а где же сдача.

Очень простое надувательство вот какое. К капитану судна, готового отчалить от пристани, является официального вида господин и вручает на редкость умеренный счет портовых пошлин. Радешенек отделаться по дешевке, капитан, задуренный тысячей неотложных забот, спешит расплатиться. Минут через пятнадцать ему вручается другой, уже не столь умеренный, счет лицом, которое сразу же со всей очевидностью доказыва-

ет, что первый сборщик пошлин — надувала и ранее произведенный сбор — надувательство.

Или еще нечто в этом же роде. От пристани с минуты на минуту отчалит пароход. К сходням со всех ног бежит пассажир с чемоданом в руке. Внезапно он останавливается, как вкопанный, нагибается и в большом волнении подбирает что-то с земли. Это бумажник. «Кто из джентльменов потерял бумажник?» — кричит он. Никто с уверенностью не может утверждать, что именно он потерял бумажник, однако все взволнованы, когда господин обнаруживает, что находка его — ценная. Пароход, однако, задерживать нельзя.

— Время не ждет, — говорит капитан.

— Ради всего святого, повремените хоть несколько минут, — просит господин с бумажником. — Настоящий владелец должен объявиться с минуты на минуту.

— Нельзя! — отвечает корабельный вседержитель. — Эй, вы там! Отдать концы!

— Ах, ну что же мне делать? — восклицает нашедший в великом беспокойстве. — Я уезжаю за границу на несколько лет, и мне просто совесть не позволяет оставить у себя такую ценность. Прошу у вас прощения, сэр (здесь он обращается к господину, стоящему на пристани), вы выглядите честным человеком. Не окажете ли вы мне любезность, взяв на себя заботу об этом бумажнике? Я знаю, что могу вам доверять. Надо поместить объявление. Дело в том, что банкноты составляют немалую сумму. Владелец, без сомнения, пожелает отблагодарить вас за хлопоты...

— Меня? Нет, *вас!* Ведь это *вы* нашли бумажник.

— Ну, если вы *настаиваете*, я готов принять маленькое вознаграждение — только, чтобы удовлетворить вашу щепетильность. Позвольте, позвольте, да тут одни только сотенные! Вот незадача! Сотня — это слишком много, без сомнения, пятидесяти было бы вполне достаточно.

— Отдать концы! — командует капитан.

— Но у меня нечем разменять сотню, и все-таки лучше *вам...*

— Отдавай концы!

— Ничего! — кричит господин на берегу, порывшись в собственном бумажнике. — Сейчас все устроим! Вот вам пятьдесят долларов, обеспеченные Североамериканским банком. Бросайте мне бумажник!

Совестливый пассажир с видимой неохотой берет пятьдесят долларов и бросает господину на берегу бумажник, между тем как пароход отчаливает, пыхтя и пуская пары. Примерно через полчаса после его отплытия обнаруживается, что «банкноты на большую сумму» — не более как грубая подделка и вся эта история — первосортное надувательство.

А вот смелое надувательство. Где-то назначен загородный митинг. К месту, где он должен состояться, дорога ведет через мост. Надувала располагается на мосту и вежливо объясняет всем, кто хочет пройти или проехать, что в графстве принят новый закон, по которому взимается пошлина — один цент с пешехода, два — с лошади или осла, и так далее, и тому подобное. Кое-кто ворчит, но все подчиняются, и надувала возвращается домой, разбогатеv на пятьдесят — шестьдесят тяжким трудом заработанных долларов. Сбор денег с большого количества народу — занятие в высшей степени утомительное.

А вот тонкое надувательство. Друг надувалы владеет долговым обязательством последнего, написанным красными чернилами на обычном бланке и снабженным подписью. Надувала покупает дюжины две таких бланков и ежедневно окунает по одному бланку в суп, а затем заставляет свою собаку прыгать за ним и в конце концов отдает его ей на съедение. По наступлении срока расплаты по долговому обязательству надувала и надувателева собака являются в гости к другу, где речь тут же заходит о долге. Друг вынимает расписку из своего *escritoire*¹ и готов протянуть ее надувале, как вдруг собака надувалы подпрыгивает и пожирает бумагу без следа. Надувала не только удивлен, но даже раздосадован и возмущен подобным нелепым поведением своей собаки и выражает полную готовность расплатиться по своему обязательству, как только ему его предъявят.

Очень мелкое надувательство такое. Сообщник надувалы оскорбляет на улице даму. Сам надувала бро-

¹ бювар (*фр.*).

сается ей на помощь и, любовно отколотив своего дружка, почитает своим долгом проводить пострадавшую до дверей ее дома. Прощаясь, низко кланяется, прижав руку к сердцу. Она умоляет своего спасителя войти с ней в дом и быть представленным ее старшему братцу и папаше. Он со вздохом отказывается. «Неужели, сэр, — лепечет она, — нет никакого способа мне выразить мою благодарность?»

— Почему же, мадам, конечно, есть. Не будете ли вы столь добры, чтобы ссудить меня двумя-тремя шиллингами?

В первом приступе душевного смятения дама решается немедленно упасть в обморок. Но затем, одумавшись, она развязывает кошелек и извлекает требуемую сумму. Это, как я уже сказал, очень мелкое надувательство, поскольку ровно половину приходится отдать джентльмену, взявшему на себя труд нанести оскорбление и быть за это поколоченным.

Небольшое, но вполне научное надувательство вот какое. Надувала подходит к прилавку в пивной и требует пачку табаку. Получив, некоторое время ее разглядывает и говорит:

— Нет, не нравится мне этот табак. Нате, возьмите обратно, а мне взамен налейте стакан бренди с водой.

Бренди подается и выпивается, и надувала направляется к дверям. Но голос буфетчика останавливает его:

— По-моему, сэр, вы забыли заплатить за стакан бренди с водой.

— Заплатить за бренди? Но разве я не отдал вам взамен табак? Что же вам еще надо?

— Но, сэр, прошу прощения, я не помню, чтобы вы заплатили за табак.

— Что это значит, негодяй? Разве я не вернул вам ваш табак? Разве это не ваш табак вон там лежит? Или вы хотите, чтобы я платил за то, что не брал?

— Но, сэр, — бормочет буфетчик, совершенно растерявшись, — но, сэр...

— Никаких «но», сэр, — обрывает его надувала в величайшем негодовании. — Знаем мы ваши штучки, — и, ретируясь, хлопает дверью.

Или еще одно очень хитрое надувательство, самая простота которого служит ему рекомендацией. Кто-то

действительно теряет кошелек или бумажник и помещает подробное объявление в одной из многих газет большого города.

Надувала заимствует из этого объявления *факты*, изменив заглавие, общую фразеологию и *адрес*. Оригинал, скажем, длинный и многословный, дан под заголовком: «Утерян бумажник» и содержит просьбу о возвращении сокровища, буде оно найдется, по адресу: Том-стрит, № 1. А копия лаконична, озаглавлена одним словом: «Потерян» и адрес указан: Дик-стрит, № 2 или Гарри-стрит, № 3. Кроме того, копия помещена одновременно в пяти или шести газетах, а во времени отстаёт со своим появлением от оригинала всего на несколько часов. Случись, что её прочитает истинный пострадавший, едва ли он заподозрит, что это имеет какое-то отношение к его собственной пропаже. И разумеется, пять или шесть шансов против одного, что нашедший принесет бумажник по адресу, указанному надувалой, а не в дом настоящего владельца. Надувала уплачивает вознаграждение, получает сокровище и сматывает удочки.

Другое надувательство совсем в том же роде. Светская дама обронила что-то на улице, скажем, перстень с особо ценным бриллиантом. Тому, кто его найдет и возвратит, она предлагает вознаграждение в сорок-пятьдесят долларов, прилагая к объявлению подробнейшее описание самого камня и оправы, а также специально оговаривает, что доставившему драгоценность в дом номер такой-то по такой-то улице вознаграждение будет выплачено на месте, безо всяких распросов. Дня два спустя, в то время, как дама отлучилась из дому, у дверей такого-то номера по такой-то улице раздаётся звонок; слуга открывает; посетитель спрашивает хозяйку дома, слышит, что её нет, и при этом потрясающем известии выражает глубочайшее разочарование. У него очень важное дело, и именно к самой хозяйке. Видите ли, ему посчастливилось найти её бриллиантовый перстень. Но, пожалуй, будет лучше, если он зайдёт позже. «Ни в коем случае!» — восклицает слуга. «Ни в коем случае!» — восклицают хозяйкина сестра и хозяйкина невестка, немедленно призванные к месту переговоров. Перстень рассматри-

вают, шумно узнают, выплачивают вознаграждение, и посетителя чуть ли не взашей выталкивают на улицу. Возвращается дама и выражает сестре и невестке свое неодобрение, ибо они заплатили сорок или пятьдесят долларов за facsimile¹ ее бриллиантового перстня — facsimile, сделанное из настоящей железки и неподдельного стекла.

Но как нет, в сущности, конца надувательствам, так не было бы конца и моему исследованию, вздумай я перечислить хотя бы половину тех разновидностей и вариантов, которые допускает эта наука. И потому я вынужден завершить мое сочинение, для каковой цели лучше всего послужит заключительное описание одного весьма пристойного, хотя и замысловатого надувательства, которое сравнительно недавно произошло у нас в городе, а впоследствии было не без успеха повторено и в некоторых других, не менее значных местностях Штатов. В город неведомо откуда приезжает пожилой джентльмен. По всему видно, что это человек положительный, аккуратный, уравновешенный и разумный. Одет безупречно, но скромно, просто — белый галстук, просторный жилет, покрой которого продиктован исключительно соображениями удобства; мягкие широкие штиблеты на толстой подошве и панталоны без штрипок. Словом, с ног до головы зажиточный, респектабельный, трезвый делец *par excellence*² — один из тех суровых и по видимости жестких, а в душе мягких людей, вроде героев современных возвышенных мелодрам, каковые герои, как известно, одной рукой раздают гиней, а другой, просто из коммерческого принципа, вытрясут из человека все до сотовой доли последнего фартинга.

Господин этот с большой разборчивостью принимается за поиски квартиры. Он не любит детей. Привык к тишине. Образ жизни ведет весьма размеренный. И вообще предпочитает снять комнату и поселиться в почтенной семье, отличающейся религиозным направлением ума. При этом за ценой он не постоит, единственное его условие — это что за квартиру он будет платить точно по первым числам каждого месяца

¹ Копию (*лат.*).

² Прежде всего (*фр.*).

(сегодня второе); и он умоляет свою квартирную хозяйку, когда, наконец, находит таковую себе по вкусу, ни под каким видом не забывать этого его правила и присылать ему счет, а заодно и квитанцию, ровно в десять часов утра *первого* числа каждого месяца и ни при каких обстоятельствах не откладывать на второе.

Устроившись с квартирой, наш господин снимает себе помещение под контору в квартале скорее солидном, чем фешенебельном. Ничего на свете он так не презирает, как пускание пыли в глаза. «За богатой вывеской, — провозглашает он, — редко бывает по-настоящему солидное дело», — замечание, столь глубоко поразившее воображение его квартирной хозяйки, что она спешит записать его для памяти карандашом в своей толстой семейной Библии на широких полях Притчей Соломоновых.

Следующий шаг — объявление, вроде нижеследующего, которое помещается в одной из главных деловых газет города, взимающих по шести пенсов за объявление. (До более дешевых газет он не снисходит: во-первых они недостаточно солидны, а во-вторых, нечего требовать платы вперед; наш господин, как в святое Евангелие, верит в то, что ни за какую работу не следует платить до того, как она сделана.)

«*Требуется.* — Податели сего объявления намерены начать в этом городе широкие деловые операции, в связи с чем им потребуются услуги трех или четырех образованных и высококвалифицированных клерков, которым будет выплачиваться значительное жалованье. Рекомендации и свидетельства представлять только самые лучшие и не столько о деловых качествах, сколько о нравственной безупречности. Более того, так как будущие обязанности клерков связаны с большой ответственностью и поскольку через их руки будут проходить значительные суммы, было сочтено желательным, чтобы каждый из нанимаемых клерков вносил залог в размере пятидесяти долларов. В силу этого лиц, не располагающих указанной суммой для внесения залога и не имеющих убедительных свидетельств о строгих нравственных правилах, просят не беспокоиться. Предпочтение будет отдано молодым людям с религиозным направлением ума. Обращаться между де-

сятью и одиннадцатью часами утра и четырьмя и пятью часами дня к господам

Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и К°

в доме № 110 по Сучкью-стрит».

К тридцать первому числу указанного месяца объявление привело в контору господ Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Компания человек пятнадцать — двадцать молодых людей с религиозным направлением ума. Но наш почтенный делец ни с одним из них не спешит заключить контракт, — какой же делец в таких вопросах торопится? — так что каждый молодой человек подвергается весьма тщательному допросу касательно религиозности направления своего ума, прежде чем принимается на службу и получает квитанцию на свои пятьдесят долларов — просто для порядка — от респектабельной фирмы Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Компания. Утром первого числа следующего месяца хозяйка квартиры не вручает, как обещала, своего счета — упущение, за которое почтенный глава торгового дома, оканчивающегося на *кью*, без сомнения, сурово выбранил бы ее, когда бы его удалось задержать для этой цели в городе еще на день или два.

Между тем полицейские с ног сбились, бегая по городу, и все, что им удалось, это объявить, что почтеннейший господин — *n. e. i.*, каковые буквы расшифровываются людьми знающими как начальные классической латинской фразы: *non est inventus*¹. Между тем молодые люди, все как один, стали отличаться несколько менее религиозным направлением ума, а хозяйка квартиры покупает на шиллинг лучшей резинки и тщательно стирает карандашную надпись, которую какой-то дурак сделал в ее толстой семейной Библии на широких полях Притчей Соломоновых.

¹ Не найден (*лат.*).

ОЧКИ

Некогда принято было насмехаться над понятием «любовь с первого взгляда»; однако люди, способные мыслить, равно как и те, кто способен глубоко чувствовать, всегда утверждали, что она существует. И действительно, новейшие открытия в области, так сказать, нравственного магнетизма или магнето-эстетики заставляют предполагать, что самыми естественными, а следовательно, самыми искренними и сильными из человеческих чувств являются те, которые возникают в сердце, точно электрическая искра, — словом, лучшие и самые прочные из душевных цепей куются с одного взгляда. Признание, которое я намерен сделать, будет еще одним из бесчисленных подтверждений этой истины.

Повесть моя требует, чтобы я сообщил некоторые подробности. Я еще очень молод — мне не исполнилось и двадцати двух лет. Моя нынешняя фамилия — весьма распространенная и довольно-таки плебейская — Симпсон. Я говорю «нынешняя», ибо я принял ее всего лишь в прошлом году ради получения большого наследства, доставшегося мне от дальнего родственника, Адольфуса Симпсона, эсквайра. По условиям завещания требовалось принять фамилию завещателя, — но только фамилию, а не имя; имя мое — Наполеон Бонапарт. Фамилию Симпсон я принял неохотно, ибо с полным основанием горжусь своей настоящей фамилией — Фруассар и считаю, что мог бы доказать свое происхождение от бессмертного автора «Хроник». Если говорить о фамилиях, отмечу, кстати, любопытные

звуковые совпадения в фамилиях моих ближайших предков. Отцом моим был некий мосье Фруассар из Парижа. Моя мать, вышедшая за него в возрасте пятнадцати лет, — урожденная Круассар, старшая дочь банкира Круассара; а супруга того, вышедшая замуж шестнадцати лет, была старшей дочерью некоего Виктора Вуассара. Мосье Вуассар, как ни странно, также женился в свое время на барышне с похожей фамилией — Муассар. Она тоже вышла замуж почти ребенком; а ее мать, мадам Муассар, венчалась четырнадцать лет. Впрочем, столь ранние браки во Франции довольно обычны. Как бы то ни было, четыре ближайших поколения моих предков звались Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар. Я же, как уже говорилось, официально сделался Симпсоном, но с такой неохотой, что даже колебался, принять ли наследство на подобных никому не нужных и *неприятных proviso*¹.

Личными достоинствами я отнюдь не обделен. Напротив, я считаю, что хорошо сложен и обладаю внешностью, которую девять человек из десяти назовут красивой. Мой рост — пять футов одиннадцать дюймов. Волосы у меня темные и кудрявые. Нос — довольно правильной формы. Глаза большие и серые; и хотя крайняя близорукость причиняет мне большие неудобства, внешне это совершенно незаметно. Против докучной близорукости я применял всевозможные средства, за исключением очков. Будучи молод и красив, я их, естественно, не любил и всегда решительно от них отказывался. Ничто так не безобразит молодое лицо, придавая ему нечто излишне чопорное или даже ханжеское и старообразное. Что касается монокля, в нем есть какая-то жеманность и фатоватость. До сих пор я старался обходиться без того и другого. Но довольно этих подробностей, не имеющих, в сущности, большого значения. Добавлю еще, что темперамент у меня сангвинический; я горяч, опрометчив и восторжен и всегда был пылким поклонником женщин.

Однажды прошлой зимой в театре П. я вошел в одну из лож в сопровождении моего приятеля, мистера Толбота. В тот вечер давали оперу, в афише значилось много заманчивого, так что зрительный зал был

¹ условиях (*лат.*).

полон. Мы, однако, вовремя явились занять оставленные для нас места в первом ряду, куда не без труда протиснулись.

В течение двух часов внимание моего спутника, настоящего музыкального *fanatico*¹, было всецело поглощено сценой; а я тем временем разглядывал публику, по большей части представляющую *élite*² нашего города. Удостоверясь в этом, я приготовился перевести взгляд на *prima donna*³, как вдруг его приковала к себе дама в одной из лож, прежде мной не замеченная.

Проживи я хоть тысячу лет, мне не позабыть охватившего меня глубокого волнения. То была прекраснейшая из всех женщин, до тех пор виденных мною. Лицо ее было обращено к сцене, так что в первые несколько минут оставалось не видным, но фигура была *божественна* — никакое иное слово не могло бы передать ее дивные пропорции, и даже это кажется мне смехотворно слабым.

Прелесть женских форм, колдовские чары женской грации всегда привлекали меня с неодолимой силой; но тут передо мной была воплощенная грация, *beau idéal*⁴ моих самых пылких и безумных мечтаний. Видная мне почти целиком благодаря устройству ложи, она была несколько выше среднего роста и могла быть названа почти величавой. Округлости фигуры, ее *tour-pure*⁵ были восхитительны. Голова, видная мне только с затылка, могла соперничать с головкой Психеи; очертания ее скорее подчеркивались, чем скрывались, изящным убором из *gaze aérienne*⁶, напомнившего мне о *ventum textilem*⁷ Апулея. Правая рука покоилась на барьере ложи и своей восхитительной формой заставляла трепетать каждый нерв моего существа. Верхняя часть ее скрывалась модным широким рукавом. Он спускался чуть ниже локтя. Под ним был другой, облегаящий рукав, из какой-то тонкой ткани, законченный пышной кружевной манжетой, красиво лежавшей на

¹ фанатика (*ит.*).

² избранную часть, цвет (*фр.*).

³ примадонну, певицу, исполняющую главную роль (*ит.*).

⁴ идеал (*фр.*).

⁵ осанка (*фр.*).

⁶ воздушного газа (*фр.*).

⁷ ткани воздушной (*лат.*).

кисти руки, оставляя наружу лишь тонкие пальцы, один из которых был украшен бриллиантовым кольцом, несомненно, огромной ценности. Прелестная округлость запястья подчеркивалась браслетом, также украшенным *aigrette*¹ из драгоценных камней, который яснее всяких слов свидетельствовал как о богатстве, так и об изысканном вкусе владелицы.

Словно окаменев, я не менее получаса любовался этим царственным обликом и в полной мере ощутил силу и истинность всего, что говорится и поется о «любви с первого взгляда». Чувства мои совершенно не походили на те, какие я испытывал прежде, даже при виде наиболее знаменитых красавиц. Какое-то необъяснимое, магнетическое влечение души к душе, казалось, приковало не только мой взор, но все мои помыслы и чувства к восхитительному созданию, сидевшему передо мной. Я понял — я почувствовал — я знал, что глубоко, безумно и беззаветно влюбился — даже прежде чем увидел лицо любимой. Так сильна была сжигающая меня страсть, что я едва ли охладел бы, если бы черты еще невидимого мне лица оказались самыми заурядными — настолько причудлива природа единственной истинной любви и так мало она зависит от внешних условий, которые только по видимости рождают и питают ее.

Пока я таким образом самозабвенно любовался прелестным видением, какой-то внезапный шум в зале заставил даму слегка повернуться в мою сторону, и я увидел ее профиль. Красота его даже превзошла мои ожидания — и, однако, что-то в нем разочаровало меня, хотя я и не сумел бы объяснить, что именно. Я сказал «разочаровало», но это слово не вполне подходит. Чувства мои успокоились и одновременно сделались как бы возвышеннее. Причиной могло быть выражение достоинства и кротости, придававшее ей облик матроны или мадонны. Однако я тотчас понял, что дело не только в этом. Было еще нечто — какая-то непостижимая тайна — что-то неуловимое в ее лице, что несколько встревожило меня, усилив вместе с тем мой интерес. Словом, я пришел в то состояние духа, когда молодой и впечатлительный человек готов на любое

¹ плюмажем, пучком (*фр.*).

безумство. Если бы дама была в одиночестве, я наверняка вошел бы в ее ложу и рискнул заговорить с ней; но, по счастью, с ней были двое — мужчина и поразительно красивая женщина, по виду несколько моложе ее.

Я перебирал в уме всевозможные способы быть представленным старшей из дам или хотя бы рассмотреть ее более отчетливо. Я готов был пересесть к ней поближе, но для этого театр был слишком переполнен, а неумолимые законы приличия запрещают в наше время пользоваться в подобных случаях биноклем, даже если бы он у меня оказался, — но его не было, и я был в отчаянии.

Наконец мне пришло в голову обратиться к моему спутнику.

— Толбот, — сказал я, — у вас есть бинокль. Дайте его мне.

— Бинокль? Нет. К чему мне бинокль? — И он нетерпеливо повернулся к сцене.

— Толбот, — продолжал я, теребя его за плечо, — послушайте! Видите вон ту ложу? Вон ту. Нет, соседнюю — встречали вы когда-нибудь такую красавицу?

— Да, хороша, — сказал он.

— Интересно, кто такая?

— Бог ты мой, неужели вы не знаете? «Сказав, что вы не знаете ее, в ничтожестве своем вы сознаетесь». Это известная мадам Лаланд — первая красавица, — о ней говорит весь город. Безмерно богата, к тому же — вдова, завидная партия — и только что из Парижа.

— Вы с ней знакомы?

— Да, имею честь.

— А меня представите?

— Разумеется, с большим удовольствием, но когда?

— Завтра в час дня я зайду за вами в отель Б.

— Отлично; а сейчас помолчите, если можете.

В этом мне пришлось подчиниться Толботу, ибо он остался глух ко всем дальнейшим расспросам и замечаниям и до конца вечера был занят только тем, что происходило на сцене.

Я тем временем не сводил глаз с мадам Лаланд, и мне наконец посчастливилось увидеть ее en face¹. Ли -

¹ спереди (фр.).

цо ее было прелестно, но это подсказало мне сердце, еще прежде чем Толбот удовлетворил мое любопытство; и все же нечто непонятное продолжало меня тревожить. Наконец я решил, что это, должно быть, выражение серьезности, печали или, пожалуй, усталости, которое лишало лицо части свежести и юности, но зато придавало ему ангельскую кротость и величавость, то есть делало несравненно привлекательнее для моей восторженной и романтической натуры.

Пожирая ее глазами, я с волнением заметил по едва уловимому движению дамы, что она почувствовала на себе мой пламенный взгляд. Но я был так очарован, что не мог отвести его хотя бы на миг. Она отвернулась, и мне снова стал виден только ее изящный затылок. Через несколько минут, как видно желая убедиться, продолжаю ли я смотреть на нее, она медленно обернулась и вновь встретила мой горящий взгляд. Она тотчас потупила свои большие темные глаза, а щеки ее густо залились румянцем. Но каково было мое удивление, когда она, вместо того чтобы вторично отвернуться, взяла двойной лорнет, висевший у нее на поясе, поднесла его к глазам — навела — и несколько минут внимательно и неторопливо меня разглядывала.

Если бы у моих ног ударила молния, я был бы менее поражен — но *именно* поражен, а отнюдь не возмущен, хотя в любой другой женщине подобная смелость могла и возмутить и оттолкнуть. Но она проделала все это столь спокойно, с такой *nonchalance*¹, — с такой безмятежностью, — словом, с такой безупречной воспитанностью, что это не содержало и тени бесстыдства, и единственными моими чувствами были удивление и восторг.

Когда она направила на меня свой лорнет, я заметил, что она, бегло оглядев меня, уже готовилась отвести его, но потом, словно спохватившись, вновь приставила к глазам и с пристальным вниманием разглядывала меня никак не менее пяти минут.

Поведение, столь необычное в американском театральном зале, привлекло общее внимание и вызвало в публике движение и шепот, которые на миг смутили

¹ небрежностью (*фр.*).

меня, но, казалось, не произвели никакого впечатления на мадам Лаланд.

Удовлетворив свое любопытство — если это было любопытством, — она опустила лорнет и снова спокойно обратила лицо к сцене, повернув ко мне, как и вначале, свой профиль. Я по-прежнему не спускал с нее глаз, хотя вполне сознавал неприличность своего поведения. Но вот голова ее медленно изменила положение, и вскоре я убедился, что дама, делая вид, будто смотрит на сцену, на самом деле внимательно глядит на меня. Излишне говорить, как подействовало на мою пламенную натуру подобное поведение столь обворожительной женщины.

Посвятив осмотру моей особы, пожалуй, с четверть часа, прекрасный предмет моей страсти обратился к сопровождавшему ее джентльмену, и я по взглядам их обоих ясно понял, что разговор идет обо мне.

Затем мадам Лаланд вновь повернулась к сцене и на несколько минут, по-видимому, заинтересовалась представлением. По прошествии этого времени я с неизъяснимым волнением увидел, что она еще раз взялась за лорнет, снова повернулась ко мне и, пренебрегая возобновившимся перешептыванием в публике, оглядела меня с головы до ног с тем же удивительным спокойствием, которое уже в первый раз так восхитило и потрясло меня.

Эти необычайные поступки, окончательно вскружив мне голову и доведя до истинного безумия мою страсть, скорее придали мне смелости, чем смутили. В любовном угаре я позабыл обо всем, кроме присутствия очаровательницы и ее царственной красоты. Улучив минуту, когда, как мне казалось, внимание публики было поглощено оперой, я поймал взгляд мадам Лаланд и тотчас же отвесил ей легкий поклон.

Она сильно покраснела — отвела глаза — медленно и осторожно огляделась, видимо, желая убедиться, что мой дерзкий поступок остался незамеченным, — а затем наклонилась к джентльмену, сидевшему с нею рядом.

Я уже сгорал от стыда за совершенную мною бестактность и ожидал немедленного скандала; в уме моем промелькнула предстоящая наутро неприятная встреча на пистолетах. Но тут я с большим облегчени-

ем увидел, что дама просто молча передала своему спутнику программу; и пусть читатель хотя бы отдаленно представит себе мое удивление — мое глубокое изумление — и безумное смятение чувств, когда дама, снова украдкой оглянувшись вокруг, устремила прямо на меня свои сияющие глаза, а затем, с легкой улыбкой, открывшей жемчужный ряд зубов, два раза утвердительно наклонила голову.

Невозможно описать мою радость — мой восторг — мое безмерное ликование. Если кто-нибудь терял рассудок от избытка счастья, таким безумцем был в ту минуту я. Я любил. То была моя *первая* любовь — так я чувствовал. То была любовь — безграничная — неизъяснимая. То была «любовь с первого взгляда», и с первого же взгляда меня оценили и ответили мне *взаимностью*.

Да, взаимностью. Как мог я в этом усомниться хотя бы на минуту? Как мог иначе истолковать подобное поведение со стороны дамы столь прекрасной, столь богатой, несомненно, образованной и отлично воспитанной, занимающей столь высокое положение в обществе и достойной всяческого уважения, какою, по моему убеждению, являлась мадам Лаланд? Да, она полюбила меня — она ответила на мою безумную любовь чувством столь же безотчетным — столь же беззаветным — столь же бескорыстным — и столь же безмерным, как мое! Эти восхитительные размышления были, однако, тут же прерваны опустившимся занавесом. Зрители встали с мест, и началась обычная суতোлка. Покинув Толбота, я силился приблизиться к мадам Лаланд. Не сумев этого сделать из-за толпившейся публики, я должен был отказаться от погони и направился домой, тоскуя, что не смог хотя бы коснуться края ее одежды, но утешаясь мыслью, что завтра Толбот представит меня ей по всей форме.

Этот день, наконец, настал; то есть долгая и томительная ночь нетерпеливого ожидания сменилась рассветом; но и после этого время до «часу дня» ползло нескончаемо, точно улитка. Но говорят, что даже Стамбулу когда-нибудь придет конец; наступил он и для моего ожидания. Часы пробили. При последнем отголке их боя я вошел в отель Б. — и спросил Толбота.

— Нету,— ответил слуга — собственный лакей Толбота.

— Нету? — переспросил я, пошатнувшись и отступая на несколько шагов.— Это, любезный, совершенно немыслимо и невозможно. Как это *нету*?

— Дома нету, сэр. Мистер Толбот сейчас же как позавтракал, уехал в С.— и велел сказать, что не будет в городе всю неделю.

Я окаменел от ужаса и негодования. Я пытался что-то сказать, но язык мне не повиновался. Наконец я пошел прочь, бледный от злобы, мысленно посылая в преисподнюю весь род Толботов. Было ясно, что мой внимательный друг, *il fanatico*, совершенно позабыл о своем обещании — позабыл сразу же, как обещал. Он никогда не отличался верностью своему слову. Делать было нечего; я подавил, как сумел, свое раздражение и уныло шел по улице, тщетно расспрашивая о мадам Лаланд каждого встречавшегося мне знакомого мужчину. Оказалось, что понаслышке ее знали все — а многие и в лицо — но она находилась в городе всего несколько недель, и поэтому лишь очень немногие могли похвастать знакомством с нею. Эти немногие, сами будучи еще малознакомыми для нее людьми, не могли или не хотели взять на себя смелость явиться к ней с утренним визитом ради того, чтобы меня представить. Пока я, уже отчаявшись, беседовал с тремя приятелями все на ту же поглощавшую меня тему, предмет этой беседы внезапно сам появился перед нами.

— Клянусь, вот и она! — вскричал один из приятелей.

— Изумительно хороша! — воскликнул второй.

— Суций ангел! — промолвил третий.

Я взглянул; в открытом экипаже, который медленно ехал по улице, к нам приближалось волшебное видение, представшее мне в опере, а рядом сидела та же молодая особа, что была тогда с нею в ложе.

— Ее спутница тоже удивительно хорошо выглядит,— заметил тот из троих, кто заговорил первым.

— Да, поразительно,— сказал второй,— до сих пор весьма эффектна; но ведь искусство творит чудеса. Честное слово, она выглядит лучше, чем пять лет назад

в Париже. Все еще хороша — не правда ли, Фруассар, то бишь Симпсон?

— *Все еще?* — переспросил я; почему бы нет? Но в сравнении со своей спутницей она все равно что свечка рядом с вечерней звездой — или светлячок по сравнению с Антаресом¹.

— Ха, ха, ха! Однако ж, Симпсон, у вас истинный дар на открытия, и весьма оригинальные.

На этом мы расстались; а один из трио принялся мурлыкать водевильные куплеты, в которых я уловил лишь несколько слов:

Ninon, Ninon, Ninon à bas —
A bas Ninon de L'Enclos!²

Во время этого разговора произошло событие, которое меня очень обрадовало, но еще усилило сжигающую меня страсть. Когда экипаж мадам Лаланд поравнялся с нами, она явно меня узнала; более того — ослепливила ангельской улыбкою, ясно говорившей, что я узнан.

Всякую надежду на знакомство пришлось оставить до того времени, когда Толбот сочтет нужным вернуться в город. А пока я усердно посещал все приличные места общественных увеселений, и наконец в том самом театре, где я увидел ее впервые, я имел несказанное счастье встретить ее еще раз и обменяться с ней взглядами. Это, однако, произошло лишь по прошествии двух недель. Все это время я ежедневно справлялся о Толботе в его отеле и ежедневно приходил в ярость, слыша от его слуги неизменное «еще не приезжал».

Вот почему в описываемый вечер я был уже близок к помешательству. Мне сказали, что мадам Лаланд — парижанка, недавно приехала из Парижа — она могла ведь и уехать обратно — уехать до возвращения Толбота — а тогда будет потеряна для меня навеки.

¹ А н т а р е с — звезда первой величины красного цвета в созвездии Скорпиона.

² Долой Нинон, Нинон, Нинон —
Долой Нинон де Ланкло³ (фр.).

³ Л а н к л о, Н и н о н (1615—1705) — французская куртизанка, сохранившая привлекательность до глубокой старости.



Мысль эта была непереносима. На карту было поставлено мое будущее, и я решил действовать, как подобает настоящему мужчине. Словом, по окончании представления я последовал за дамой, заметил себе ее адрес, а на следующее утро послал ей пространное письмо, в котором излил свои чувства. Я писал свободно, смело — словом, писал со страстью. Я ничего не скрыл — даже своих слабостей. Я упомянул о романтических обстоятельствах нашей первой встречи и даже о взглядах, которыми мы обменялись. Я решился написать, что уверен в ее любви; этой уверенностью, а также пылкостью моего собственного чувства я оправдывал поступок, который иначе был бы непростителен. В качестве третьего оправдания я написал о своем опасении, что она может уехать из города, прежде чем мне явится возможность быть ей представленным. Я заключил это самое безумное и восторженное из посланий откровенным отчетом о своих денежных обстоятельствах, о своих немалых средствах и предложением руки и сердца.

Ответа я ждал с мучительным нетерпением. Спустя какое-то время, показавшееся мне столетием, ответ пришел.

Да, *пришел*. Как ни романтично все это может показаться, я действительно получил письмо от мадам Лаланд — от прекрасной, богатой, всех восхищавшей мадам Лаланд. Ее глаза — ее чудесные глаза — не обманывали: сердце ее было благородно. Как истая француженка, она послушалась честного голоса природы — щедрых побуждений сердца и презрела чопорные условности света. Она *не* отвергла мое предложение. Она *не* замкнулась в молчании. Она *не* возвратила мое письмо нераспечатанным. Она даже прислала ответ, начертанный ее собственной прелестной рукой. Ответ этот гласил:

«Мосье Симпсон будет извинить если плохо пишу прекрасного языка его *contrée*¹. Я приехал недавно и не был еще случай его *étudier*².

¹ страны (*фр.*).

² изучить (*фр.*).

С эта извинения, я скажу, hélas¹! Мосье Симпсон очень истинно догадалась. Не надо добавлять? Hélas! Я уже слишком много сказать.

Эжени Лаланд».

Я тысячи раз целовал эту благородную записку и, вероятно, совершил множество других безумств, которых сейчас уж и не припомню. А Толбот *все еще* не возвращался. Ах, если б он хоть смутно догадывался о страданиях, какие причинял другу своим отсутствием, неужели он не поспешил бы их облегчить? Однако он *не* возвращался. Я написал ему. Он ответил. Его задерживали неотложные дела — но он скоро вернется. Он просил меня быть терпеливее — умерить мой пыл — читать успокоительные книги — не пить ничего крепче рейнвейна — и искать утешения в философии. Глупец! Если он не мог приехать сам, отчего, во имя всего разумного, он не прислал в своем письме рекомендательной записки? Я написал ему вторично, умоляя прислать таковую. Письмо мое было мне возвращено все *тем же* слугой со следующей карандашной надписью — негодяй уехал к своему господину:

«Уехали вчера из С., а куда и надолго ли — не сказали. Поэтому я решил лучше письмо вернуть, узнавши Вашу руку, потому что Вам всегда спешно.

Ваш покорный слуга

Стабсс».

Надо ли говорить, как я после этого проклинал и господина и слугу, — но от гнева было мало пользы, а от жалоб — ни малейшего утешения.

Моей последней надеждой оставалась моя врожденная смелость. Она уже сослужила мне службу, и я решил положиться на нее и далее. К тому же после обмена письмами что *мог* я совершить такого, что мадам Лаланд сочла бы за дерзость? После получения от нее письма я постоянно наблюдал за ее домом и обнаружил, что она имела обыкновение прогуливаться по вечерам в парке, куда выходили ее окна, в сопровождении одного лишь негра в ливрее. Здесь, под роскошны-

¹ увы! (фр.).

ми тенистыми купами, в сумерках теплого летнего дня я дождался случая и подошел к ней.

Чтобы ввести в заблуждение сопровождавшего ее слугу, я принял уверенный вид старого, близкого знакомого. Она сразу поняла это и с истинно парижским присутствием духа протянула мне в качестве приветствия обворожительную маленькую ручку. Слуга тотчас же отстал на несколько шагов, и мы излили наши переполненные сердца в долгой беседе о нашей любви.

Так как мадам Лаланд изъяснялась по-английски еще менее свободно, чем писала, разговор мог идти только по-французски. На этом сладостном языке, созданном для любовных признаний, я дал волю своей необузданной страстности и со всем красноречием, на какое был способен, умолял ее согласиться на немедленный брак.

Мое нетерпение вызвало у нее улыбку. Она напомнила о светских приличиях — об этом пугале, которое столь многим преграждает путь к счастью, пока возможность его не бывает потеряна навеки. Она сказала, что я весьма неосторожно разгласил среди своих друзей, что ищу знакомства с нею, показав тем самым, что мы еще не знакомы, и теперь нам не удастся скрыть, когда именно мы познакомились. Тут она, смущаясь, назвала эту столь недавнюю дату. Немедленное венчание было бы неприлично поспешным — неудобным — *outré*¹. Все это она высказала с очаровательной *naïveté*², которая восхитила меня, хотя я с огорчением сознавал, что она права. Она даже обвинила меня, смеясь, в опрометчивости и безрассудстве. Она напомнила мне, что я не знаю, кто она, каковы ее средства, ее семья и положение в обществе. Она со вздохом попросила меня не спешить и назвала мою любовь ослеплением — вспышкой — минутной фантазией — непрочным созданием скорее воображения, нежели сердца. Пока она говорила, блаженные сумерки все более сгущались вокруг нас — и вдруг нежным пожатием своей волшебной ручки она в один сладостный миг опрокинула все здание своих доводов.

¹ вызывающим (*фр.*).

² наивностью (*фр.*).

Я отвечал, как умел, — как умеют одни лишь истинно влюбленные. Я пространно и убедительно говорил о своей любви, о своей страсти — о ее дивной красоте и о моем безмерном восхищении. В заключение я энергично указал на опасности, окружающие любовь, — ту истинную любовь, чей путь никогда не бывает гладким, и вывел отсюда, что путь этот надлежит по возможности сократить.

Последний мой довод, казалось, несколько поколебал ее суровую решимость. Она смягчилась; но оставалось еще одно препятствие, о котором, по ее словам, я должным образом не подумал. Вопрос был щекотливый — женщине особенно не хотелось бы его касаться; делая это, она пересиливала себя, но ради *меня* она готова на любую жертву. Она имела в виду *возраст*. Знаю ли я — точно ли я знаю, какая разница в годах нас разделяет? Когда муж бывает на несколько лет и даже на пятнадцать — двадцать лет старше жены, это свет считает допустимым и даже одобряет; но чтобы жена была старше мужа, этого мадам Лаланд *никогда* не одобряла. Подобное противоестественное различие слишком часто, увы! бывает причиной несчастливой супружества. Она знает, что мне всего лишь двадцать два года; а вот мне, возможно, *не* известно, что моя Эжени значительно старше.

В этих словах звучало душевное благородство, достоинство и прямота, которые очаровали меня — привели в восхищение — и еще прочнее привязали к ней. Я едва мог сдерживать свой безмерный восторг.

— Прелестная Эжени! — вскричал я. — О чем Вы толкуете? Вы несколько старше меня годами. Что ж из того? Обычай света — всего лишь пустые условности. Для такой любви, как наша, не все ли равно — год или час? Вы говорите, что мне всего двадцать два, хотя мне уже почти двадцать три. Ну а Вам, милая Эжени, не может быть более — более чем — чем...

Тут я остановился, надеясь, что мадам Лаланд договорит за меня и назовет свой возраст. Но француженка редко отвечает прямо и на щекотливый вопрос всегда имеет наготове какую-нибудь увертку. В этом случае Эжени, перед тем искавшая что-то у себя на груди,

уронила в траву медальон, который я немедленно подобрал и подал ей.

— Возьмите его! — сказала она с самой обворожительной своей улыбкой. — Примите его от той, которая здесь так лестно изображена. К тому же на обороте медальона вы, быть может, найдете ответ на свой вопрос. Сейчас слишком темно — вы рассмотрите его завтра утром. А теперь проводите меня домой. Мои друзья устраивают сегодня небольшой домашний *levée*¹. Обещаю, что вы услышите неплохое пение. Мы, французы, не столь чопорны, как вы, американцы, и я без труда проведу вас к себе, как будто старого знакомого.

Она оперлась на мою руку, и я проводил ее домой. Особняк ее был красив и, кажется, обставлен со вкусом. Об этом, впрочем, я едва ли мог судить, ибо к тому времени совсем стемнело, а в лучших американских домах редко зажигают лампы в летние вечера. Разумеется, спустя час после моего прихода в большой гостиной зажгли карсельскую лампу под абажуром; и я смог увидеть, что эта комната была убрана с необыкновенным вкусом и даже роскошью; но две соседние, в которых главным образом и собрались гости, в течение всего вечера оставались погруженными в весьма приятный полумрак. Это отличный обычай, дающий гостям возможность выбирать между светом и сумраком, и нашим заморским друзьям следовало бы принять его немедленно.

Проведенный там вечер был, несомненно, счастливейшим в моей жизни. Мадам Лаланд не преувеличила музыкальные дарования своих друзей; я слышал пение, лучше которого еще не слышал в домашних концертах, разве лишь в Вене. Много было также талантливых исполнителей на музыкальных инструментах. Пели главным образом дамы и все — по меньшей мере хорошо. Когда собравшиеся требовательно закричали «Мадам Лаланд», она, не жеманясь и не отнекиваясь, встала с шезлонга, где сидела рядом со мною, и, в сопровождении одного-двух мужчин, а также подруги, с которой была в опере, направилась к фортепиано, стоявшему в большой гостиной. Я охотно сам проводил бы ее туда, но чувствовал, что обстоятельства моего по-

¹ прием (*фр.*).

явления в доме требовали, чтобы я не был слишком на виду. Поэтому я был лишен удовольствия смотреть на певицу — но мог слышать ее.

Впечатление, произведенное ею на слушателей, было потрясающим, но на меня действие ее пения было еще сильнее. Я не сумею описать его должным образом. Отчасти оно вызывалось переполнявшей меня любовью; но более всего — глубоким чувством, с каким она пела. Никакое мастерство не могло придать арии или речитативу более страстной *выразительности*. Ее исполнение романса из «Отелло», — интонация, с какою она пропела слова «*Sul mio sasso*»¹ из «Капулетти», доныне звучат в моей памяти. В низком регистре она поистине творила чудеса. Голос ее обнимал три полные октавы, от контральтового D до верхнего D сопрано и хотя он был достаточно силен, чтобы наполнить Сан-Карло², она настолько владела им, что с легкостью справлялась со всеми вокальными сложностями — восходящими и нисходящими гаммами, каденциями и фиоритурами. Особенно эффектно прозвучал у нее финал «Сомнамбулы»:

Ah! non giunge uman pensiero
Al contento ond'io son piena³

Тут, в подражание Малибран, она изменила сочиненную Беллини фразу, взяв теноровое G, а затем сразу перебросив звук G на две октавы вверх.

После этих чудес вокального искусства она вернулась на свое место рядом со мной, и я в самых восторженных словах выразил ей мое восхищение. Я ничего не сказал о моем удивлении, а между тем я был немало удивлен, ибо некоторая слабость и как бы дрожание ее голоса при разговоре не позволяли ожидать, что пение ее окажется столь хорошо.

Тут между нами произошел долгий, серьезный, откровенный и никем не прерываемый разговор. Она заставила меня рассказать о моем детстве и слушала с на-

¹ «Над моим утесом» (*ит.*).

² С а н - К а р л о — оперный театр в Неаполе, один из самых крупных в Европе XIX века.

³ Ум человеческий постичь не может
Той радости, которой я полна (*ит.*).

пряженным вниманием. Я не утаил от нее ничего — я не чувствовал себя вправе что-либо скрывать от ее доверчивого и ласкового участия. Ободренный ее собственной откровенностью в деликатном вопросе о возрасте, я сознался не только в многочисленных дурных привычках, но также и в нравственных и даже физических недостатках, что требует гораздо большего мужества и тем самым служит вернейшим доказательством любви. Я коснулся студенческих лет — мотовства — пирушек — долгов — и любовных увлечений. Я пошел еще дальше и признался в небольшом легочном кашле, который мне одно время докучал — в хроническом ревматизме — в наследственном расположении к подагре и, наконец, в неприятной, но доныне тщательно скрываемой слабости зрения.

— Что касается последнего, — сказала, смеясь, мадам Лаланд, — то вы напрасно сознались, ибо без этого признания вас никто бы не заподозрил. Кстати, — продолжала она, — помните ли вы, — и тут мне, несмотря на царивший в комнате полумрак, почудилось, что она покраснела, — помните ли вы, *mon cher ami*¹, средство для улучшения зрения, которое и сейчас висит у меня на шее?

Говоря это, она вертела в руках тот самый двойной лорнет, который привел меня в такое смущение тогда в опере.

— Еще бы не помнить! — воскликнул я, страстно сжимая нежную ручку, протянувшую мне лорнет. Это была роскошная и затейливая игрушка, богато украшенная резьбой, филигранью и драгоценными камнями, высокая стоимость которых была мне видна даже в полумраке.

— *Eh bien, mon ami*², — продолжала она с *empressement*³, несколько меня удивившей. — *Eh bien, mon ami*, вы просите меня о даре, который называется бесценным. Вы просите моей руки, и притом завтра же. Если я уступлю вашим мольбам — и, вместе, голосу собственного сердца — разве нельзя и мне требовать исполнения одной, очень маленькой просьбы?

¹ дорогой друг (*фр.*).

² Так вот, мой друг (*фр.*).

³ поспешностью, готовностью (*фр.*).

— Назовите ее! — воскликнул я так пылко, что едва не привлек внимание гостей, и готовый, если б не они, броситься к ее ногам. — Назовите ее, моя любимая, моя Эжени, назовите! — но ах! Она уже исполнена прежде, чем высказана.

— Вы должны, *mon ami*, — сказала она, — ради любимой вами Эжени побороть маленькую слабость, в которой вы мне только что сознались, — слабость скорее моральную, чем физическую, и, поверьте, недостойную вашей благородной души — несовместимую с вашей прирожденной честностью — и которая наверняка навлечет когда-нибудь на вас большие неприятности. Ради меня вы должны победить кокетство, которое, как вы сами признаете, заставляет вас скрывать близорукость. Ибо вы скрываете ее, когда отказываетесь прибегнуть к обычному средству против нее. Словом, вы меня поняли; я хочу, чтобы вы носили очки, — тсс! Вы ведь уже обещали, *ради меня*. Примите же от меня в подарок вот эту вещицу, что я держу в руке; стекла в ней отличные, хотя ценность оправы и невелика. Видите, ее можно носить и так — и вот так — на носу, как очки, или в жилетном кармане в качестве лорнета. Но вы, *ради меня*, будете носить ее именно в виде очков, и притом постоянно.

Должен признаться, что эта просьба немало меня смутила. Однако условие, с которым она была связана, не допускало ни малейших колебаний.

— Согласен! — вскричал я со всем энтузиазмом, на какой я был в тот миг способен. — Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет, как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на — на нос и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден.

После этого разговор у нас перешел на подробности нашего завтрашнего плана. Толбот, как я узнал от своей нареченной, как раз вернулся в город. Я должен был немедленно с ним увидаться, а также нанять экипаж. Гости разойдутся не ранее чем к двум часам, и тогда, в суматохе разъезда, мадам Лаланд сможет неза-

метно в него сесть. Мы поедем к дому одного священника, который уже будет нас ждать; тут мы обвенчаемся, простимся с Толботом и отправимся в небольшое путешествие на Восток, предоставив фешенебельному обществу города говорить о нас все, что ему угодно.

Уговорившись обо всем этом, я тотчас отправился к Толботу, но по дороге не утерпел и зашел в один из отелей, чтобы рассмотреть портрет в медальоне; это я сделал при мощном содействии очков. Лицо на миниатюрном портрете было несказанно прекрасно! Эти большие лучезарные глаза! — этот гордый греческий нос! — эти пышные темные локоны! «О, — сказал я себе, ликуя, — какое поразительное сходство!» На обратной стороне медальона я прочел: «Эжени Лаланд, двадцати семи лет и семи месяцев».

Я застал Толбота дома и немедленно сообщил ему о своем счастье. Он, разумеется, выразил крайнее удивление, однако от души меня поздравил и предложил помочь, чем только сможет. Словом, мы выполнили наш план; и в два часа пополудни, спустя десять минут после брачной церемонии, я уже сидел с мадам Лаланд — то есть с миссис Симпсон — в закрытом экипаже, с большой скоростью мчавшемся на северо-восток.

Поскольку нам предстояло ехать всю ночь, Толбот посоветовал сделать первую остановку в селении К. — милях в двадцати от города, чтобы позавтракать и отдохнуть, прежде чем продолжать путешествие. И вот, ровно в четыре часа утра, наш экипаж подъехал к лучшей тамошней гостинице. Я помог своей обожаемой жене выйти и тотчас же заказал завтрак. В ожидании его нас провели в небольшую гостиную, и мы сели.

Было уже почти, хотя и не совсем, светло; и, глядя в восхищении на ангела, сидевшего рядом со мною, я вдруг вспомнил, что, как ни странно, с тех пор как я впервые увидел несравненную красоту мадам Лаланд, я еще ни разу не созерцал эту красоту вблизи и при свете дня.

— А теперь, *mon ami*, — сказала она, взяв меня за руку и прервав таким образом мои размышления, — а теперь, *mon cher ami*, когда мы сочетались нерасторжимыми узами — когда я уступила вашим пылким

мольбам и исполнила уговор, я надеюсь, вы не забыли, что и вам надлежит кое-что для меня сделать и сдержать свое обещание. Как это было? Дайте вспомнить. Да, вот точные слова обещания, которые вы дали вчера вечером своей Эжени. Слушайте! Вот что вы сказали: «Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на — на нос, и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден». Вот точные ваши слова, милый супруг, не правда ли?

— Да, — ответил я, — у вас отличная память; и поверьте, прекрасная моя Эжени, я не намерен уклоняться от выполнения этого пустячного обещания. Вот! Смотрите. Они мне даже к лицу, не так ли? — И, придав лорнету форму очков, я осторожно водрузил их на подобающее место; тем временем мадам Симпсон, поправив шляпку и скрестив руки, уселась на стуле в какой-то странной, напряженной и, пожалуй, неизящной позе.

— Боже! — вскричал я почти в тот же миг, как оправа очков коснулась моей переносицы. — Боже великий! *Что же* это за очки? — И, быстро сняв их, я тщательно протер их шелковым платком и снова надел.

Но если в первый миг я был удивлен, то теперь удивление сменилось ошеломлением; ошеломление это было безгранично и могу даже сказать — ужасно. Во имя всего отвратительного, что это? Как поверить своим глазам — *как?* Неужели — неужели это *румяна*? А это — а это — неужели же это *морщины* на лице Эжени Лаланд? О Юпитер и все боги и богини, великие и малые! — что — что — *что* случилось с ее зубами? — Я в бешенстве швырнул очки на пол, вскочил со стула и стал перед миссис Симпсон, уперевшись руками в бока, скрежеща зубами, с пеною у рта, но не в силах ничего сказать от ужаса и ярости.

Я уже сказал, что мадам Эжени Лаланд — то есть Симпсон — говорила на английском языке почти так же плохо, как писала, и поэтому обычно к нему не прибегала. Но гнев способен довести женщину до лю-

бой крайности; на этот раз он толкнул миссис Симпсон на нечто необычайное: на попытку говорить на языке, которого она почти не знала.

— Ну и что, мсье, — сказала она, глядя на меня с видом крайнего удивления. — Ну и что, мсье? Что случилось? Вам есть танец святой Вит? Если меня не нрависьте, зачем купите кот в мешок?

— Негодяйка! — произнес я, задыхаясь. — Мерзкая старая ведьма!

— Едьма? Стари? Не такой вообще стари. Только восемьдесят два лета.

— Восемьдесят два! — вскричал я, пятясь к стене. — Восемьдесят две тысячи образин! Ведь на медальоне было написано: двадцать семь лет и семь месяцев!

— Конечно! Все есть верно! Но портрет рисовал уже пятьдесят пять год. Когда шел замуж, второй брак, с мсье Лаланд, делал портрет для мой дочь от первый брак с мсье Муассар.

— Муассар? — сказал я.

— Да, Муассар, Муассар, — повторила она, передразнивая мой выговор, который был, по правде сказать, не из лучших. — И что? Что *вы* знать о Муассар?

— Ничего, старая карга. Я ничего о нем не знаю. Просто один из моих предков носил эту фамилию.

— Этот фамиль? Ну, что вы против этой фамиль имей? Ошень *хороший* фамиль; и Вуассар — *тоже* ошень хороший. Мой дочь мадмуазель Муассар выходил за мсье Вуассар; *тоже ошень* почтенный фамиль.

— Муассар! — воскликнул я. — И Вуассар! Да что же это такое?

— Что такой? Я говорю Муассар и Вуассар, а еще могу сказать, если хочу, Круассар и Фруассар. Дочь моей дочи, мадмуазель Вуассар, она женился на мсье Круассар, а моей дочи внучь, мадмуазель Круассар, она выходил мсье Фруассар. Вы будет сказать, что эти *тоже* не есть почтенный фамиль?

— Фруассар! — сказал я, чувствуя, что близок к обмороку. — Неужели действительно Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар?

— Да! — ответила она, откидываясь на спинку стула и вытягивая ноги. — Да! Муассар, Вуассар, Круассар

и Фруассар. Но мсье Фруассар — это один большой, как говорит, дюрак — очень большой осел, как вы сам — потому что оставлял *la belle France*¹ и ехал этой *stupide Amérique*² — а там имел один *ошень* глупи, *ошень-ошень* глупи сын, так я слышал, но еще не видал, и мой подруга, мадам Стефани Лаланд, тоже не видал. Его имья — Наполеон Бонапарт Фруассар. Вы может говорить, что *это* не почтенный фамиль?

То ли продолжительность этой речи, то ли ее содержание привели миссис Симпсон в настоящее иступление. С большим трудом закончив ее, она вскочила со стула как одержимая, уронив при этом на пол турнюр величиною с целую гору. Она скалила десны, размахивала руками и, засучив рукава, грозила мне кулаком; в заключение она сорвала с головы шляпку, а с нею вместе — огромный парик из весьма дорогих и красивых черных волос, с визгом швырнула их на пол и, растоптав ногами, в совершенном остервенении сплясала на них какое-то подобие фанданго.

Я между тем ошеломленно опустил на ее стул. «Муассар и Вуассар», — повторял я в раздумье, пока она выкидывала одно из своих коленец. «Круассар и Фруассар», — твердил я, пока она заканчивала другое. «Муассар, Вуассар, Круассар и Наполеон Бонапарт Фруассар! Да знаешь ли ты, невыразимая старая змея, ведь это я — я — слышишь? — *я-а-а!* Наполеон Бонапарт Фруассар — это я, и будь я проклят, если я не женился на собственной прапрабабушке!»

Мадам Эжени Лаланд, *quasi*³ Симпсон — по первому мужу Муассар — действительно приходилась мне прапрабабушкой. В молодости она была очень хороша собой и даже в восемьдесят два года сохранила величавую осанку, скульптурные очертания головы, великолепные глаза и греческий нос своих девических лет. Добавляя к этому жемчужную пудру, румяна, накладные волосы, вставные зубы, турнюр, а также искусство лучших парижских модисток, она сохраняла не последнее место среди красавиц — *un peu passées*⁴ —

¹ прекрасную Францию (*фр.*).

² дурацкую Америку (*фр.*).

³ почти (*фр.*).

⁴ несколько поблекших (*фр.*).

французской столицы. В этом отношении она могла соперничать с прославленной Нинон де Ланкло.

Она была очень богата; оставшись вторично вдовою, на этот раз бездетной, она вспомнила о моем существовании в Америке и, решив сделать меня своим наследником, отправилась в Соединенные Штаты в сопровождении дальней и на редкость красивой родственницы своего второго мужа — мадам Стефани Лаланд.

В опере моя прапрабабка заметила мой устремленный на нее взор; поглядев на меня в лорнет, она нашла некоторое фамильное сходство. Заинтересовавшись этим и зная, что разыскиваемый ею наследник проживает в том же городе, она спросила обо мне своих спутников. Сопровождавший ее джентльмен знал меня в лицо и сообщил ей, кто я. Это побудило ее оглядеть меня еще внимательнее, и, в свою очередь, придало мне смелость вести себя уже описанным нелепым образом. Впрочем, отвечая на мой поклон, она думала, что я откуда-либо случайно узнал, кто она такая. Когда я, обманутый своей близорукостью и косметическими средствами относительно возраста и красоты незнакомой дамы, так настойчиво стал расспрашивать о ней Толбота, он, разумеется, решил, что я имею в виду ее молодую спутницу и в полном соответствии с истинной сообщил мне, что это «известная вдова, мадам Лаланд».

На следующее утро моя прапрабабушка встретила на улице Толбота, своего старого знакомого по Парижу, и разговор, естественно, зашел обо мне. Ей рассказали о моей близорукости, всем известной, хотя я этого не подозревал; и моя добрая старая родственница, к большому своему огорчению, убедилась, что я вовсе не знал, кто она, а просто делал из себя посмешище, ухаживая на виду у всех за незнакомой старухой. Решив проучить меня, она составила с Толботом целый заговор. Он нарочно от меня прятался, чтобы не быть вынужденным представить меня ей. Мои расспросы на улицах о «прелестной вдове, мадам Лаланд», все, разумеется, относили к младшей из дам; в таком случае стал понятен и разговор трех джентльменов, встреченных мною по выходе от Толбота, так же как и их упоминание о Нинон де Ланкло. При дневном свете мне не пришлось видеть мадам Лаланд вблизи; а на ее му-

зыкальном *soirée*¹ я не смог обнаружить ее возраст из-за своего глупого отказа воспользоваться очками. Когда «мадам Лаланд» просили спеть, это относилось к младшей; она и подошла к фортепиано, а моя прапрабабушка, чтобы оставить меня и дальше в заблуждении, поднялась одновременно с нею и вместе с нею пошла в большую гостиную. На случай, если б я захотел проводить ее туда, она намеревалась посоветовать мне оставаться там, где я был; но собственная моя осторожность сделала это излишним. Арии, которые так меня взволновали и еще раз убедили в молодости моей возлюбленной, были исполнены мадам Стефани Лаланд. Лорнет был мне подарен в назидание и чтобы добавить соли к насмешке. Это дало повод побранить меня за кокетство, каковое назидание так на меня подействовало.

Излишне говорить, что стекла, которыми пользовалась старая дама, были ею заменены на пару других, более подходящих для моего возраста. Они действительно оказались мне как раз по глазам.

Священник, будто бы сочетавший нас узами брака, был вовсе не священником, а закадычным приятелем Толбота. Зато он искусно правил лошадьми и, сменив свое облачение на кучерскую одежду, увез «счастливую чету» из города. Толбот сидел с ним рядом. Негодяи, таким образом, присутствовали при развязке. Подглядывая в полуотворенное окно гостиничной комнаты, они потешались над *dénoûement*² моей драмы. Боюсь, как бы не пришлось вызвать их обоих на дуэль.

Итак, я *не* стал мужем своей прапрабабушки; и это сознание несказанно меня радует, но я все же *стал* мужем мадам Лаланд — мадам Стефани Лаланд, с которой меня сосватала моя добрая старая родственница, сделавшая меня к тому же единственным наследником после своей смерти — если только она когда-нибудь умрет. Добавлю в заключение, что я навсегда покончил с *billets doux*³ и нигде не появляюсь без ОЧКОВ.

¹ вечере (*фр.*).

² развязкой (*фр.*).

³ любовными письмами (*фр.*).

ИСТОРИЯ С ВОЗДУШНЫМ ШАРОМ

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ, ПЕРЕДАННАЯ СРОЧНО ЧЕРЕЗ НОРФОЛЬК! ПЕРЕЛЕТ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН ЗА ТРИ ДНЯ! НЕБЫВАЛЫЙ УСПЕХ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА МИСТЕРА МОНКА МЕЙСОНА! ПОСЛЕ ПЕРЕЛЕТА, ДЛИВШЕГОСЯ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЧАСОВ, ОТ КОНТИНЕНТА ДО КОНТИНЕНТА, МИСТЕР МЕЙСОН, МИСТЕР РОБЕРТ ХОЛЛЕНД, МИСТЕР ХЕНСОН, МИСТЕР ХАРРИСОН ЭЙНСВОРТ И ЧЕТВЕРО ДРУГИХ ЛИЦ НА УПРАВЛЯЕМОМ ВОЗДУШНОМ ШАРЕ «ВИКТОРИЯ» ПРИБЫЛИ НА ОСТРОВ СЭЛЛИВАН, ОКОЛО ЧАРЛСТОНА, ШТАТ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА! — ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕЛЕТА!

[Приводимая ниже *jeu d'esprit*¹, снабженная вышеприведенным заголовком, набранным крупным шрифтом и щедро пересыпанным восклицательными знаками, впервые появилась в качестве достоверного известия в ежедневной газете «Нью-Йорк сан» и отлично выполнила свою задачу: доставила любопытным неудобоваримую пищу на несколько часов, отделяющих в Чарлстоне одну почту от другой. Погоня за «единственной газетой, располагающей подробностями», превзошла всякое вероятие; да и в самом деле, если (как утверждают некоторые) «Виктория» и *не* совершила такого перелета, нет никаких причин, почему она *не могла бы* его совершить.]

Наконец-то великая задача разрешена! Отныне не только земля и океан, но и воздух покорен наукой и станет для человечества общедоступным и удобным путем сообщения. Совершен перелет через *Атлантический океан на воздушном шаре!* — причем совершен без затруднений, по-видимому, без серьезной опасности, при исправном действии всего устройства и за невероятно короткий срок: семьдесят пять часов от берега до берега! Благодаря энергии одного из наших корреспондентов в Чарлстоне (штат Южная Каролина) мы первые

¹ шутка (*фр.*).

имеем возможность сообщить читателям подробности этого необычайного путешествия, начатого в субботу 6-го числа текущего месяца, в 11 часов утра, и закончившегося в среду 9-го, в 2 часа пополудни. Участниками полета были: сэр Эверард Брингхерст; мистер Осборн, племянник лорда Бентинка; известные аэронавты мистер Монк Мейсон и мистер Роберт Холленд; мистер Харрисон Эйнсворт, автор «Джека Шеппарда» и других произведений; мистер Хенсон, изобретатель предыдущей, неудавшейся летательной машины, и два матроса из Вулвича — всего восемь человек. Точность приводимых ниже подробностей гарантируется, так как все они, за одним небольшим исключением, *verbatim*¹ списаны с путевого журнала, который вели мистер Монк Мейсон и мистер Харрисон Эйнсворт, любезно давшие нашему корреспонденту сверх этого множество устных объяснений относительно шара, его устройства и прочих предметов, представляющих интерес. Единственные изменения в полученной рукописи имели целью придать поспешным записям нашего корреспондента мистера Форсита бóльшую связность.

ВОЗДУШНЫЙ ШАР

Две явные неудачи — мистера Хенсона и сэра Джорджа Кейли — значительно ослабили за последнее время интерес публики к воздухоплаванию. В основе проекта мистера Хенсона (который даже ученые вначале сочли вполне осуществимым) была наклонная плоскость, помещенная на известной высоте и получающая первоначальный толчок от внешнего двигателя, а затем приводимая в движение вращением ударяющихся лопастей, формой и числом подобных крыльям ветряной мельницы. Однако опыты с моделями, проведенные в Галерее Аделаиды, показали, что движение этих лопастей не только не толкает летательную машину вперед, но, напротив, мешает полету. Единственной движущей силой оказался *импульс*, создающийся снижением наклонной плоскости, причем при неподвижных лопастях он уносил машину дальше, чем

¹ дословно (*лат.*).

когда они находились в движении, — что достаточно доказывало их бесполезность; а при отсутствии движущей силы, которая одновременно *поддерживала* бы аппарат в воздухе, он, разумеется, опускался на землю. Это подало сэру Джорджу Кейли мысль приспособить пропеллер к чему-то такому, что может самостоятельно держаться в воздухе, — то есть к воздушному шару; новым, или оригинальным, здесь был лишь способ осуществления. Свою модель сэр Джордж демонстрировал в Политехническом институте. И здесь движущая сила прилагалась к расчлененной поверхности, то есть к лопастям, которые приводились во вращение. Их было четыре, но они оказались неспособными двигать шар или содействовать его подъему. Словом, изобретение потерпело полную неудачу.

Вот тогда-то мистер Монк Мейсон (чей полет на воздушном шаре «Нассау» в 1837 году из Дувра в Вейльбург произвел такую сенсацию) решил применить для движения в воздухе принцип Архимедова винта, справедливо объясняя неудачу проектов мистера Хенсона и сэра Джорджа Кейли применением отдельных лопастей, расчленявших плоскость. Первый публичный опыт был им произведен в помещении Виллиса, но позднее он передал свою модель Галерее Аделаиды.

Как и у сэра Джорджа Кейли, его шар имел форму эллипсоида. Длина его составляла тринадцать футов шесть дюймов, высота — шесть футов восемь дюймов. Он вмещал около трехсот двадцати кубических футов газа и, при применении чистого водорода и тотчас по наполнении, пока газ не успевал частично разложиться или выйти, обладал подъемной силой в двадцать один фунт. Общий вес его составлял семнадцать фунтов, так что около четырех фунтов оставалось в запасе. Под шаром помещалась легкая деревянная рама длиной около девяти футов, прикрепленная к нему с помощью обычной сетки. К раме была подвешена плетеная лодочка или корзина.

Винт модели состоит из оси, сделанной из полой латунной трубки длиной в восемнадцать дюймов, в которую под углом в пятнадцать градусов пропущено несколько двухфутовых спиц из стальной проволоки, вы-

ступающих на один фут с каждого конца трубки. Наружные концы этих спиц соединены посредством скреп из сплющенной проволоки — и все это образует остов винта, обтянутый промасленным шелком с прорезями, натянутым так, чтобы представлять достаточно гладкую поверхность. Концы оси винта поддерживаются опорами из полый латунной трубки, прикрепленной к обручу. В нижних концах этих трубок имеются отверстия, в которых вращаются шкворни оси. Из конца оси, ближнего к пассажирской корзине, выходит стальной стержень, соединяющий винт с шестерней пружинного устройства, находящегося в корзине. С помощью этой пружины винту придают быстрое вращение, сообщаящее поступательное движение всему воздушному шару. Руль позволяет легко поворачивать шар в любом направлении. Для своих размеров пружина обладает большой мощностью и за первый оборот может поднять сорокапятифунтовый груз на вал диаметром в четыре дюйма, причем по мере вращения мощность увеличивается. Вес пружины составляет восемь фунтов шесть унций. Руль представляет собой легкую тростниковую раму, обтянутую шелком, по форме напоминающую ракетку; в длину он имеет около трех футов, наибольшую ширину — один фут, а весит около двух унций. Его можно ставить *горизонтально*, поворачивать вверх или вниз, а также вправо или влево, что позволяет аэронавту использовать сопротивление воздуха, создаваемое при наклонном положении руля, в любом направлении; воздушный шар при этом поворачивается в направлении противоположном.

Эта модель (которую мы, за недостатком времени, описали лишь приблизительно) подверглась испытанию в Галерее Аделаиды, где развила скорость до пяти миль в час; но, как ни странно, вызвала очень мало интереса по сравнению со своим предшественником — сложным аппаратом мистера Хенсона; так привыкли люди пренебрегать всем, что им кажется простым. Все считали, что для решения великой задачи воздухоплавания необходимо особо сложное применение какого-либо из самых хитроумных законов динамики.

Однако мистер Мейсон был так уверен в конечном успехе своего изобретения, что решил немедленно соорудить, если возможно, воздушный шар достаточных размеров, чтобы испытать его в длительном путешествии — сперва он предполагал лететь через Ла-Манш, как это сделал ранее на шаре «Нассау». Для осуществления своего замысла он прибег к поддержке сэра Эверарда Брингхерста и мистера Осборна, известных своими научными познаниями и в особенности интересом к воздухоплаванию. По желанию мистера Осборна работы держались в строгой тайне, в которую были посвящены только лица, непосредственно занятые сооружением шара (под наблюдением мистера Мейсона, мистера Холленда, сэра Эверарда Брингхерста и мистера Осборна), в поместье этого последнего, возле Пенструталя, в Уэльсе. В прошлую субботу шар был показан мистеру Хенсону и его другу, мистеру Эйнсворту, когда они были приняты в число участников полета. Нам неизвестна причина, по которой в состав экспедиции включили также двух матросов — но через день или два мы сообщим нашим читателям все подробности этого необычайного путешествия.

Оболочка шара сделана из шелка, покрытого лаком из растворенного каучука. Она очень велика и вмещает более сорока тысяч кубических футов газа; но, поскольку вместо более дорогого и неудобного водорода в нем применен светильный газ, подъемная сила аэростата тотчас по наполнении не превышает двух тысяч пятисот фунтов. Светильный газ не только значительно дешевле, но легче добывается и хранится.

Его широким применением в воздухоплавании мы обязаны мистеру Чарльзу Грину. До его открытия заполнение оболочки шаров было не только крайне дорогим, но и ненадежным. Нередко два и даже три дня тратились на тщетные попытки достать нужное количество водорода, чтобы наполнить шар, из которого он стремился утекь вследствие своей крайней легкости и сродства с атмосферой. Даже достаточно совершенный шар, в котором светильный газ целиком сохраняется в течение шести месяцев, не изменяя при этом

своего качества, не мог бы удержать такого же количества водорода в течение шести недель.

При подъемной силе в две тысячи пятьсот фунтов и общем весе около тысячи двухсот фунтов оставался запас в тысячу триста; из них тысяча двести приходилось на балласт, размещенный в мешках различного размера, на которых был обозначен вес, а также на снасти, барометры, телескопы, запас провизии на две недели, бочонки с водой, плащи, саквояжи и другие необходимые предметы, в том числе кофейник для приготовления кофе с помощью гашеной извести, что позволяло обойтись без огня, если бы этого потребовали соображения безопасности. Все это, за исключением балласта и немногих других вещей, было подвешено к верхнему обручу. Пассажирская корзина относительно меньше и легче, чем в модели. Она сплетена из легких прутьев, но, несмотря на хрупкий вид, необыкновенно прочна. Глубина ее около четырех футов. Руль относительно гораздо больше, чем на модели, тогда как винт значительно меньше. Кроме того, шар снабжен малым якорем и гайдропом; последний имеет очень большое значение. Здесь необходимо дать некоторые объяснения тем из читателей, кто незнаком с воздухоплаванием.

Поднявшись в воздух, шар подвергается действию множества факторов, изменяющих его вес, а это увеличивает или уменьшает его подъемную силу. Так, например, на оболочке может осесть роса весом до нескольких сот фунтов; тогда приходится выбрасывать часть балласта, чтобы шар не пошел вниз. Когда балласт сброшен, а солнце высушило росу и одновременно вызвало расширение газа внутри оболочки, шар вновь начинает быстро подниматься. Остановить подъем приходится (вернее, *приходилось* до того, как мистер Грин применил гайдроп) только одним способом, выпуская через клапаны часть газа, однако при этом соответственно уменьшалась подъемная сила, так что даже самый лучший аэростат быстро истощал весь свой запас и должен был опуститься. Вот что являлось главной помехой для длительных полетов.

Гайдроп устраняет эту помеху безо всякого труда. Он представляет собой просто очень длинный канат, опущенный из корзины для удержания шара примерно на одной высоте. Если, скажем, на оболочке осела влага и аэростат в результате этого начинает снижаться, ему уже на надо выбрасывать балласт, чтобы уменьшить общий вес, ибо вес можно уменьшить ровно на столько, на сколько нужно, опуская на землю соответствующий отрезок каната. Если, напротив, вес чрезмерно уменьшается и шар стремится подняться, этому может немедленно противодействовать вес отрезка каната, подбираемого с земли. Таким образом, шар может быть удержан почти на одной и той же высоте, а запас газа и балласта сохраняется почти неизменным. При полете над водным пространством применяются маленькие медные или деревянные бочонки, наполненные какой-либо жидкостью, более легкой, чем вода. Они плывут по поверхности воды, выполняя ту же роль, какую выполняет на суше волочащийся канат. Второе важное назначение гайдропа — указывать *направление* полета шара. На суше, как и на воде, канат *волочит*ся, тогда как шар свободно летит; поэтому при движении последний всегда находится впереди; сравнивая с помощью компаса относительное положение их обоих, определяют *курс*. Точно так же угол, образуемый канатом и вертикальной осью шара, указывает *скорость* движения. Когда этого угла *нет*, то есть когда канат опущен перпендикулярно земле, это значит, что шар недвижим; чем больше угол, иначе говоря, чем больше шар обгоняет конец каната, тем, значит, больше скорость; и наоборот.

Поскольку первоначальным намерением было перелететь Ла-Манш и опуститься возможно ближе к Парижу, путешественники, чтобы избавиться от лишних формальностей, заранее запаслись паспортами для всех частей Европейского континента с обозначением цели полета, как это было сделано и при полете «Нассау»; однако неожиданные события сделали эти паспорта излишними.

Шар был надут в субботу утром, шестого числа, во дворе Вил-Вор-Хаус — поместья мистера Осборна, на-

ходящегося примерно в одной миле от Пенструталя, в Северном Уэльсе; в 11 ч. 07 мин., когда все было готово к полету, шар отвязали, и он медленно полетел в направлении на юг, причем в первые полчаса ни винт, ни руль не применялись. Далее мы приводим бортовой журнал, переписанный мистером Форситом с рукописи мистера Монка Мейсона и мистера Эйнсворта. Журнал заполнен рукой мистера Мейсона, а ежедневные приписки делались мистером Эйнсвортом, который подготовил и вскоре опубликует более подробный и, несомненно, чрезвычайно увлекательный отчет о полете.

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

Суббота, 6 апреля. Все трудоемкие приготовления были сделаны еще с вечера, а сегодня на рассвете мы начали надувать шар; однако из-за густого тумана и сырости, которая пропитала складки шелка и затрудняла работу, мы закончили ее лишь к одиннадцати часам. После этого, в отличном настроении, отвязались и медленно поднялись, при легком ветре с севера, понесшем нас в сторону Ла-Манша.

Подъемная сила оказалась больше ожидаемой; когда мы поднялись выше утесов и попали на солнце, подъем сильно ускорился. Я, однако, не хотел в самом начале полета выпускать газ и решил продолжать подъем. Скоро мы поднялись на всю длину нашего гайдропы; но даже когда он был совсем поднят с земли, мы продолжали быстро подниматься. Шар был необычайно устойчив и выглядел очень красиво. Спустя десять минут после взлета барометр показал высоту пятнадцать тысяч футов. Погода стояла на редкость хорошая, и вид на лежащую под нами местность — весьма романтический с любой возвышенности — сейчас был особенно великолепен. Многочисленные ущелья из-за наполнявшего их густого тумана казались озерами, а беспорядочно громоздившиеся на юго-востоке остроконечные скалы и вершины очень походили на огромные города восточных сказок. Мы быстро приближались к горам Юга, но летели достаточно высоко, чтобы

безопасно их миновать. Через несколько минут мы весьма эффектно пролетели над ними; мистер Эйнсворт и матросы удивились тому, что из нашей корзины горы казались совсем невысокими, ибо при взгляде со столь большой высоты неровности земной поверхности почти совершенно сглаживаются.

В половине двенадцатого, продолжая лететь на юг, мы увидели Ла-Манш, а спустя четверть часа под нами уже виднелась полоса прибоя, и мы летели над морем. Теперь мы решили выпустить достаточно газа, чтобы наш гайдроп с прикрепленными к нему буйками мог коснуться воды. Это было немедленно сделано, и мы стали понемногу опускаться. Через двадцать минут первый из буйков достиг поверхности воды, а после того как ее коснулся и второй, шар остался уже на одном уровне. Теперь нам было важно проверить работу руля и винта, и мы привели их в действие, чтобы больше повернуть на восток, к Парижу. С помощью руля мы тотчас же осуществили желаемое изменение направления и полетели почти под прямым углом к ветру; тогда мы привели в движение пружину винта и с радостью убедились, что он толкает нас в нужном направлении. Тут мы трижды прокричали «ура» и сбросили в море бутылку с листом пергамента, где кратко описывался принцип нашего аппарата. Однако, едва лишь мы кончили радоваться, как произошло нечто непредвиденное и немало нас смутившее. Ближайший к корзине конец стального стержня, соединяющего пружину с пропеллером, внезапно соскочил со своего места (из-за нечаянного резкого движения одного из наших матросов, качнувшего корзину) и сразу же повис на шкворне оси винта, за пределами досягаемости. Пока мы пытались его поймать и были всецело этим заняты, восточный ветер, который все время крепчал, понес нас к Атлантическому океану. Мы вскоре оказались над океаном, летя со скоростью не менее пятидесяти или шестидесяти миль в час, и прежде чем сумели закрепить стержень и сообразили, что происходит, были уже над мысом *Клир*¹, оставшимся примерно в сорока милях к северу от нас. Вот тут мистер Эйнсворт выска-

¹ Мыс Клир — юго-западная оконечность Ирландии.



зал необычайное, но, на мой взгляд, ничуть не безрас-
судное или фантастическое предложение, немедленно
поддержанное мистером Холлендом, а именно: вос-
пользоваться уносившим нас сильным ветром и, вместо
того чтобы возвращаться в Париж, попытаться достичь
побережья Северной Америки. После краткого разду-
мья я охотно согласился с этим смелым замыслом,
против которого возражали (как ни странно) лишь оба
матроса. Но мы были в большинстве, мы успокоили их
опасения и решительно продолжали путь. Теперь мы
правили прямо на запад, но, поскольку тянувшиеся по
воде буи немало замедляли наше движение, а шар и
без того легко нам повиновался как при подъеме, так
и при спуске, мы сперва выбросили пятьдесят фунтов
балласта, а затем (с помощью ворота) на столько подтя-
нули гайдроп, чтобы он не находился в воде. Результа-
том этого было немедленное и значительное увеличе-
ние скорости, по мере того как ветер крепчал, она ста-
новилась почти невообразимой; гайдроп летел за кор-
зиной, точно вымпел за кораблем. Излишне говорить,
что берег очень скоро скрылся из глаз. Мы пролетели
над множеством различных судов, из которых лишь
немногие пытались идти против ветра, а большинство
лежало в дрейфе. На каждом из них наше появление
вызывало величайший восторг, что чрезвычайно нам
нравилось, в особенности двум матросам, которые,
хлебнув джина, как видно, отбросили всякие сомнения
и страхи. Многие суда палили из пушек; всех нас при-
ветствовали громкими «ура» (удивительно отчетливо
слышными) и махали шляпами и платками. Так про-
должалось весь день, без особых происшествий, а ко-
гда наступила темнота, мы приблизительно подсчитали
проделанный путь. Он был равен не менее чем пяти-
стам милям, а вероятнее всего — значительно больше.
Пропеллер все время находился в действии и, несом-
ненно, немало ускорял наш полет. После захода солн-
ца ветер перешел в настоящий ураган; расстилавшийся
под нами океан был ясно виден благодаря фосфориче-
скому свечению воды. Ветер всю ночь дул с востока, су-
ля нам успех. Мы немало страдали от холода и непри-
ятной сырости, но просторная корзина позволяла нам
улечься, и с помощью плащей и одеял мы кое-как со-
грелись.

Р. S. [рукой мистера Эйнсворта]. Минувшие девять часов, бесспорно, были самыми волнующими в моей жизни. Я не представляю себе ничего более возвышающего душу, чем неведомые опасности и новизна подобного предприятия. Дай бог, чтобы оно удалось! Я молюсь об удаче не просто ради безопасности собственной незначительной особы, но ради победы человеческого разума — и какой победы! Впрочем, возможность ее настолько очевидна, что остается лишь удивляться, отчего люди не попытались счастья раньше.

Достаточно, чтобы такой ветер, как нынешний, мчал шар пять-шесть дней (а эти ветры часто длятся и дольше), и путешественник легко преодолел за это время расстояние от побережья до побережья. При таком ветре просторы Атлантики — не более чем озеро. А сейчас меня более всего поражает глубокое безмолвие, царящее на море под нами, несмотря на волнение. Воды не возносят голоса к небесам. Огромный светящийся океан извивается и бьется, не издавая жалоб. Гигантские валы похожи на множество огромных немых демонов, мечущихся в бессильной ярости. В такую ночь, какова для меня нынешняя, человек *живет* — она равна целому столетию повседневности, — нет, я не променял бы этого восторга даже на столетие будничного существования.

Воскресенье, 7-го [рукой мистера Мейсона]. Нынче утром ветер с десяти упал до восьми-девяти узлов и несет нас со скоростью тридцати морских миль в час или более. При этом направление его заметно переместилось к северу; сейчас, на закате солнца, мы держим на запад главным образом с помощью винта и руля, которые служат нам отлично. Конструкция представляется мне во всех отношениях удачной; задачу передвижения по воздуху в любом направлении (кроме разве прямо навстречу урагану) я считаю решенной. Против вчерашнего ураганного ветра мы не могли бы лететь; но могли бы, если нужно, подняться выше его. А против обычного свежего ветра мы, несомненно, можем двигаться с помощью винта. Сегодня в полдень, выбрасывая балласт, мы поднялись на высоту почти двадцать пять тысяч футов. Это мы сделали в поисках более благоприятного воздушного течения, но не нашли ничего лучше того, в котором находимся сейчас. Чтобы перелететь этот маленький пруд, у нас достаточно газа, если

бы даже полет затянулся недели на три. У меня нет ни малейшего сомнения в успехе нашего предприятия. Его трудности сильно преувеличивались из-за некоторых неверных представлений. Я могу выбирать попутное воздушное течение, а если даже *все* они окажутся неблагоприятными, можно неплохо двигаться с помощью винта. Особых происшествий не было. Ночь обещает быть ясной.

P. S. [написано мистером Эйнсвортом]. Отмечать почти нечего, кроме того факта (весьма меня удивившего), что на высоте, равной Котопахи¹, я не испытывал ни особого холода, ни головной боли, ни затруднений в дыхании, то же и мистер Мейсон, мистер Холланд и сэр Эверард. Мистер Осборн пожаловался на стеснение в груди, но оно скоро прошло. Весь день мы летели с большой скоростью и сейчас, должно быть, проделали уже более половины пути. Мы обогнали не менее двадцати — тридцати различных судов и у всех вызывали радостное изумление. Оказывается, перелет через океан в аэростате вовсе уж не столь труден. *Omne ignotum pro magnifico Men*²: на высоте двадцать пять тысяч футов небо кажется почти черным, а звезды видны очень ясно; поверхность моря представляется не выпуклой (как можно было бы ожидать), но заметно вогнутой³.

¹ К о т о п а х и — действующий вулкан в Южной Америке (Эквадор).

² Все неизвестное кажется грандиозным (*лат.*).

³ *Примечание.* М-р Эйнсворт не пытается объяснить это явление, вполне, однако, объяснимое. Линия, проведенная с высоты двадцать пять тысяч футов перпендикулярно к поверхности земли или моря, образует один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого идет от образованного прямого угла к горизонту, а гипотенуза — от горизонта к шару. Но высота в двадцать пять тысяч футов — это почти ничто в сравнении с длиной линии, уходящей к горизонту. Другими словами, основание и гипотенуза этого воображаемого треугольника так длинны по сравнению с перпендикулярным катетом, что первое и вторую можно считать почти параллельными. Таким образом, горизонт представляется аэронавту *на уровне* его корзины. Но поскольку лежащая под ним точка кажется, и действительно находится, на большом расстоянии от него, она тем самым кажется лежащей значительно ниже горизонта. Отсюда впечатление *вогнутости*; оно сохраняется, пока высота подъема не станет настолько значительной по сравнению с расстоянием до горизонта, что кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет. Тогда земля представится выпуклой, как оно и есть.

Понедельник, 8-го [рукой мистера Мейсона]. Сегодня утром у нас снова были неполадки со стержнем винта, который придется полностью переделать во избежание серьезной аварии. Я имею в виду стальной стержень, а не лопасти. Последние сделаны как нельзя лучше. Весь день дует сильный и устойчивый ветер с северо-востока; до сих пор судьба нам явно благоприятствует. Перед рассветом мы были встревожены странными звуками и сотрясением внутри шара, сопровождавшимся быстрым кажущимся снижением аэростата. Причиной этого явилось расширение газа вследствие повышения температуры воздуха и вызванное этим растрескивание ледяной корки, которая образовалась за ночь на поверхности сетки. Мы сбросили находившимся внизу судам несколько бутылок. Видели, что одна из них была подобрана крупным судном — очевидно, одним из пакетботов нью-йоркской линии. Пытались разобрать его название, но не уверены, что сумели. Мистер Осборн с помощью подзорной трубы прочел нечто вроде «Атланты». Сейчас двенадцать часов ночи, и мы продолжаем быстро лететь почти прямо на запад. Океан сильно фосфоресцирует.

P. S. [рукой мистера Эйнсворта]. Два часа ночи, ветер почти стих, насколько я могу судить — однако судить трудно, поскольку мы движемся по ветру. Я не спал со времени вылета из Вил-Вора и больше не в силах бодрствовать, надо вздремнуть. Очевидно, мы уже находимся недалеко от американского побережья.

Вторник, 9-го [рукой мистера Эйнсворта]. Час полудни. Видны низкие берега Южной Каролины. Великое предприятие завершено. Мы перелетели Атлантический океан — легко перелетели его на воздушном шаре! Слава богу! Кто после этого скажет, что на свете есть что-либо невозможное?

На этом бортовой журнал кончается. Некоторые подробности посадки были сообщены мистеру Форситу мистером Эйнсвортом. Было почти полное безветрие, когда путешественники завидели берег, немедленно узнанный обоими моряками и мистером Осборном. Так как у последнего имелись знакомые в форте Моултри, было решено опуститься вблизи него. Шар

подвели к берегу (был отлив, и твердый, гладкий песок отлично подходил для высадки); опустили якорь, который сразу же хорошо зацепился. Обитатели острова и форта, разумеется, сбегались толпою посмотреть на шар, но долго отказывались поверить, что он *действительно перелетел Атлантический океан*. Якорь был брошен ровно в два часа пополудни; таким образом, все путешествие заняло семьдесят пять часов или даже меньше, считая от побережья до побережья. Оно прошло без серьезных происшествий и каких-либо опасностей. Шар легко удалось привязать и выпустить газ; и когда рукопись, по которой мы составили наше сообщение, была отправлена из Чарлстона, путешественники еще находились в форте Моултри. Дальнейшие их намерения пока неизвестны; но в понедельник, а самое позднее во вторник, мы с уверенностью обещаем нашим читателям дополнительные сведения.

Вот, бесспорно, самое поразительное, самое интересное и самое важное путешествие, когда-либо совершенное или хотя бы предпринятое человеком. Какие великие последствия оно может иметь, сейчас предсказать еще невозможно.

«ТЫ ЕСИ МУЖ, СОТВОРИВЫЙ СИЕ»

Пора уж мне, уподобясь Эдипу, открыть загадку Сырборо. Сейчас я вам объясню — кроме меня, сделать это некому, — каким образом произошло сырборское чудо — единственное, истинное, признанное, неоспоримое и бесспорное чудо, положившее конец неверию сырборцев и обратившее в примерных святош всех рабов плоти, дотоле отваживавшихся на вольномыслие.

Событие это — о котором мне не хотелось бы говорить с неподобающей легкостью — случилось летом 18...года. Мистер Барнабас Кукиш — один из самых богатых и почтенных граждан во всем околотке — исчез незадолго перед тем и при обстоятельствах, наводивших на подозрения весьма мрачные. Мистер Кукиш отбыл из дому ранним утром в субботу, верхом, объявив, что намеревается проследовать до города..., милях в пятнадцати от Сырборо, и к ночи воротиться. Однако через два часа конь вернулся без хозяина и без вьюков, притороченных к седлу. Конь был изранен и заляпан грязью. Друзья пропавшего, разумеется, встревожились не на шутку; когда же мистер Кукиш не появился и в воскресенье утром, на розыски его поднялся *en masse*¹ весь город.

Главным и особенно рьяным участником розысков был ближайший друг мистера Кукиша некто мистер Чарльз Честен, или, как обычно его называли, «Чарли Честен», или «Старина Чарли Честен». Чудесное ли то совпадение, или же самое имя неуловимо влияет на на-

¹ скопом, вместе (*фр.*).

туру, я, право, покамест судить не берусь; одно несомненно: не бывало еще человека, который носил бы имя Чарльз и при этом не был бы искренен, мужествен, достоин, добродушен, чистосердечен, не обладал бы приятным, ясным голосом, так что заслушаешься, и честным, прямым взглядом, словно говорившим: «Смотрите, господа, совесть моя чиста, бояться мне некого, и ни на какую пакость я не способен». И даже, например, бессловесные, добрые малые на сцене чаще всего носят имя Чарльз.

Ну так вот, Старина Чарли Честен, хоть всего полгода как объявился в Сырборо, прежде никто о нем здесь и не слыхивал, без малейшего труда накоротке сошелся со всеми почтеннейшими нашими гражданами. Из них любой ссудил бы ему под честное слово целую тысячу; что же до женщин, то те просто не знали, как угодить ему. И все оттого, что звался он Чарльз и, следственно, обладал открытым лицом, которое, по поговорке, «зеркало души» и служит лучше всякого рекомендательного письма.

Я уже говорил, что мистер Кукиш был из самых уважаемых и, без сомненья, самый богатый среди граждан Сырборо, ну, а Старина Чарли Честен был ему просто как брат родной. Почтенные господа жили бок о бок, и хотя мистер Кукиш если когда и посещал Старину Чарли, то весьма редко и, насколько известно, ни разу у него не угощался, это не препятствовало их тесной дружбе, о которой я только что упомянул, ибо Старина Чарли зато, бывало, раза по три на дню заглянет провести соседа; а частенько он оставался и позавтракать, и чаю попить, и почти всегда — победать; и уж сколько стаканчиков пропускали приятели за один присест, даже счесть невозможно. Старина Чарли предпочитал всем прочим напиткам шато-марго, и мистер Кукиш, бывало, не нарадуется, глядя, как его приятель приканчивает кварту за квартикой; и вот однажды, когда в желудках ощущалась приятная тяжесть, а в мыслях, следственно, легкость, мистер Кукиш сказал приятелю, похлопав его по спине:

— Знаешь, Старина Чарли, а ведь, ей-же-ей, лучше тебя я в жизни своей человека не видывал; и раз уж ты так любишь выпить, то провалиться мне на этом месте,

если я не поднесу тебе ящичек шато-марго. Черт меня подери (мистер Кукиш имел плачевную привычку чертыхаться, хоть редко позволял себе выражения более крепкие, чем «разрази меня гром», «черт меня побери» и «провалиться мне на этом месте»), черт меня подери,— говорит, значит, мистер Кукиш,— если я сегодня же не закажу в городе двойной ящик самого что ни на есть лучшего шато-марго. Я хочу сделать тебе такой подарок, и ты молчи, все равно я тебе его подарю, и дело с концом; увидишь, в один прекрасный день, когда ты даже думать забудешь про мое обещание, ты получишь шато-марго.

Я упоминаю о некоторой щедрости, проявленной мистером Кукишем, исключительно для того, чтобы дать вам понять, какая тесная дружба связывала наших приятелей.

В то несчастное воскресное утро, когда стало совершенно ясно, что с мистером Кукишем дело неладно, Старина Чарли Честен убивался так, что и представить себе невозможно. Когда он услышал, что конь вернулся без хозяина и без седельных вьюков, весь в крови, чудом уцелев после того, как пистолетная пуля пробила ему грудь навылет,— когда, значит, Чарли все это услышал, он побледнел, словно пропавший ему — родной отец или брат, и весь затрясся, будто в лихорадке.

Сперва его до того одолело горе, что он совсем потерялся и был в совершенной нерешительности; он даже долго старался убедить прочих друзей мистера Кукиша не поднимать шуму, считая за благо немного обождать — скажем, недельку-другую или месяц-другой — и поглядеть, не выяснится ли чего или не объявится ли вдруг сам мистер Кукиш да и объяснит, зачем понадобилось ему высылать вперед своего коня. У людей, действующих под влиянием сильного горя, сами знаете, наверное, часто наблюдаешь эту склонность временить, тянуть и откладывать. Им словно отказывает здравый смысл, они чураются любого поступка, «им бы только лежать на боку и лелеять свою скорбь», как выражаются старые дамы, а иначе говоря — переживать свое несчастье.

Сырборцы до того верили мудрости Старины Чарли и его рассудительности, что сначала большинство

склонялось к тому, чтобы с ним согласиться и не поднимать шуму, «покуда что-то не выяснится», как говорил сей честный старый джентльмен; и, думаю, так бы оно в конце концов и вышло, если бы в дело, весьма подозрительное, не вмешался племянник мистера Кукиша, большой повеса, вертопрах и вообще молодой человек довольно скверного нрава. Племянник этот, по имени Нипенни, и слышать не хотел никаких доводов в пользу того, что, дескать, следует «обождать», но требовал немедленно же начать розыски «тела убитого». Так он и выразился: «тела убитого»; и мистер Честен тогда же заметил ему, что «выражение сие странно, чтобы не сказать более». Замечание Старины Чарли весьма впечатлило толпу; и кто-то даже, говорят, спрашивал очень настойчиво, «каким же это образом юный мистер Нипенни так хорошо осведомлен обо всех обстоятельствах, касаемых до исчезновения его богатого дядюшки, что смеет прямо и недвусмысленно утверждать, будто дядюшка его убит». После чего начались некоторые пререкания и колкости в толпе, а также между Старинной Чарли и мистером Нипенни; последнее, впрочем, никого не удивило, ибо между этими двумя господами уже несколько месяцев не наблюдалось большого согласия, до того даже дошло, что мистер Нипенни однажды просто сбил с ног дядюшкина приятеля за излишнюю якобы вольность, какую тот позволил себе в доме дяди, где жил и племянник. Старина Чарли выказал, говорят, примерную сдержанность и христианское великодушие. Он поднялся на ноги, привел в порядок свое платье и отнюдь не стал сводить с обидчиком счеты, а пробормотал только, что «отомстит при первой возможности», — естественная и более чем извинительная вспышка гнева, ничего не означавшая и забытая, разумеется, как только он дал ей выход.

Как бы ни расценивать этот случай (не имеющий касательства к занимающему нас предмету), точно одно, что, уступая настояниям мистера Нипенни, жители Сырборо решили рассеяться по всей обширной округе и искать пропавшего мистера Кукиша. То есть таково было первое их решение. Когда все согласились, что без розысков не обойтись, тотчас же сочли необходимым разбиться на группы и тщательно обшарить

окрестность. А вот дальше я позабыл, каким убедительнейшим ходом рассуждений Старина Чарли в конце концов доказал собранью, до чего нелеп и безрассуден подобный план; но так или иначе, а он это доказал — всем, кроме мистера Нипенни, и в конце концов решили искать тело сообща и снарядили тщательные розыски при участии граждан Сырборо en masse под водительством Старины Чарли.

И уж конечно, они не могли найти лучшего вожака, нежели Старина Чарли, у которого, все знали, был соколиный глаз; однако ж, хоть водил он их по всем уголкам и щелям и такими путями, какими прежде никто из них и не хаживал, и хоть розыски велись день и ночь неусыпно целую неделю, никаких следов мистера Кукиша так и не удалось обнаружить. Впрочем, когда я говорю «никаких следов», меня не следует понимать буквально, ибо какой-то след все же отыскался. Путь несчастного джентльмена прослеживался по отпечаткам подков его коня (а подковы были меченые) мили на три к востоку от Сырборо по большаку, ведущему в соседний город. Дальше след уходил в лес по тропке, которая потом выходила опять на большак, срезая расстояние примерно полмили. Идя по следу, отряд в конце концов вышел к гнилому озерцу, скрытому зарослями ежевики, справа от тропки, и возле озерца след совершенно терялся. Видно было только, что тут шла какая-то борьба и что-то тяжелое и огромное, куда больше человеческого тела, волокли по тропке к озерцу. Дважды обшарили дно, но ничего не нашли; и когда решили уже убираться восвояси, отчаявшись и не веря в успех, провиденье вдруг подсказало мистеру Честену счастливую мысль выкачать из озерца всю воду. План встретили восторженно и Старину Чарли расхваливали за ум и сообразительность. Многие из граждан захватили с собой лопаты на случай, если придется выкапывать труп, и озерцо осушили легко и быстро. Не успело их взору открыться илистое дно, как прямо посередке все заметили черный, шелковый и бархатный жилет, в котором почти все немедля опознали собственность мистера Нипенни. Жилет был весь изодран и выпачкан кровью, и кое-кто из собравшихся отчетливо припомнил, что видел его на владель-

це в то самое утро, когда мистер Кукиш отправился в соседний город; иные же готовы были присягнуть, буде понадобится, что означенный предмет туалета не наблюдался на мистере Н. во весь остаток того памятного дня: и уж никто не мог утверждать, будто видел, чтобы предмет этот украшал особу мистера Н. хоть раз после исчезновения мистера Кукиша.

Дело принимало скверный оборот для мистера Нипенни, и подозрения против него окончательно подтвердились, когда его спросили, что может он сказать в свое оправдание, он только побледнел как полотно и не мог произнести ни слова. Те немногие друзья, которых еще оставила ему беспутная жизнь, тотчас покинули его все до единого и даже громче давних и признанных врагов стали требовать немедленного его ареста. Но в сравнении с их поведением лишь ярче сияло великодушие мистера Честена. Он пламенно и красноречиво отстаивал мистера Нипенни, ссылаясь на то, что сам он от души прощает необузданному юному господину — «наследнику достопочтенного мистера Кукиша» — оскорбление, которое тот (юный господин), разумеется сгоряча, счел уместным нанести ему (мистеру Честену). Он прощает его «от всей души; и лично он (мистер Честен) вовсе не склонен раздувать улики, которые, увы, действительно изобличают мистера Нипенни, а, напротив того, он (мистер Честен) приложит все старания, употребит все небогатое свое красноречие, дабы... дабы... смягчить, насколько позволит ему совесть, самые страшные подробности этого поистине запутанного дела».

В таком духе распространялся мистер Честен еще добрых полчаса, что делало честь и уму его и сердцу; но куда только не заносит иного добряка пламенная жажда помочь другу — ревностно и безоглядно кидаясь ему на выручку; он часто сбивается, путается в *contre-temps*¹ и *mal-à-propos-ism-ax*² и, руководствуясь намерениями самыми благими, часто вредит подзащитному более, нежели помогает.

Тем обернулось и все красноречие Старины Чарли, ибо, хоть он от души старался выгородить подозрева-

¹ противоречиях (*фр.*).

² недоразумениях (*фр.*).

емого, как-то так получалось, что каждое слово, которого прямой, пусть невольной целью было не возвышать оратора в глазах сограждан — лишь приводило к тому, что подозрения против подзащитного лица углублялись и на него навлекалась ярость толпы. Самый досадный промах совершил мистер Честен, назвав подозреваемого «наследником достопочтенного мистера Кукиша». До сих пор об этом никто как-то не думал. Помнили только, что года два назад дядя (не имевший других родственников) грозился лишить мистера Нипенни наследства, ну и считали, что это дело решенное — до того простодушны жители Сырборо; а после слов Старины Чарли всем вдруг сразу пришло на ум, что угроза-то ведь могла так и остаться угрозой. И тотчас вслед за тем естественно возникал вопрос «*cui bono?*» — вопрос, даже более вышеозначенного жилета утвердивший всех в сознании виновности молодого человека. Но здесь, чтобы не быть ложно понятым, я позволю себе остановиться мимоходом на употребленном мною чрезвычайно простом и кратком латинском выражении, которое у нас вечно переводят и толкуют неверно. «*Cui bono?*» во всех нашумевших и прочих романах, в сочинениях, например, миссис Гор (автора «Сесила»), дамы, блещущей цитатами на всех наречиях от халдейского до чикасо и в своих упорных занятиях «по мере надобности» пользующейся услугами мистера Бекфорда, — во всех, значит, нашумевших романах, я говорю, от Булвера и Диккенса до таких сочинителей, как Эйнсворт и Том Соплей, два коротеньких латинских слова *cui bono?* переводятся — «с какой целью?» или даже путая с «*quo bono?*» — «чего ради?». Однако истинное их значение — «для чьей пользы». *Cui* — кому, *bono* — на благо.

Выражение это чисто законодательное и применимо к случаям, подобным рассматриваемому, когда вероятность свершения деяния тем или иным лицом зависит от вероятности выгоды, проистекающей для того или иного лица вследствие деяния. Ну, и на сей раз вопрос «*cui bono?*» весьма недвусмысленно наводил на мистера Нипенни. Дядя его, составив завещание в его пользу, затем грозился лишить его наследства. Но угроза не была исполнена; завещание, оказывается, осталось

прежним. Будь оно изменено, единственным вероятным побуждением к убийству было бы простое чувство мести; но и это чувство умерялось бы надеждою вновь снискать расположение дяди. Но коль скоро изменено завещание не было, а угроза лишения наследства продолжала висеть над головою племянника, повод для злодеяния устанавливался с неопровержимой очевидностью; так проницательно и благоразумно и заключили достойные граждане Сырборо.

Мистера Нипенни, соответственно, тотчас арестовали, и толпа скоро окончила поиски и отправилась восвояси, ведя его под конвоем. На пути, однако, возникло еще некое обстоятельство, подтверждавшее и без того тяжкие подозрения. Все заметили, как мистер Честен, в своем благородном рвении все время несколько опережавший остальных, вдруг пробежал несколько шажков, наклонился и обнаружил в траве какой-то мелкий предмет; затем все заметили, как, осмотрев найденный предмет, он хотел было сунуть его в карман; но этот маневр, я говорю, заметили и, следовательно, предупредили. Найденный предмет оказался испанским ножом, в котором с десятков присутствующих тотчас опознали нож мистера Нипенни. К тому же и на рукоятке были выгравированы его инициалы. Открытое лезвие было все в крови.

В виновности племянника не оставалось более сомнений, и по прибытии в Сырборо безотлагательно нарядили следствие, и он предстал перед заседателем для допроса.

Здесь дело снова приняло скверный оборот. Когда арестанта спросили, где находился он утром в день исчезновенья мистера Кукиша, у него хватило дерзости признаться, что в то самое утро он со своим ружьем охотился на оленя в ближайшем соседстве того озерца, где, благодаря проницательности мистера Честена, был найден тот самый окровавленный жилет.

Тогда мистер Честен со слезами на глазах попросил, чтобы его выслушали. Он объявил, что непреклонное чувство долга не перед одними только ближними, но и перед нашим небесным Создателем, запрещает ему молчать долее. Дотоле нежная привязанность его к юноше (хотя тот и обращался дурно с ним, мистером

Честеном) побуждала его напрягать все силы фантазии, дабы постараться рассмотреть роковые обстоятельства в свете, благоприятном для мистера Нипенни; но улики — увы — слишком тяжки, слишком непреложны; у него нет более сомнений, и теперь он откроет все, что ему известно, хотя его (мистера Честена) душа просто разрывается от тоски. Далее он сообщил, что вечером накануне отбытия мистера Кукиша сей достойный старый джентльмен сообщил племяннику в его (мистера Честена) присутствии, что он едет в город затем, чтобы положить в «Банк фермеров и купцов» изрядную сумму денег; и тогда же означенный мистер Кукиш окончательно объявил означенному племяннику о бесповоротной своей решимости отменить прежнее завещание и не оставить мистеру Нипенни *ни пенни*. После чего он (свидетель) торжественно призвал обвиняемого удостоверить, правда или нет во всех существенных частностях то, что заявил сейчас он (свидетель). К глубокому изумлению всех собравшихся, мистер Нипенни открыто признал, что это правда.

Тут уж заседатель почел своим долгом послать двоих полицейских, чтоб они обыскали комнату обвиняемого в доме у дяди. И они почти тотчас вернулись, обнаружив многим знакомый светлый кожаный бумажник, с которым старый джентльмен вот уж много лет как не расставался. Ценное содержимое, однако, было оттуда изъято, и тщетно пытался заседатель дознаться у арестанта, как употребил он деньги или куда их запрятал. Тот отговаривался полным неведением. Вдобавок полицейские обнаружили под матрацем у несчастного помеченные его инициалами рубашку и шейный платок, ужасно выпачканные кровью жертвы.

Тут как раз подоспело известие, что конь убитого только что пал в конюшне от полученной раны, и мистер Честен предложил немедля учинить вскрытие, дабы, если удастся, обнаружить пулю. Так и сделали; и, словно в доказательство уже и без того доказанной вины обвиняемого, мистеру Честену, тщательно обшарив недра животного, удалось нащупать и извлечь из груди его пулю весьма необычных размеров, каковая в точности пришлась по стволу ружья мистера Нипенни и в то же время была слишком велика для ружей про-

чих жителей городка и даже всего околотка. Но мало этого, на пуле оказалась зазубринка, или щербинка под прямым углом к обычному шву, и обнаружилось, что щербинка эта в точности отвечает горбику или вздутию на изложнице, каковую сам обвиняемый признал своей собственностью. Узнав о последнем обстоятельстве, заседатель не стал больше слушать никаких показаний и тотчас предал арестанта суду, решительно отказавшись отдать его на поруки, хотя мистер Честен пылко воспротивился такой суровости и предлагал за несчастного любой залог, какой только потребуется. Великодушие, проявленное Стариной Чарли, было совершенно в духе благородного и рыцарственного поведения, каким отличался он во все время своего пребывания в Сырборо. В данном же случае горячее сочувствие и доброта так увлекли достойного джентльмена, что, предлагая залог за юного друга, он, верно, совсем позабыл, что сам-то он (мистер Честен) буквально гол как сокол.

Нетрудно угадать, что было дальше. Мистер Нипенни под дружные проклятья сырборцев предстал пред скорейшим собранием суда, и цепь улик (пополнившихся еще кое-какими изобличающими фактами, которые честность мистера Честена не позволила ему утаить от суда) сочли столь прочной и столь неопровержимой, что присяжные, не сходя с места, тотчас вынесли заключение о «виновности в преднамеренном убийстве». Вслед за этим жалкий злодей выслушал смертный приговор, и его препроводили в окружную тюрьму — ждать, покуда свершится над ним неумолимое правосудие.

Ну, а благородное поведение Старины Чарли Честена еще более возвысило его в глазах сограждан. Его полюбили в десять раз сильнее прежнего; и в ответ на радушие, с каким повсюду его принимали, ему, так сказать, пришлось изменить весьма умеренным привычкам, к каким дотоле принуждала его бедность, и он завел у себя в доме частые reunions¹, где царили остро словие и веселость, которые, разумеется, нет-нет да и омрачались воспоминанием о суровой и печальной

¹ сборища (фр.).

судьбе, нависшей над племянником дорогого друга, горячо оплакиваемого хлебосольным хозяином.

В один прекрасный день великодушный старый джентльмен, к приятному своему удивлению, получил письмо следующего содержания:

Чарльзу Честену, эсквайру.

Милостивый государь, в соответствии с заказом, представленным нашей фирме тому два месяца нашим глубокоуважаемым клиентом мистером Барнабасом Кукишем, имеем честь препроводить утром сего дня по вашему адресу двойной ящик шато-марго марки «Антилопа» с лиловой печатью. Количество товара означено на полях.

*Засим остаемся преданные Вам
Клопс, Снобс, Гробс и К°
Город..... 21 июня 18.. года.*

Указанный ящик имеет прибыть фургонном через день по получении Вами настоящего письма.

Мистеру Кукишу Наше нижайшее.

К. С. Г. и К°

Надо заметить, что мистер Честен после смерти мистера Кукиша и не чаял получить обещанное шато-марго; и потому счел его теперь заслуженным даром провидения. Разумеется, он весьма обрадовался и по такому случаю стал созывать множество друзей на завтра, на *petit souper*¹, дабы всем вместе вкусить от щедрот доброго старого мистера Кукиша. Правда, имя «доброго старого мистера Кукиша» при этом не упоминалось. Надо заметить, он долго думал и решил вообще никому ничего не говорить. Он и словом не обмолвился — если память мне не изменяет, — что шато-марго получено им в подарок. Он просто пригласил друзей выпить с ним вместе отменного винца с прекрасным букетом, которое заказал он в городе тому месяца два назад и завтра получит. Я долго удивлялся, почему Ста-

¹ ужин в тесном кругу (фр.).

рина Чарли решил не упоминать о том, что вино получено им в подарок от старого друга, да так и не понял причин его молчания, хоть причины у него, разумеется, были, и притом, без сомнения, веские и самого благородного свойства.

И вот на следующий день в доме мистера Честена собралось множество весьма почтенных господ. Сюда стеклось чуть не полгородка — среди прочих и ваш покорный слуга, — но, к великой досаде хозяина, время шло, гости успели воздать должное щедрому угощению Старины Чарли, а шато-марго все не являлось. В конце концов оно все же прибыло, — и, доложу я вам, огромнейший ящик! — а коль скоро настроение у всех было преотличное, то и порешили *pet. con*¹ водрузить его на стол и опорожнить тотчас.

Сказано — сделано; я предложил руку помощи, и втроем мы поставили ящик на стол посреди бутылок и рюмок, впопыхах переколотив немалое их число. Старина Чарли, изрядно наклюкавшийся и весьма красный, с потешной важностью воссел во главе стола и отчаянно застучал об стол графином, призывая собравшихся «соблюдать порядок, покуда будет производиться извлечение клада».

После громогласных увещаний спокойствие наконец водворилось и, как часто бывает в подобных случаях, настала глубокая, удивительная тишина. Меня попросили снять крышку, и я, разумеется, согласился «с превеликим удовольствием». Я сунул в щель долото, и не успел я легонько стукнуть по нему раз-другой молотком, как крышка слетела и тотчас вскочил и сел в ящике, уставясь прямо на хозяина, синий, окровавленный и чуть не разложившийся труп самого убитого мистера Кукиша. Несколько секунд смотрел он неотрывно и печально остекленелым взором прямо в лицо мистери Честену, — медленно, но отчетливо и выразительно произнес: «Ты еси муж, сотворивый сие!», а потом, словно полностью этим удовлетворясь, повалился на бок и распростер по столу дрожащие члены.

Невозможно описать, что было дальше. Гости бросились к дверям и окнам, а кое-кто даже из самых бравых мужей попадал в обморок от ужаса. Но когда ми-

¹ единогласно (*лат.*).

новал первый отчаянный взрыв смятения, все глаза устремились на мистера Честена. Тысячу лет буду жить — не забуду, какая мука отобразилась на мертвенно-бледном лице его, столь недавно еще рдевшем от торжества и напитков. Несколько минут оставался он недвижим, как мраморное изваянье, и глаза его, совершенно пустые, будто обратились внутрь, поглощенные созерцанием его собственной преступной и мерзкой души. Потом они вдруг сверкнули, вновь возвратившись к внешнему миру, и тогда он вскочил со стула и, навалясь головой и руками на стол рядом с трупом, быстро и словно в горячке поведал обо всех подробностях гнусного преступления, за которое был заточен в тюрьму и приговорен к смерти мистер Нипенни.

Вот что рассказал мистер Честен: он преследовал жертву до самого озерца; там он выстрелил из пистолета в коня; всадника ссадил ударом рукоятки; завладел бумажником; и, полагая коня убитым, с большим трудом проволоч его к зарослям ежевики на берегу озерца. Потом он взвалил тело мистера Кукиша на собственного коня и лесом доставил подальше, к надежному укрытию.

Жилет, нож, бумажник и пулю он сам подсунул куда следует, чтобы отомстить мистеру Нипенни. Он же подсунул под матрац выпачканную рубашку и платок.

К концу этого леденящего кровь рассказа голос начал изменять злодею. Окончив свою повесть, он встал, покачнулся и упал навзничь — мертвый.

Столь действенное средство, заставившее преступника признаться, было весьма просто. Излишнее простосердечие мистера Честена с самого начала претило мне и казалось подозрительным. Ударил его мистер Нипенни тогда в моем присутствии, и злобное выражение, мелькнувшее в лице мистера Честена, убедило меня в том, что угрозу свою он неукоснительно исполнит при первой возможности. И потому я рассматривал все уловки Старины Чарли совершенно в ином свете, чем оценивали их добрые граждане Сырборо. Я понял, что не кто иной, как он сам, прямо или косвенно поставляет все улики против мистера Нипенни. Но окончатель-

но открыло мне глаза на истинное положение вещей происшествие с пулей, которую мистер Ч. нашел в теле павшего коня. Я-то не забыл, в отличие от сырборцев, что пуля пробила грудь навывлет. И коль скоро она обнаружилась в теле животного, после того как из него вылетела, я понял с достоверностью, что пулю туда поместило обнаружившее ее лицо. Окровавленная рубашка и платок лишь подтвердили мою догадку, ибо кровь при ближайшем рассмотрении оказалась не чем иным, как славным бордоским. Когда я раздумывал обо всем этом и о неожиданной щедрости мистера Честена, подозрения мои все укреплялись. Я никому ничего не говорил и учредил меж тем собственные тщательные розыски трупа. Разумеется, я искал его в местах, наиболее удаленных от тех, куда направлял свой отряд мистер Честен. И через несколько дней я набрел на старый иссякший колодец, почти скрытый в зарослях ежевики, и там, на дне его, обнаружил то, что искал.

Между прочим, в свое время я подслушал разговор двух приятелей, когда мистеру Честену удалось выклянчить у хозяина ящик шато-марго. Теперь мне только того и надо было. Я раздобыл жесткий китовый ус, запихнул его поглубже в глотку трупу, а труп поместил в старый ящик из-под вина, так сложив тело, чтобы с ним вместе согнулся и китовый ус. Правда, мне пришлось попотеть, нажимая на крышку, покуда я забивал в нее гвозди; зато расчет мой оказался точным: стоит вытащить гвозди, крышка слетит, а тело вскочит.

Уложив ящик, я изобразил на нем адрес, номер, штемпель, как сказано выше; а затем, отправив письмо от имени виноторговцев, поставщиков мистера Кукиша, я велел моему человеку в указанный мною час доставить ящик на тачке к дверям мистера Честена. Что касается до слов, которые я вложил в уста трупу, то тут я полагался на собственное искусство чрево вещания; с его-то помощью я и надеялся изобличить злодея-убийцу.

Больше нечего и рассказывать. Мистер Нипенни был немедля выпущен из-под стражи, наследовал дядюшкино богатство, извлек из своих испытаний урок, начал новую жизнь и жил с тех пор припеваючи.

ПОХИЩЕННОЕ ПИСЬМО

Nil sapientiae odiosus
acumine nimio.

*Seneca*¹

Как-то в Париже, в ветреный вечер осенью 18... года, когда уже совсем смерклось, я предавался двойному наслаждению, которое дарит нам сочетание размышлений с пенковой трубкой, в обществе моего друга С.-Огюста Дюпена в его маленькой библиотеке, а вернее, кабинете au troisième, № 33 Rue Dupôt, Faubourg St. Germain². Более часа мы просидели, храня нерушимое молчание, и стороннему наблюдателю могло бы показаться, что и я, и мой друг всего лишь сосредоточенно и бездумно следим за клубами табачного дыма, заполнившего комнату. Однако я продолжал мысленно обсуждать события, служившие темой беседы, которую мы вели в начале вечера, — я имею в виду происшествие на улице Морг и тайну, связанную с убийством Мари Роже. Вот почему, когда дверь распахнулась и в библиотеку вошел наш старый знакомый, мосье Г., префект парижской полиции, это представилось мне любопытным совпадением.

Мы сердечно его приветствовали, потому что дурные качества этого человека почти уравновешивались многими занятными чертами, а к тому же мы не виделись с ним уже несколько лет. Перед его приходом мы сумерничали, и теперь Дюпен встал, намереваясь зажечь лампу, но он тут же вновь опустился в свое кресло, когда Г. сказал, что пришел посоветоваться с нами — а вернее, с моим другом — о деле государствен-

¹ Для мудрости нет ничего ненавистнее хитрости. *Сенека (лат.)*.

² На четвертом этаже дома № 33, по улице Дюно в предместье Сен-Жермен (*фр.*).

ной важности, которое уже доставило ему много неприятных хлопот.

— Если оно требует обдумывания, — пояснил Дюпен, отнимая руку, уже протянутую к фитилю лампы, — то предпочтительнее будет ознакомиться с ним в темноте.

— Еще одна из ваших причуд! — сказал префект, имевший манеру называть «причудами» все, что превосходило его понимание, а потому живший поистине среди легиона «причудливостей».

— Совершенно справедливо, — ответил Дюпен, предлагая гостю трубку и придвигая ему удобное кресло.

— Но какая беда случилась на сей раз? — спросил я. — Надеюсь, это не еще одно убийство?

— О нет! Ничего подобного. Собственно говоря, дело это чрезвычайно простое, и я не сомневаюсь, что мы и сами с ним превосходно справимся, но мне пришло в голову, что Дюпену, пожалуй, будет любопытно выслушать его подробности — ведь оно такое причудливое.

— Простое и причудливое, — сказал Дюпен.

— Э... да. Впрочем, не совсем. Собственно говоря, мы все в большом недоумении, потому что дело это на редкость простое, и тем не менее оно ставит нас в совершенный тупик.

— Быть может, именно простота случившегося и сбивает вас с толку, — сказал мой друг.

— Ну, какой вздор вы изволите говорить! — ответил префект, смеясь от души.

— Быть может, тайна чуть-чуть слишком прозрачна, — сказал Дюпен.

— Бог мой! Что за идея!

— Чуть-чуть слишком очевидна.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! — загремел наш гость, которого эти слова чрезвычайно позабавили. — Ах, Дюпен, вы меня когда-нибудь уморите!

— Но все-таки что это за дело? — спросил я.

— Я сейчас вам расскажу, — ответил префект, задумчиво выпуская изо рта длинную ровную струю ды-

ма, и устроился в кресле поудобнее.— Я изложу его вам в нескольких словах, но прежде я хотел бы предупредить вас, что это дело необходимо хранить в строжайшем секрете и что я почти наверное лишусь своей нынешней должности, если станет известно, что я кому-либо о нем рассказывал.

— Продолжайте,— сказал я.

— Или не продолжайте,— сказал Дюпен.

— Ну так вот: мне было сообщено из весьма высоких сфер, что из королевских апартаментов был похищен некий документ величайшей важности. Похититель известен. Тут не может быть ни малейшего сомнения: видели, как он брал документ. Кроме того, известно, что документ все еще находится у него.

— Откуда это известно? — спросил Дюпен.

— Это вытекает,— ответил префект,— из самой природы документа и из отсутствия неких последствий, которые неминуемо возникли бы, если бы он больше не находился у похитителя — то есть если бы похититель воспользовался им так, как он, несомненно, намерен им в конце концов воспользоваться.

— Говорите пояснее,— попросил я.

— Ну, я рискну сказать, что документ наделяет того, кто им владеет, определенной властью по отношению к определенным сферам, каковая власть просто не имеет цены.— Префект обожал дипломатическую высокопарность.

— Но я все-таки не вполне понял,— сказал Дюпен.

— Да? Ну, хорошо: передача этого документа третьему лицу, которое останется неназванным, поставит под угрозу честь весьма высокой особы, и благодаря этому обстоятельству тот, в чьих руках находится документ, может диктовать условия той весьма знатной особе, чья честь и благополучие оказались в опасности.

— Но ведь эта власть,— перебил я,— возникает только в том случае, если похититель знает, что лицу, им ограбленному, известно, кто похититель. Кто же дерзнет...

— Вот,— сказал Г.,— это министр Д., чья дерзость не останавливается ни перед чем — ни перед тем, что достойно мужчины, ни перед тем, что его недостойно. Уловка, к которой прибег вор, столь же хитроумна, сколь и смела. Документ, о котором идет речь (сказать откровенно, это — письмо), был получен ограбленной особой, когда она пребывала в одиночестве в королевском будуаре. Она его еще читала, когда в будуар вошло то высочайшее лицо, от какового она особенно хотела скрыть письмо. Поспешно и тщетно попытавшись спрятать письмо в ящик, она была вынуждена положить его вскрытым на столик. Однако оно лежало адресом вверх и, так как его содержание было скрыто, не привлекло к себе внимания. Но тут входит министр Д. Его рысий взгляд немедленно замечает письмо, он узнает почерк, которым написан адрес, замечает смущение особы, которой оно адресовано, и догадывается о ее тайне. После доклада о каких-то делах, сделанного с его обычной быстротой, он достает письмо, несколько похожее на то, о котором идет речь, вскрывает его, притворяется, будто читает, после чего кладет рядом с первым. Потом он снова около пятнадцати минут ведет беседу о государственных делах. И наконец, кланяясь, перед тем как уйти, берет со стола не принадлежащее ему письмо. Истинная владелица письма видит это, но, разумеется, не смеет воспрепятствовать ему из-за присутствия третьего лица, стоящего рядом с ней. Министр удаляется, оставив на столе свое письмо, не имеющее никакой важности.

— И вот,— сказал Дюпен, обращаясь ко мне,— налицо то условие, которое, по вашему мнению, было необходимо для полноты власти похитителя: похититель знает, что лицу, им ограбленному, известно, кто похититель.

— Да,— сказал префект.— И в течение последних месяцев полученной таким способом властью пользуются ради политических целей, и притом не зная никакой меры. С каждым днем ограбленная особа все более убеждается в необходимости получить назад свое письмо. Но, разумеется, открыто потребовать его воз-

вращения она не может. И вот в отчаянии она доверилась мне.

— Помощнику, мудрее которого, — сказал Дюпен сквозь настоящий смерч дыма, — я полагаю, не только найти, но и вообразить невозможно.

— Вы мне льстите, — ответил префект, — но, пожалуй, кое-кто и придерживается такого мнения.

— Во всяком случае, совершенно очевидно, — сказал я, — что письмо, как вы и говорили, все еще находится у министра, поскольку власть дает именно обладание письмом, а не какое-либо его использование. Если его использовать, то власть исчезнет.

— Вы правы, — ответил Г. — И я начал действовать, исходя именно из этого предположения. Первой моей задачей было обыскать особняк министра, и главная трудность заключалась в том, чтобы сделать это втайне от него. Мне настоятельно указывали на необходимость устроить все дело так, чтобы он ничего не заподозрил, ибо это могло бы привести к самым роковым последствиям.

— Но, — сказал я, — вы же вполне *au fait*¹ в такого рода вещах. Парижская полиция достаточно часто предпринимала подобные обыски.

— О, разумеется. Вот потому-то я и не отчаивался. К тому же привычки министра весьма благопритествовали моим намерениям. Он частенько не возвращается домой до утра. Слуг у него немного, и они спят вдали от комнат своего хозяина, а к тому же их нетрудно напоить, так как почти все они — неаполитанцы. Вам известно, что у меня есть ключи, которыми я могу отпереть любую комнату и любой шкаф в Париже. В течение трех месяцев я чуть ли не еженощно сам обыскивал особняк министра Д. На карту поставлена моя честь, и, говоря между нами, награда обещана колоссальная. И я прекратил поиски, только когда окончательно убедился, что вор более хитер, чем я. Смею вас заверить, я осмотрел все закоулки и тайники, в которых можно было бы спрятать письмо.

— Хотя письмо, без сомнения, находится у минист-

¹ сведущи (*фр.*).

ра, — заметил я, — но не мог ли он скрыть его не у себя в доме, а где-нибудь еще?

— Навряд ли, — сказал Дюпен. — Нынешнее положение дел при дворе и особенно те политические интриги, в которых, как известно, замешан Д., требуют, чтобы письмо всегда находилось у него под рукой — возможность предъявить его без промедления почти так же важна, как и самый факт обладания им.

— Возможность предъявить его без промедления? — переспросил я.

— Другими словами, возможность немедленно его уничтожить, — ответил Дюпен.

— Совершенно верно, — согласился я. — Следовательно, письмо спрятано где-то в его особняке. Предположение о том, что министр носит его при себе, вероятно, следует сразу же отбросить.

— О да, — сказал префект. — Его дважды останавливали псевдограбители и под моим личным наблюдением обыскивали самым тщательным образом.

— Вы могли бы и не затрудняться, — заметил Дюпен. — Д., насколько я могу судить, не совсем дурак, а раз так, то он, конечно, прекрасно понимал, что нападения подобных грабителей ему не избежать.

— Не совсем дурак... — повторил Г. — Но ведь он поэт, а по-моему, от поэта до дурака всего один шаг.

— Совершенно верно, — сказал Дюпен, задумчиво затянувшись трубкой, — хотя мне и самому случалось грешить стишками.

— Может быть, — сказал я, — вы расскажете о своих поисках в его доме более подробно.

— Ну, по правде говоря, мы не спешили и обыскали решительно все. У меня в таких делах большой опыт. Я осмотрел здание сверху донизу, комнату за комнатой, посвящая каждой все ночи целой недели. Начинали мы с мебели. Мы открывали все ящики до единого, а вы, я полагаю, знаете, что для опытного полицейского агента никаких «потайных» ящиков не существует. Только болван, ведя подобный обыск, умудрится пропустить «потайной» ящик. Это же так просто! Каждое бюро имеет такие-то размеры — занимает такое-то пространство. А линейки у нас точные. Мы за-

метим разницу даже в пятисотую долю дюйма. После бюро мы брались за стулья. Сиденья мы прокалывали длинными тонкими иглами — вы ведь видели, как я ими пользовался. Со столов мы снимали столешницы.

— Зачем?

— Иногда человек, желающий что-либо спрятать, снимает столешницу или верхнюю крышку какого-нибудь сходного предмета мебелировки, выдалбливает ножку, прячет то, что ему нужно, в углубление и водворяет столешницу на место. Таким же образом используются ножки и спинки кроватей.

— Но нельзя ли обнаружить пустоту выстукиванием? — осведомился я.

— Это невозможно, если, спрятав предмет, углубление плотно забить ватой. К тому же во время этого обыска мы были вынуждены действовать бесшумно.

— Но ведь вы не могли снять... вы же не могли разобрать на части всю мебель, в которой возможно устроить тайник вроде описанного вами. Письмо можно скрутить в тонкую трубочку, не толще большой вязальной спицы, и в таковом виде вложить его, например, в перекладину стула. Вы же не разбирали на части все стулья?

— Конечно, нет. У нас есть способ лучше: мы исследовали перекладины всех стульев в особняке, да, собственно говоря, и места соединений всей мебели Д., с помощью самой сильной лупы. Любой мельчайший след недавних повреждений мы обнаружили бы сразу. Крохотные опилки, оставленные буравчиком, были бы заметнее яблок. Достаточно было бы трещинки в клее, малейшей неровности — и мы обнаружили бы тайник.

— Полагаю, вы проверили и зеркала — место соединения стекла с рамой, а также кровати и постельное белье, ковры и занавеси?

— Безусловно; а когда мы покончили с мебелью, то занялись самим зданием. Мы разделили всю его поверхность на квадраты и перенумеровали их, чтобы не пропустить ни одного. Затем мы исследовали каждый дюйм по всему особняку, а также стены двух примыкающих к нему домов — опять-таки с помощью лупы.

— Двух соседних домов! — воскликнул я. — У вас было немало хлопот.

— О да. Но ведь и предложенная награда огромна.

— Вы осмотрели также и дворы?

— Дворы вымощены кирпичом, и осмотреть их было относительно просто. Мы обследовали мох между кирпичами и убедились, что он нигде не поврежден.

— Вы, конечно, искали в бумагах Д. и среди книг его библиотеки?

— Разумеется. Мы заглянули во все пакеты и свертки, мы не только открыли каждую книгу, но и пролистали их все до единой, а не просто встряхнули, как делают некоторые наши полицейские. Мы, кроме того, самым тщательным образом измерили толщину каждого переплета и осмотрели его в лупу. Если бы в них были какие-нибудь недавние повреждения, они не укрылись бы от нашего взгляда. Пять-шесть томов, только что полученных от переплетчика, мы аккуратно проверили иглами.

— Полы под коврами вы осмотрели?

— Ну конечно. Мы снимали каждый ковер и обследовали паркет с помощью лупы.

— И обои на стенах?

— Да.

— В подвалах вы искали?

— Конечно.

— В таком случае, — сказал я, — вы исходили из неверной предпосылки: письмо не спрятано в особняке, как вы полагали.

— Боюсь, вы правы, — ответил префект. — Итак, Дюпен, что бы вы посоветовали мне предпринять?

— Еще раз как следует обыскать особняк.

— Бесполезно! — ответил Г. — Я совершенно убежден, что письмо находится не там. Это так же верно, как то, что я дышу воздухом.

— Ничего лучше я вам посоветовать не могу, — сказал Дюпен. — Вы, несомненно, получили самое точное описание внешнего вида письма?

— О да!

И, вытащив записную книжку, префект прочел нам подробнейшее описание того, как выглядел исчезнув-

ший документ в развернутом виде, и особенно как он выглядел снаружи. Вскоре после этого он распрощался с нами и ушел, совсем упав духом, — я никогда еще не видел этого достойного джентльмена в таком унынии.

Приблизительно через месяц он снова посетил нас и застал Дюпена и меня примерно за тем же занятием, как и в прошлый свой визит. Он взял трубку, опустился в предложенное кресло и заговорил о каких-то пустяках. Наконец я не выдержал:

— Но послушайте, Г., как обстоят дела с похищенным письмом? По-видимому, вы пришли к выводу, что перехитрить министра вам не удастся?

— Совершенно верно, будь он проклят! Я последовал совету Дюпена и произвел вторичный обыск, но, как я и предполагал, все наши усилия пропали даром.

— Как велика награда, о которой вы упоминали? — спросил Дюпен.

— Очень велика... это весьма щедрая награда, хотя называть точную цифру мне не хотелось бы. Впрочем, одно я могу сказать: тому, кто доставил бы мне это письмо, я был бы рад вручить мой собственный чек на пятьдесят тысяч франков. Дело в том, что с каждым днем его значение возрастает, и обещанная награда недавно была удвоена. Однако, будь она даже утроена, я не мог бы сделать больше, чем сделал.

— О, — протянул Дюпен между затяжками, — мне, право... кажется, Г., что вы приложили усилий... меньше, чем могли бы. И вам следовало бы... на мой взгляд, сделать еще кое-что, э!

— Но как? Каким образом?

— Ну... пых-пых-пых!.. вы могли бы... пых-пых!.. заручиться помощью специалиста, э? Пых-пых-пых!.. Вы помните анекдот, который рассказывают об Абернети?

— Нет. Черт бы его взял, этого вашего Абернети.

— О да, пусть его возьмет черт. И на здоровье. Но как бы то ни было, однажды некий богатый скупец задумал получить от Абернети врачебный совет, ничего за него не заплатив. И вот, заведя с Абернети в обществе светский разговор, он описал ему свою болезнь, излагая якобы гипотетический случай. «Предполо-

жим, — сказал скупец, — что симптомы этого недуга были такими-то и такими-то; что бы вы рекомендовали сделать больному, доктор?» — «Что сделать? — повторил Абернети. — Обратиться за советом к врачу, что же еще?»

— Но, — сказал префект, несколько смутившись, — я был бы очень рад получить совет и заплатить за него. Я действительно готов дать пятьдесят тысяч франков тому, кто поможет мне в этом деле.

— В таком случае, — сказал Дюпен, открывая ящик и доставая из него чековую книжку, — выпишите мне чек на вышеупомянутую сумму. Когда вы поставите на нем свою подпись, я вручу вам письмо.

Я был ошеломлен. Префект же сидел словно пораженный громом. На несколько мгновений он как будто онемел и был не в силах сделать ни одного движения — он только недоверчиво глядел на моего друга, разинув рот, и казалось, что его глаза вот-вот вылезут на лоб; затем, немного оправившись, он схватил перо и начал заполнять чек, но раза два прерывал это занятие и недоуменно глядел в пустоту. Однако в конце концов чек на пятьдесят тысяч франков был выписан и префект передал его через стол Дюпену. Тот внимательно прочитал чек и спрятал его к себе в бумажник; затем отпер замочек бювара, достал какое-то письмо и протянул его префекту. Этот достойный чиновник схватил письмо в настоящем пароксизме радости, дрожащей рукой развернул его, быстро прочел несколько строк, потом, спотыкаясь от нетерпения, кинулся к двери и бесцеремонно выбежал из комнаты и из дома, так и не произнеся ни единого слова с той самой минуты, когда Дюпен попросил его заполнить чек.

После того как префект исчез, мой друг дал мне кое-какие объяснения.

— Парижская полиция, — сказал он, — по-своему весьма талантлива. Ее агенты настойчивы, изобретательны, хитры и обладают всеми познаниями, необходимыми для наилучшего выполнения их обязанностей. Вот почему, когда Г. описал нам, как именно он обыскивал особняк Д., я проникся неколебимой уверенно-

стью, что он действительно исчерпал все возможности— в том направлении, в каком он действовал.

— В том направлении, в каком он действовал? — переспросил я.

— Да, — сказал Дюпен. — Принятые им меры были не только наилучшими в своем роде, но и приводились в исполнение самым безупречным образом. Если бы письмо было спрятано так, как он предполагал, его неминуемо обнаружили бы.

Я весело засмеялся, однако мой друг, по-видимому, говорил вполне серьезно.

— Итак, — продолжал он, — принятые меры были по-своему хороши и приведены в исполнение наилучшим образом. Единственный их недостаток заключался в том, что к данному случаю и к данному человеку они никак не подходили. Определенная система весьма хитроумных методов сыска стала для префекта поистине прокрустовым ложем, к которому он насильственно подгоняет все свои планы. Но он постоянно ошибается, каждый раз воспринимая стоящую перед ним задачу либо слишком глубоко, либо слишком поверхностно; найдется немало школьников, которые умеют рассуждать гораздо последовательнее, чем он. Мне знаком восьмилетний мальчуган, чья способность верно угадывать в игре «чет и нечет» снискала ему всеобщее восхищение. Это очень простая игра: один из играющих зажимает в кулаке несколько камешков и спрашивает у другого, четное ли их количество он держит или нечетное. Если второй играющий угадает правильно, то он выигрывает камешек, если же неправильно, то проигрывает камешек. Мальчик, о котором я упомянул, обыграл всех своих школьных товарищей. Разумеется, он строил свои догадки на каких-то принципах, и эти последние заключались лишь в том, что он внимательно следил за своим противником и правильно оценивал степень его хитрости. Например, его заведомо глупый противник поднимает кулак и спрашивает: «Чет или нечет?» Наш школьник отвечает «нечет» и проигрывает. Однако в следующей попытке он выигрывает, потому что говорит себе: «Этот дурак взял в прошлый раз четное количество камешков и, конечно, ду-

мает, что отлично схитрит, если теперь возьмет нечетное количество. Поэтому я опять скажу — нечет!» Он говорит «нечет!» и выигрывает. С противником чуть поумнее он рассуждал бы так: «Этот мальчик заметил, что я сейчас сказал «нечет», и теперь он сначала захочет изменить четное число камешков на нечетное, но тут же спохватится, что это слишком просто, и оставит их количество прежним. Поэтому я скажу — «чет!» Он говорит «чет!» и выигрывает. Вот ход логических рассуждений маленького мальчика, которого его товарищи окрестили «счастливым». Но, в сущности говоря, что это такое?

— Всего только, — ответил я, — умение полностью отождествить свой интеллект с интеллектом противника.

— Вот именно, — сказал Дюпен. — А когда я спросил у мальчика, каким способом он достигает столь полного отождествления, обеспечивающего ему постоянный успех, он ответил следующее: «Когда я хочу узнать, насколько умен, или глуп, или добр, или зол вот этот мальчик или о чем он сейчас думает, я стараюсь придать своему лицу точно такое же выражение, которое вижу на его лице, а потом жду, чтобы узнать, какие мысли или чувства возникнут у меня в соответствии с этим выражением». Этот ответ маленького школьника включает в себе все, что скрывается под мнимой глубиной, которую усматривали у Ларошфуко, Лабрюйера, Макиавелли и Кампанеллы.

— А отождествление интеллекта того, кто рассуждает, с интеллектом его противника, — сказал я, — зависит, если я правильно вас понял, от точности, с какой оценен интеллект этого последнего.

— Практически говоря, оно зависит именно от этого, — ответил Дюпен, — а префект и его присные столь часто терпят неудачи именно потому, что не ищут подобного отождествления, и потому, что неверно оценивают интеллект своего противника, а вернее, никак его не оценивают. Они рассуждают, исходя только из собственных представлений о хитроумии, и когда разыскивают спрятанные вещи, то ищут их только там, где сами могли бы их спрятать. В одном отноше-

нии они правы: их хитроумие вполне соответствует хитроумию большинства людей; но в тех случаях, когда хитрость преступника по своей природе не сходна с их собственной, такой преступник, разумеется, берет над ними верх. Так бывает всегда, когда его хитрость превосходит их хитрость, и весьма часто — когда она ей уступает. Они ведут свои расследования, исходя из одних и тех же неизменных принципов. В лучшем случае, когда их подстегивает исключительная важность случившегося или необыкновенно большая награда, они могут расширить сферу применения своих практических приемов или усложнить их, но вышеупомянутых принципов не меняют. Например, был ли хоть как-то изменен принцип их действий в деле Д.? Они сверлили, кололи иглами, выстукивали, исследовали поверхности с помощью сильной лупы, делили стены здания на пронумерованные квадратные дюймы: но что все это, как не преувеличенное применение того же принципа — а вернее, ряда принципов, которые опираются на ряд представлений о человеческом хитроумии, выработавшихся у префекта за долгие годы его службы? Неужели вы не видите, насколько он считал сам собой разумеющимся, что все люди обязательно будут прятать письмо если и не в дырке, высверленной буравчиком в ножке стула, то, во всяком случае, в каком-то столь же неожиданном тайнике, подсказанном тем же ходом мысли, который заставляет человека высверливать буравчиком дырку в ножке стула и прятать туда письмо? И неужели вы не видите, что тайники столь *recherchés*¹ годятся только для заурядных случаев и что к ним прибегают только заурядные умы? Ведь когда речь идет о спрятанном предмете, способ его сокрытия — способ *recherchés* — предопределен заранее и тем самым всегда поддается определению. И обнаружение такого предмета зависит вовсе не от проницательности ищущих, а только от их тщательности, терпения и настойчивости. И до сих пор, когда речь шла о чем-то очень важном или (что, на взгляд человека, причастного к политике, одно и то же) о большой награде, вышеперечисленные качества неизменно обеспечивали успеш-

¹ Вычурные (*фр.*).

ное завершение розысков. Теперь вы понимаете, что именно я подразумевал, когда сказал, что, будь похищенное письмо спрятано там, где его искал префект, — другими словами, будь принцип его сокрытия соотносим с принципами, согласно которым действует префект, — оно обязательно было бы найдено. Однако этот ревностный сыщик был совсем сбит с толку, и первоначальный источник его неудачи заключается в предположении, что министр должен быть дураком, поскольку он известен как поэт. Все дураки — поэты, — по крайней мере, так кажется префекту, и он повинен всего лишь в *non distributio medii*¹, поскольку выводит отсюда, что все поэты — дураки.

— Но действительно ли речь идет о поэте? — спросил я. — Насколько мне известно, у министра есть брат, и оба они приобрели определенную известность в литературном мире. Однако министр, если не ошибаюсь, писал о дифференциальном исчислении. Он математик, а вовсе не поэт.

— Вы ошибаетесь. Я хорошо его знаю — он и то и другое. Как поэт и математик, он должен обладать способностью к логическим рассуждениям, а будь он всего только математиком, он вовсе не умел бы рассуждать логически, и в результате префект легко справился бы с ним.

— Меня поражают, — сказал я, — эти ваши суждения, против которых восстанет голос всего света. Ведь не хотите же вы опровергнуть представление, проверенное веками! Математическая логика издавна считалась логикой *par excellence*².

— «Il y a à parier, — возразил Дюпен, цитируя Шамфора, — que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenue au plus grand nombre»³. Не спору: математики сделали все, от них зависевшее, чтобы укрепить свет в заблуждении, на которое вы ссылаетесь и которое остается заблуждением, как бы

¹ Буквально, нераспределение среднего (*лат.*) — одна из классических ошибок в формальной логике.

² В высшей степени (*фр.*).

³ «Можно побиться об заклад, что всякая широко распространенная идея, всякая общепринятая условность есть глупость, ибо она принята наибольшим числом людей» (*фр.*).

его ни выдавали за истину. Они, например, с искусством, заслуживающим лучшего применения, исподтишка ввели термин «анализ» в алгебре. В данном обмане повинны французы, но если термин имеет хоть какое-то значение, если слова обретают ценность благодаря своей точности, то «анализ» столь же мало означает «алгебра», как латинское «ambitus»¹ — «амбицию», а «religio»² — «религию».

— Я предвижу, что вам не избежать ссоры с некоторыми парижскими алгебраистами, — сказал я. — Однако продолжайте.

— Я оспариваю универсальность, а тем самым и ценность любой логики, которая культивируется в какой-либо иной форме, кроме абстрактной. И в частности, я оспариваю логику, выводимую из изучения математики. Математика — это наука о форме и количестве, и математическая логика — это всего лишь логика, прилагаемая к наблюдениям над формой и количеством. Предположение, будто истины даже того, что зовется «чистой» алгеброй, являются абстрактными или всеобщими истинами, представляет собой великую ошибку. И эта ошибка настолько груба, что мне остается только изумляться тому единодушию, с каким ее никто не замечает. Математические аксиомы — это отнюдь не аксиомы всеобщей истины. То, что справедливо для взаимоотношений формы и количества, часто оказывается вопиюще ложным в применении, например, к морали. В этой последней положение, что сумма частей равна целому, чаще всего оказывается неверным. Эта аксиома не подходит и для химии. При рассмотрении мотивов она также оказывается неверной, ибо два мотива, из которых каждый имеет какое-то значение, соединившись, вовсе не обязательно будут иметь значение, равное сумме их значений, взятых в отдельности. Существует еще много математических истин, которые остаются истинами только в пределах взаимоотношений формы и количества. Однако математик, рассуждая, по привычке исходит из своих частных мыслей так, словно они обладают абсолютно универсальным

¹ Круговое движение (*лат.*).

² Добросовестность (*лат.*).

характером — какими их, бесспорно, привык считать свет. Брайант в своей весьма ученой «Мифологии» упоминает аналогичный источник ошибок, когда он говорит: «Хотя мы не верим в языческие басни, однако мы постоянно забываемся и делаем из них выводы, как из чего-то действительно существующего». Тем не менее алгебраисты, сами язычники, неколебимо верят в «языческие басни» и выводят из них заключения не столько по причине провалов памяти, сколько благодаря постижимому затмению мыслей. Короче говоря, мне еще не доводилось встречать математика, которому можно было бы доверять в чем-либо, кроме равенства корней, и который втайне не лелеял бы кредо, будто $x^2 + px$ всегда абсолютно и безусловно равняется q . Если хотите, то попробуйте в качестве опыта сказать кому-нибудь из этих господ, что, по вашему мнению, бывают случаи, когда $x^2 + px$ не вполне равняется q , но, втолковав ему, что вы имеете в виду, поторопитесь отойти от него подальше, иначе он, без всякого сомнения, набросится на вас с кулаками.

— Я хочу сказать, — продолжал Дюпен, так как я только засмеялся в ответ на его последние слова, — что, будь министр всего лишь математиком, префекту не пришлось бы давать мне этот чек. Однако я знал, что он не только математик, но и поэт, а потому оценивал случившееся, исходя из его способностей и учитывая особенности его положения. Я знал, кроме того, что он искушен в делах двора и смелый интриган. Такой человек, рассуждал я, не может не быть осведомлен об обычных полицейских методах. Он не мог не предвидеть нападения псевдограбителей — и события показали, что он его предвидел. Он обязательно должен был предположить, рассуждал я, что его дом будет подвергнут тайным обыскам. Его частые ночные отлучки, в которых префект с радостью усматривал залог своего успеха, мне представлялись хитростью: он давал полиции возможность провести самый тщательный обыск для того, чтобы заставить ее прийти к заключению, к которому Г. в конце концов и пришел, — к заключению, что письмо находится не в его доме, а где-то еще. Я только что подробно изложил вам ход мысли касательно неизменных принципов, лежащих в основе действий полицейских агентов, когда они ищут

спрятанные предметы, — и я чувствовал, что тот же ход мысли неминуемо приведет министра к таким же выводам, что и меня. И заставит его пренебречь всеми обычными тайниками. Не мог же он быть столь слабоумен, рассуждал я, чтобы не видеть, что самые скрытые и недоступные недра его дома будут столь же достижимы для глаз, игл, буравчиков и сильных луп префекта, как и стоящие на виду незапертые шкафы. Короче говоря, я понял, что он будет вынужден прибегнуть к какой-то очень простой выдумке, если не предпочтет ее по доброй воле с самого начала. Возможно, вы не забыли, как хохотал префект, когда во время нашего первого разговора я высказал предположение, что эта загадка причиняет ему столько хлопот как раз из-за очевидности ее разгадки.

— Да, — сказал я. — Я отлично помню, как он веселился. Мне даже показалось, что с ним вот-вот случится родимчик.

— Материальный мир, — продолжал Дюпен, — изобилует аналогиями с миром нематериальным, а потому не так уж далеко от истины то правило риторики, которое утверждает, что метафору или уподобление можно использовать не только для украшения описания, но и для усиления аргументации. Например, принцип *vis inertiae*¹, по-видимому, одинаков и в физике и в метафизике. Если для первой верно, что большое тело труднее привести в движение, нежели малое, и что полученный им момент инерции прямо пропорционален этой трудности, то и для второй не менее верно, что более могучие интеллекты, хотя они сильнее, постояннее и плодотворнее в своем движении, чем интеллекты малые, тем не менее начинают это движение с меньшей легкостью и более смущаются и колеблются на первых шагах. И еще: вы когда-нибудь замечали, какие уличные вывески привлекают наибольшее внимание?

— Никогда об этом не задумывался, — ответил я.

— Существует салонная игра, — продолжал Дюпен, — в которую играют с помощью географической карты. Один играющий предлагает другому найти задум-

¹ Сила инерции (лат.).

манное слово — название города, реки, государства или империи — среди массы надписей, которыми пестрит карта. Новичок обычно пытается перехитрить своего противника, задумывая название, напечатанное наиболее мелким шрифтом, но опытный игрок выбирает слова, простирающиеся через всю карту и напечатанные самыми крупными буквами. Такие названия, как и чересчур большие вывески, ускользают от внимания из-за того, что они слишком уж очевидны. Эта физическая особенность нашего зрения представляет собой полную аналогию мыслительной тупости, с какой интеллект обходит те соображения, которые слишком уж навязчиво самоочевидны. Но, по-видимому, эта особенность несколько выше или несколько ниже понимания нашего префекта. Ему ни на секунду не пришло в голову, что министр мог положить письмо на самом видном месте на обозрение всему свету — именно для того, чтобы помешать кому-либо его увидеть.

Но чем больше я размышлял о дерзком, блистательном и тонком хитроумии Д., о том, что документ этот должен был всегда находиться у него под рукой, а в противном случае утратил бы свою силу, и о том, что письмо совершенно несомненно не было спрятано там, где считал нужным искать его префект, тем больше я убеждался, что, желая спрятать письмо, министр прибег к наиболее логичной и мудрой уловке и вовсе не стал его прятать.

Вот с какими мыслями я как-то утром водрузил себе на нос зеленые очки и во время прогулки заглянул к Д. Я застал его дома — он позевывал, изображал хандру, как всегда, притворяясь, будто ему все давно приелось и наскучило. В мире вряд ли сыщется другой столь же деятельный человек — но таким он бывает, только когда его никто не видит.

Чтобы не отстать от него, я пожаловался на слабость зрения и, оплакивая необходимость носить темные очки, под их защитой подробно и осторожно оглядел комнату, хотя со стороны показалось бы, что я смотрю только на моего собеседника.

Особенно внимательно я изучал большой письменный стол, возле которого сидел мой хозяин. На этом столе в беспорядке лежали различные бумаги, письма, два-три музыкальных инструмента и несколько книг.

Однако, тщательно и долго оглядывая стол, я так и не обнаружил ничего подозрительного.

В конце концов мой взгляд, шаривший по комнате, упал на ажурную картонную сумочку для визитных карточек, которая на грязной голубой ленте свисала с маленькой медной шишечки на самой середине каминной полки. У сумочки были три кармашка, расположенные один над другим, и из них торчало пять-шесть визитных карточек и одно письмо. Оно было замусоленное, смятое и надорванное посредине, точно его намеревались разорвать, как не заслуживающее внимания, но затем передумали. В глаза бросалась большая черная печать с монограммой Д. Адрес был написан мелким женским почерком: «Д., министру в собственные руки». Оно было небрежно и даже как-то презрительно засунуто в верхний кармашек сумки.

Едва я увидел это письмо, как тотчас же пришел к заключению, что передо мной — предмет моих поисков. Да, конечно, оно во всех отношениях разительно не подходило под то подробнейшее описание, которое прочел нам префект. Печать на этом была большая, черная, с монограммой Д., на том — маленькая, красная, с гербом герцогского рода С. Это было адресовано министру мелким женским почерком, на том титул некоей королевской особы был начертан решительной и смелой рукой. Сходилась только величина. Но, с другой стороны, именно разительность этих отличий, превосходившая всякое вероятие, грязь, замусоленная надорванная бумага, столь мало вязавшаяся с тайной аккуратностью Д. и столь явно указывавшая на желание внушить всем и каждому, будто документ, который он видит, не имеет ни малейшей важности, — все это, вкупе со слишком уж заметным местом, выбранным для его хранения, где он бросался в глаза всякому посетителю, что точно соответствовало выводам, к которым я успел прийти, — все это, повторяю я, не могло не вызвать подозрений у того, кто явился туда с намерением подозревать.

Я продлил свой визит, насколько это было возможно, и все время, пока я поддерживал горячий спор на тему, которая, как мне было известно, всегда живо интересовала и волновала Д., мое внимание было приковано к письму. Я хорошо разглядел его, запомнил его

внешний вид и положение в кармашке, а кроме того, в конце концов заметил еще одну мелочь, которая рассеяла бы последние сомнения, если бы они у меня были. Изучая края письма, я обнаружил, что они казались более неровными, чем можно было бы ожидать. Они выглядели надломленными, как бывает всегда, когда плотную бумагу, уже сложенную и прижатую пресс-папье, складывают по прежним сгибам, но в другую сторону. Заметив это, я уже ни в чем не сомневался. Мне стало ясно, что письмо в сумочке под каминной полкой было вывернуто наизнанку, как перчатка, после чего его снабдили новым адресом и новой печатью. Тогда я распрощался с министром и отправился восвояси, оставив на столе золотую табакерку.

На следующее утро я зашел за табакеркой, и мы с большим увлечением возобновили беседу, которую вели накануне. Пока мы разговаривали, под окнами министра раздался громкий, словно бы пистолетный выстрел, а вслед за ним послышались ужасные вопли и крики испуганной толпы. Д. бросился к окну, распахнул его и выглянул наружу. Я же сделал шаг к сумочке, вынул письмо, сунул его в карман, а на его место положил довольно точную его копию (то есть по внешности), которую я старательно изготовил дома, без труда подделав монограмму Д. с помощью печати, слепленной из хлебного мякиша.

Суматоха на улице была вызвана отчаянной выходкой какого-то человека, державшего в руке мушкет. Он выстрелил из своего мушкета в толпе женщин и детей. Однако выяснилось, что заряд в мушкете был холостой, и стрелка отпустили, решив, что это либо сумасшедший, либо пьяница. Когда он скрылся из виду, Д. отошел от окна, возле которого встал и я сразу после того, как завладел письмом. Вскоре я откланялся. Человек, притворявшийся сумасшедшим, был нанят мной.

— Но зачем вам понадобилось, — спросил я, — заменять письмо копией? Не проще ли было бы в первый же ваш визит схватить его на глазах у Д. и уйти?

— Д., — ответил Дюпен, — человек отчаянно смелый и находчивый. Кроме того, его слуги ему преданы. Если бы я решился на безумный поступок, о котором вы говорите, я вряд ли покинул бы особняк министра

живым. И добрые парижане больше ничего обо мне не слышали бы. Однако меня остановили не только эти соображения. Вам известны мои политические симпатии. И тут я действовал, как сторонник дамы, у которой было похищено письмо. Полтора года Д. держал ее в своей власти. А теперь он сам у нее в руках — ведь, не подозревая, что письма у него больше нет, он будет и далее множить свои требования. И тем самым неотвратимо обречет свою политическую карьеру на гибель. К тому же его падение будет не только стремительным, но и весьма неприятным. Хоть и говорится, что *facilis descensus Avernī*¹, однако когда речь идет о взлетах и падениях, то, как заметила Каталани о пении, куда легче идти вверх, чем вниз. И в данном случае я не питаю никакого сочувствия — во всяком случае, никакой жалости — к тому, кому уготовано падение. Ведь он — пресловутое *monstrum horrendum*², человек талантливый, но беспринципный. Однако, признаюсь, мне очень хотелось бы узнать, какой оборот примут его мысли, когда, получив резкий отказ от той, кого префект называет «некоей высокопоставленной особой», он вынужден будет развернуть письмо, которое я оставил для него в сумочке для визитных карточек.

— Как так? Вы что-нибудь в него вложили?

— Видите ли, я не считал себя вправе оставить внутреннюю сторону чистой — это было бы оскорблением. Давным-давно в Вене Д. однажды поступил со мной очень скверно, и я тогда сказал ему — без всякой злобы, — что я этого не забуду. А потому, понимая, что ему будет любопытно узнать, кто же его перехитрил, я рассудил, что следует дать ему какой-нибудь ключ к разгадке. Ему известен мой почерк, и я просто написал на середине листка следующие слова:

...Un dessein si funeste

S'il n'est digne d'Atrée, est digne de Thyeste³.

Вы можете найти их в «Атрее» Кребийона.

¹ Легок спуск в Аверн (лат.).

² Отвратительное чудовище (лат.).

³ ...план такой зловещий

Достоин если не Атрея, то Фиеста (фр.).

СФИНКС

В ту пору, когда Нью-Йорк посетила свирепая эпидемия холеры, один мой родственник пригласил меня пожить недели две в его уединенном, комфортабельном коттедже на берегу реки Гудзон. Здесь к нашим услугам были все возможности для летнего отдыха; прогулки по лесам, занятия живописью, катание на лодке, рыбная ловля, купание, музыка и книги изрядно скрасили бы наш досуг, если б не ужасные известия, которые всякое утро приходили из многолюдного города. Не проходило и дня, чтобы мы не узнали о болезни того или другого знакомого. А бедствие все разрасталось, и вскоре мы стали повседневно ожидать смерти кого-нибудь из друзей. Дошло до того, что, едва завидя почтальона, мы содрогались. В самом ветре, когда он дул с юга, нам чудилось смрадное дыхание смерти. Мысль об этом леденила мне душу. Я не мог говорить, не мог думать ни о чем другом и даже во сне лишился покоя. Хозяин дома был по природе менее впечатлителен и, хотя сам не на шутку упал духом, всеми силами старался меня ободрить. Его серьезный, философский ум был чужд беспочвенных фантазий. Разумеется, действительные несчастья удручали его, но он не знал страха пред их зловещими призраками.

Однако его усилия рассеять мою болезненную мрачность оказались тщетны, и главной причиной тому были книги, которые я отыскал в его библиотеке. Книги эти были такого рода, что семена наследственных суеверий, сокрытые в моей душе, дали быстрые всходы. Я читал их без ведома моего друга, и он часто не

мог понять, что же так сильно влияет на мое воображение.

Излюбленной темой разговора были для меня народные приметы — истинность их я готов был в то время доказывать чуть ли не с пеной у рта. Мы вели на эту тему долгие и горячие споры; мой друг утверждал, что все это лишь пустые суеверия, я же возражал, что предчувствия, возникающие в народе совершенно произвольно — то есть без какого-либо определенного повода, — обязательно содержат в себе зерно истины и, несомненно, заслуживают внимания.

Надо сказать, что вскоре после приезда со мной произошел случай, столь необъяснимый и зловещий, что вполне простительно было счесть его за дурную примету. Он поверг меня в такой беспредельный ужас и смятение, что лишь много дней спустя я решился рассказать об этом случае своему другу.

На исходе знойного дня я сидел с книгой у открытого окна, из которого открывался прекрасный вид на берега реки и на склон дальнего холма, почти безлесный после сильного оползня. Я давно уже забыл о книге и мысленно перенесся в город, погруженный в скорбь и отчаянье. Подняв глаза, я рассеянно скользнул взглядом по обнаженному склону холма и увидел там нечто невероятное — какое-то мерзкое чудовище быстро спускалось с вершины и вскоре исчезло в густом лесу у подножия. При виде этой твари я подумал, что сошел с ума, — и уж, во всяком случае, не поверил своим глазам, — а потому прошло порядочно времени, прежде чем мне удалось убедить себя, что я не повредился в рассудке и все это не было сном. Боюсь, однако, что, когда я опишу чудовище (я видел его совершенно явственно и без помехи наблюдал, пока оно спускалось с холма), у читателей возникнет еще более сомнений, чем у меня самого.

Я прикинул на глаз величину чудовища, соразмерив его с толщиной вековых деревьев, меж которыми оно совершало свой путь, — тех немногих лесных великанов, каких пощадил оползень, — и убедился, что оно несравненно превосходит все существующие линейные корабли. Сравнение с линейным кораблем напрашива-

ется само собой — корпус любого из наших семидесятичетырехпушечных судов может дать зримое представление о форме чудовища. Пасть его была расположена на конце хобота длиной футов в шестьдесят или семьдесят и толщиной едва ли не с туловище слона. Основание хобота сплошь заросло черной, косматой шерстью — столько шерсти не настричь и с двух десятков буйволов; из нее, загибаясь вниз и в стороны, торчали два сверкающих клыка, похожих на кабаньи, но неизмеримо более длинных. По обе стороны от хобота, параллельно ему, выступали вперед громадные отростки длиной футов в тридцать, а то и сорок, похожие на кристально-прозрачные призмы безупречной формы — они во всем великолепии отражали закат. Туловище напоминало клин, острием обращенный к земле. С боков распростерлись одна над другой две пары крыльев — размахом в добрую сотню ярдов, — густо усеянные металлической чешуей; каждая чешуйчатая пластина имела в поперечнике футов десять или двадцать. Мне показалось, что верхние и нижние крылья скованы тяжелой цепью. Но всего поразительней и ужасней было изображение Черепа едва ли не во всю грудь, так отчетливо выделявшееся в ослепительном свете на темном туловище, словно оно было выписано кистью художника. Когда я в ужасе и удивлении разглядывал это страшилище, и в особенности его грудь, с предчувствием близкой беды, которое не могли заглушить никакие доводы рассудка, огромная пасть на конце хобота вдруг разверзлась и исторгла звук, столь громкий и неизъяснимо горестный, что он сокрушил мое сердце, как похоронный звон, и когда чудовище исчезло у подножия холма, я без чувств рухнул на пол.

Едва я опомнился, первой моей мыслью было поделиться с другом всем, что я видел и слышал, — но какое-то необъяснимое чувство отвращения заставило меня промолчать.

Лишь дня три или четыре спустя, под вечер, нам случилось быть вдвоем в той самой комнате, откуда я видел призрак, — я опять сидел в кресле у окна, а мой друг прилег на диване. Совпадение места и времени побудило меня рассказать ему о необычайном явлении,

которое я наблюдал. Он выслушал, не перебивая,— сначала посмеялся от души, потом стал необычайно серьезен, словно убедился в моем безумии. В этот миг я снова явственно увидел чудовище и с криком ужаса указал на него другу. Он стал пристально вглядываться, но сказал, что ничего не видит, хотя я подробно описал весь путь зверя, спускавшегося по обнаженному склону холма.

Теперь я пришел в совершеннейший ужас, решив, что видение предвещает либо мою смерть, либо, еще того страшней, надвигающееся помешательство. В отчаянье я откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Когда я опустил руки, призрак уже исчез.

Однако к хозяину дома вернулось его хладнокровие, и он принялся обстоятельно расспрашивать меня, как выглядело это невероятное существо. Когда я ответил на все его вопросы, он глубоко вздохнул, словно сбросив с души тяжкое бремя, и с невозмутимостью, которая показалась мне бесчеловечной, возобновил прерванный разговор об отвлеченных философских материях. Помнится, между прочим, он настоятельно подчеркивал ту мысль, что ошибки в исследованиях обычно проистекают из свойственной человеческому разуму склонности недооценивать или же преувеличивать значение исследуемого предмета из-за неверного определения его удаленности от нас.

— Так, например,— сказал он,— чтобы правильно оценить то влияние, которое может иметь на человечество всеобщая и подлинная демократия, необходимо учесть, насколько удалена от нас та эпоха, в которую это возможно осуществить. Но сумеете ли вы назвать хоть одно сочинение о государстве, где автор уделял бы этой стороне вопроса хоть сколько-нибудь внимания?

Помолчав немного, он подошел к книжному шкафу и взял с полки начальный курс «Естественной истории». Затем он попросил меня поменяться с ним местами, чтобы ему легче было читать мелкий шрифт, сел в кресло у окна и, открыв книгу, продолжал разговор в том же тоне.

— Если бы вы не описали чудовище во всех подробностях, — сказал он, — я попросту не мог бы объяснить, что это было. Но позвольте для начала прочитать вам из школьного учебника описание одного из представителей рода сфинксов, — семейство бражников, отряд чешуекрылых, класс насекомых. Вот что здесь сказано:

«Две пары перепончатых крыльев усеяны мелкими цветными чешуйками с металлическим отливом; ротовые органы имеют вид спирально закрученного хоботка, образованного удлинёнными челюстями, причем по бокам от него находятся недоразвитые челюстные придатки и ворсистые щупики; верхние крылья сцеплены с нижними посредством жестких щетинок; усики имеют продолговатую, призматическую форму; брюшко заострено книзу. Сфинкс вида Мертвая голова внушает простонародью суеверный ужас своим тоскливым писком, а также эмблемой смерти на грудном покрове».

Тут он закрыл книгу и подался вперед, старательно приняв то самое положение, в каком сидел я, когда увидел «чудовище».

— Ага, вот оно где! — тотчас воскликнул он. — Опять лезет на холм, и должен признать, что вид у него престранный. Но оно отнюдь не так огромно и не так удалено отсюда, как вам почудилось: дело в том, что оно взбирается по паутинке, которую соткал за окном паук, и, сколько я могу судить, имеет в длину не более одной шестнадцатой дюйма, да и расстояние от него до моего глаза никак не более одной шестнадцатой дюйма.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КАКВАС ТАМА, ЭСКВАЙРА

(Бывший редактор журнала «Абракадабра»)

НАПИСАНО ИМ САМИМ

Я уже в летах, и так как мне известно, что Шекспир и мистер Эммонс скончались, то не исключено, что даже я могу умереть. Мысль об этом побуждает меня оставить литературное поприще и почитать на лаврах. Но я горю желанием ознаменовать мое отречение от литературного скипетра каким-нибудь ценным даром потомству, и, пожалуй, самое лучшее — это описать начало моей карьеры. Право же, имя мое так долго и часто мелькало перед глазами публики, что я не только считаю совершенно естественным вызванный им интерес, но и готов удовлетворить то крайнее любопытство, которое им возбуждено. Действительно, долг всякого, кто достигает величия, — оставлять на пути своего восхождения вехи, которые могут помочь другим стать великими. Поэтому в настоящем труде (у меня была мысль озаглавить его «Материалы к литературной истории Америки») я предполагаю подробно рассказать о тех пусть еще слабых и робких, но знаменательных первых шагах, которые вывели меня на широкую дорогу, ведущую к вершине славы.

Об *очень* отдаленных предках распространяться излишне. Мой отец, Томас Там, эскв., в течение многих лет был самым известным в Фат-сити парикмахером — фирма «Томас Там и К^о». Его заведение служило прибежищем для знатных людей города, особенно журнальной братии — сословия, которое всем внушает глубокое почтение и страх. Что касается меня лично, я смотрел на представителей этого сословия как на богов и с жадностью впивал живительную влагу мудрости и

остроумия, которая потоками лилась с их священных уст во время операции, именуемой «намыливанием». Появление у меня первой вспышки творческого вдохновения следует отнести к той достопамятной эпохе, когда знаменитый редактор «Слепня» в перерывах упомянутой выше ответственной операции прочел конклаву наших подмастерьев неподражаемую поэму в честь «Настоящего Брильянтина Тама» (названного так по имени его талантливому изобретателя, моего отца), за сочинение каковой был вознагражден с королевской щедростью фирмой «Томас Там и К°, парикмахеры».

Гениальные строфы во славу «Брильянтина Тама» впервые, говорю я, заронили во мне искру божью. Не долго думая, я решил стать великим человеком, а для начала — великим поэтом. В тот же вечер упал я перед отцом на колени.

— Отец, — сказал я, — прости меня! Но душа моя не приемлет мыльной пены. Я не хочу быть парикмахером. Я хочу стать редактором... хочу стать поэтом... Хочу слагать стихи во славу «Брильянтина Тама». Прости меня и помоги стать великим!

— Дорогой мой Каквас, — отвечал отец (меня окрестили Каквасом в честь богатого родственника, носившего это прозвище), — мой дорогой Каквас, — сказал он, поднимая меня с пола за уши, — Каквас, дитя мое, ты славный малый и душой весь в отца. Голова у тебя огромная, и в ней должно быть много мозгов. Я давно это заметил и потому имел намерение сделать тебя адвокатом. Но адвокаты теперь не в моде, а профессия политика невыгодна. Словом, ты рассудил мудро, нет ничего лучше, чем ремесло редактора, а если ты станешь еще и поэтом, — ими, кстати, становится большинство редакторов, — ты сразу убьешь двух зайцев. Я поддержу тебя на первых порах. Я предоставляю в твое распоряжение чердак, дам перо, чернила, бумагу, словарь рифм и экземпляр «Слепня». Надеюсь, ты не станешь требовать большего?

— Я был бы неблагодарной свиньей, если б посмел, — с подъемом отвечал я. — Щедроты ваши беспределельны. Я отплачу вам тем, что сделаю вас отцом гения.

Так закончилась моя беседа с лучшим из людей, и сразу же по ее окончании я ревностно принялся сочинять стихи, так как на них главным образом основывал свои надежды воссесть со временем на редакторское кресло.

Первые пробы моего пера убедили меня, что строфы «Брильянтина Тама» служат мне скорее помехой, чем подспорьем. Их великолепие не столько просветляло, сколько ослепляло меня. Созерцание их совершенств и сопоставление с недоносками моего поэтического воображения повергали меня в уныние, и долгое время усилия мои оставались тщетными. Наконец меня осенила одна из тех неповторимо оригинальных идей, которые время от времени все же озаряют ум гения. Вот ее сущность, точнее — вот как она была осуществлена. Роясь в старой книжной лавчонке, на глухой окраине города, я откопал среди хлама несколько древних, никому не известных или совершенно забытых книг. Букинист уступил мне их за бесценок. Из одной, по-видимому, перевода «Ада» какого-то Данте, я с примерным усердием выписал большой отрывок о некоем Уголино, у которого была куча детей-сорванцов. Из другой, содержащей множество старинных театраль-ных пьес какого-то автора (фамилию не помню), я тем же способом и с таким же тщанием извлек множество стихов о «неба серафимах», «блаженном духе», «демонe проклятом» и тому подобном. Из третьей, сочинения слепца¹, не то грека, не то чоктоса², не стану же я утруждать себя запоминанием всякого пустяка, — я заимствовал около пятидесяти стихов о «гневе Ахиллеса», «приношениях» и еще кое о чем. Из четвертой, написанной, помнится, тоже слепцом, я взял несколько страниц, где говорилось сплошь о «граде» и «свете небесном»; и, хотя не дело слепого писать о свете, стихи все же были недурны.

Сделав несколько тщательных копий, я под каждой поставил подпись «Оподельдок» (имя красивое и звучное) и послал, каждую в отдельном конверте, во все четыре ведущих наших журнала с просьбой поместить

¹ Речь идет об «Илиаде» Гомера.

² Чоктосы — одно из племен американских индейцев, живших в низовьях Миссисипи.

немедленно и не тянуть с выплатой гонорара. Однако результат этого столь хорошо продуманного плана (успех которого избавил бы меня от многих забот в дальнейшем) убедил меня, что не всякого редактора можно одурачить, и нанес *coup de grâse*¹ (как говорят во Франции) по моим зарождающимся упованиям (как говорят на родине трансценденталистов²).

Словом, все журналы, все как один, учинили мистери «Оподельдоку» полный разгром в своих «Ежемесячных репликах корреспондентам». «Трамтарарам» отделал его таким манером:

«Оподельдок» (кто бы он ни был) прислал нам длинную *тираду* о сумасброде, названном Уголино, многодетном родителе, которому следовало драть своих сорванцов ремнем и отправлять их спать без ужина. Вся эта история не только *банальна*, но и скучна до зевоты. Оподельдок (кто бы он ни был) лишен всякого воображения, а воображение, по нашему скромному мнению, не только душа ПОЭЗИИ, но и сердце ее. Оподельдок (кто бы он ни был) имеет наглость требовать, чтобы мы немедленно напечатали его чепуху и «не тянули с выплатой гонорара». Мы не печатаем и не покупаем подобной галиматьи. Впрочем, можно не сомневаться, что всю ту дрянь, которую он способен намарать своим пером, охотно возьмут в редакциях «Горлодера», «Сластены» или «Абракадабры».

Надо сказать, что с Оподельдоком обошлись слишком немилосердно, но обиднее всего было слово ПОЭЗИЯ, напечатанное крупным шрифтом. Сколько желчи было влито в эти шесть букв!

Не менее бесцеремонно отделали Оподельдока в «Горлодере», который писал так:

«Мы получили крайне странное и возмутительное послание от субъекта (кто бы он ни был), подписавшегося «Оподельдок» и оскорбившего тем самым величие прославленного римского императора, носившего это

¹ Последний удар, которым добивают жертву, чтобы прекратить ее страдания (*фр.*).

² То есть в Бостоне, главном городе штата Массачусетс.

имя. К письму Оподельдока приложены бессмысленные и омерзительные вирши о «неба серафимах» и «демонe проклятом», столь омерзительные, что их мог сочинить только сумасшедший вроде «Оподельдока» или Ната Ли. И вот нас скромно просят выплатить гонорар за этот архивздор. Нет, сэр, увольте! За *такую* чепуху мы не платим. Обратитесь в «Трамтарарам», «Сластену» или в «Абракадабру». Эти *повременные* издания охотно примут у вас всякую литературную дребедень и охотно пообещают заплатить за нее».

Бедному «Оподельдоку» крепко досталось; но в данном случае острие сатиры было обращено против «Трамтарарама», «Сластены» и «Абракадабры», которые язвительно — и к тому же курсивом — названы «*повременными*», что должно было поразить их в самое сердце.

Не менее взыскательным оказался «Сластена», который изъяснился так:

«Некий *субъект*, коему доставляет удовольствие называть себя «Оподельдоком» (в сколь низменных целях употребляются порой имена прославленных мертвецов!), препроводил нам свои стишонки (строк пятьдесят — шестьдесят), начинающиеся таким манером:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахейнам тысячи бедствий соделал...

и т. д. и т. п.

Почтительно уведомляем Оподельдока (кто бы он ни был), что самый захудалый наборщик нашей типографии сочиняет *куплетики* лучше этих. «Оподельдок» не в ладу с *размером*. Ему надо научиться подсчитывать слоги. И как ему пришло в голову, что *мы* (никто другой, а именно *мы*!) решимся осквернить страницы нашего журнала такой беспардонной чепухой, уму непостижимо. По совести сказать, вся эта белиберда едва-едва подойдет для «Трамтарарама», «Горлодера», «Абракадабры» — органов печати, которые без зазрения совести публикуют «Напевы Матушки Гусыни» как оригинальное лирическое произведение. И «Оподельдок» (кто бы он ни был) еще имеет наглость требовать *гоно-*

раф за свою галиматью! Да понимает ли «Оподельдок» (кто бы он ни был), в состоянии ли он понять, что, озолоти он нас, мы не станем его печатать!»

Вчитываясь в эти строки, я чувствовал, как становлюсь все меньше и меньше; когда же я увидел, с каким презрением редактор называет мое произведение «стишонками», весу во мне осталось не более унции. И мне стало искренне *жаль* беднягу «Оподельдока». Но «Абракадабра» оказалась, если это возможно, еще менее снисходительной, чем «Сластена». Именно «Абракадабра» писала:

«Жалкий стихоблуд, подписывающийся «Оподельдоком», настолько глуп, что вообразил, будто *мы* поместим и *оплатим* бессмысленную, безграмотную и выспреннюю белиберду, которую он прислал нам и представление о которой можно составить по следующим хоть сколько-нибудь *вразумительным* строкам:

О, свет небес, их отпрыск первородный,
Священный град...

«Хоть сколько-нибудь *вразумительным*», говорим *мы*. Не будет ли «Оподельдок» (кто бы он ни был) столь любезен разъяснить нам, каким это образом «град» может быть «священным»? До сих пор мы полагали, что град — это *замерзший дождь*. Не сообщит ли он вместе с тем, каким образом замерзший дождь может быть одновременно «священным градом» (оставим это выражение на совести автора) и «отпрыском», — ибо последним термином (если *мы* хоть чуточку смыслим в английском языке) обозначают только грудных младенцев в пределах шестинедельного возраста. Не стоит и обсуждать подобную нелепость. А вот «Оподельдок» (кто бы он ни был) с беспримерным нахальством полагает, что мы не только поместим его напыщенный вздор, но и (он так и пишет, черным по белому) *выплатим за него гонорар!*

Прелестно, не правда ли? Бесподобно! Мы не прочь проучить этого новоиспеченного строчкогона за его самомнение, действительно опубликовав его поэтические излияния *verbatim et literatim*¹, так, как они вышли

¹ Дословно (*лат.*).

из-под его пера. Мы не знаем худшего наказания, и мы *применили* бы его, если б не боялись наскучить нашим читателям.

Рекомендуем «Оподельдоку» (кто бы он ни был) посылать свои будущие *произведения*, написанные в том же духе, в «Трамтарарам», в «Сластену» или в «Горлодер». *Эти* напечатают. *Эти* ежемесячно печатают такую же дрянь. Посылайте им. МЫ же не позволим безнаказанно оскорблять себя».

Этот отзыв доконал меня; что до «Трамтарарама», «Горлодера» и «Сластены», то я не могу себе представить, как они это вынесли. Их тиснули мельчайшим *миньоном* (ядовитый намек: вот, мол, какие вы маленькие и подленькие), а «МЫ» взирали на них с высоты гигантских прописных!.. О, это слишком убийственно!.. Им плевали в лицо, их втаптывали в грязь! Будь я на месте любого из этих журналов, я бы не пожалел сил — уж я бы посадил «Абракадабру» на скамью подсудимых, я бы подвел ее под статью закона «Об охране животных от жестокого обращения»! Что до «Оподельдока» (кто бы он ни был), то этот субъект окончательно вывел меня из терпения и больше не вызывал у меня сочувствия. Он остался в дураках (кто бы он ни был) и получил пинков ровно столько, сколько заслуживал.

Результат моих опытов с древними книгами убедил меня, во-первых, в том, что «честность — лучшая политика» и, во-вторых, что если мне не удалось написать стихи удачнее мистера Данте, обоих слепцов и других представителей допотопной литературной братии, то хуже их писать невозможно. Я собрался с духом и решил сочинить нечто «совершенно оригинальное» (как пишут на обложках журналов), каких бы трудов мне это ни стоило. За образец я снова взял великолепные строфы редактора «Слепня», написанные в честь «Брильянтина Тама», и, воспылав духом соперничества, решился создать оду на ту же возвышенную тему.

Первая строка не вызвала серьезных затруднений. Вот она:

Писать стихи о «Брильянтине Тама»...

Однако, внимательно просмотрев в справочнике все общеупотребительные рифмы к «Там», я убедился в тщетности дальнейших попыток. Тогда я прибег к родительской помощи, и соединенными усилиями нашей мысли спустя несколько часов мы с отцом сочинили стихотворение:

Писать стихи о «Брильянтине Тама»...
Нелегкий труд, скажу вам прямо.
Точка (стоп).
(Подпись) — Сноб.

Конечно, опус этот не был слишком пространным, но «пора понять», как сказано в «Эдинбургском обозрении», что достоинство литературного произведения не определяется его размером. Что касается требования «Ежеквартального обозрения» «много и упорно учиться», то смысл его туманен. В общем, я был доволен первой пробой пера, и возникал только вопрос о том, куда бы ее пристроить. Отец советовал послать стихи в «Слепень», но два обстоятельства побудили меня отклонить его предложение: я опасался вызвать у редактора зависть, и к тому же мне было известно, что он не склонен платить за оригинальные произведения. Тщательно все взвесив, я предназначил мои стихи для страниц «Сластены», журнала более солидного, и стал с нетерпением, но покорный судьбе ждать дальнейшего развития событий.

В следующем же номере я с радостью увидел мое стихотворение на первой странице, оно было опубликовано полностью в сопровождении следующих примечательных слов, напечатанных курсивом и в скобках:

[Обращаем внимание наших читателей на публикуемые ниже восхитительные стансы «Брильянтин Тама». Нет нужды говорить о их великолепии и пафосе; их невозможно читать без слез. Тем, кто с отвращением вспоминает снотворные строки, написанные на ту же возвышенную тему грязной лапой редактора «Слепня», рекомендуем сравнить оба эти произведения.]

Р. С. Сгораем от нетерпения разгадать тайну, которую скрывает псевдоним «Сноб». Можем ли мы надеяться побеседовать с автором лично?]

Все это нисколько не расходилось с истиной, но, признаюсь, несколько превзошло мои ожидания, — пусть былое непонимание ляжет вечным позором на мою родину и человечество. Однако я, не теряя времени даром, отправился к редактору «Сластены» и, к великому моему счастью, застал этого джентльмена дома. Он приветствовал меня с искренней почтительностью, в которой сквозило отеческое и покровительственное восхищение, вызванное, конечно, моим крайне юным и беспомощным видом. Пригласив меня сесть, он сразу же заговорил о моем стихотворении, но скромность да не позволит мне повторить те тысячи комплиментов, которые он расточал. Впрочем, похвалы мистера Краба (такова была фамилия редактора) отнюдь не являлись набором льстивых фраз. Он разобрал мое произведение с полной непринужденностью и знанием дела, смело указав мне на ряд ничтожных погрешностей, что высоко подняло его в моих глазах. Разумеется, *речь зашла* о «Слепне», и, надеюсь, я никогда не навлеку на себя столь взыскательной критики и столь ядовитых насмешек, какими мистер Краб осыпал это злополучное издание. Я привык считать редактора «Слепня» чуть ли не сверхчеловеком, но мистер Краб рассеял мое заблуждение. Он обрисовал литературную и частную жизнь «Кровососной Мухи» (так язвительно называл мистер Краб редактора «Слепня», своего конкурента) в их истинном свете. Он, «Кровососная Муха», дрянь, каких мало. Он прескверный сочинитель. Продажный писака и фигляр. Мерзавец. Он написал трагедию — и вся страна хохотала до упаду, написал фарс — и вселенная залилась слезами. А кроме того, он не погнушался настроичить на него (мистера Краба) пасквиль и обозвать его «ослом». Если я пожелаю высказать свое мнение о мистере «Кровососной Мухе», страницы «Сластены», заверил меня мистер Краб, всегда в полном моем распоряжении. Тем временем, поскольку «Слепень» не преминет обрушиться на меня за мою попытку соперничать с автором «Брильянтина Тама», он (мистер Краб) берет непосредственно на себя защиту моих личных и прочих интересов. И если я в два счета не выйду в люди, то не по его (мистера Краба) вине.

Мистер Краб прервал на секунду свою речь (последнюю ее часть я никак не мог понять), и я осмелился намекнуть на гонорар, который ожидал получить за свои стихи, согласно объявлению на обложке «Сластены», гласившему, что он («Сластена») «щедро оплачивает все принятые материалы, нередко тратя на одно маленькое стихотворение сумму, превышающую годовой расход «Трамтарарама», «Горлодера» и «Абракадабры», вместе взятых».

Едва я произнес слово «гонорар», мистер Краб широко раскрыл глаза, затем рот, напомнив своим видом испуганную старую утку, которая тщетно силится крикнуть. В таком виде он пребывал (то и дело хватаясь за голову, словно в крайней растерянности), пока я не выложил ему почти все, что хотел сказать.

Когда я умолк, он в изнеможении откинулся на спинку кресла, беспомощно опустив руки, но все так же по-утиному разинув рот. Я молчал, озадаченный столь необычным поведением. Вдруг он вскочил и потянулся к звонку, но, коснувшись его, видимо, изменил свое намерение, каково бы оно ни было, нырнул под стол и тут же вылез, держа в руках дубинку. Поднял ее (затрудняюсь сказать, с какой целью), однако в тот же миг кроткая улыбка осветила его лицо, и он спокойно опустился в кресло.

— Мистер Там,— сказал он (я заранее послал ему визитную карточку),— мистер Там, вы ведь молоды, даже *очень*?

Я согласился, присовокупив, что еще не достиг совершеннолетия.

— Ах, вот как! — сказал он. — Очень хорошо! Все понятно без слов! Вас интересует вопрос о компенсации, это естественно... можно сказать, вполне и безусловно. Но гм... э... э... *первое* выступление в печати... первое, говорю я... и не в обычае нашего журнала платить за... понимаете, а? Дело в том, что в подобных обстоятельствах обыкновенно мы оказываемся *получателями*. (Мистер Краб ласково улыбнулся, сделав ударение на слове *получатели*.) В большинстве случаев *нам платят* за то, что мы помещаем первую пробу пера... особенно если это стихи. Во-вторых, мистер Там, мы придерживаемся правила никогда не платить тем, что

во Франции называют *argent comptant*¹, — вы понимаете, конечно. Спустя три — шесть месяцев после публикации... или через годик-два... мы не против того, чтобы выдать обязательство сроком на девять месяцев, если твердо знаем, что «погорим» через полгода. Я *уверен*, мистер Там, что мои разъяснения вполне удовлетворяют вас.

Мистер Краб умолк, и на его глазах выступили слезы.

Огорченный до глубины души тем, что явился, пусть невольно, причиной страданий столь замечательного и столь отзывчивого человека, я поспешил извиниться и успокоить его, заверив в полном совпадении наших взглядов и в моем полном понимании деликатности его положения. Изложив все это изящным слогом, я удалился.

В одно прекрасное утро, вскоре после этого, «я проснулся и узнал, что я знаменит». О степени моей славы лучше всего судить по отзывам печати того дня. Эти отзывы, как будет видно дальше, представляют собой критические заметки о номере «Сластены» с моими стихами и являются вполне убедительными, исчерпывающими и ясными, за исключением, пожалуй, иероглифической подписи: «*Sep. 15 — I t*»² — в конце каждой заметки.

«Олух», журнал необычайно разборчивый, известный трезвостью литературных оценок, «Олух», говоря я, высказался так:

«Сластена»! Октябрьский номер этого прелестного журнала превосходит все предшествующие и стоит вне конкурса. Великолепием печати и бумаги, количеством и совершенством иллюстраций, литературными достоинствами опубликованных в номере материалов «Сластена» так же похож на своих старомодных конкурентов, как Гиперион³ на Сатира. Правда, «Трамтарарам», «Горлодер» и «Абракадабра» превосходят его своим бахвальством, но во всем остальном — подавайте нам «Сластену»! Как этот прославленный журнал выдержи-

¹ Наличными (*фр.*).

² Сентября 15 текущего года (*лат.*).

³ Г и п е р и о н — в греческой мифологии один из титанов, отец Гелиоса — солнца, Эос — зари и Селены — луны.

вает такие громадные расходы, остается для нас загадкой. Верно, его тираж равен 100 000 экземпляров и число его подписчиков за последний месяц увеличилось на одну четверть; но, с другой стороны, он выплачивает своим авторам баснословные гонорары. Говорят, что мистер Плутосел получил не менее тридцати семи с половиной центов за свою неподражаемую статью «О свиньях». С таким редактором, как мистер Краб, и с такими именами в списке сотрудников, как Сноб и Плутосел, успех «Сластены» обеспечен. Идите и подпишитесь. *Sep. 15 — I t*».

Признаюсь, я был польщен этим восторженным отзывом со стороны столь почтенного органа, как «Олух». Поместив мое имя, то есть мой *nom de guerre*¹ перед великим Плутослом, он оказал мне любезность, весьма приятную и вполне заслуженную.

Затем мое внимание привлекли следующие строки в «Гадине» — журнале, знаменитом своей прямоотой и свободой... полной свободой льстить и раболепствовать перед теми, кто дает званые обеды:

«Октябрьская книжка «Сластены» появилась ранее всех других журналов и бесконечно превосходит их роскошью оформления и богатством содержания. Мы допускаем, что «Трамтарарам», «Горлодер» и «Абракадабра» выделяются своим бахвальством, но во всем остальном — подавайте нам «Сластену»! Как этот прославленный журнал выдерживает столь непомерные расходы, остается для нас загадкой. Правда, его тираж 200 000 экземпляров, и за последние две недели число его подписчиков увеличилось на одну треть, но, с другой стороны, он ежемесячно выплачивает своим авторам баснословные гонорары. Нам известно, что мистер Пустомеля получил не менее пятидесяти центов за свою последнюю «Монодию в грязной луже». Среди литераторов, поместивших в этом номере свои произведения, мы видим (кроме его выдающегося редактора) такие имена, как Сноб, Плутосел и Пустомеля. И все же, думается нам, наиболее значительным произведением в номере, не считая примечаний от редакции, является поэтическая жемчужина «Сноба» «Брильянтин

¹ Псевдоним (*фр.*).

Тама», — пусть наши читатели не судят по заглавию, будто этот несравненный *bijou*¹ имеет сходство с галиматьей, написанной на ту же тему презренным субъектом, самое имя которого невыносимо для слуха уважающего себя человека. Подлинные стихи о «Брильянтине Тама» возбудили всеобщее любопытство и страстное желание узнать, кто же скрывается под псевдонимом «Сноб», желание, которое мы в силах удовлетворить. «Сноб» — *nom de plume*² Каквас Тама, уроженца нашего города, родственника великого мистера Какваса (в честь которого он и назван), связанного различными нитями с самыми знатными семьями штата. Его отец, Томас Там, эскв., богатый коммерсант в Фат-сити. *Sep. 15 — I t*».

Эта великодушная оценка тронула меня до глубины души, особенно потому, что исходила от столь светлого, кристально чистого источника, как «Гадина». Слово «галиматья» в применении к «Брильянтину Тама», опубликованному в «Кровососной Мухе», я нашел как нельзя более уместным и выразительным. В то же время слова «жемчужина» и «*bijou*», примененные к моему произведению, показались мне несколько бесцветными. Им не хватало экспрессии. Они были недостаточно *prononcés*³ (как говорят во Франции).

Едва я кончил читать «Гадину», как мой друг сунул мне в руку экземпляр «Крота» — журнала, пользовавшегося высокой репутацией благодаря проницательности своих суждений вообще и откровенному, честному и беспристрастному тону передовиц в особенности. «Крот» отзывался о «Сластене» так:

«Мы только что получили октябрьскую книжку «Сластены» и должны заявить, что никогда при чтении нами периодических изданий ни один номер не доставлял нам столь изысканного наслаждения. Мы не зря говорим об этом. «Трамтарараму», «Горлодеру» и «Абракадабре» не мешает присматривать за своими лаврами. Спору нет, эти издания превосходят всех и вся

¹ Сокровище, драгоценность (*фр.*).

² Псевдоним (литературный) (*фр.*).

³ Здесь: точны (*фр.*).

крикливой заносчивостью, но в остальном — подавайте нам «Сластену»! Как удастся этому прославленному журналу выдерживать столь чудовищные расходы, остается для нас загадкой. Правда, его тираж 300 000 экземпляров, и за последнюю неделю число его подписчиков возросло наполовину, но суммы, которые он ежемесячно выплачивает авторам, все же баснословно велики. Нам известно из достоверных источников, что мистер Пустомеля получил не менее шестидесяти двух с половиной центов за свою последнюю повесть из семейной жизни «Кухонное полотенце».

Лежащий перед нами номер украшают произведения мистера Краба (выдающегося редактора), Сноба, Плутосла, Пустомели и других; но после неподражаемых творений самого редактора мы особое предпочтение отдаем поэтическому алмазу, граненному пером восходящего таланта, подписывающегося «Сноб» — *nom de guerre*, — он вскоре, мы это предсказываем, затмит славу «Боза». Под «Снобом», как нам известно, скрывается мистер Каквас Тама, единственный наследник богатого местного коммерсанта Томаса Тама, эскв., и близкий родственник знаменитого мистера Какваса. Прелестное стихотворение мистера Тама озаглавлено «Брильянтин Тама», — заглавие, кстати сказать, не совсем удачное, так как некий пройдоха, связанный с продажной прессой, уже вызвал к нему отвращение всего города, написав изрядную порцию белиберды на ту же тему. Впрочем, маловероятно, чтобы кто-нибудь спутал эти два произведения. *Sep. 15 — I t*».

Благосклонное одобрение такого проницательного журнала, как «Крот», наполнило мою душу восторгом. Единственное возникшее у меня возражение сводилось к тому, что лучше было бы написать не «пройдоха», а «*гнусный и презренный злодей, мерзавец и пройдоха*». Это, на мой взгляд, звучало бы более изысканно. Следует также признать, что выражение «поэтический алмаз» едва ли обладает достаточной силой, чтобы передать то, что «Крот» хотел сказать о великолепии «Брильянтина Тама».

Вечером того же дня, после того, как я прочел отзывы «Олуха», «Гадины» и «Крота», мне попался экзем-

пляр «Долгоножки», журнала, известного широтой своих взглядов. Именно «Долгоножка» писала:

«Сластена»! Читатель уже держит в руках октябрьскую книжку этого роскошного журнала. Спор о превосходстве решен окончательно, и отныне было бы абсурдом со стороны «Трамтарарама», «Горлодера» или «Абракадабры» делать судорожные попытки завоевать первенство. Эти журналы превосходят «Сластену» нахальством, но во всем остальном — подавайте нам «Сластену»! Как этот прославленный журнал выдерживает явно непомерные расходы, остается загадкой. Правда, его тираж достигает почти 500 000 экземпляров, и за последние два дня число его подписчиков возросло на семьдесят шесть процентов, но вместе с тем суммы, ежемесячно выплачиваемые журналом своим авторам, баснословно велики. Нам известно, что мадемуазель Плагиатон получила не менее восьмидесяти семи с половиной центов за свой превосходный р-революционный рассказ «В Йорке бродит черный кот, в Нью-Йорке — наоборот».

В настоящем номере наиболее талантливые материалы принадлежат, разумеется, перу редактора (достопочтенному мистеру Крабу), но в нем немало великолепных произведений и таких авторов, как Сноб, мадемуазель Плагиатон, Плутосел, миссис Фальшивочка, Пустомеля, миссис Пасквилянтка, наконец, последний в списке, но не из последних — Шарлатан. Мир еще не знал столь бесценной плеяды гениев.

Стихотворение за подписью «СНЮБ» справедливо вызывает всеобщий восторг и, по нашему мнению, заслуживает еще больших похвал.

«Брильянтин Тама» — так называется этот шедевр красноречия и мастерства. Кое у кого из наших читателей *может* возникнуть смутное, но *достаточно* неприятное воспоминание о стихотворении (?) с таким же названием, подлой стряпне продажного писаки, побитрушки и головореза, находящего применение своей способности плодить мерзости и кровно связанного, как мы полагаем, с одним из непристойных изданий, выпускаемых в черте нашего города; мы просим читателей, ради всего святого, не путать эти два произведе-

ния. Автором «Брильянтина Тама» является, насколько нам известно, Каквас Там, эскв., джентльмен, одаренный гением, и ученый. «Сноб» — всего лишь *nom de guerre*. *Sep 15 — I t*».

Я едва сдерживал негодование, читая заключительные строки диатрибы¹. Для меня было ясно, что уклончивая, чтобы не сказать уступчивая, манера выражаться... намеренная снисходительность, с какой «Долгоножка» разглагольствовала об этой свинье, редакторе «Слепня», — для меня, я подчеркиваю, было очевидно, что мягкость выражений вызвана не чем иным, как пристрастным отношением к «Слепню», явным стремлением «Долгоножки» поддержать за мой счет его репутацию. В самом деле, всякий легко может убедиться, что если бы «Долгоножка» действительно хотела сказать все, как есть, а не делала вид, то она («Долгоножка») могла подобрать выражения более решительные, резкие и гораздо более подходящие к случаю. Слова и выражения «продажный писака», «побирушка», «плодить мерзости», «головорез» столь (не без умысла) бесцветны и неопределенны, что лучше бы вовсе ничего не говорить об авторе гнуснейших стихов, когда-либо написанных представителем рода человеческого. Все мы отлично знаем, как можно изругать, слегка похвалив, и, наоборот, кто усомнится в тайном намерении «Долгоножки» слегка поругать, чтобы прославить.

Мне, собственно, было наплевать на то, что «Долгоножка» болтает о «Слепне». Но тут речь шла обо мне. После возвышенного тона, в каком «Олух», «Гадина» и «Крот» высказались о моих способностях, слишком уж безучастно звучали слова захудалой «Долгоножки»: «джентльмен, одаренный гением, и ученый». Джентльмен — и это точно! И я тут же решил добиться от «Долгоножки» письменного извинения или вызвать ее на дуэль.

Поглощенный этой задачей, я стал думать, кого из друзей направить с поручением к «досточтимой» «Долгоножке», и, поскольку редактор «Сластены» выказывал мне явные знаки расположения, я в конце концов решил прибегнуть к его помощи.

¹ Д и а т р и б а — резкая, придирчивая речь с нападками личного характера.

До сих пор не могу найти удовлетворительного объяснения весьма странному выражению лица и жестам, с которыми мистер Краб слушал меня, пока я излагал ему свой план. Он повторил сцену со звонком и дубинкой и не преминул по-утиному раскрыть рот. Был такой момент, когда мне казалось, что он вот-вот крякнет. Но припадок прошел, как и в тот раз, и он начал говорить и действовать как разумное существо. Однако он отказался выполнить поручение и убедил меня вовсе не посылать вызов, хотя и признал, что ошибка «Долгоножки» возмутительна, особенно же неуместны слова «джентльмен» и «ученый».

В конце беседы мистер Краб, выказывая, по-видимому, чисто отеческую заботу о моем благополучии, заявил, что я могу хорошо подработать и в то же время упрочить свою репутацию, если соглашусь иногда исполнять для «Сластены» роль Томаса Гавка.

Я попросил мистера Краба объяснить мне, кто такой мистер Томас Гавк и что от меня требуется, чтобы исполнить его роль.

Тут мистер Краб снова «сделал большие глаза» (как говорят в Германии), но, оправившись в конце концов от приступа изумления, пояснил, что слова «Томас Гавк» он употребил, дабы избежать просторечного и вульгарного «Томми», а вообще-то следует говорить Томми Гавк или Томагавк, и что «исполнять роль томагавка» — значит разносить, запугивать, словом, всячески изничтожать свору неугодных нам авторов.

Я заверил моего патрона, что если в этом все дело, то я с готовностью возьму на себя роль Томаса Гавка. Тогда мистер Краб предложил мне не терять времени и для пробы сил разделать редактора «Слепня» со всей злостью, на какую я только способен. И я тут же, не покидая редакции, выполнил это поручение, написав рецензию на оригинальный текст «Брильянтина Тама», которая заняла тридцать шесть страниц «Сластены». Я убедился, что исполнять роль Томаса Гавка куда легче, чем писать стихи; я строго следовал определенной *системе*, поэтому мне было нетрудно обстоятельно и со вкусом делать свое дело. Работал я так. Я приобрел на аукционе (по дешевке) «Речи» лорда Брума, «Полное собрание сочинений» Коббета, «Новый словарь вульга-

ризмов», «Искусство посрамлять» (полный курс), «Самоучитель площадной брани» (ин-фолио) и «Льюис Г. Кларк о языке». Эти труды я основательно изодрал скребницей, затем, бросив клочки в сито, тщательно отсеял все мало-мальски пристойное (сущий пустяк), а крепкие выражения запихнул в большую оловянную перечницу с продольными дырками, в них фразы проходили целиком и без задержки. Смесь была готова к употреблению. Когда требовалось исполнить роль Томаса Гавка, я смазывал лист писчей бумаги белком гусиного яйца, затем, изодрав предназначенное к разбору произведение тем же способом, каким я раздирал книги, только более осторожно, чтобы на каждом клочке осталось по слову, я бросал их в ту же перечницу, завинчивал крышку, встряхивал и высыпал всю смесь на смазанный белком лист, к которому она мгновенно прилипала. Эффект получался изумительный. Просто сердце радовалось! Прямо скажу, никому не удавалось создать что-либо, хотя бы близко напоминающее мои рецензии, которые я изготавлял таким простым способом на удивление всему миру. Правда, первое время меня несколько смущала — вследствие застенчивости, вызванной неопытностью, — некоторая бессвязность, какой-то оттенок *bizarre* (как говорят во Франции), присущий моим рецензиям в целом. Все фразы вставляли *не* на свое место (как говорят англосаксы). Многие строились шиворот-навыворот, иные даже вверх ногами, и не было ни одной, которая от этой путаницы не утратила бы в какой-то степени своего смысла. Только изречения мистера Льюиса Кларка оказались столь категорическими и стойкими, что, по-видимому, не смущались самыми необычными положениями и выглядели одинаково довольными и веселыми, — стояли они вверх или вниз ногами.

Трудно сказать, какая судьба постигла редактора «Слепня» по напечатании моей рецензии на его «Брильянтин Тама». Вероятнее всего, он умер, изойдя слезами. Во всяком случае, он мгновенно исчез с лица земли, и с тех пор даже призрака его никто не видел.

С этим делом было покончено, фурии умиротворены, и я сразу завоевал особую благосклонность мистера Краба. Он доверил мне свои тайны, определил меня в

«Сластене» на постоянную должность Томаса Гавка и, не имея пока возможности назначить мне содержание, разрешил широко пользоваться его советами.

— Дорогой мой Каквас,— сказал он мне однажды после обеда.— Я ценю ваши способности и люблю вас, как сына. Вы станете моим наследником. После смерти я откажу вам «Сластену». А пока я сделаю из вас человека... *сделаю...* только слушайте моих советов. Прежде всего надо избавиться от этого старого кабана.

— Кабана? — с любопытством спросил я.— Свиньи, да?.. *арег*¹ (как говорят по-латыни)?.. где свинья?.. кто свинья?..

— Ваш отец,— отвечал он.

— Совершенно верно,— сказал я.— Свинья.

— Вам надо сделать карьеру, Каквас,— продолжал мистер Краб,— а этот ваш наставник висит у вас словно жернов на шее. Нам надо его отсечь. (Тут я вынул нож.) Нам надо отсечь его,— продолжал мистер Краб,— раз и навсегда. Он нам ни к чему... *ни к чему*. Дайте ему пинка или поколотите палкой,— словом, сделайте что-нибудь в этом роде.

— А что вы скажете,— вкрадчиво вставил я,— если я сначала дам ему пинка, потом поколочу палкой и приведу в себя, дернув за нос?

Мистер Краб задумчиво посмотрел на меня и ответил:

— Я нахожу, мистер Там, то, что вы предлагаете, очень удачным... это замечательно, так сказать, само по себе... Но парикмахеры народ бывалый, и, учитывая все за и против, я полагаю, что после того, как вы проделаете над мистером Томасом Тамом намечаемые вами операции, неплохо бы подбить ему кулаком оба глаза, да так, чтобы он закаялся следить за вами на увеселительных прогулках. Вот тогда, мне кажется, с вашей стороны будет сделано все возможное. Впрочем, не мешало бы искупать его разок-другой в сточной канаве и передать в руки полиции. На следующее утро вы в любой час можете явиться в полицейский участок и заявить под присягой, что на вас было совершено нападение.

¹ Кабан (*лат.*).

Я был весьма тронут добрыми чувствами, побудившими мистера Краба дать мне такой превосходный совет, и не замедлил воспользоваться им. В итоге я избавился от старого кабана, почувствовал себя джентльменом и вздохнул свободно. Правда, нехватка денег служила некоторое время для меня источником неудобств, но в конце концов, посмотрев повнимательнее в оба и увидев, что творится у меня под самым носом, я понял, как уладить такую вещь.

Прошу учесть: я сказал «вещь», потому что по-латыни, насколько известно, «вещь» значит — *res*. Кстати, относительно латыни: пусть-ка кто-нибудь скажет мне, что значит *quosunque*¹ или что такое *modo*?²

План мой был чрезвычайно прост. Я купил за бесценок шестнадцатую долю «Зубастой Черепахи» — вот и все. Дело было *сделано*, и я положил денежки в карман. Конечно, надо было уладить еще кое-какие пустяки, не предусмотренные планом. Но это уж явилось следствием... результатом. Например, я обзавелся пером, чернилами и бумагой и пустил их в оборот с бешеной энергией. Написав журнальную статью, я озаглавил ее «Чик-чирик» *автора* «Брильянтина Тама» и послал в «Абракадабру». Однако в «Ежемесячных репликах корреспондентам» мою статью назвали «пустой болтовней»; тогда я переменял заглавие на «Ку-ка-ре-ку» Каквас Тама, эскв., автора оды в честь «Брильянтина Тама» и редактора «Зубастой Черепахи». С этой поправкой я снова отправил статью в «Абракадабру», а в ожидании ответа ежедневно печатал в «Черепахе» по шести столбцов философических, можно сказать, размышлений о литературных достоинствах журнала «Абракадабра» и личных качествах его редактора. Спустя несколько дней «Абракадабра» убедилась, что произошла досадная ошибка: она «спутала глупейшую статью «Ку-ка-ре-ку», написанную каким-то безвестным невеждой, с драгоценной жемчужиной под тем же заглавием, творением Каквас Тама, эскв., знаменитого автора «Брильянтина Тама». «Абракадабра» выразила «глубокое сожаление по поводу вполне понятного недоразу-

¹ Куда бы ни (*лат.*).

² Только (*лат.*).

мения» и, кроме того, обещала поместить подлинник «Ку-ка-ре-ку» в очередном номере журнала.

Без сомнения, я так и *думал*... Я, *право же*, думал... думал в то время... думал потом... и не имею никаких оснований думать иначе теперь, что «Абракадабра» действительно ошиблась. Я не знаю никого, кто бы с наилучшими намерениями делал так много самых невероятных ошибок, как «Абракадабра». С этого дня я почувствовал симпатию к «Абракадабре», вследствие чего вскоре смог уяснить подлинное значение ее литературных достоинств и не терял случая поговорить о них в «Черепaxe». И, представьте, странное совпадение, одно из тех воистину *поразительных* совпадений, которые наводят человека на серьезное раздумье: точно такой же коренной переворот во мнениях, точно такое же решительное *bouleversement*¹ (как говорят французы), точно такой же всеобъемлющий шиворот-навыворот (позволю себе употребить это довольно сильное выражение, заимствованное у племени чоктосов), какой совершился *pro et contra*² между мной, с одной стороны, и «Абракадаброй» — с другой, снова имел место при таких же обстоятельствах немного спустя в моих отношениях с «Горлодером» и «Трамтарарамом».

Так одним гениальным ходом я одержал полную победу — «набил потуже кошелек» и, можно сказать, уверенно и честно начал блестящую и бурную карьеру, которая сделала меня знаменитым и сейчас позволяет мне сказать вместе с Шатобрианом: «Я делал историю» — «J'ai fait L'histoire».

Да, я делал историю. С того славного времени, о котором я повествую, мои дела, мои труды являются достоянием человечества. Они известны всему миру. Поэтому нет необходимости подробно описывать, как, стремительно возвышаясь, я унаследовал «Сластену», как я слил этот журнал с «Трамтарарамом», как потом приобрел «Горлодера» и как наконец заключил сделку с последним из оставшихся конкурентов и объединил всю литературу страны в одном великолепном всемирно известном журнале:

¹ Потрясение, переворот (*лат.*).

² За и против (*лат.*).

«ГОРЛОДЕР, СЛАСТЕНА, ТРАМТАРАРАМ
И
АБРАКАДАБРА»

Да, я делал историю. Я достиг мировой славы. Нет такого уголка земли, где бы имя мое не было известно. Возьмите любую газету, и вы непременно столкнетесь с бессмертным Каквас Тамом: мистер Каквас Там сказал то-то, мистер Каквас Там написал то-то, мистер Каквас Там сделал то-то. Но я скромнен и покидаю мир со смирением. В конце концов, что такое то неизъяснимое, что люди называют «гением»? Я согласен с Бюффоном... с Хогартом... в сущности говоря, «гений» — это усердие.

Посмотрите на *меня!*.. Как я работал... как я трудился... как я писал! О боги, разве я *не* писал! Я не знал, что такое «досуг». Днем я сидел за столом, наступала ночь, и я — несчастный труженик — зажигал полуночную лампаду. *Надо было видеть* меня. Я наклонялся вправо. Я наклонялся влево. Я сидел прямо. Я откидывался на спинку кресла. Я сидел *tête baissée*¹ (как говорят на языке кикапу), склонив голову к белой, как алебастр, странице. И во всех положениях я... *писал*. И в горе и в радости я... *писал*. И в холоде и в голоде я... *писал*. И в солнечный день, и в дождливый день, и в лунную ночь, и в темную ночь я... *писал*. Что я писал — это не важно. Как я писал — *стиль*, — вот в чем соль. Я перенял его у Шарлатана... бамм!.. дзинь! Тарараххх!!! — и предлагаю вам его образчик.

¹ склонив голову (*фр.*).

ЛОСЬ

(Утро на Виссахиконе)

Природу Америки часто противопоставляют, и в общем и в частности, пейзажам Старого Света — особенно Европы; причем и та и другие имеют своих приверженцев, столь же восторженных, сколь несогласных между собой. Спор этот едва ли скоро окончится, ибо, хотя многое уже сказано обеими сторонами, кое-что остается еще добавить.

Наиболее известные из английских путешественников, пытавшихся проводить такое сравнение, очевидно принимают наше северное и восточное побережье за всю Америку или, по крайней мере, за все Соединенные Штаты, заслуживающие внимания. Они почти не упоминают — ибо еще меньше знают — великолепную природу некоторых внутренних областей нашего Запада и Юга, например обширной долины Луизианы, этого истинного воплощения рая. Эти путешественники по большей части довольствуются беглым осмотром лишь самых очевидных *достопримечательностей* страны — Гудзона, Ниагары, Кэтскиллских гор, Харперс-Ферри, озер Нью-Йорка, Огайо, прерий и Миссисипи. Все они, разумеется, весьма достойны внимания даже того, кто только что взбирался к рейнским замкам или бродил там,

где мчится Рона,
Лазурная, подобная стреле!

Однако это *еще не все*, чем мы можем похвастать; и я даже осмеливаюсь утверждать, что на территории Соединенных Штатов имеются бесчисленные уединенные и почти не исследованные места, которые подлинный

художник или просвещенный любитель величавых и прекрасных творений Всевышнего предпочтет *всем и каждому* из упомянутых мною давно описанных и широко известных пейзажей.

В самом деле, подлинные райские кущи страны находятся вдали от маршрутов даже наиболее неторопливых из наших путешественников — и тем более недоступны они иностранцу, который, взявшись доставить своему издателю известное количество страниц американских заметок к известному сроку, может надеяться выполнить свои обязательства, не иначе как проехав поездом или пароходом с записной книжкой в руках лишь по самым проторенным путям!

Я только что упомянул долину Луизианы. Из всех красивых местностей это, быть может, самая прекрасная. Никакой вымысел не сумеет с нею сравниться. Самое богатое воображение сможет нечто почерпнуть из ее пышной красоты. Ибо именно *красота* является ее определяющим признаком. Величавого там почти или вовсе нет. Слегка волнистая местность, пересеченная причудливыми прозрачными ручьями, которые текут то среди усеянных цветами лугов, то среди лесов с огромными, пышными деревьями, населенных яркими птицами и напоенных ароматами, — все это составляет долину Луизианы в самый сладостный и роскошный на свете ландшафт.

Но и в этой прелестной местности лучшие уголки доступны одному лишь пешему путнику. Вообще в Америке путешественник, ищущий наиболее красивых пейзажей, должен добираться к ним не поездом, не пароходом, не дилижансом, не в собственной карете и даже не верхом — но только пешком. Он должен *идти*, перепрыгивать через расселины, преодолевать пропасти, рискуя сломать себе шею, — иначе он не увидит подлинного, недоступного словам великолепия нашей страны.

На большей части европейской земли в этом нет необходимости. В Англии ее не существует вовсе. Самый франтоватый турист может там посетить любую заслуживающую внимания местность без ущерба для своих шелковых чулок, настолько хорошо известны все места, представляющие интерес, и настолько удобны ведущие туда дороги. Это обстоятельство никогда достаточно не учитывалось при сравнении природы Ста-

рого и Нового Света. Все красоты первого сравниваются лишь с наиболее прославленными и отнюдь не самыми примечательными из красот второго.

Речные пейзажи бесспорно обладают всеми основными чертами прекрасного и с незапамятных времен принадлежат к излюбленным темам поэтов. А между тем слава их в большой степени объясняется легкостью путешествия по реке по сравнению с путешествием в горах. Точно так же крупным рекам, обычно являющимся главными путями сообщения, всюду достается незаслуженно большая доля восхищения. Их чаще видят и, следовательно, чаще о них говорят, чем о менее крупных, но зачастую более интересных реках.

Разительным примером может служить Виссахикон — ручей (ибо его, пожалуй, не назовешь ничем иным), впадающий в реку Скулкил примерно в шести милях к западу от Филадельфии. Виссахикон отличается такой красотой, что, если бы он протекал в Англии, его воспевали бы все барды и расхваливали все языки. Но скорее всего его берега были бы разбиты на баснословно дорогие участки, а затем застроены виллами богатей. А между тем всего лишь несколько лет назад Виссахикон был известен разве только понаслышке, тогда как более крупная и судоходная река, в которую он впадает, уже давно славится в качестве одной из красивейших рек Америки. Скулкил, чьи красоты сильно преувеличены, а берега — по крайней мере в окрестностях Филадельфии — болотисты, как и берега Делавэра, не может сравниться по живописности с более скромной и менее известной речушкой, о которой идет речь.

Только после того как Фанни Кембл в своей забавной книжке о Соединенных Штатах указала жителям Филадельфии на редкую красоту реки, протекающей под самым их носом, эта красота — о которой они прежде разве лишь подозревали — была открыта несколькими отважными пешеходами из числа местных жителей. «Дневник» открыл всем глаза, и для Виссахикона началась некоторая известность. Я говорю «некоторая», ибо подлинную его красоту следует искать там, куда не доходит маршрут филадельфийских охотников за живописным, которые редко отдаляются более чем на милю-другую от устья — по той простой причине,

что там кончается проезжая дорога. Я посоветую отважному путнику, который желает полюбоваться лучшими видами, идти по Ридж Роуд, выходящей из города в западном направлении, а после шестой мили свернуть на вторую просеку и следовать по ней до конца. Он увидит тогда один из красивейших изгибов Виссахикона; пробираясь вдоль берега или же по воде, в лодке, он сможет спуститься или подняться по течению, как ему вздумается, и в любом случае будет вознагражден за свои труды.

Я уже говорил, или мне следовало сказать, что речка эта узкая. Берега ее почти всюду круты и состоят из высоких холмов, ближе к воде поросших чудесным кустарником, а выше — некоторыми из красивейших пород американских деревьев, среди которых выделяется *Liriodendron tulipiferum*¹. У самой воды гранитные берега четко очерчены или опушены мхом, и прозрачная вода в своем задумчивом течении плещет о них, как плещут синие волны Средиземного моря о мраморные ступени дворцов. Кое-где в тени утесов приютились небольшие плато, поросшие сочной травой, — самое живописное место для домика с садом, какое только может представиться прихотливому воображению. Речка изобилует крутыми излучинами, как обычно бывает при отвесных берегах, так что взору путника открывается бесконечная череда разнообразнейших маленьких озер или, вернее, озерков. Но Виссахикон следует посещать не при свете луны, как Мелрозское аббатство², и даже не в облачную погоду, а при ярком полуденном солнце; ибо узкое ущелье, где он протекает, высокие холмы, окружающие его, и густая листва создают сумрачный, почти угрюмый колорит, от которого его красота несколько проигрывает, когда не освещена достаточно ярким светом.

Недавно я отправился туда описанным выше путем и провел в лодке большую часть жаркого дня. Понемногу усыпленный зноем, я доверился медленному течению и погрузился в некий полусон, унесший меня к Виссахикону давно минувших дней — того «доброго

¹ тюльпанное дерево (*лат.*).

² Мелроз — древний шотландский город, известный красотой окружающего ландшафта и развалинами аббатства.

старого времени», когда еще не было Демона Машин, когда пикники были неведомы, «водные угожья» не купались и не продавались и когда по этим холмам ступали лишь лось да краснокожий. Пока эти грезы постепенно овладевали мною, ленивый ручей успел пронести меня вокруг одного мыса, а за ним, в каких-нибудь сорока или пятидесяти ярдах, показался второй. Это был отвесный утес, далеко вдававшийся в речку и гораздо более напоминавший пейзажи Сальватора, чем все, только что прошедшее передо мною. Зрелище, представшее мне на этом утесе, хотя и весьма необычайное в таком месте и в такое время года, поначалу ничуть меня не поразило — настолько оно гармонировало с моими полусонными видениями. На краю обрыва — или это мне привиделось, вытянув шею, насторожив уши и всем своим видом выражая глубокое и печальное удивление, стоял один из тех старых, отважных лосей, которые только что грезились мне вместе с краснокожими людьми.

Я сказал, что в первые мгновения это зрелище не испугало и не удивило меня. Душа моя была полна одним лишь глубоким сочувствием. Мне казалось, что лось не только дивится, но и сетует на те явные перемены к худшему, которые беспощадные утилитаристы принесли за последние годы на берега ручья. Легкое движение его головы развеяло мою дремоту и заставило осознать всю необычность моего приключения. Я встал на одно колено, но пока я решал, надо ли остановить лодку или дать ей подплыть поближе к предмету моего удивления, из кустов над моей головой слышалось быстрое и осторожное «тсс!», «тсс!». Мгновение спустя из чащи, осторожно раздвигая кусты и стараясь ступать бесшумно, появился негр. Он держал пригоршню соли и, протягивая ее лосю, приближался к нему медленно, но неуклонно. Благородное животное несколько обеспокоилось, но не пыталось уйти. Негр приблизился, дал ему соль, произнося при этом какие-то успокоительные слова. Лось переступил ногами, пригнул голову, а затем медленно лег и дал надеть на себя узду.

Тем и окончилась моя романтическая встреча с лосем. Это был очень старый *ручной* зверь, собственность английской семьи, имевшей неподалеку усадьбу.

РАЗГОВОР С МУМИЕЙ

Вчерашняя наша застольная беседа оказалась чересчур утомительной для моих нервов. Разыгралась головная боль, появилась сонливость. Словом, нынче, вместо того чтобы идти со двора, как я прежде намеревался, я предпочел подобру-поздорову остаться дома, поужинать самую малость и отправиться спать.

Ужин, разумеется, совсем *легкий*. Я страстный любитель гренок с сыром. Но даже их больше фунта в один присест не всегда съешь. Впрочем, и два фунта не могут вызвать серьезных возражений. А где два, там и три, разницы почти никакой. Я, помнится, отважился на четыре. Жена, правда, утверждала, что на пять, но она, очевидно, просто перепутала. Цифру пять, взятую как таковую, я и сам признаю, но в конкретном применении она может относиться только к пяти бутылкам черного портера, без каковой приправы гренки с сыром никак не идут.

Завершив таким образом мою скромную трапезу и надевши ночной колпак, я в предвкушении сладостного отдыха до полудня приклонил голову на подушку и, как человек с совершенно незапятнанной совестью, немедленно погрузился в сон.

Но когда сбывались людские надежды? Я не всхрапнул еще и в третий раз, как у входной двери яростно зазвонили и вслед за этим нетерпеливо застучали дверным молотком, отчего я тут же и проснулся. А минуту спустя, пока я еще продирал глаза, жена сунула мне под нос записку от моего старого друга доктора Йейбогуса. В ней значилось:

«Во что бы то ни стало приходите ко мне, мой добрый друг, как только получите это письмо. Приходите и разделите нашу радость. Я наконец, благодаря упорству и дипломатии, добился от дирекции Городского музея согласия на обследование мумии — вы помните, какой. Мне разрешено распеленать ее и, если потребуется, вскрыть. При этом будут присутствовать лишь двое-трое близких друзей, вы, разумеется, в том числе. Мумия уже у меня дома, и мы начнем разматывать ее сегодня в одиннадцать часов вечера.

Всегда ваш

Йейбогус».

Дойдя до слова «Йейбогус», я почувствовал, что совершенно, окончательно проснулся. В восторге выпрыгнул я из-под одеяла, сокрушая все на своем пути, оделся с быстротой прямо-таки фантастической и со всех ног бросился к дому доктора.

Там я застал уже всех в сборе с нетерпением ожидающими моего прибытия. Мумия лежала распростертая на обеденном столе, и лишь только я вошел, было приступлено к обследованию.

Это была одна из двух мумий, привезенных несколько лет назад кузеном Йейбогуса, капитаном Артуром Ментиком с Ливийского нагорья, где он их нашел в одном захоронении близ Элейтиаса, на много миль вверх по Нилу от Фив. В этой местности пещеры хотя и не столь величественны, как фиванские гробницы, зато представляют большой интерес, ибо содержат многочисленные изображения, проливающие свет на жизнь и быт древних египтян. Камера, из которой был извлечен лежащий перед нами экземпляр, по рассказам, особенно изобиловала такими изображениями — ее стены были сплошь покрыты фресками и барельефами, в то время как статуи, вазы и мозаичные узоры свидетельствовали о незаурядном богатстве погребенного.

Драгоценная находка была передана музею в том самом виде, в каком впервые попала на глаза капитану Ментикю, — саркофаг оставался не вскрыт. И так он простоял восемь лет, доступный лишь наружному осмотру публики. Иначе говоря, в нашем распоряжении сейчас была цельная, нетронутая мумия, и те, кто

отдает себе отчет в том, сколь редко достигают наших берегов непопорченные памятники древности, сразу же поймут, что мы имели полное право поздравить себя с такой удачей.

Подойдя к столу, я увидел большой короб, или ящик, едва ли не семи футов в длину, трех в ширину и высотой не менее двух с половиной футов. Он имел правильную овальную форму, а не суживающуюся к одному концу, как гроб. Материал, из которого он был сделан, мы сначала приняли за дерево сикоморы (*Platanus*), но оказалось, когда сделали разрез, что это картон, вернее, *papier-mâché*¹ из папируса. Снаружи его густо покрывали рисунки — сцены похорон и другие печальные сюжеты, между которыми тут и там во всевозможных положениях повторялись одинаковые иероглифические письмена, знаменующие собою, вне всякого сомнения, имя усопшего. По счастью, среди нас находился мистер Глиддон, который без труда расшифровал эту надпись: она была сделана просто фонетическим письмом и читалась как «Бестолковео».

Нам не сразу удалось вскрыть ящик так, чтобы не повредить его, но когда, наконец, мы в этом преуспели, нашим глазам открылся другой ящик, уже в форме гроба и значительно меньших размеров, чем наружный, но во всем прочем — его совершенная копия. Промежуток между ними был заполнен смолой, отчего краски на втором ящике несколько пострадали.

Открыв и его (что мы осуществили с легкостью), мы обнаружили третий ящик, также сужающийся с одного конца и вообще отличающийся от второго лишь материалом: он был сделан из кедра и все еще источал присущий этому дереву своеобразный аромат. Никакого зазора между вторым и третьим ящиком не было — стенки одного вплотную прилегали к стенкам другого.

Сняв третий ящик, мы обнаружили и извлекли саму мумию. Мы ожидали, что она, как всегда в таких случаях, будет плотно обернута, как бы забинтована, полосами ткани, но вместо этого оказалось, что тело заключено в своего рода футляр из папируса, покрытый толстым слоем лака, раззолоченный и испещрен-

¹ папье-маше (*фр.*)

ный рисунками. На них изображены были всевозможные мытарства души и ее встречи с различными богами. Повторялись одни и те же человеческие фигуры, — по всей видимости, портреты набальзамированных особ. От головы до ног перпендикулярной колонкой шла надпись, также сделанная фонетическими иероглифами и указывающая имя и различные титулы усопшего, а кроме того, имена и титулы его родственников.

На шее мумии мы обнаружили ожерелье из разноцветных цилиндрических бусин с изображениями божеств, скарабеев и прочего, а также крылатого шара. Второе подобное, так сказать, ожерелье, стягивало мумию в поясе.

Содрав папирус, мы обнажили тело, которое оказалось в отличной сохранности и совершенно не пахло. Кожа имела красноватый оттенок. Она была гладкой, плотной и блестящей. В прекрасном состоянии были и зубы, и волосы. Глаза, по-видимому, были вынуты, и на их место вставлены стеклянные, выполненные очень красиво и с большим правдоподобием. Только, пожалуй, взгляд получился слишком уж решительный. Ногти и концы пальцев были щедро позолочены.

Мистер Глиддон высказал мнение, что, судя по красноватой окраске эпидермиса, бальзамирование осуществлено исключительно асфальтовыми смолами. Однако, когда с поверхности тела соскребли стальным инструментом некоторое количество порошкообразной субстанции и бросили в пламя, стало очевидным присутствие камфары и других пахучих веществ.

Мы тщательно осмотрели тело в поисках отверстия, через которое были извлечены внутренности, но, к нашему недоумению, таковое не обнаружили. Никто из присутствовавших тогда не знал, что цельные или не вскрытые мумии — явление не столь уж и редкое. Нам было известно, что, как правило, мозг покойника удаляли через нос, для извлечения кишок делали надрез сбоку живота, после чего труп обривали, мыли и опускали в рассол и только позднее, по прошествии нескольких недель, приступали к собственно бальзамированию.

Так и не обнаружив надреза, доктор Йейбогус приготовил свой хирургический инструмент, чтобы начать

вскрытие, но тут я спохватился, что уже третий час ночи. Было решено отложить внутреннее обследование до завтрашнего вечера, и мы уже собирались разойтись, когда кто-то предложил один-два опыта с вольтовой батареей.

Мысль воздействовать электричеством на мумию трех- или четырехтысячелетнего возраста была если и не очень умна, то, во всяком случае, оригинальна, и мы все тотчас же ею загорелись. На девять десятых в шутку и на одну десятую всерьез мы установили у доктора в кабинете батарею, а затем перенесли туда египтянина.

Нам стоило немалых трудов обнажить край височной мышцы, которая оказалась значительно менее окостенелой, чем остальная мускулатура тела, однако же, как и следовало ожидать, при соприкосновении с проводом не проявила, разумеется, ни малейшей гальванической чувствительности. Эту первую попытку мы сочли достаточно убедительной и, от души смеясь над собственной глупостью, стали прощаться, как вдруг я мельком взглянул на мумию и замер в изумлении. Одного беглого взгляда было довольно, чтобы удостовериться, что глазные яблоки, которые мы все принимали за стеклянные, хотя и было замечено их странное выражение, теперь оказались прикрыты веками, так что оставались видны только узкие полоски *tunica albuginea*¹.

Громким возгласом я обратил на это обстоятельство внимание остальных, и все сразу же убедились в моей правоте.

Не могу сказать, чтобы я был *встревожен* этим явлением, «встревожен» — не совсем то слово. Думаю, что, если бы не портер, можно было бы утверждать, что я испытал некоторое беспокойство. Из остальных же собравшихся никто даже не делал попытки скрыть самый обыкновенный испуг. На доктора Йейбогуса просто жалко было смотреть. Мистер Глиддон вообще умудрился куда-то скрыться. А у мистера Силка Бакингема, я надеюсь, не останется храбрости отрицать, что он на четвереньках ретировался под стол.

Однако, когда первое потрясение прошло, мы, нимало не колеблясь, немедленно приступили к дальней-

¹ Белки глаз (*лат.*).

шим экспериментам. Теперь наши действия были направлены против большого пальца правой ноги. Был сделан надрез над наружной *os sisamoideum pollicis pedis*¹ и тем самым обнажен корень *musculus abductor*². Снова наладив батарею, мы подействовали током на рассеченный нерв, и тут мумия, ну прямо совершенно как живая, сначала согнула правое колено, подтянув ногу чуть не к самому животу, а затем, выпрямив ее необыкновенно сильным толчком, так брыкнула доктора Йейбогуса, что этот солидный ученый муж вылетел, словно стрела из катапульты, через окно третьего этажа на улицу.

Мы все *en masse*³ ринулись вон из дома, чтобы подобрать разбитые останки нашего погибшего друга, но имели счастье повстречать на лестнице его самого, задыхающегося от спешки, исполненного философическим пылом испытателя и еще более прежнего убежденного в необходимости с усердием и тщанием продолжить наши опыты.

По его указанию, мы, не медля ни минуты, сделали глубокий надрез на кончике носа испытуемого, и доктор, крепко ухватившись, притянул его в соприкосновение с проводом.

Эффект — морально и физически, в прямом и переносном смысле — был электрический. Во-первых, покойник открыл глаза и часто замигал, точно мистер Барнес в пантомиме; во-вторых, он чихнул; в-третьих, сел; в-четвертых, потряс кулаком под носом у доктора Йейбогуса; и в-пятых, обратившись к господам Глиддону и Бакингему, адресовался к ним на безупречном египетском языке со следующей речью:

— Должен сказать, джентльмены, что нахожу ваше поведение столь же оскорбительным, сколь и непонятным. Ну, хорошо, от доктора Йейбогуса ничего другого и не приходится ожидать. Он просто жирный неуч, где ему, бедняге, понять, как нужно обращаться с порядочным человеком. Мне жаль его. Я его прощаю. Но вы, мистер Глиддон, и вы, Силк, вы столько путешествовали и жили в Египте, почти, можно сказать, роди-

¹ Сесамовидной костью большого пальца ноги (*лат.*)

² Отводящей мышцы (*лат.*).

³ Скопом, вместе (*фр.*)

лись там, вы, так долго жившие среди нас, что говорите по-египетски, вероятно, так же хорошо, как пишете на своем родном языке, вы, кого я всегда был склонен считать верными друзьями мумий,— право же, уж кто-кто, а *вы* могли бы вести себя лучше. Вы видите, что со мною возмутительно обращаются, но преспокойно стоите в стороне и смотрите. Как это надо понимать? Вы позволяете всякому встречному и поперечному снимать с меня мои саркофаги и облачения в таком непереносимо холодном климате. Что я, по-вашему, должен об этом думать? И наконец, самое вопиющее, вы содействуете и попустительствуете этому жалкому грубияну доктору Йейбогусу, решившемуся потянуть меня за нос. Что все это значит?

Естественно предположить, что, услышав эти речи, мы все бросились бежать, или впали в истерическое состояние, или же дружно шлепнулись в обморок. Любое из этих трех предположений напрашивается само собой. Я убежден, что, поведи мы себя таким образом, никто бы не удивился. Более того, честью клянусь, что сам не понимаю, как и почему ничего подобного с нами не произошло. Разве только причину нужно искать в так называемом духе времени, который действует по принципу «все наоборот» и которым в наши дни легко объясняют любые нелепицы и противоречия. А может быть, дело тут в том, что мумия держалась уж очень естественно и непринужденно, и потому речи ее не прозвучали так жутко, как должны были бы. Словом, как бы то ни было, но из нас ни один не испытал особого трепета и вообще не нашел в этом явлении ничего из ряда вон выходящего.

Я, например, ничуть не удивился и просто отступил на шаг подальше от египетского кулака. Доктор Йейбогус побагровел и уставился в лицо мумии, глубоко засунув руки в карманы панталон. Мистер Глиддон погладил бороду и поправил крахмальный воротничок. Мистер Бакингом низко опустил голову и сунул в левый угол рта большой палец правой руки.

Египтянин посмотрел на него с негодованием, помолчал минуту, а затем с язвительной усмешкой продолжал:

— Что же вы не отвечаете, мистер Бакингом? Вы слышали, о чем вас спрашивают? *Выньте-ка* палец изо рта, сделайте милость!

При этом мистер Бакингом вздрогнул, вынул из левого угла рта большой палец правой руки и тут же вознаграждал себя за это тем, что всунул в правый угол названного отверстия большой палец левой руки.

Так и не добившись ответа от мистера Б., мумия обратилась к мистеру Глиддону и тем же безапелляционным тоном потребовала объяснений от него.

И мистер Глиддон дал пространные объяснения на разговорном египетском языке. Не будь в наших американских типографиях так плохо с египетскими иероглифами, я бы с огромным удовольствием привел здесь целиком в исконном виде его превосходную речь.

Кстати замечу, что вся последующая беседа с мумией происходила на разговорном египетском через посредство (что касается меня и остальных необразованных членов нашей компании) — через посредство, стало быть, переводчиков Глиддона и Бакингема. Эти джентльмены говорили на родном языке мумии совершенно свободно и бегло, однако я заметил, что временами (когда речь заходила о понятиях и вещах исключительно современных и для нашего гостя совершенно незнакомых) они бывали принуждены переходить на язык вещественный. Мистер Глиддон, например, оказался бессилён сообщить египтянину смысл термина «политика», покуда не взял уголек и не нарисовал на стене маленького красноносого субъекта с продранными локтями, который стоит на помосте, отставив левую ногу, выбросив вперед сжатую в кулак правую руку, закатив глаза и разинув рот под углом в 90 градусов. Точно так же мистеру Бакингему не удавалось выразить современное понятие «прорехи в экономике» до тех пор, пока, сильно побледнев, он (по совету доктора Йейбогуса) не решился снять свой новехонький сюртук и показать спину крахмальной сорочки.

Как вы сами понимаете, мистер Глиддон говорил главным образом о той великой пользе, какую приносит науке распеленывание и потрошение мумий. Выразив сожаление о тех неудобствах, которые эта опера-

ция доставит *ему*, одной мумифицированной личности по имени Бестолковео, он кончил свою речь, намекнув (право, это был не больше чем тонкий намек), что теперь, когда все разъяснилось, неплохо бы продолжить исследование. При этих словах доктор Йейбогус опять стал готовить инструменты.

Относительно последнего предложения оратора у Бестолковео нашлись кое-какие контрдоводы идейного свойства, какие именно, я не понял; но он выразил удовлетворение принесенными ему извинениями, слез со стола и пожал руки всем присутствующим.

По окончании этой церемонии мы все занялись возмещением ущерба, понесенного нашим гостем от скальпеля. Зашили рану на виске, перебинтовали колено и налепили на кончик носа добрый дюйм черного пластыря.

Затем мы обратили внимание на то, что граф (ибо таков был титул Бестолковео) слегка дрожит — без сомнения, от холода. Доктор сразу же удалился к себе в гардеробную и вынес оттуда черный фрак наимоднейшего покроя, пару небесно-голубых клетчатых панталон со штрипками, розовую, в полоску *chemise*¹, широкий расшитый жилет, трость с загнутой ручкой, цилиндр без полей, лакированные штиблеты, желтые замшевые перчатки, монокль, пару накладных бакенбард и пышный шелковый галстук. Из-за некоторой разницы в росте между графом и доктором (соотношение было, примерно, два к одному) при облачении египтянина возникли небольшие трудности; но потом все кое-как уладилось и наш гость был в общем и целом одет. Мистер Глиддон взял его под руку и подвел к креслу перед камином, между тем как доктор позвонил и распорядился принести ему сигар и вина.

Разговор вскоре оживился. Всех, естественно, весьма заинтересовал тот довольно-таки потрясающий факт, что Бестолковео оказался живым.

— На мой взгляд, вам давно бы следовало помереть, — заметил мистер Бакингом.

— Что вы! — крайне удивленно ответил граф. — Ведь мне немногим больше семисот лет! Мой папаша прожил тысячу и умер молодец молодцом.

¹ Сорочку (*фр.*)

Тут посыпались вопросы и выкладки, с помощью каковых было скоро выяснено, что предполагаемая древность мумии сильно преуменьшена. Со времени заключения ее в элейтиадские катакомбы прошло на самом деле пять тысяч пятьдесят лет и несколько месяцев.

— Мое замечание вовсе не относилось к вашему возрасту в момент захоронения, — пояснил Бакин-гем. — Готов признать, что вы еще сравнительно молоды. Я просто имел в виду тот огромный промежуток времени, который, по вашему же собственному признанию, вы пролежали в асфальтовых смолах.

— В чем, в чем? — переспросил граф.

— В асфальтовых смолах.

— А-а, кажется, я знаю, что это такое. Их, вероятно, тоже можно использовать. Но в мое время употреблялся исключительно бихлорид ртути, иначе — сулема.

— Вот еще чего мы никак не можем понять, — сказал доктор Йейбогус. — Каким образом получилось, что вы умерли и похоронены в Египте пять тысяч лет назад, а теперь разговариваете с нами живой и, можно сказать, цветущий?

— Если б я действительно, как вы говорите, умер, — отвечал граф, — весьма вероятно, что я бы и сейчас оставался мертвым, ибо, я вижу, вы еще совершенные дети в гальванизме и не умеете того, что у нас когда-то почиталось делом пустяковым. Но я просто впал в каталептический сон, и мои близкие решили, что я либо уже умер, либо должен очень скоро умереть, и поспешили меня бальзамировать. Полагаю, вам знакомы основные принципы бальзамирования?

— М-м, не совсем, знаете ли.

— Понятно. Плачевная необразованность! Входить в подробности я сейчас не могу, но следует вам сказать, что бальзамировать — значило у нас в Египте остановить на неопределенный срок в животном организме абсолютно *все* процессы. Я употребляю слово «животный» в самом широком смысле, включающем как физическое, так и духовное, и *витальное* бытие. Повторяю, ведущим принципом бальзамирования у нас была моментальная и полная остановка *всех* животных функ-

ций. Иными словами, в каком состоянии человек находился в момент бальзамирования, в таком он и сохраняется. Я имею счастье принадлежать к роду Скарабея¹ и поэтому был забальзамирован *живым*, как вы можете теперь убедиться.

— К роду Скарабея? — воскликнул доктор Йейбогус.

— Да. Скарабей был *insignium*², своего рода наследственным гербом одной очень знатной и высокой фамилии. Принадлежать к роду Скарабея означало просто быть членом этой фамилии. Мои слова надо понимать фигурально.

— Но как это связано с тем, что вы остались живы?

— Да ведь у нас в Египте повсеместно принято было перед бальзамированием трупа удалять внутренности и мозг. Одни только Скарабеи не подчинялись этому обычаю. Следовательно, не будь я Скарабеем, я остался бы без мозга и внутренностей, а в таком виде жить довольно неудобно.

— Я понял, — сказал мистер Бакингом. — Стало быть, все попадающиеся нам *цельные* мумии принадлежали к роду Скарабеев?

— Без сомнения.

— Я думал, — кротко заметил мистер Глиддон, — что Скарабей — один из египетских богов.

— Из египетских богов? — вскочив, воскликнула мумия.

— Да, — подтвердил известный путешественник.

— Мистер Глиддон, вы меня удивляете, — произнес граф, снова усевшись в кресло. — Ни один народ на земле никогда не поклонялся более чем *одному богу*. Скарабей, ибис и прочие были для нас (как иные подобные существа для других) всего лишь символами, *media*³ при поклонении Создателю, который слишком велик, чтобы обращаться к нему прямо.

¹ С к а р а б е й — жук, обитающий в Южной Европе и Северной Африке. В Древнем Египте один из видов скарабея (скарабей священный) почитался как одна из форм солнечного божества. Его изображения служили предметами заупокойного культа, амулетами, которые клали в гробницы или внутрь мумии вместо вынутого при бальзамировании сердца.

² эмблемой (*лат.*).

³ посредниками (*лат.*).

Наступила пауза. Потом доктор Йейбогус продолжил разговор.

— Правильно ли будет предположить на основании ваших слов, — спросил он, — что в нильских катакомбах лежат и другие мумии из рода Скарабея, сохранившие состояние витальности?

— В этом не может быть сомнения, — отвечал граф. — Все Скарабеи, по случайности бальзамированные заживо, живы и в настоящее время. Даже среди тех, кого забальзамировали *нарочно*, тоже могут отыскаться по недосмотру душеприказчиков оставшиеся в гробницах.

— Не будете ли вы столь добры объяснить, что означает «забальзамировали нарочно»? — попросил я.

— С великим удовольствием, — отозвалась мумия, доброжелательно осмотрев меня в монокль, поскольку это был первый вопрос, который задал ей лично я.

— С великим удовольствием. Обычная продолжительность человеческой жизни в мое время была примерно восемьсот лет. Крайне редко случалось, если не считать экстраординарных происшествий, что человек умирал, не достигнув шестисотлетнего возраста. Бывали и такие, что проживали дольше десяти сотен. Но естественным сроком жизни считалось восемьсот лет. После того как был открыт принцип бальзамирования, который я вам ранее изложил, нашим философам пришла мысль удовлетворить похвальную людскую любознательность, а заодно содействовать развитию наук, устроив проживание этого естественного срока по частям, с перерывами. Для истории, например, такой способ жизни, как показывает опыт, просто необходим. Скажем, ученый-историк, дожив до пятисот лет и употребив немало стараний, напишет толстый труд. Затем прикажет себя тщательно забальзамировать и оставит своим будущим душеприказчикам строгое указание оживить его по прошествии какого-то времени — допустим, шестисот лет. Возвратившись через этот срок к жизни, он обнаружит, что из его книги сделали какой-то бессвязный набор цитат, превратив ее в литературную арену для столкновения противоречивых мнений, догадок и недомыслий целой своры драчливых комментаторов. Все эти недомыслия и проч. под об-

щим названием «исправлений и добавлений» до такой степени исказили, затопили и поглотили текст, что автор принужден ходить с фонарем в поисках своей книги. И, найдя, убедиться, что не стоило стараться. Он садится и все переписывает заново, а кроме того, долг ученого историка велит ему внести поправки в ходячие предания новых людей о той эпохе, в которой он когда-то жил. Благодаря такому самопереписыванию и поправкам живых свидетелей, длительные старания отдельных мудрецов привели к тому, что наша история не выродилась в пустые побасенки.

— Прошу прощения,— проговорил тут доктор Йейбогус, кладя ладонь на руку египтянина.— Прошу прощения, сэр, но позвольте мне на минуту перебить вас.

— Сделайте одолжение, сэр,— ответил граф, убирая руку.

— Я только хотел задать вопрос,— сказал доктор.— Вы говорили о поправках, вносимых историком в предания о его эпохе. Скажите, сэр, велика ли в среднем доля истины в этой каббале¹.

— В этой каббале, как вы справедливо ее именуете, сэр, как правило, содержится ровно такая же доля истины, как и в исторических трудах, ждущих переписывания. Иными словами, ни в тех, ни в других нельзя отыскать ни единого сведения, которое не было бы совершенно, стопроцентно ложным.

— А раз так,— продолжал доктор,— то поскольку мы точно установили, что с момента ваших похорон прошло, по крайней мере, пять тысяч лет, можно предположить, что в ваших книгах, равно как и в ваших преданиях, имелись богатые данные о том, что так интересует все человечество — о сотворении мира, которое произошло, как вы, конечно, знаете, всего за тысячу лет до вас.

— Что это значит, сэр? — спросил граф Бестолково.

Доктор повторил свою мысль, но потребовалось немало дополнительных объяснений, прежде чем чуже-

¹ К а б б а л а — средневековое религиозно-мистическое учение.

земец смог его понять. Наконец тот с сомнением сказал:

— То, что вы сейчас мне сообщили, признаюсь, для меня абсолютно ново. В мое время я не знал никого, кто бы придерживался столь фантастического взгляда, что будто бы вселенная (или этот мир, если вам угодно) имела некогда начало. Вспоминаю, что однажды, но только однажды, я имел случай побеседовать с одним премудрым человеком, который говорил что-то о происхождении *человеческого рода*. Он употреблял, кстати, имя *Адам*, или Красная Глина, которое и у вас в ходу. Но он им пользовался в обобщенном смысле, в связи с самозарождением из плодородной почвы (как зародились до того тысячи низших видов) — в связи с одновременным самозарождением, говорю я, пяти человеческих орд на пяти различных частях земного шара.

Здесь мы все легонько пожали плечами, а кое-кто еще и многозначительно постучал себя пальцем по лбу. Мистер Силк Бакингом скользнул взглядом по затылочному бугру, а затем по надбровным дугам Бестолково и сказал:

— Большая продолжительность жизни в ваше время, да к тому же еще эта практика проживания ее по частям, как вы нам объяснили, должны были бы привести к существенному развитию и накоплению знаний. Поэтому тот факт, что древние египтяне тем не менее уступают современным людям, особенно американцам, во всех достижениях науки, я объясняю превосходящей толщиной египетского черепа.

— Признаюсь, — любезнейшим тоном ответил граф, — что опять не вполне понимаю вас. Не могли ли бы вы пояснить, какие именно достижения науки вы имеете в виду?

Тут все присутствующие принялись хором излагать основные положения френологии и перечислять чудеса животного магнетизма.

Граф выслушал нас до конца, а затем рассказал два-три забавных анекдота, из которых явствовало, что прототипы наших Галля и Шпурцгейма пользовались славой, а потом впали в безвестность в Египте так давно, что о них уже успели забыть, и что демонстрации

Месмера — не более как жалкие фокусы в сравнении с подлинными чудодействиями фиванских savans¹, которые умели сотворять вшей и прочих им подобных существ.

Тогда я спросил у графа, а умели ли его соотечественники предсказывать затмения. Он с довольно презрительной улыбкой ответил, что умели.

Это меня несколько озадачило, но я продолжал расспрашивать, что они еще понимают в астрономии, пока один из нашей компании, до сих пор не раскрывавший рта, шепнул мне на ухо, что за сведениями на этот счет мне лучше всего обратиться к Птолемею (не знаю такого, не слышал), да еще к некоему Плутарху, написавшему труд «De facie lunae»².

Тогда я задал мумии вопрос о зажигательных и увеличительных стеклах и вообще о производстве стекла. Но не успел еще и договорить, как все тот же молчаливый гость тихонько тронул меня за локоть и покорнейше попросил познакомиться, хотя бы слегка, с Диодором Сицилийским. Граф же вместо ответа только осведомился, есть ли у нас, современных людей, такие микроскопы, которые позволили бы нам резать камеи, подобные египетским. Пока я размышлял, что бы ему такое сказать на это, в разговор вмешался наш маленький доктор Йейбогус, и при этом довольно неудачно.

— А наша архитектура! — воскликнул он, к глубокому возмущению обоих путешественников, которые незаметно пинали его и щипали, но все напрасно. — Посмотрите фонтан на Боулинг-Грин³ у нас в Нью-Йорке! Или — если это сооружение уж слишком величаво для сопоставления — возьмите здание Капитолия в Вашингтоне!

И наш коротышка-лекарь пустился подробно перечислять и описывать прекрасные линии и пропорции упомянутого сооружения. Только в портале, с жаром восклицал он, имеется ни много ни мало как двадцать четыре колонны пяти футов в диаметре каждая и в десяти футах одна от другой!

¹ мудрецов (*фр.*).

² «О лике, видимом на луне» (*лат.*).

³ Боулинг-Грин — парк в центре Нью-Йорка.

Граф сказал на это, что, к своему сожалению, не может сейчас назвать точные цифры пропорций ни одного из главных зданий в городе Азнаке¹, который был заложен некогда во тьме времен, но развалины которого в его эпоху еще можно было видеть в песчаной пустыне к западу от Фив. Однако, если говорить о порталах, он помнит, что у одного из малых загородных дворцов в предместье, именуемом Карнаком², был портал из ста сорока четырех колонн по тридцати семи футов в обхвате и в двадцати пяти футах одна от другой. Подъезд к этому portalу со стороны Нила был обстроен сфинксами, статуями и обелисками двадцати, шестидесяти и ста футов высотой. А сам дворец, если он не путает, имел две мили в длину и, вероятно, миль семь в окружности. Стены и снаружи, и изнутри были сверху донизу расписаны иероглифами. Он не берется положительно утверждать, что на этой площади поместилось бы пятьдесят — шестьдесят таких Капитолиев, как рисовал тут доктор, но, с другой стороны, допускает, что с грехом пополам их вполне можно было бы туда напихать штук этак двести или триста. В сущности-то, это был малый дворец, так себе, загородная постройка. Однако граф не может не признать великолепия, прихотливости и своеобразия фонтана на Боулинг-Грин, так красочно описанного доктором. Ничего подобного, он вынужден признать, у них в Египте, да и вообще нигде и никогда не было.

Тут я спросил графа, что он скажет о наших железных дорогах.

— Ничего особенного, — ответил он. По его мнению, они довольно ненадежны, неважно продуманы и плоховато уложены. И не идут, разумеется, ни в какое сравнение с безукоризненно ровными и прямыми, снабженными металлической колеей широкими дорогами, по которым египтяне транспортировали целые храмы и монолитные обелиски ста пятидесяти футов высотой.

¹ А з н а к — вымышленное название.

² К а р н а к — селение в Египте (около столицы Древнего Египта. города Фив), знаменитое развалинами храма, постройка которого восходит к XX в. до н. э.

Я сослался на наши могучие механические двигатели.

Он согласился, сказал, что слышал об этом кое-что, но спросил, как бы я смог расположить пяты арок на такой высоте, как хотя бы в самом маленьком из дворцов Карнака.

Этот вопрос я счел за благо не расслышать и поинтересовался, имели ли они какое-нибудь понятие об артезианских колодцах. Он только поднял брови, а мистер Глиддон стал мне яростно подмигивать и зашептал, что как раз недавно во время буровых работ в поисках воды для Большого Оазиса рабочие обнаружили древнеегипетский артезианский колодец.

Я упомянул нашу сталь; но чужеземец задрал нос и спросил, можно ли нашей сталью резать камень, как на египетских обелисках, где все работы производились медными резцами.

Это нас совсем обескуражило, и мы решили перенести свои атаки в область метафизики. Была принесена книга под заглавием «Дайел», и оттуда ему зачитали две-три главы, посвященные чему-то довольно непонятному, что в Бостоне называют «великим движением», или «прогрессом».

Граф на это сказал только, что в его дни великие движения попадались на каждом шагу, а что до прогресса, то от него одно время просто житья не было, но потом он как-то рассосался.

Тогда мы заговорили о красоте и величии демократии и очень старались внушить графу правильное сознание тех преимуществ, какими мы пользуемся, обладая правом голосования *ad libitum*¹ и не имея над собой короля.

Наши речи его заметно заинтересовали и даже явно позабавили. Когда же мы кончили, он пояснил, что у них в Египте тоже в незапамятные времена было нечто в совершенно подобном роде. Тринадцать египетских провинций вдруг решили, что им надо освободиться, и положили великий почин для всего человечества. Их мудрецы собрались и сочинили самую что ни на есть замечательную конституцию. Сначала все шло

¹ Вдоволь (*лат.*).

хорошо, только необычайно развилось хвастовство. Кончилось, однако, дело тем, что эти тринадцать провинций объединились с остальными не то пятнадцатью, не то двадцатью в одну деспотию, такую гнусную и невыносимую, какой еще свет не видывал.

Я спросил, каково было имя деспота-узурпатора.

Он ответил, что, насколько помнит, имя ему было — *Толпа*.

Не зная, что сказать на это, я громогласно выразил сожаление по поводу того, что египтяне не знали пара.

Граф посмотрел на меня с изумлением и ничего не ответил. А молчаливый господин довольно чувствительно пихнул меня локтем под ребро и прошипел, что я и без того достаточно обнаружил свою безграмотность и что неужели я действительно настолько глуп и не слыхал, что современный паровой двигатель основан на изобретении Герона, дошедшем до нас благодаря Соломону де-Ко.

Было ясно, что нам угрожает полное поражение, но тут, по счастью, на выручку пришел доктор, который успел собраться с мыслями и попросил египтянина ответить, могут ли его соотечественники всерьез тягаться с современными людьми в такой важной области, как одежда.

Граф опустил глаза, задержал взгляд на штрипках своих панталон, потом взял в руку одну фалду фрака, поднял к лицу и несколько мгновений молча рассматривал. Потом выпустил, и рот его медленно растянулся от уха до уха; но, по-моему, он так ничего и не ответил.

Мы приободрились, и доктор, величаво приблизившись к мумии, потребовал, чтобы она со всей откровенностью, по чести признала, умели ли египтяне в какую-либо эпоху изготовлять «Слабительное Йейбогуса» или «Пилюли Брандрета».

С замиранием сердца ждали мы ответа, но напрасно. Ответа не последовало. Египтянин покраснел и опустил голову. То был полнейший триумф. Он был побежден и имел весьма жалкий вид. Честно признаюсь, мне просто больно было смотреть на его униже-

ние. Я взял шляпу, сдержанно поклонился мумии и ушел.

Придя домой, я обнаружил, что уже пятый час, и немедленно улегся спать. Сейчас десять часов утра. Я не сплю с семи и все это время был занят составлением настоящей памятной записки на благо моей семье и всему человечеству в целом. Семью свою я больше не увижу. Моя жена — мегера. Да и вообще, по совести сказать, мне давно поперек горла стала эта жизнь и наш девятнадцатый век. Убежден, что все идет как-то не так. К тому же мне очень хочется узнать, кто будет президентом в 2045 году. Так что я вот только побреюсь и выпью чашку кофе и, не мешкая, отправлюсь к Йейбогусу — пусть меня забальзамируют лет на двести.

СИСТЕМА ДОКТОРА СМОЛЯ И ПРОФЕССОРА ПЕРЬЁ

Осенью 18... года, когда я путешествовал по самому югу Франции, путь мой проходил однажды в нескольких милях от Maison de santé, или частной лечебницы для умалишенных, о которой я был слышан в Париже от моих друзей-медиков. Прежде я не посещал подобных мест, а потому решил не пренебрегать открывшейся возможностью, и предложил моему попутчику (с этим господином я незадолго до того свел случайное знакомство) завернуть туда на часок-другой и осмотреть заведение. Но мой новый знакомый отказался, отговорившись, во-первых, спешкой, а во-вторых, тем, что вид безумцев внушает ему вполне естественный ужас. Однако он просил меня не отказываться ради учтивости от моего намерения и обещал продвигаться медленно, чтобы я мог его догнать, если не нынче же, то уж непременно завтра. Когда мы прощались, я подумал, что меня туда могут и не пустить, и высказал ему свои опасения. Он отвечал, что, в самом деле, раз я не знаком с главным надзирателем мосье Майяром и не располагаю рекомендательным письмом, тут могут встретиться затруднения, ибо правила в частных лечебницах куда строже, нежели в казенных больницах. Он, оказывается, несколько лет назад познакомился с мосье Майяром и тотчас вызвался проводить меня до ворот и ему представить, повторив, что сам он из-за своего страха перед безумцами за ворота не войдет.

Я поблагодарил, и, свернув с большой дороги, мы попали на глухую тропку, через полчаса почти совсем

потерявшуюся в густом лесу у подножия горы. Мили две проскакали мы по этому темному, мрачному лесу и, наконец, увидели *maison de santé*. То был причудливый замок, полуразрушенный и такой старый и запущенный, что казался нежилым. Вид замка наполнил меня ужасом, и, придержав коня, я хотел было уже повернуть назад, но тотчас устыдился своей слабости и продолжал путь.

Достигнув ворот, я заметил, что они приотворены и из-за них кто-то выглядывает. Мгновение спустя человек этот выступил нам навстречу, обратился к моему спутнику по имени, сердечно пожал ему руку и попросил спешиться. Оказалось, это сам мосье Майяр. Он был осанистый, благообразный господин старого воспитания, безупречных манер, и от него веяло весьма внушительной твердостью, властью и достоинством.

Приятель мой представил меня, объявил о моем желании осмотреть заведение, услышав в ответ от мосье Майяра, что тот рад мне служить, распрощался, и с тех пор я его больше не видел.

Как только он нас покинул, главный надзиратель препроводил меня в небольшую и удивительно милую гостиную, среди прочих доказательств тонкого вкуса содержащую множество книг, рисунков, цветочных горшков и музыкальных инструментов. В камине весело трещал огонь. За пианино, исполняя арию из оперы Беллини, сидела юная, прекрасная девушка; при виде меня она перестала петь и приняла меня с изысканной любезностью. Голос у нее был тихий, а манеры сдержаны. Лицо ее, чрезвычайно бледное, но удивительно привлекательное, показалось мне печальным. Девушка была одета в глубокий траур и пробудила во мне смешанное чувство почтения, восхищения и любопытства.

В Париже я наслышался, что в заведении мосье Майяра принята особая система, при которой больных, выражаясь попросту, «гладят по шерстке»; их не бьют; редко прибегают и к изоляции; за пациентами тайно следят, предоставляя им видимость полной свободы, и большинству даже разрешено бродить по дому и парку в обычной своей одежде, а не в больничном платье.

Помня об этом, я заговорил с девушкой весьма осмотрительно, я не знал определенно, здорова ли она, глаза ее, и точно, так беспокойно сверкали, что я почти уверился в противном. А потому я придерживался общих тем, притом таких, какие не могли взволновать или огорчить даже сумасшедшую. Она на все отвечала совершенно разумно; собственные ее суждения тоже были отмечены здравым смыслом; однако, будучи давно знаком с теорией о маниях, я остерегался доверять своим впечатлениям и продолжал беседу так же осторожно, как ее начал.

Но вот лощеный дворецкий в ливрее внес поднос с фруктами, вином и другими угощениями, которым я отдал должное, а девушка тем временем удалилась. Когда она вышла, я вопросительно взглянул на хозяина.

— Нет, — сказал он, — нет, что вы, это член семьи, моя племянница, весьма образованная женщина.

— Простите великодушно мою подозрительность, — отвечал я, — но вы и сами, надеюсь, сочтете ее извинительной. Прекрасные правила вашего заведения хорошо знают в Париже, и я было подумал, видите ли...

— Да, да, ну о чем вы говорите! Нет, уж это скорее мне следовало бы благодарить вас за похвальную осторожность. Редко случается встретить такую заботливость в молодом человеке; немало досадных *contre-temps*¹ происходило из-за беспечности посетителей. Покуда применялась прежняя моя система и пациентам разрешали разгуливать, где им вздумается, их часто приводила в опасное возбуждение неосторожность лиц, осматривавших наш дом. Оттого мне пришлось строжайше ограничить посещения; и сюда не проникает никто, кроме тех, на чью осмотрительность я вполне могу положиться.

— Покуда применялась прежняя ваша система, — повторил я невольно его слова. — Правильно ли я вас понял? Значит, простите, больных у вас уже не «гладят по шерстке»?

— Уже несколько недель назад, — отвечал он, — мы решили навсегда от этого отказаться.

¹ Здесь: недоразумений (*фр.*).

— Неужто? Вы удивляете меня!

— Мы почли совершенно необходимым, — возразил он со вздохом, — вернуться к старым методам. Поощрительная система чревата ужасными опасностями; преимущества же ее весьма преувеличивали. Уж кажется, здесь, сударь мой, как нигде, это проверили. Мы делали все, что подсказывается разумным человеколюбием. Жаль, что вам прежде не довелось нас посетить и вынести собственное впечатление. Но с практикой поощрений, полагаю, вы знакомы во всех подробностях?

— Нет, если я и имею о ней сведения, то лишь самые общие.

— В таком случае я могу определить наш прежний метод как метод «ублажения» больных. Мы не противоречили ни единой прихоти больного воображенья. Напротив, мы не только терпели все их выдумки, причуды, но им потворствовали; и таким образом нередко достигали прочного исцеленья. Ни один довод так не действует на расстроенный рассудок, как *reductio ad absurdum*¹. Были у нас, например, пациенты, воображавшие себя цыплятами. И что же? Мы настаивали на том, что так оно и есть; обвиняли пациента в глупости, если он недостаточно осознавал себя цыпленком, и определяли ему точный для цыпленка недельный рацион. И горстка зернышек или камешков творила чудеса.

— И этого было достаточно?

— Отнюдь. Большие надежды возлагали мы на нехитрые удовольствия, как музыка, танцы, гимнастика, прогулки, карты, известного рода книги и тому подобное. Мы делали вид, будто каждого лечим от простого физического недуга, а слова «безумие» всячески избегали. Мы стремились заставить каждого безумца следить за действиями остальных. Выкажите доверие уму и сообразительности сумасшедшего — и он будет ваш телом и душою. Таким образом нам удалось избавиться от дорогостоящего штата надзирателей.

— И вы не наказывали пациентов?

— Никогда.

— И не изолировали их?

¹ доказательство с помощью доведения до нелепости (лат.).

— Весьма редко. Иногда, когда с кем-нибудь случался припадок буйства или болезнь обострялась, мы помещали его в потайную камеру, дабы он дурно не действовал на других, и держали его там, покуда он не делался безопасен; буйных мы вообще не держим. Мы отправляем их в казенные больницы.

— И теперь вы все это изменили и полагаете, к лучшему?

— Определенно. Та система имела свои пороки и даже опасности. К счастью, от нее отказались во всех французских *maisons de santé*.

— Право же, вы удивляете меня,— сказал я.— Я-то был уверен, что ныне по всей стране безумие лечат только так, а не иначе.

— Вы молоды, друг мой,— отвечал мне хозяин.— Но придет время, и вы научитесь сами судить о происходящем, не доверяя чужой болтовне. Не верьте ничему из того, что вы слышите, и лишь наполовину тому, что видите. Что же до нашего *maison de santé*, вас, верно, ввел в заблуждение какой-нибудь невежда. Однако после обеда, когда вы стряхнете дорожную усталость, я счастлив буду показать вам весь дом и ознакомить вас с системой, которая, по моему мнению и по мнению многих, кто наблюдал ее действие, несравненно лучше всех прочих.

— Это ваша собственная система? — осведомился я.

— Да,— отвечал он.— Я горд сознанием, что она моя хотя бы отчасти.

Так беседовали мы с мосье Майяром часок-другой, покуда он водил меня по саду и оранжерее.

— Я не стану вам сразу показывать моих пациентов,— сказал он.— Такое зрелище всегда потрясает чувствительный ум; а мне не хочется портить вам аппетит перед обедом. Сперва пообедаем. Я угощу вас телятиной *à la ste mènehould* с цветной капустой под бархатным соусом, выпьете стаканчик кло-вужо, и нервы ваши успокоятся.

В шесть часов объявили, что кушать подано; и хозяин ввел меня в просторную *salla à manger*¹, где собралось множество гостей, человек двадцать пять — тридцать. То были, очевидно, люди знатного происхожде-

¹ столовую (*фр.*).

нья, хороших манер, одежда их поражала роскошью, излишне напоминая о показной пышности *vieille cour*¹. Я заметил, что не менее двух третей собравшихся были дамы; и у многих уборы отнюдь не блистали тем, что парижанин назвал бы отменным и новым вкусом. Иные, с виду семидесятилетние старухи, увешались драгоценностями — кольцами, браслетами, серьгами — и бесстыдно обнажили грудь и плечи. Еще я не мог не обратить внимания на то, что почти все платья дам были дурно скроены; во всяком случае, дурно сидели на обладательницах. Оглядевшись по сторонам, я заметил милую особу, которой мосье Майяр представил меня в Малой гостиной. Но как же удивился я, увидав на ней фижмы, туфли на высоких каблучках и какой-то грязный огромный чепец брюссельских кружев, до того большой для ее головки, что лицо ее под ним казалось крошечным и нелепым; в первый раз я видел ее в глубоком трауре, и это очень к ней шло. Короче говоря, платье на всех собравшихся показалось мне весьма странно, и у меня даже опять мелькнула мысль о «поощрительной системе», я заподозрил было, будто мосье Майяр решил морочить меня до конца обеда, чтобы я не мучился от сознания, что обедаю в обществе умалишенных; но я вспомнил, как в Париже рассказывали мне о причудах, стародавних предрассудках провинциалов-южан; к тому же, когда я побеседовал кое с кем из гостей, подозрения мои тотчас и окончательно рассеялись.

Сама столовая, удобная и просторная, вовсе не отличалась изяществом обстановки. Ковра, например, не было; впрочем, во Франции часто обходятся без ковра. Занавесей на окнах не было тоже; ставни, плотно закрытые, вдобавок надежно закреплялись железными засовами, положенными крест-накрест, как засовы в лавках. Столовая, как я заметил, составляла длинное крыло замка, и окна, их было не меньше десяти, выходили на три стороны крыла, а дверь на четвертую.

Стол был весьма роскошный. Он ломился от яств. Варварское изобилие! Еды с лихвою бы хватило для пира сынов Енаковых². Никогда в жизни мне не случа-

¹ старого двора (*фр.*).

² Библия, Числа, VIII, 34.

лось еще видеть столь небрежного расточенья земных благ, вкуса, однако, во всем этом было немного.

Глаза мои, привыкшие к спокойному свету, жестоко резало колыханье множества восковых свечей, в серебряных канделябрах наставленных по столу и по всей зале, где только сыскалось для них место. Многочисленная челядь двигалась бесшумно и проворно; а за большим столом в дальнем конце залы сидело человек семь или восемь со скрипками, флейтами, тромбонами и барабаном. Эти молодцы в продолжение обеда несказанно докучали мне бесконечным разнообразием звуков, долженствовавших означать музыку, и услаждали слух всех присутствующих, раздражая меня.

Я не мог отделаться от мысли, что во всем, что я вижу, много странного; но ведь люди вообще так по-разному себя ведут, так по-разному думают и придерживаются столь разных обычаев. Я много путешествовал и привык уже *nil admirari*¹, а потому я невозмутимо уселся по правую руку от хозяина и, не жалуясь на отсутствие аппетита, воздал должное добрым угощениям.

Меж тем завязалась общая и живая беседа. Дамы, как всегда, болтали без умолку. Вскоре я обнаружил, что почти все присутствующие люди весьма образованные. Хозяин так и сыпал забавными анекдотами. Он с большой охотой пускался в рассужденья о своих обязанностях главного надзирателя в *maison de santé*; вообще помешательство, к великому моему удивлению, было у всех присутствующих любимой темой разговора. Рассказывалось множество любопытных историй, связанных с причудами пациентов.

— Был у нас один такой, — сказал низенький толстяк, сидевший от меня справа, — который вообразил, будто он чайник; между прочим, просто удивительно, до чего часто приходит в сумасшедшие головы именно эта блажь! Вряд ли сыщется во всей Франции хоть один сумасшедший дом без человека-чайника. Наш господин был чайник британского производства и каждое утро начищал себя лосиной и мелом.

— А еще, — сказал высокий, сидевший как раз напротив, — недавно объявилось тут некое лицо, вообразившее себя ослом; в переносном смысле слова так

¹ ничему не удивляться (*лат.*).

оно и было. Трудный пациент, и нам большого труда стоило держать его в рамках приличия; одно время он вздумал питаться только чертополохом; от этого мы живо его вылечили, больше ничего не давая ему есть. Взбрыкнет, бывало, вот так, вот так...

— Мосье де Кок, будьте любезны вести себя пристойно! — вмешалась старая дама, сидевшая рядом с ним. — Не дрыгайте ногами! Вы мне парчовый подол изодрали! Неужто же надо каждое слово эдак наглядно сопровождать действием! Наш новый друг и без того вас отлично поймет. Честно говоря, вы такой же осел, каким воображал себя несчастный безумец. Право же, игра ваша слишком натуральна!

— *Mille pardons, Mamselle*¹, — отвечал мосье де Кок на эти речи, — тысяча извинений. Я не хотел вас задеть. Мамзель Лаплас, мосье де Кок имеет честь пить ваше здоровье!

И мосье де Кок отвесил низкий поклон, изысканно поцеловал кончики пальцев и чокнулся с мамзель Лаплас.

— Позвольте же, *mon ami*, — сказал тут мосье Майяр, повернувшись ко мне, — позвольте предложить вам кусочек этой телятины *à la ste Menehould*; нет, вы только отведайте, какая прелесть!

Тут троим дюжим лакеям удалось наконец благополучно водрузить на стол огромнейшее блюдо, верней некий помост, на котором лежало, как мне представилось, сперва *monstrum, horrendum, informe, ingens cui lumen ademtum*². Присмотревшись внимательней, я, однако, разглядел, что это всего лишь небольшой теленок, зажаренный целиком, на коленях и с яблоком во рту, как подают в Англии жареных зайцев.

— Спасибо, мне что-то не хочется, — отвечал я, — по правде говоря, я не особенно люблю телятину *à la святой* — как бишь его? Да и боюсь, как бы она мне вреда не наделала. Лучше я переменю тарелку и попробую кролика.

На столе стояло еще множество блюд, как мне ка-

¹ Тысяча извинений, мамзель! (*фр.*)

² Чудовище страшное, отвратительное, огромное, одноглазое (*лат.*).

залось, с обычной французской крольчатинной; а это, доложу я вам, весьма недурной *morceau*¹.

— Пьер,—крикнул хозяин,—перемени господину тарелку и положи ему бочок этого кролика *au-chat*².

— Простите?..—сказал я.

— Кролика *au-chat*.

— Ах, спасибо, не надо. Я передумал. Я лучше возьму ветчины.

Чего только не едят в провинции, подумал я про себя. А меня, покорно благодарю, увольте и от кролика *au-chat*, и, если уж на то пошло, и от кошки под кролика тоже.

— А еще,—произнес некто, похожий на мертвеца, с противоположного конца стола, подхватывая нить беседы там, где она была прервана,—а еще был у нас давным-давно один престранный пациент, который уверял, будто он кордовский сыр, и всюду ходил с ножом в руке и умолял приятелей отрезать у него от ноги кусочек.

— Он был, бесспорно, большой дурак,—возразил кто-то,—и все же его не сравнить кое с кем, кого знают все присутствующие, исключая этого заезжего господина. Я имею в виду человека, который вообразил себя бутылкой шампанского и вечно стрелял пробкой и пускал пену, вот так...

Здесь он, на мой взгляд, весьма невоспитанно сунул большой палец правой руки за левую щеку, отдернул его со звуком, напоминавшим хлопанье пробки, а потом, ловко водя языком по зубам, несколько минут производил резкое шипенье и свист, словно открытая бутылка шампанского. Я заметил, что его поведение не очень понравилось мосье Майяру; но он промолчал, а беседу продолжил тощий человек в большом парике.

— А еще был тут один неуч,—сказал он,—так тот считал себя лягушкой; и, между прочим, он был на нее ужасно похож. Жаль, вы его не видели, сударь (это он адресовался ко мне), вы бы удивились, глядя, как он естественно ей подражал. Поверите, сударь, если тот человек не был лягушкой, то я могу об этом только ис-

¹ кусочек (*фр.*).

² под кошку (*фр.*).

кренне сожалеть. Когда он квакал — вот так: ква-ква-ква-а! — какая это была тончайшая нота! Си-бемоль, не иначе! А когда он, бывало, выпьет стаканчик другой и положит локти на стол — вот так, да растянет рот до ушей, вот эдак, да выкатит глаза и начнет быстро-быстро мигать, о, ручаюсь вам, сударь, если бы вы все это увидели, вы бы обомлели от восторга перед его гением.

— Не сомневаюсь, — отвечал я.

— А еще, — начал кто-то другой, — был тут один весельчак, так тот вообразил себя понюшкой табаку и все досадовал, что не может самого себя прихватить большим и указательным пальцем.

— А был еще Жюль Дезульер, такой выискался гений, что помешался на мысли, будто он — тыква. Приставал к повару, чтобы тот начинил им пирог; повар с негодованьем отказывался от его предложенья. Я же лично вовсе не уверен, что тыквенный пирог à la Дезульер не был бы отменным кушаньем!

— Вы удивляете меня! — сказал я и вопросительно посмотрел на мосье Майяра.

— Ха-ха-ха! — засмеялся мосье Майяр. — Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо! Отлично! Не удивляйтесь, mon ami. Наш друг большой оригинал, drôle¹, его не следует понимать буквально.

— А еще, — опять сказал кто-то, — тут был один шут гороховый, тоже в своем роде замечательная личность. Он помешался от несчастной любви и вообразил, будто у него две головы. Про одну он говорил, что это голова Цицерона, а другую считал составной: от макушки до рта — Демосфеновой, а от рта до подбородка — головой лорда Брума. Вполне возможно, он и заблуждался, но он всякого умел убедить в своей правоте, ибо обладал великим даром красноречия. Он был пламенный оратор и безудержно отдавался своей страсти. Вскочит, бывало, на обеденный стол, вот так и — и...

Тут сосед и, верно, друг говорящего положил ему руку на плечо и шепнул ему на ухо несколько слов; после чего тот вдруг умолк и снова сел на стул.

¹ чудака (фр.).

— А еще, — сказал тот самый друг, который только что заставил сесть говорящего, — был у нас мосье Буйар, волчок. Я называю его волчком, потому что его одолела дурь, правда не лишенная смысла, такая причуда, будто его превратили в волчок. Вы бы просто за живот держались от смеха, если б увидали, как он крутится. Он мог вертеться на одном каблуке вот таким манером — раз...

Тут друг его, которого только что шепотом призвал он к порядку, оказал ему в точности ту же услугу.

— Значит, — пронзительно закричала одна старая дама, — ваш мосье Буйар был сумасшедший, а к тому же большой дурак; ну где это слыхано, позвольте вас спросить, чтоб человек был волчком? Просто нелепо. Нет, мадам Жуайез была, как вы знаете, куда умней. Ее причуды не противоречили здравому смыслу и доставляли удовольствие всем, кого она удостаивала своим знакомством. По зрелом размышлении она поняла, что вследствие какого-то несчастного случая она обратилась в петушка; но зато в роли петушка она вела себя безупречно. Она дивно махала крылышками — так-так-так, — а уж кукарекала она просто очаровательно! Кука-реку! Кукареку! Кукареку!

— Мадам Жуайез, будьте любезны, ведите себя прилично! — вмешался наш хозяин весьма сердито. — Либо вы будете держаться, как подобает даме, либо немедленно выйдете из-за стола. Выбирайте!

Дама (я с немалым удивленьем услышал, что ее называли мадам Жуайез после того, как она только что описывала эту самую мадам Жуайез) покраснела до корней волос и, кажется, ужасно смешалась. Она поникла головой и ни звука не произнесла в ответ на этот выговор. Но другая дама, куда моложе, подхватила тему разговора. То была моя миловидная знакомая из Малой гостиной.

— Ах, мадам Жуайез была дура! — воскликнула она. — А вот в сужденьях Эжени Салсафет обнаруживалась бездна здравого смысла. Она была очень хороша собой и до того скромница, что обычный способ носить одежду считала непристойным и всегда стремилась к тому, что платье оказывалось у нее не снаружи,

а внутри. Это ведь, в сущности, так просто делается. Надо только сперва так, так, а потом...

— Mon Dieu!¹ Мамзель Салсафет! — закричали сразу с десятков гостей в один голос. — Что вы, затеяли? Увольте! Остановитесь! Мы уже видим, как это делается. Довольно! — И многие повскакали с мест, дабы удержать мамзель Салсафет от намерения полностью уподобиться Венере Медицейской; неожиданный вой или дружный вопль откуда-то из главного крыла внезапно и успешно им способствовал.

Вопль этот, конечно, отчаянно подействовал на мои нервы, но остальных присутствующих мне стало просто искренне жаль. В жизни не видывал я, чтобы разумные люди так пугались. Все они побледнели как мертвецы, съежились, задрожали, залязгали зубами от ужаса, прислушиваясь, не повторится ли звук. Он повторился, громче и, казалось, ближе, а потом в третий раз, совсем уже громко, а потом в четвертый раз — куда менее мощно. Услыхав, что звук удаляется, общество тотчас приободрилось, развеселилось, и снова посыпались анекдоты. Тут я отважился осведомиться о причине недавнего смятения.

— Сущие пустяки, — отвечал мосье Майяр. — Мы к ним привыкли и почти не обращаем на них внимания. Сумасшедшие время от времени поднимают общий вой; они действуют друг на друга, как бывает в собачьих сворах по ночам. Иногда, правда, случается, что после такого концерта они пытаются вырваться на свободу; и тут, разумеется, можно опасаться кое-каких неприятностей.

— А сколько у вас сейчас больных?

— В настоящее время у нас их всего десять.

— Больше женщин, я полагаю?

— О нет. Все до единого мужчины, притом дюжие молодцы, доложу я вам.

— Неужто? А я-то думал, что большинство сумасшедших принадлежит к слабому полу.

— Обычно так оно и бывает, но не всегда. Совсем недавно здесь было двадцать семь пациентов; из них не менее восемнадцати были женщины; но в последнее время все решительно переменилось, как видите.

¹ Господи! (фр.)



— Да, решительно переменилось, как видите,— вмешался господин, едва не повредивший голени мамзели Лаплас.

— Да, решительно переменилось, как видите,— хором подхватили остальные.

— А ну попридержите-ка языки,— сказал мосье Майяр в сильной ярости. И после этого на несколько минут воцарилась мертвая тишина. Одна дама даже повиновалась мосье Майяру совершенно буквально и, высунув язык, кстати весьма длинный, послушно придерживала его обеими руками, пока продолжалась эта сцена.

— А эта почтенная особа,— шепнул я, склонившись к уху мосье Майяра,— эта милая дама, которая услаждала нас своим кукареку, она, я надеюсь, не опасна, а?

— Не опасна! — воскликнул он в непритворном изумлении.— Как... как... что вы имеете в виду?

— Лишь слегка — того,— сказал я, ткнув пальцем в свою голову,— я убежден, что она не особенно, не серьезно больна, а?

— Mon Dieu! Да что это вы такое вообразили! Эта дама, мой давний близкий друг, мадам Жуайез, не менее здорова, чем я сам. У нее есть, конечно, кое-какие причуды, но, знаете ли, старые женщины, очень старые женщины, все не без причуд.

— Разумеется,— согласился я,— разумеется. Ну, и остальные дамы и господа...

— Надзиратели и к тому же мои друзья,— перебил мосье Майяр, надменно выпрямляясь,— ближайшие мои друзья и помощники.

— Как? Все до единого? — спросил я.— И женщины тоже?

— Безусловно,— отвечал он.— Без женщин нам не обойтись; они лучше всего ходят за сумасшедшими; они умеют к ним подойти; милые глазки, знаете ли, творят чудеса; дамы действуют на безумцев, как заклинатели на змей.

— Разумеется,— сказал я.— Разумеется! Но ведут они себя немного странно, а? Несколько необычно? Не правда ли?

— Странно! Необычно! Полноте, неужто вам и впрямь так показалось? Да, у нас тут, на юге, нравы,

знаете ли, повольней. Мы ведем себя, как нам заблагорассудится, наслаждаемся жизнью, и всякое такое, знаете ли...

— Разумеется, — сказал я. — Разумеется. Кстати, мосье, верно ли я заключил из ваших слов, что система, которой заменили вы знаменитую поощрительную систему, весьма сурова?

— Нет, нисколько. У нас, и точно, строгий режим; но лечение — само лечение — скорее приятно для пациентов, нежели наоборот.

— И вы сами изобрели эту новую систему?

— Не совсем так. Кое-что в этой области изобрел уже профессор Смоль, о котором вы, без сомнения, слышаны; а кое-какими усовершенствованиями в своей системе я обязан прославленному профессору Перье, с которым, если не ошибаюсь, вы имеете честь состоять в близком приятельстве?

— Мне очень стыдно, — возразил я. — Но я прежде даже не слышал этих имен.

— О, господи! — воскликнул мосье Майяр, отпихнув свой стул и воздев руки к небу. — Полноте, я, верно, ослышался! Ведь не хотите же вы сказать, будто не слыхивали ни о ученойшем докторе Смоле, ни о прославленном профессоре Перье?

— Я вынужден сознаться в своем невежестве, — отвечал я. — Но истина превыше всего. Однако я готов провалиться сквозь землю от стыда, что не читал трудов этих, без сомнения, выдающихся мужей. Теперь я отыщу их сочинения и прочту с превеликим вниманием. Мосье Майяр, вы в самом деле, должны сознаться, в самом деле устыдили меня!

И я сказал ему чистую правду.

— Полноте, полноте, мой юный друг, — сказал он мягко и пожал мне руку. — Выпьемте-ка лучше по стаканчику сотерна.

Мы стали пить. Все неукоснительно следовали нашему примеру. Они болтали, остряли, хохотали, вытворяли бесчисленные глупости; визжали скрипки, ревел барабан, трубы выли, как целое стадо медных быков Фаларида; по мере опьянения гости бушевали все больше и больше и в конце концов уподобили наш обед шабашу *in petto*¹. Мы с мосье Майяром, склонясь над

¹ в аду (*фр.*).

сотерном и вуже, продолжали разговор, вопя во все горло. Ибо слово, произнесенное обычным голосом, сейчас так же легко достигло бы слуха собеседника, как крик рыбы из глубин Ниагарского водопада.

— Простите,— заорал я ему в ухо.— Вы перед обедом говорили об опасностях, какими была чревата поощрительная система. Что вы имели в виду?

— Да,— отвечал он,— порой нам в самом деле грозили серьезные опасности. Никогда не знаешь, что взбредет в голову безумцу; и я лично, точно так же как доктор Смоль и профессор Перье, считаю, что не стоит им разгуливать без присмотра. Сколько сумасшедшего ни «гладить по шерстке», как это называют, в конце концов он все равно может впасть в буйство. А хитрость сумасшедшего ведь вошла в поговорку. Если он что-то забрал себе в голову, он будет скрывать свое намерение с неслыханной изобретательностью, а ловкость, с какою прикидывается он здоровым, являет для ученых, изучающих природу разума, одну из серьезнейших проблем. Если безумец кажется совершенно разумным — вот тут-то и пора надевать на него смирительную рубашку.

— Но вы, прошу прощенья, говорили об опасности, так неужто же вы на собственном своем опыте в этом самом заведении удостоверились в том, что предоставлять сумасшедшим свободу — опасно?

— Здесь? На собственном моем опыте? О, конечно! К примеру: не так давно в этом самом доме произошло небезынтересное событие. Мы их тогда как раз «гладили по шерстке», и они делали, что хотели. Они вели себя хорошо, просто примерно; каждый, кто в здравом рассудке, тотчас бы раскусил, что если они так хорошо себя ведут, значит вынашивают какие-то дьявольские планы. И точно, в одно прекрасное утро надзиратели оказались связанными по рукам и ногам и очутились в тайных застенках. И теперь их, словно сумасшедших, стерегли сами же сумасшедшие, самоуправно взявшие на себя обязанности надзирателей.

— Да не может того быть! В жизни ничего подобного не слыхивал!

— Истинная правда; все это затеял один сумасшедший, которому почему-то взбрело в голову, будто он

изобрел такую прекрасную систему управления, о какой прежде и не слыхивали, — систему, когда управляют сами сумасшедшие. Он, видимо, решил проверить свое изобретение на деле и сумел убедить остальных пациентов вступить в заговор и свергнуть существующую власть.

— И он в этом преуспел?

— Безусловно. Надзирателям вскоре пришлось поменяться местами с поднадзорными. Да не просто поменяться, ибо прежде сумасшедшие пользовались свободой, надзирателей же тотчас засадили в застенки и стали обращаться с ними — увы! — весьма бесцеремонно.

— Но, я полагаю, вскоре водворился прежний порядок? Не могло же долго длиться такое положение вещей? Местные крестьяне, посетители, желавшие осмотреть заведение, верно, подняли тревогу?

— Не тут-то было. Вождь бунтовщиков оказался не такой простак. За весь месяц он ни разу не впускал посетителей, исключая одного молодого человека, до того глупого с виду, что его не следовало опасаться. Его он принял и показал ему дом и сад, собственного развлечения ради, чтобы на его счет позабавиться. Он поморочил его вволю, обвел вокруг пальца и тотчас выводил.

— И долго ли правили сумасшедшие?

— О, очень долго; месяц безусловно. А уж насколько больше месяца, не берусь в точности сказать. Безумцы, доложу я вам, успели как следует насладиться жизнью. Они сбросили свои потертые платья и распоряжались, как хотели, одеждой и драгоценностями прежних хозяев замка. В погребах нашлись запасы доброго вина, а сумасшедшие знают в винах толк, не сомневайтесь! Да, они неплохо пожили.

— Ну, а лечение? Какие особенные методы лечения ввел в действие главарь бунтовщиков?

— О, сумасшедший иной раз вовсе не дурак, как я уже имел честь заметить; и я глубоко убежден, что новые методы лечения были куда лучше прежних. Система у него, что и говорить, была превосходная — простая, точная, никаких хлопот, право же, она была великолепна, это была...

Здесь рассужденья моего хозяина снова прервали дружные вопли, вроде тех, что недавно уже нарушали наш покой. На сей раз, однако, издававшие их лица, очевидно, быстро приближались.

— Благие небеса! — воскликнул я. — Безумцы вырвались на свободу, это ясно.

— Весьма опасаясь, что вы правы, — отвечал мосье Майяр и побледнел как стена. Не успел он еще заключить свою фразу, а под окнами уже раздались выкрики и ругательства; и тотчас же кто-то начал ломиться в комнату. В дверь били чем-то, кажется кувалдой, а ставни отчаянно дергали и трясли с невероятной силой.

Всех охватило ужасное смятение. Мосье Майяр, к моему крайнему изумлению, забился под буфет. От него ожидал я большего мужества. Музыканты, в последние четверть часа слишком пьяные, чтобы исполнять свою работу, теперь разом вскочили на ноги, схватились за инструменты и, вспрыгнув на свой стол, дружно грянули «Янки Дудл», и исполняли его, если не вполне верно, зато с немыслимым рвением в продолжение всего переполоха.

Тем временем на главный стол запрыгнул господин, которого недавно с таким трудом удалось удержать от этого намеренья. Как только он устроился среди бутылок и стаканов, он начал речь, и речь, без сомнения, выдающуюся, если б ее можно было услышать. В тот же миг человек, увлекавшийся волчками, распластав руки, начал неистово кружиться по столовой, сбивая с ног всех, кто попадался ему на пути. Тут же услышал я немыслимо громкое хлопанье пробки, шипенье шампанского и вскоре установил, что проистекает оно от лица, представлявшего нам за обедом бутылку сего благородного напитка. А человек-лягушка принялся квакать так истошно, словно от каждой ноты зависело спасенье его души. И вдобавок ко всему раздался еще немолчный вой осла. Что же до старого моего друга мадам Жуайез, то бедная дама так потерялась, что я чуть не заплакал от жалости. Она стала в углу подле камина и только и могла, что непрестанно и надрывно кричать: «Кукареку!»

Но вот произошло самое страшное — кульминация трагедии. Коль скоро натиску снаружи не оказали другого сопротивления, кроме криков, кукареканья и кваканья, все десять окон вылетели почти разом. Никогда не забуду, с каким удивленьем и ужасом я увидел, как в окна попрыгал, вломился к нам, смешался с нами *re-le-mele*¹ и начал драться, лягаться, выть и царапаться целый отряд существ, которых принял я за шимпанзе, орангутангов или огромных черных бабуинов с мыса Доброй Надежды. Меня сбили с ног, я откатился под диван, где и пролежал тихо, внимательно прислушиваясь к происходившему в столовой, минут пятнадцать, в продолжение которых драма пришла к благополучной развязке и все разъяснилось. Оказывается, мосье Майяр, рассказывая мне о безумце, подстрекнувшем своих собратьев к мятежу, имел в виду лишь собственные подвиги. Два или три года назад сей господин и точно был здесь главным надзирателем, но сам помещался и сделался пациентом. Мой спутник, меня ему представивший, ничего про это не знал. Надзирателей, числом десять, вдруг схватили, хорошенько вымазали в смолу, как следует вываляли в перьях, а потом упрятали в подземелье. В заточенье провели они более месяца, и мосье Майяр великодушно поставлял им не только *смоль* и *перья* (входившие в его «систему»), но немного хлеба и щедрое количество воды. Последней их ежедневно поливали из насосов. Наконец один узник спасся по сточной трубе и выручил остальных.

Поощрительная система с существенными усовершенствованиями вновь воцарилась в замке; и все же я не могу не согласиться с мосье Майяром, что его система леченья в своем роде была весьма недурна. Как он правильно заметил, система «простая, ясная, и никаких хлопот, ни самомалейших».

В заключение осталось только добавить, что хоть я по всем библиотекам Европы ищу труды доктора Смоля и профессора Перья, мне покуда нигде не удалось их обнаружить.

¹ в одну кучу (*фр.*).

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН. Перевод Р. Облонской	5
РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ. Перевод М. Беккер	14
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕКОЕГО ГАНСА ПФААЛЯ. Перевод М. Энгельгардта	27
ЛИГЕЙЯ. Перевод И. Гуровой	76
ЧЕРТ НА КОЛОКОЛЬНЕ. Перевод В. Рогова	94
ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ. Перевод Н. Галь	103
ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН. Перевод Р. Облонской	122
ДЕЛЕЦ. Перевод И. Бернштейн	144
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ. Перевод Р. Гальпериной	155
НИЗВЕРЖЕНИЕ В МАЛЬСТРЕМ. Перевод М. Богословской	191
ОСТРОВ ФЕИ. Перевод В. Рогова	209
ЭЛЕОНОРА. Перевод Н. Демуровой	215
ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ. Перевод И. Бернштейн	221
ТАЙНА МАРИ РОЖЕ. (Продолжение «Убийства на улице Морг»). Перевод И. Гуровой	229
ЗОЛОТОЙ ЖУК. Перевод А. Старцева	284
НАДУВАТЕЛЬСТВО КАК ТОЧНАЯ НАУКА. Перевод И. Бернштейн	321
ОЧКИ. Перевод З. Александровой	333
ИСТОРИЯ С ВОЗДУШНЫМ ШАРОМ. Перевод З. Александровой	358
«ТЫ ЕСИ МУЖ, СОТВОРИВЫЙ СИЕ». Перевод Е. Суриц	373
ПОХИЩЕННОЕ ПИСЬМО. Перевод И. Гуровой	387
СФИНКС. Перевод В. Хинкиса	408
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КАК ВАС ТАМА, ЭСКВАЙРА (Бывший редактор журнала «Абракадабра»). Перевод М. Урнова	413
ЛОСЬ (Утро на Виссахиконе). Перевод З. Александровой	435
РАЗГОВОР С МУМИЕЙ. Перевод И. Бернштейн	440
СИСТЕМА ДОКТОРА СМОЛЯ И ПРОФЕССОРА ПЕРРЬЁ. Перевод Е. Суриц	459

По Эдгар Аллан

- П 41 Убийство на улице Морг. Рассказы. Пер. с англ. / Ил. С. А. Соколова.— М.: Правда, 1987.— 480 с., ил.

В сборник выдающегося американского писателя Эдгара По (1809—1849) включены рассказы, относящиеся к детективному жанру: «Тайна Мари Роже», «Убийство на улице Морг», «Похищенное письмо» и др.

П $\frac{4703000000-1390}{080(02)-87}$ 1390—87

84. 7

ЭДГАР АЛЛАН ПО

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ

РАССКАЗЫ

Редактор

Г. Ф. Фролова

Оформление художника

Г. А. Раковского

Художественный редактор

Г. О. Барбашинова

Технический редактор

Л. Ф. Молотова

ИБ 1390

Сдано в набор 10.12.86

Подписано к печати 06.01.87.

Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага кн.-журнальная.

Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,41.

Уч.-изд. л. 24,93 Тираж 600 000 экз

2-й завод: (125001—300 000)

Заказ № 400. Цена 2 р. 20 к.

Набор и фотоформы изготовлены

в ордена Ленина и ордена Октябрьской революции

типографии имени В. И. Ленина

издательства ЦК КПСС «Правда».

125865. ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства

«Тюменская правда» Тюменского обкома КПСС,

625002, г. Тюмень, Осипенко, 81.

2 р. 20 к.